

An abstract geometric composition featuring a central horizontal band with text. The background is a complex arrangement of overlapping shapes: large black and white curved forms, smaller gray and black geometric shapes, and a grid of thin black lines. A prominent red border frames the entire design. The text is centered within the gray band.

День первый-  
день седьмой

Дорогим детям моим и милым внукам посвящаю и  
передаю.

*Кто-то пожмёт плечами,  
Может, слезинку прольёт,  
Но в память приходит ночами  
Над днями моими полёт –  
Над хатой, раздольем пшеницы,  
Над Беларусью моей.  
Бог видит: суровая правда  
Приходит ко мне из полей...*

# День первый – день седьмой

Ковалёв В.К.

*при участии  
Ковалёва О.В.*

*начато 10.10.2015 – закончено 28.07.2018\**

Минск  
Белпринт  
2018

## Предисловие

*В описании жизни отца больше находится между строк, чем на поверхности, и это рассчитано на читателя, имеющего опыт, совесть и сострадание. За этими строчками, как за кулисами театра, раскрывается то, что десятилетиями являлось запретной темой и трактовалось, вернее, навязывалось нам как предательство, как худшее, что есть в мире, хотя время и сама жизнь, особенно простых людей, показывают обратное. Во многом (к счастью, не во всём!) наш «театр» оказался обычным враньём, а если выразаться более высоким слогом – субъективистским большевистско-коммунистическим прожектерством, ибо почти каждый виток социалистического развития с 1917 года – разных расцветок, с прекрасными лозунгами-модуляциями\* – со всех сторон был разукрашен фальшивыми декорациями, за которыми главные и сытные роли играли вожди-бюрократы всех уровней – от Кремля до райкома, а трудящимся великого государства отводилось место послушных статистов, и это в лучшем случае, в худшем – прямой, как выстрел, путь на тот свет.*

*На примере отрезка времени, который Всевышний подарил отцу на грешной земле, можно увидеть настоящие и горько правдивые моменты нашего существования (иначе не назовёшь), в которых объединились и трагические дни, и светлые события персонального и общественного бытия. Теперь понимаю, что в те времена я совершил непоправимую ошибку – больше слушал, но ни о чём не спрашивал. Почему? Может быть, по молодости не знал о чём... Что было в твоей жизни главным, что было дорогим, памятным, а что чужим? Пусть хоть сейчас буду вчитываться в эти строки и слышать твой голос ко мне!*

*Вот и мне пошёл восьмой десяток! Прожитая жизнь, опыт, пройденные дороги и специфические „тропинки“, встречи с разными людьми и нелюдьми дают мне право, опираясь на отцовские записи, выказать и свой взгляд на время, когда огромными усилиями Высшей силы рушились целые пласты и континенты,*

эпохи и времена, а в провалах между ними исчезали не только отдельные люди, но и народы, древние культуры и языки, исчезало то, что теперь может встретить не каждый и уже не встретит никогда. Нужны зрение, слух и совесть, способность видеть и помнить, умение отличать зерно от идеологических плевел и штампов бывших (да и настоящих) неудавшихся экспериментов. По-человечески понятно эжгучее желание каждого «калифа на час» остаться в памяти народной (лучше в мавзолее) любыми путями и затеями, только бы запомнили, только бы ставили памятники и кланялись им (а хочется, чтоб ещё и их деткам), ну а что там с народом, стал ли он жить за время их правления зажиточно и хорошо, то это, как говорят люди из Кремля, – „в общем и в целом – другая проблема, и нужно всем пока держаться...“. «Избранные», как они оценивают сами себя, приходят и исчезают, в основном бесследно, оставляя за собой шлейф вождистских ошибок, а то и просто желание любыми, даже кровавыми, путями войти в историю, чаще почему-то на зыбком фундаменте геростратовой славы\*. Но рядом и вокруг них остаются люди, их непростая жизнь, память о минулом и вечная славянская надежда на лучший завтрашний день. Там, среди таких людей, и живёт тихо настоящая правда жизни, живут сочувствие и боль за «славное»прошлое.

Копался однажды в папках, стоявших на полке. Вытащил одну, вторую... Увидел жёлтую пластиковую папку. В ней – листы машинописного текста с вкраплениями рукописных отрывков. Сердце забилось: я вспомнил, что это не просто какие-то записи, а воспоминания моего дорогого, но уже почившего отца. Лет пять назад он передал их мне со словами:

“Вот тебе заметки. Они необработанные, сырые, но там то, что не вошло в мою книжку. Не вошло по нескольким причинам: многое я не успел осознать, как подать читателю, как описать то, что угнетало наше поколение – страх, приниженность перед любым партийным или советским функционером, запрет на собственное мнение, вбитая нам силой привычка маршировать строем и петь одни и те же надоевшие песни. О главном, о своей жизни, я как смог рассказал, но о нюансах, атмосфере жуткого

плена, более широкой картине былого – не смог, а может, и не успеваю – время летит, и мне остаётся не так много. Да и наша мать почему-то не хочет, чтобы я углублялся в своё тяжёлое прошлое. Говорит, что, вспоминая, волнуюсь. Жалеет меня – может, и права. Бери, подумай, поразмысли – может, что-то из записанного тебе понадобится. Ну а когда? Когда у тебя будет время...».

*Прошло восемь лет со дня его кончины. 13-го, ветреный апрельский день 2010 года, голубое небо с барашками облачков, стайка внезапно поредевших родственников и громкие залпы военного салюта бывшему солдату Отчизны, познавшему радость детства, пережившему ужасы фашистского плена, счастье возвращения и встречи с любимыми женой, сыном, шепоток за своей спиной – и прошедшему ещё длинную и сложную дорогу народного Учителя. Потом в конце – чёткий стук сапог маленького подразделения солдат, парадным строем прошагавших возле могилы – дань памяти бывшему офицеру Великой войны. Обязательные, не совсем выразительные слова сочувствия и прощания. Вот я и остался один, один перед местом его вечного упокоения, перед собственной памятью и тем, что придёт в мой следующий день...*

*Дорогой отец, я буду всегда, пока есть силы, приходить к тебе, беседовать, мы будем, как когда-то, вспоминать былые дни, родных, друзей, твоих коллег, я буду спрашивать тебя, и ты будешь отвечать мне и советовать лучшее. Тихо, своим привычным мне голосом, педантично и подробно. Я постараюсь сделать сыновний подарок – посетить все твои места, обработать и издать записи, пережить вместе то, что было в твоей жизни и в жизни страны. Я добавлю к твоим словам немного своих размышлений, ибо тоже имею право на правду. Думать и писать буду на русском языке – так привычнее. Ты поймёшь меня и не осудишь – такое у нас было время и путь, пройденный с братским русским народом. А главное скажешь ты.*



*Василий Кузьмич Ковалёв родился 01.01.1917 г. на хуторе “Зелёный Гай” близ села Козловичи Оршанского района Витебской области, лейтенант, участник Великой Отечественной войны, узник концентрационных лагерей Цайтгайн, Мюльберг и Флоссенбург, преподаватель русского и белорусского языка и литературы, немецкого языка, кандидат филологических наук, доцент, бывший завкафедрой белорусского языка Гродненского педагогического института. Человек энциклопедических знаний и Учитель с большой буквы.*

## День первый

«Dixi et animam meam levavi»(лат.)

(Сказал и облегчил тем душу)

*– Где ты появился на белый свет? Кого и что ты там увидел?  
Расскажи про школу.*

## Истоки

Я, Василий Кузьмич Ковалёв, гражданин Республики Беларусь, учитель и педагог, кандидат филологических наук, доцент, бывший заведующий кафедрой белорусского языка Гродненского пединститута, участник Великой Отечественной войны, воинское звание – лейтенант, помощник начальника Второго отдела штаба 20-й мотострелковой дивизии (помнач-2) 10-й армии, родился 1 января 1917 года в деревне Козловичи Яковлевичского сельсовета Оршанского района Витебской области. Согласно старому административному делению – «село Козловичи Маслаковской волости Горецкого уезда Могилёвской губернии».



С детства меня окружала природа Беларуси – не экзотическая, но притягивающая и красивая. Леса, поля с болотами, полевые дорожки, межи и тропинки среди пшеничных полей. Речушки и кустарники, пахучий аир на сажалках\*, луга и сенокосы с цветастым разнотравьем, птичьи гнёзда и скворечники на деревьях, зимой – кормушки для птиц и силки для их ловли. У нас с другом Ефимом был свой способ ловли зимой. По дороге со школы мы бросали кусочки хлеба на снег, и вороны подхватывали еду в один момент. Когда настороженность птиц пропадала, мы привязывали хлебные корочки на нитку. Птицы, голодные и жадные, подхватывали их и глотали. Подтягиваешь птицу, берёшь её в руки, ножиком отрезаешь нитку – и она у тебя. Голодная, хватает хлеб из рук. Несём домой. Дома выпускать нельзя: большая может разбить оконное стекло, а маленькая погибнет, бросившись в окно. Птица думает – это путь на свободу, и летит на свет. Однажды мой отец сказал: видишь, птица не хочет жить в неволе и заканчивает самоубийством. Но я понял, что это было сво-

еобразным отцовским пожеланием не слишком увлекаться ловлей и мучить их. Жизнь же продолжала подбрасывать и другие сюжеты. Иногда брат Тимка (он же Ефим) делал силки: ставил корыто вверх дном, подпирал его палочкой и насыпал на землю немножко зерна. Когда птички начинали клевать, мы дёргали за шнурок – и пара оказывалась в ловушке. Корыто потом накрывали простынёй, а птиц осторожно вынимали руками. Возле леса или в поле их ловили силками, сделанными из конского волоса. Попадались и очень редкие – например, необыкновенная по своей красоте сивка-воронка. Её держали в клетке всю зиму, и она радовала всех своим пением, и ей было легче перезимовать.

Выпас животных или ночное – привычное дело на селе. Летом коров, овец выгоняли в поле в четыре часа утра. До жары, появления мух и оводов животные должны были поесть. Но как не хотелось встать подростку в такой ранний час! Но работа есть работа. Отец поднимает. У нас чаще всех пас брат Тима, я – реже, сестра Ефросинья тоже пасла часто. По праздникам детям давали погулять – их подменял кто-то из взрослых. Что такое «ночное»? По-белорусски – ночлег. Днём лошади работают, а пасутся только ночью. Костёр, ночлежники вокруг. Все тепло одеты, так как ночью всегда холоднее. На передних ногах лошадей железные или кожаные путы, чтобы их никто не увёл. Спутанного коня со звенящей цепью далеко не уведёшь. Чаще, как нам рассказывали взрослые, воровали цыгане. Почти каждый год они разбивали табор на берегу Днепра или его притоков. Сначала делали ознакомительные вылазки в ближайшие сёла, выпытывали у крестьян про людей и их хозяйственный достаток, а по ночам организовывали набеги. Удавалось это не всегда, так как местные давно уже знали эти цыганские хитрости и иногда их крепко побивали. Но до крайностей не доходило. Боялись также и волков. В ночной темноте звенят железяки на ногах коней – значит, всё в порядке, можно и прилечь у огня. Храпят ночлежники, но один не спит, сторожит. Собиралось много людей – было и веселее, и безопаснее. Коней в те времена паслось до 30–40, а то и больше. Почти в каждом дворе их было по одному-два, а то и по три.

Но буквально через год после установления новой власти Советы всех уровней начали маяться дурью, изобретая новые и новые способы выкорчёвывания из крестьян последних собственных корней – отнимая поначалу, как им казалось, только «лишних» лошадей, а потом уже и всё остальное. Беспокойным советским лидерам той поры запала в голову новейшая метода по перековке всех частников: конфискация у них самого дорогого – средств существования! Подобные зверские операции особенно проявились на Украине, но зацепили и Белоруссию, и саму Россию. Теперь же властолюбивые чиновники как-то скромно реагируют на вопросы заинтересованных и честных людей: а что же это было, сколько людей полегло и за что конкретно?

Главное – кто же, в конце концов, ответит за это и откроет слипшиеся от народной крови страницы нашей доблестной истории?

*– А чем вы, малолетки, занимались в свободное от труда и учёбы время? Не только же бегали один за другим, но, может, было и что-то более интересное?*



## Кораблики-коньки

До настоящей зимы было далеко, но утром, когда Васёк протёр запотевшее окно возле кровати, увидел, что болотце напротив хаты уже схвачено крепким льдом. Кусты, высокая трава, плетень, ветки деревьев с уцелевшими листьями – всё серебрилось маленькими искорками и подмигивало подростку. „Ура, – радостно воскликнул он, – можно кататься!“ Дома – никого. Отец с ночи поехал в город, мать занималась хозяйством. Вскочил, оделся и, хлебнув на бегу кислого молока, выскочил за ворота. Ледяной ветерок заставил потуже затянуть старенький кожушок, доставшийся от брата, и натянуть поглубже зимнюю шапку. Пару прыжков через дорогу, два-три пробных шага по молодому льду – и вот уже скользит Васёк, как птица, расставив руки в стороны. Лёд ещё чист от снега, но пожухлая трава, что пробивалась сквозь него то тут, то там, мешала долгому движению. Отталкиваться от травяных кочек было удобно, но и разогнаться, как хотелось, они не давали – мягкие, да и поворачивать круто по льду не удавалось. Распотпанные отцовские валенки оказались не идеальным средством для катания зимой. „Эх, займет бы коньки, тогда бы я всему классу показал, а то смеются надо мной, обзывают неумехой. Конечно, завидуют! Учусь-то я лучше их, да и во всей школе первый по успеваемости! Это и наша учительница говорит. Ну и что, что некоторые пока быстрее меня бегают, а я тоже на коньках научусь и в этом всех обгоню, – вполголоса рассуждал мальчик, скользя на одной ноге между порыжелой осоки. – Выбьюсь в люди, нужно только прилежно учиться и получать одни «пятёрки». Жаль, коньков нет. У Машики – снегурочки, у Петьки хоть и самодельные, но коньки. А как же девчонки на мои старые валенки смотреть будут? А что станут думать про меня? Стыдно. Отличник – и на своих пятках катается“, – уже почти в полный голос жаловался на свою детскую судьбу Васёк. В воротах стояли отец с мамой. Отец подъехал с заднего двора, и стук колёс по замёрзшим колдобинам был приглушён. Услышав монолог сына, заулыбались.

– Вот, в отличники и здесь хочет, – поглаживая бороду, сказал Кузьма. – Первым быть неплохо, но на таких и все шишки сыплются.

– Да осилит он. Люди говорят, что таким будущего в деревне нет. Они Господом к другой жизни предназначены. Да и учителя об этом говорят.

– Добро, смастерим ему, мамуля, что-нибудь для катания. Чем он хуже соседей? Ну, побогаче они, куркулями живут, но и мы не квёлые\*. По хозяйству помочь тоже старается. И подойдёт, и спросит, что и как делать... Крестьянской работы не чурается, интересуется всем, но, видишь, Боженька ему разума дал побольше, чем другим. Пусть и идёт по этой дороге. Может, в учителя самый раз? При Советах все начали сразу чему-то учиться – или власти испугались, что неучи будут, а может, так и нужно? Всё ж лучше, чем с косой или с плугом.

– Правду говоришь. Тринадцать их у нас. Хватит для крестьянского труда, а этот другим родился. Откуда у него в голове столько? Всё помнит. Я ему раз покажу – запоминает с ходу и, главное, всё в мозгах держит. У Ивана и Митьки там пустота, а у него полно всякого. Тянется к книжкам, к письму, да и разговаривает уже как взрослый, интересно.

Этим же вечером Васёк наблюдал, как отец, сидя на маленьком слончике\* напротив печи, обстругивал полено. „Совсем как у Джанни Родари\*, – вспоминал он, – может, Чиполлино выстругивает?“

Гора стружек росла, полено становилось тоньше и стало походить на настоящий кораблик – круглая корма, нос, хотя и не острый, но смотрит вверх. Отец поскрёб его стёклышком, погладил своей широкой ладонью и взялся за следующее полено.

– Эх, лето бы скорей. В озёрце пускать можно. Паруса только пошить, – засыпая, мечтал Василёк. – А чего их, корабликов, аж два?

... Утром стружка и кораблики исчезли, а на вопрос сына, где всё это подевалось, мать улыбнулась, пожала плечами: „Папа сказал тебе не говорить, но, так и быть, намекну. Подарок для тебя делает. Большие не спрашивай, а то ругаться будет“.

*Следующий день школа, потом ещё и ещё. Силуэты деревянных корабликов постепенно исчезали из памяти, растворяясь за горизонтом.*

*Вернувшись из церкви в воскресный день, отец таинственно покряхтел за обедом, опрокинул рюмочку и, подозвав сына, вручил ему тяжёлый свёрток. Васёк с горящими глазами развернул – там лежали долгожданные коньки! Почти настоящие! Таких он никогда не видел. К аккуратно выструганным колодочкам-корабликам был приделан снизу кусок толстой, с карандаш, проволоки. Концы были загнуты вверх и вбиты с торцов в древесину. В передней, наклонной части пропилены глубокие зазубрины, а вся нижняя выпуклая поверхность гладко срезана, да так, что обе стороны прута были заострены, как лезвие ножа. Сквозь просверленные дырки, по две в каждом коньке, вставлены крепкие сыромятные ремни. Отец улыбался краешками губ, а мать просто сияла от тихого семейного счастья.*

*Весь хутор, а хозяйств рядом было только три, стоял на берегу замёрзшего болота. Сильный ветер гнал позёмку. На льду, среди тростинок тонкого лозняка и травы, быстро набирал обороты Василёк. Через пару кругов он распахнул свой кожушок и, подстёгиваемый хлёткими порывами ветра, почти летел надо льдом на глазах присутствовавших детей и взрослых... Это был его звёздный час! Его полёт начался! Его время пошло!*

Навсегда полюбил я народные песни, сказки, «преданья старины глубокой», крестьянские традиции. Окружение и семья формировали характер, воспитывали меня. Недаром один умный человек сказал, что душа народа живёт в деревне. Точнее, я родился не в самой деревне Козловичи, а на хуторе, куда семья моих родителей переехала в 1910 году – помните «стольпинские хутора»? Это приблизительно два километра от деревни на юг. Со двора были видны золотые купола церкви и слышен звон по праздничным дням из Козлович. Церковь большая, хотя и деревянная, была освящена в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Престольный праздник по этой причине отмечался 21 сентября по старому стилю. На Пречистую\* приезжали торговцы со

сладостями, маковыми булками, баранками, яблоками, грушами, печеньем и прочими вкусностями. Массовое гулянье!

Какими вспоминаются родители, дедушка, бабушка? Моя мать умерла в 1920 году, когда мне было три года. Её не помню. Осталось только неясное – отпевание в день её похорон: сестра держала меня на руках, а я трогал батюшку за длинные волосы.

Мой отец – сама доброта, не умел ссориться, никогда не матерился, женился рано, в 16 лет. Трудолюбивый, старательный, но, как я сейчас понимаю, очень мягкого характера – никогда не злился, не дрался, правда, один раз стеганул вожжами мою сестру Машу, которая пришла почти под утро с какой-то гулянки. По словам мачехи, это был единственный случай такого наказания. Может поэтому и получилось, что во всей нашей большой детской компании хорошо учился один я. Иван закончил четыре класса, но сдавать экзамены не пошёл – там, мол, жутко мучают детей! Тимка закончил только три. Брат Ваня был талантлив во всём – много читал, занимался шитьём, столярничал, плотничал, мог сшить простую одежду, сам делал шкафы, стулья, табуретки. Для Маши при выходе её замуж смастерил красивый сундук для приданого с выпуклой крышкой. Для себя – хороший и прочный верстак. Вместе с шурином Никитой Борисенко (мужем Прасковьи) сделали приспособление для очистки льна от стеблей. Трепание льна – это очень трудоёмкий и кропотливый процесс, и занимались им в основном женщины. А тут машина! Вертелся барабан с лопастями, на которые подавались пучки льна, – и через минуту почти чистое волокно оставалось в руках. Приезжали смотреть даже изгорода, но дальше одного экземпляра дело не пошло – очень малая производительность.

Мои дедушки и бабушки рано поумирали. Родителей своей мамы совсем не помню. Никогда их не видел.

*– А какими были твой край и твоя хата?*

Говорят, что слово «хутор» венгерского происхождения. Хутор – это обособленная часть выделенной земли с постройками его владельца. Отцовский хутор размещался почти посередине

нашего земельного участка, ближе к болотцу и дороге. Двор был замкнутый, почти квадратный.

В таком состоянии, как я помню, домовладение состояло из следующих строений: дом старый, дом новый, старый и новый сараи, при входе в дом крытое крыльцо, коровник, конюшня, овчарня, помещение для телеги и возка, баня, сеновал, гумно\* и дровня. Гумно с током, сеновал и баня стояли каждая отдельно – на случай пожара.



*Чудом сохранившееся фото отцовского хутора. Новый дом.*

Все другие строения создавали замкнутый двор с воротами и двумя калитками – одна на огород, вторая – на дорогу. Между баней и домом был колодец. Кроме этого, были два погреба – один для картошки, второй для капусты, огурцов, свёклы, морковки и прочего. Сеновал, или сенница, – это большое холодное помещение с широкими воротами. Там хранилось сено, конюшина, вика и овсяная смесь – всё то, чем кормят зимой домашних животных. В гумне, как водилось, было отделение для сушки снопов и ток\*, на котором эти снопы молотили. На току по

сторонам были сложены скирды снопов – пшеница, рожь, овёс, ячмень. После уборки гумно заполнялось под самую крышу. А потом всю осень и зиму молотили. Зерно ссыпали в новый сарай – старый был заполнен всякими хозяйскими инструментами – граблями, лопатами, кошелями, косами, мешками...

Наш прежний дом – крестьянская хата на пять окон (пятое смотрело во двор), с полом, с таким же типичным деревенским содержимым, но старая. Она была перевезена на хутор в 1910 году. Новый дом отец построил «в свободу» – так он называл тот промежуток времени, когда царские законы низринули, а советские ещё не ввели. Он навозил хороших смолистых брёвен и сам срубил дом. Думаю, его размеры были побольше, чем у старой хаты, – может, 6 на 15–16 метров. Справа от входа – сени и две кладовки-каморы: одна – с окном для муки, зерна и круп, во второй, тёмной, висели на шестах завёрнутые в льняную ткань окорока, стояли бочки с солёным салом, редко, но иногда были и кружки разных колбас. Вся площадь левого помещения была разделена на три комнаты – в самой большой и длинной, по ходу слева, стоял стол. За ним под образами, углом одна к другой, две длинных лавки и две самодельных табуретки. Образа вешались с наклоном вперёд. Это были Спаситель, Божья мать с ребёнком на руках, Николай-Угодник, Юрий-Победоносец верхом на коне и ещё Спаситель, распятый на кресте. Каждая икона имела обрамление – рушник с вышитыми концами, накинутый своим центром на раму самой иконы. Сколько икон – столько и этих «набожников» (так называла их мачеха). Одна икона – Матери Божьей, державшей под левой рукой маленькую лестничку, называлась по-русски «Неопалимая Купина» и висела в гумне под стеклом. Она должна была защищать гумно и весь двор от пожара. В переднем левом углу на стене – шкафчик с посудой и солью. Там же стояли стаканы, лежали ножи. Рядом была полка с дырочками для ложек – каждый имел свою деревянную ложку и пользовался только ею. Над столом висела керосиновая 12-линейная лампа. Это значит ширина фитиля равнялась 12 линиям. Линия – старая мера длины, около 2,5 миллиметра. Помните винтовку-трёхлинейку? Вторая лампа стояла обычно на выступе печки. Она переносилась то на печь, то на стол или припечек –

туда, где в это время нужен был свет. Русская печь разделяла правую половину на две равных части. В дальней, за печкой, – дубовая родительская кровать с точёными «шишками» по сторонам, возле головы и возле ног, простенький шкаф и большой сундук с постельным бельём. Перед печью комната для детей – двухэтажные двухместные полати для сна (спали и на печке), небольшой столик, две табуретки и закрытые занавеской полки для одежды и белья, да ещё маленький сундучок, которым пользовались в качестве стула. Над печью вдоль всей стены под потолком был подвешен на толстой проволоке длинный, отполированный руками и временем шест, по виду будто из красного дерева. С него всегда свисали всякие лекарственные травы, вязанки лука и чеснока, сушились грибы. Пол настелен из толстых сосновых досок, но не покрашен. Его раз в месяц тёрли венником почти добела, зимой – реже. Пол и потолок были сделаны в «паз», не пропускали ни холод, ни жару. Заходить в обуви в дом отец запрещал. Четыре окна вдоль стены выходили на хозяйственный двор, а два в торце – на улицу и небольшое болотце за дорогой с зарослями ивы, тростника и большим лугом, расцвеченным разными цветами.

На скотный двор, овчарню выходило окно в заднем торце дома. По площади, да и с виду, дом смотрелся крепким, довольно просторным, из новых смолистых жёлтых брёвен, что вызывало, как я теперь понимаю, зависть у некоторых соседей. Преимущественно у тех, кто не хотел заниматься своим хозяйством, пьянствовал, но надеялся, что новая власть когда-нибудь заберёт «по законам классовой справедливости» излишки у «кулаков» и поделит их между крестьянскими пролетариями. Такие разговоры уже имели место, особенно по выходным дням возле церкви или единственного магазина. Ещё у нас было дощатое помещение для двух телег, двух саней и двуколой повозки. Одна телега и сани предназначались для перевозки длинных древесных хлыстов и регулировались по длине. Для поездок в город предназначался двухместный возок. Это открытая кибитка, удобная для двух пассажиров и кучера. Спереди лавочка для того, кто управляет лошадьми, а сзади мягкое сиденье на пружинах. На ней ездили в город и в другие населённые пункты. Здесь

я рассказываю о периоде, когда отцовский хутор ещё не был разграблен властями. Это 1916–1925 годы. Из скотины – две-три коровы, два телёнка, пара лошадей, один битюг\*, жеребёнок, до 10 голов овец, свиньи, куры, гуси. Три коровы отец держал перед свадьбой, чтобы отдать дочери в качестве приданого. За всем этим нужен был ежедневный уход: кормление, дойка, выпас – кропотливый крестьянский труд!

При старом и новом доме имелись сени. Помните, как у поэта: «Ласточка с весною в сени к нам летит...»? Дело в том, что крестьянские сени не имели потолка, а только крышу. Туда они проникали свободно и лепили свои гнёзда повыше, под самой крышей. Зато в сенях были отгорожены, как я уже говорил, отдельные помещения – каморы, где хранилось всё, что должно было быть под руками – мука в бочках, соль, сахар, крупы, бобовые, льняное и конопляное семя. Из семян льна и конопли делали растительное масло. Треску сушили, чистили, и отец отвозил её в Козловичи в маслобойный цех. Этот цех, вернее, специальный станок, держал один человек. Через часа два-три масло готово. Пахнет здорово, вкусное, полезное... Крестьянский быт, традиции, праздники, дни труда и отдыха хорошо описаны Якубом Коласам в поэме «Новая земля».

В хате часто пахло свежими стружками, лежали инструменты, обрезки досок, колодки. Зимой, когда не было работы в поле, отец мастерил простые вещи на продажу – табуретки, кадушки, детские повозки. В комнате стоял запах смолы, столярного клея. Он говорил: нужна копейка на соль, на керосин, гвозди, мыло, соду. Опять же девочкам на уборы, мальчикам на штаны, обувь. Под весну сёстры и мачеха ставили в комнате кросны\*. Днями стучали набивницы\*, а мы с братом наматывали початки – подеревенски«цевки»\*. Такая цевка закладывалась в челнок, сновавший слева направо и наоборот, в раздвоенной основе ниток. Вот так и получалось полотно. Работа долгая, кропотливая. Ткали и белое полотно для белья, покрывал, полотенец, а также мешковину для мешков и дорожек. Ткали и сукно, из которого шили верхнюю одежду, штаны. Старший брат при желании шил из кожи сапоги, ботинки, туфли, а мягкую обувь – из грубого

полотна. Делал для мачехи также бёрда. Что это такое? Это множество тонких деревянных пластин, размещённых плашмя одна за другой и связанных шпагатом. Всё это просмолено, крепкое, и в ткацком станке прижимает нитку к нитке.

В праздничный день обязательно были блины, на Пасху – пироги, красные яйца, колбасы на Коляды... Конечно, всё это экономили и берегли. На колядные дни была мода запастись орехи или закупать семена подсолнечника. Все праздники люди щёлкали орехи и семечки. На Пасху дети шли в церковь. Там разрешалось бить в колокола – звонили почти на всю околицу, да ещё играли крашеными яйцами: один держит – второй бьёт. Чьё разбилось – тот проиграл и должен был отдать разбитое яйцо победителю.

В памяти всплыл один случай, который нет-нет да и вспоминался всю жизнь – до того он казался необычным и очень таинственным...

### Фокус-покус

*Закончилась служба в церкви большого села Яковлевичи. Люди, громко рассуждая о всяких делах, потянулись домой. Женщины, подбирая под платки пряди волос, спешили туда же. Ждало хозяйство, ждали и малолетние дети. Мужское бравое население, отягощённое в воскресный день вековыми вопросами бытия, раскололось на две неравные части. Первая, малочисленная, неуверенными шажками направилась за своими женщинами. Правда, через пару минут кто-нибудь из них начинал потихоньку отставать и, оглядываясь на своих половинок, отползает к мужикам, быстро двигавшихся ровной цепью в противоположную сторону, к дому Ивана Толстого, что жил за кладбищем. Его дом был известен на всю округу. Там даже пиво появлялось по большим праздникам! Да и чего покрепче можно было хлебнуть. Сам Толстый пива не варил – привозил бочками свежее из самой Орши. Стоит такая бочка на колёсах, а из неё кран торчит. Из крана, надуваясь янтарными пузырястыми шариками, тихонько капает пиво! Но не на землю, а в жестяный тазик. Запах притягивал всех! Бочка по-хозяйски прикрыта от жары*

кожухами. Так как, когда пиво холодненькое, оно и пьётся с бóльшим наслаждением! И тогда контролировать толщину пены времени нет. Побыстрее на пересохишие губы! Кто первый, кто проворнее – те уже топчутся, ждут Ивана. Кто считает копейки, а за спинами гундосят: “Ты, Степан, и на меня положи. Придём домой, отдам, Христа ради прошу!”

Василёк вместе с другом Ефимом сидели на брёвнах и терпеливо ждали своих отцов. Те не то чтобы регулярно, но заходили, как и все, сюда. По дороге домой можно было в своих целях использовать их весёлое настроение и вытянуть пару копеек на конфеты или получить разрешение на поход со старшими к самому Днепру. А там, на берегу, и юшечку\* варили, и было много всяких интересных разговоров о далёких странах, удивительных людях – словом, свободы на берегу было навалом!

Вот мужички распрямились, повеселели, стали громче разговаривать. Кто и домой уже потянулся. Кузьма, его брат Иван и их друг Степан так-же засобирались «до хаты». Вот за ними в хвосте и последовали дети. Идут они, а возле новых венцов\* какой-то незнакомый человек сидит. В лаптях, ободраном кожухе, рядом на траве длинный мешок. Приподнялся, поздоровался и говорит: «Ну что, мужички, хотите на весёлые головы фокус-покус покажу? Мне со всех копеек двадцать, а вам удовольствия на весь месяц! Лады? Такого вы нигде не видели и не увидите!»

– Тата, – попросил Васёк, – пусть покажет. Я от Трофимовых про него слышал. Он и в Заречье показывал. Говорили, кто отгадает этот фокус, тому он и деньги возвращает, и ещё даже чуть сверху...

– Слушай, Кузьма, а твой умник дело говорит. Этот-то понятно – на нас хочет заработать, но и мы не такие уж простаки! Давай, показывай, покусник, но при отгадке ты нам, а не мы тебе! Понял? А то разговор у нас короткий – взашей... и давай отсюда!

Фокусник поднялся, сплюнул себе под ноги:

– Ишь какой ты, малец? Или уши у тебя слишком длинные, или язык? Далеко пойдёшь. Давай свою шапку, – он протянул руку к

Кузьме, – но деньги вперёд. Кто отгадает, тому отдаю обратно, и впридачу ещё пару копеек.

Заинтересованные начали копаться в карманах и, с трудом вытаскивая монетки кривыми от крестьянской работы пальцами, с дрожью в руках и в душе отдали их фокуснику. Набралось целых двадцать пять копеек.

– Так, – довольно крикнул человек, – теперь я вам завяжу глаза, а когда прикажу открыть, тогда и попробуйте отгадать мой фокус. Показываю только тем, кто дал деньги, остальные – по домам, нечего глазеть бесплатно!

После этих слов место возле кудесника опустело – остались только те, кто отдал деньги. Детей он тоже прогнал.

Он вытаскивал из мешка пять платочков и завязал им глаза. Те замычали от неожиданности, но заинтересованность взяла верх. Было слышно, что народный фокусник что-то гундосит себе под нос, шепчет, потом несколько шагов, какой-то скрип – и всё стихло. А тот продолжал: “Ветерок навей, силы мне дай! Солнышко свети, силы добавь!”

– Всё! Платки снимайте и отгадывайте, как это всё получилось?

Человек снова как ни в чём не бывало сидел на камнях возле венцов.

– Где, что? Показывай!

– А вот, перед вашим носом. Что, после корчмы\* и глаза заклеились?

Он показал на угол. Чудо! Из-под предпоследнего нижнего венца торчал кусок шапки Кузьмы.

– Теперь попробуйте достать, – подмигнул артист.

Возле угла уже пристроилось четверо мужчин. Никто уже не хотел отдавать деньги даже за такой «покус». Но, как они ни упирались, как ни пробовали поднять весь угол, так и не смогли. Над шапкой было аж четыре венца из толстенных брёвен! Все ходили вокруг, тянули, поднимали – шапка трещала, но не двигалась! Брёвна огромной тяжестью лежали одно на другом и не давали никаких шансов участникам одного из первых «шоу» тех весёлых и переменчивых лет!

Кузьма недовольным голосом сказал: «Всё, хватит! А то ты и последние гроши наши в какую-нибудь щель засунешь, как тогда голому по деревне ходить? Ладно, деньги отобрал, но шапку отдай».

И вдруг среди этого возбуждённого гвалта послышался тоненький голосок Василя: «Тата, а тата, а я знаю, как он это сделал! Только вы мне на мороженое дайте, тогда и скажу!»

Кочующий кудесник насторожился. Его брови недовольно собрались в кучку, а глаза беспокойно забегали туда-сюда: «Мал ты ещё отгадывать, но, ладно, говори, говори!»

– Тата, когда он начал крутиться возле венцов, то сначала всё тихо было, но потом под свои громкие слова он достал из мешка что-то длинное и железное. Я из-за кустов видел. Оно звякнуло, как подкова о камень... Может, в этом мешке и лежит эта отгадка? Железо какое или ещё что?

Мужики радостно загоготали и бросились развязывать мешок – там лежали длинный железный лом и кривая фомка-гвоздодёрка! Этим и пользовался фокусник-покусник! Но, пока все подпрыгивали над мешком и обнаруженными инструментами, артист исчез, словно его никогда здесь и не было! Никто не заметил, куда и когда! Пропали и их деньги. Васёк почти всё лето ходил гоголем по селу, а долгими осенними ночами, оторвавшись от интересной книжки, взятой у учительницы русского языка, с удовольствием вспоминал минуту своей славы и чудесный, волшебный вкус молочного мороженого! Немного было и жаль, что съел его не один – пришлось поделиться с Ефимом, который, как уж на сковородке, вертелся рядом... Друг всё же!

То был безобидный фокус-покус! Скоро профессиональные «фокусники» начнут оболванивать людей более сложными и рафинированными приёмами! Они не будут брезговать ничем – всенародной ложью о равноправии, богатствах для всех, но только почему-то в будущем, уничтожении самых активных и самостоятельных, думающих и честных, видевших реальность не глазами горлопанавших партийных фанатов-неврастеников, а чувствовавших своей собственной кожей приближающуюся катастрофу, трагедию людей, приход беспощадного кровавого Молоха\*!

Хутор, Вокруг – простор. Недалеко любимая роща, пруд, тропинки через цветастый луг, яблони, груши, сливы по сторонам. Разные ягодные кусты – малина, смородина двух сортов, шиповник, костяника, крыжовник... Чуть в стороне стояла и вторая баня. Первая, для родителей, поменьше, была во дворе. К ней отец и пристроил небольшую капличку\* с иконами и подсвечниками, где он и моя мама, а позже и мачеха, молились и благодарили Боженьку за свою жизнь. Нас особо не заставляли это делать, да и уже настали времена, когда показывать свою религиозность стало опасно!

Соседи: Шинкарёвы – это где рос мой друг Ефим. Семья у них большая, трудолюбивая. Его сестра – подружка моего школьного детства. Немного дальше – Антоновы, наша родня в двух домах. Дальше – Сербяевы, кумовья моего отца и моя крёстная мать. На юг – богатый хутор Бесфамильного, продавшего большую часть своей земли моему отцу. До 1930 года он смог потихоньку распродать всё, что у него было, вступить в колхоз и как-то выжить, не вспоминая больше своего богатства. Ещё дальше – два зажиточных хутора – Якова Высокого и Якова Малого. Первый – отец Матроны Яковлевны, жены моего кузена Павла и мать моего друга Адама. Когда их выселяли в Сибирь, мы бегали по двору и искали что-нибудь ценное для себя – игрушку, железные цветные баночки с американским орлом...

В южном направлении в одиночестве стояли две ледащих хатки братьев Ревенковых, кое-как покрытых соломой. Это были яркие представители крестьянского пролетариата, лентяи и пропойцы. У этих сооружений для жилья не было ни сеней, ни крыльца. На зиму дырявые двери для защиты от снега закрывались щитами из еловых лапок и жердей. Весной все щиты сжигались, и на следующий год опять ставили новые. Эти удивительные люди, занимавшиеся при царе кое-каким извозом и временной сезонной работой, при новой власти уже взбодрились и начали ходить по хуторам, по ближайшим сёлам, что-то высматривали, даже записывали на бумажке, а потом куда-то ездили...



Думается сейчас, что их на основе особого классового доверия местные чекисты сразу зачислили в свой негласный аппарат сексотов, и им, этим завистливым людям, этим представителям самого что ни на есть человеческого дна, было поручено постоянное наблюдение за своими же соседями и выявление среди них «кулацких выродков» в лице наших отцов и их хуторской родни. Не без помощи таких «активистов» и началась в середине 20-х, особенно в 30-е годы, сначала конфискация разного хозяйского инвентаря и скота, а потом выселение и повальные беспричинные аресты настоящих крестьянских тружеников.

*– Когда ты первый раз услышал или понял, что в вашей крестьянской жизни, вашем древнем, устоявшемся веками укладе появилась какая-то тёмная сила, которая неожиданно забирала трудолюбивых и богобоязненных людей и те исчезали навсегда? Что это было? Что ты понял об этом в те годы?*

Вокруг нас было много хуторов. За километр жили два монаха, удравшие из монастыря в Орше в день его закрытия. Их арестовали за оказанное сопротивление, заперли в монастырской каплице, а на следующий день должны были расстрелять. Об этом печальном конце им прилюдно сказали прямо в лоб! Потом среди людей ходили слухи, что этой же ночью, выломав окно и ржавую от времени решётку, они исчезли. Рассказывали, что в каплице они спрятали, но не очень «старательно», записку кому-то из бывших прихожан, уехавших к тому времени в неизвестном направлении. Там они указали свой адрес где-то на юге, чем надеялись направить чекистских ищеек на фальшивый след. Но в самом ближайшем будущем они всё же проиграли свою отчаянную борьбу за жизнь! Раздобыв гражданские документы на другие фамилии, они подстригли бороды и волосы и под видом погорельцев поселились на покинутом хуторе. Там они трудились от зари до зари, восстанавливая хозяйство и одновременно маскируя своё бывшее происхождение. Выдали их те же братья Ревенковы, взявшие на заметку незнакомых никому новосёлов. Бывшие монахи сделали фатальную ошибку: они привезли с собой малый колокол от своей церкви и несколько дорогих икон. Захватили и несколько предметов церковной утвари то ли из золота, то ли с позолотой. Этого уже никто не узнает. Новые хуторяне продали кое-что и выручили деньги для своего хозяйства. Обзавелись скотом и всякими хозяйственными приспособлениями. Вот в этом и была их роковая оплошность! В Орше власти провели тщательную ревизию монастыря и всех его богатств, а этой акции взялся активно помогать и местный иуда – предатель христианской веры – бывший звонарь. Он сразу решил, что «лучше стучать, чем перестукиваться» в камере. Этот тайный «дятел» скрупулёзно переписал абсолютно всё, что было ценного на территории монастыря. Быстро выяснили, чего не хватает, и по этим приметам и спискам оповестили свою вездесущую агентуру. Даже на базаре, где никто и никогда не предполагал наличие сексотов (хотя там их оказалось тоже немало), – сама почти праздничная обстановка среди обыкновенных, простых тружеников, приехавших заработать пару копеек на городском рынке, вызывала у них доверие, раскрепощённость и они, ни-

когда не слышавшие про негласный отряд тайных «дятлов» и, главное, не знавшие о его существовании на каждом углу, открывались один перед другим своими простыми и доверчивыми душами, делились разными новостями из нехитрой крестьянской жизни: кто про свой скот, кто про болезни, про урожай прошлый и будущий, а кто и о том, чего ещё можно ждать от кровожадных местных властей! Фамилии этих беглых монахов не помню, но в ночь после их второго ареста кто-то поджёг в знак протеста весь их хутор. Чёрный, резавший глаза дым долго, почти неделю, сочился с пожарища, напоминая об ещё одной трагедии. Через некоторое время люди возле церкви рассказывали, что по ночам оттуда слышался глухой звон колокола... Кто звонил, и звонил ли вообще, известно так и не стало.

Человеку, родившемуся в городе среди каменных домов и асфальта, тяжело представить, что такое хуторское раздолье. Это бескрайние просторы полей и лугов, сенокосы с шёлковой травой, цветами. Это берёзовые рощи, болота, канавки, заросли малины и богульника, многочисленные ставки с пиявками и лягушками. В окрестных лесах много ягод, грибов. Везде гудели пчёлы, собиравшие мёд и для себя, и для людей. Весной вешать скворечники. Летом – беготня по лужам, игра в мяч, прятки, стрельба из рогаток, самодельные свистки и дудки. Были и книжки. Немного, но были. Я рано научился читать – до школы уже читал церковнославянские тексты, также русские и белорусские. Осталось впечатление от повести «Саид и Аинда»\*, «Поднятый бумажник»\*, брал я в поле, где пас коров, то отцовский «Часослов», то «Сонник» сестры, то братову «Чёрную магию»\*...

*– Я очень мало знаю о твоей родне. Слышал больше о родных со стороны матери. Твои родственники замалчивались ею. Почему она ни разу не разрешила тебе съездить со мной на твою Родину, попробовать там найти кого-нибудь из твоих, поговорить с ними? Кто были они?*

По семейному преданию, мои предки – потомственные крестьяне-хлеборобы бывшей Могилёвской губернии. Немного, но знаю аж до прадеда Кузьмы (не путать с отцом, который носил

такое же имя). Это он был кузнецом, известным на всю округу мастером по ремонту сельхозинвентаря и основателем нашей фамилии Ковалёвых. Мой прадед жил в белорусском селе Козловичи. На Беларуси в давние времена всегда разделяли топонимы\* «село» и «деревня». Село – это относительно большой населённый пункт с церковью и начальной школой. Деревня – небольшое селение без церкви и без школы. Село Козловичи и близлежащие деревни в те времена составляли один церковный приход: все жители должны были справлять обряды (по-церковному – требы) в своей церкви – похороны, крещение, венчание, освящение домов и пр. А молиться можно было в любом храме. Конечно, все доходы собирались в пользу приходского священника и делились таким образом: батюшке – две трети, а дьякону – одна треть. Церковно-приходская школа была открыта в Козловичах приблизительно в 1892 году. А до того времени была только небольшая приватная школка.

За Кузьмой шёл Алексей – сын Кузьмы, мой прадед и дед моего отца. По воспоминаниям, человек трудолюбивый, подвижный, говорливый, небольшого роста, – за что и получил кличку «Лексейка». Вся семья – «Лексейковы». На селе без клички никто не остаётся. Этот предок и дал семье такую кличку. Дальше идёт Яков Алексеевич – отец моего отца и мой дед по отцу.

Яков с братом, сыном (моим отцом) и ещё людьми из соседнего села где-то в самом конце 19-го века ездили в Америку зарабатывать деньги. Их подбил на эту авантюру знакомый балагол еврей из Орши. Балагол – это человек, имевший коня, двухколёсную повозку для перевозки людей, вещей, словом, занимавшийся извозом. Что-то похожее на современное такси, но в условиях деревни. У него там уже жили родные и писали, что можно за одно лето или чуть больше заработать много американских долларов. Он собрал с заинтересованных немалые деньги и отправил людей по железной дороге в Ригу, откуда те на пароходе добивались до привлекательной во все времена Америки. Сначала моему отцу и ещё двух человекам предложили работу по мытью стёкол на небоскрёбах. Отец потом смеялся, рассказывая, как он так испугался высоты, что не мог пошевелиться и встать на ноги в люльке, подвешенной почти под

облаками. Тогда его приняли пилить и колоть дрова, носить уголь и растапливать печи в доме, где на первых двух этажах был или ресторан, или какой-то клуб с различными играми. Неплохие деньги давались нелегко – вставал засветло и укладывался спать далеко за полночь! Сколько он там отработал – не знаю: может, полгода, может, чуть больше, но на те деньги он смог выписать по почте много всяких полезных вещей и приспособлений для своего хозяйства – двуконную косилку, стальные плуги, крупорушку, две мельницы – ручную и большую для скота, столярные инструменты, граммофон, швейную машинку, много других мелочей. Интересно, что владение всем этим в первые же месяцы советской власти было поставлено ему в вину, а всё нажитое и заработанное тяжёлым трудом конфисковано в пользу нового «справедливого» государства. А многие из тех, кто «открыл» для себя Америку, были арестованы как агенты мирового капитализма и исчезли навеки в тёмном советском прошлом. Отцу несказанно повезло, так как он почти никогда не хвалился вслух Америкой! Когда начали изымать всё привезённое, прихватывая по ходу и другое, он, сжав зубы, молчал и не противился. Понимал: шансы неравные, к тому же эти дикие времена пришли, как выделось, надолго.

В нашем роду был ещё один родственник – дядя моего отца Василий Ковалёв. О нём почти ничего не знаю, но судьба распорядилась так, что в начале 80-х я встретился с ним. Конечно, не с ним самим физически, а с вещью, имевшей прямое отношение к нему! Приобретя дачу на ж/д станции Бобр Крупского района, я с интересом знакомился со всеми постройками, облазил сарай, дровню и залез на чердак. Там, среди пыли и хлама, обнаружил старый самовар. Каково же было моё удивление, когда, отчистив поверхность от грязи, увидел там надпись: «существует с 1889 года, медно-самоварный завод, Можайск, В.Ковалёв» и несколько оттисков медалей и призов от участия в разных ярмарках. Да, отец упоминал пару раз этого богатого родственника, который начал своё дело сначала в Смоленске, а потом перебрался под Москву в город Можайск. О его дальнейшей судьбе мне ничего не известно. Самовар же этот у сына Олега в домашней коллекции памятных вещей.



Своих дедуль и бабушек, как по линии матери, так и по отцовской, я не помню – все они рано умерли. Помню только могилы деда Якова и бабки Анны на Козловичском кладбище: деревянные памятники в форме «саркофага» с окошками, в головах – высокий крест. Такие надмогильные сооружения в нашей местности почему-то назывались «теремами». Родители моей матери похоронены на кладбище в деревне Осипово Браздеченского сельсовета, откуда родом и моя мама. После смерти моего деда Якова остались полусиротами трое деток – Кузьма (мой будущий отец), Мария и Анисим. Годы рождения – соответственно 1878, 1880, 1882.

Кстати, все тамошние белорусы ведут своё начало от славянского рода кривичей, который сформировался в середине первого тысячелетия Христианской эры в верхнем течении Днепра. Тут были лучшие условия для земледелия, охоты и рыболовства.

Наша генеология не прослеживается глубже моего прапрадеда. Письменных свидетельств не сохранилось, документов – тоже. У отца долгое время хранились два документа: бумага, подтверждавшая права на надел земли, и купчая на землю, – там план, границы, все соседи. Синяя плотная бумага, множество подписей и печатей. Некоторые сведения о крестьянских семьях этой местности можно было бы найти в подворных книгах сёл Могилёвской губернии, если эти архивы сохранились. Крестьяне же платили налоги, это всё записывалось и подшивалось. Ещё в самом детстве мой отец начал трудиться. Вспоминал, как мать привязывала его к сохе, чтобы она не выскакивала из борозды, – слабые детские руки не могли удержать. А помогать матери нужно было!

Мой отец Кузьма Яковлевич Ковалёв родился 1 сентября (по старому стилю) 1878 года в селе Козловичи. В годы его детства в Козловичах ещё не было школы, и он, и его брат Анисим учились в частной школке, которую содержал батюшка. Вот что он рассказывал. Двенадцать мальчишек собирались у попа в специальной комнате. Утром чистили от снега дорожки, носили дрова, таскали из колодца воду.



*Так выглядит деревня Козловичи сейчас. Жилых домов осталось очень мало. Но жизнь ещё теплится...*

Потом уроки – Закон Божий и ещё один урок. Потом обед – в том же классе. Потом ещё три урока, после чего, если не было метели, детей отпускали домой. Плата – один рубль в месяц. В школе преподавали предметы: Закон Божий – это история христианства, церковные песнопения, церковнославянский язык, русская словесность, арифметика, элементы отечественной истории. Учителями были священник, две его дочери и иногда сын.

Нужно было крепко поразмыслить, где крестьянину выискать два рубля ежемесячно. Для сравнения: мужчина косил у помещика день за 20 копеек, женщина жала панское поле за 15 копеек. Корова стоила 6–7 рублей, сапоги для подростка – 2 рубля с копейками.

Отец подрастал, мужал, трудился, но ещё ходил в школу. Когда первая наука была получена, в семье решили, что Анисим поедет учиться дальше в двуклассное училище в Оршу, а мать,

Кузьма и Мария продолжают хозяйствовать на земле. Как только отцу исполнилось 16 лет, мать решила его женить. Обратились к священнику. Оказалось, до совершеннолетия не хватает трёх месяцев. В нашей церкви в венчании отказали. Отец прослышал, что, если обратиться к архиерею, то дело можно поправить. Он пошёл пешком в Могилёв, нашёл там архиерейское подворье и попал на приём к владыке. Архиерей задал один вопрос: „Почему ты решил рано жениться?“ Отец ответил, что так сказала ему мать – в семье он остался самый старший мужчина, фактически глава семьи. Разрешение было получено. В руках маленькая бумажка с крестом вместо печати. К этому времени мать нашла и невесту – девушку Анну из Осипова, которая когда-то ночевала у своей замужней сестры в Козловичах. Что ж, жениться так жениться! Лишние рабочие руки не повредят. И стал мой отец жить-поживать да деток наживать. Всю свою жизнь, примерно до 30-х годов, читал «Псалтырь» по почившим в тех же домах, где кто-то умер. Псалтырь читался сорок дней подряд нараспев, тягучим, немного плаксивым и жалобным голосом.

Брат отца Анисим Яковлевич Ковалёв (позже Коваленко) служил офицером в царской армии и имел звание штабс-капитана. Принимал участие в Первой мировой войне, был ранен и комиссован в 1916 году. На родине устроился на работу управляющим имением барона фон Корфа\* (von Korff)– имение называлось Яковлевичи – фабрика сукна, лесопилка, мельница, сукновалка, сады, огороды, теплицы, много всякого скота и десятки гектаров земли. Немецкий барон владел ещё фабрикой по производству ситца в Дубровне возле Орши. Когда его застала революция, опасаясь репрессий, барон сбежал. Анисим, как бывший царский офицер и как управляющий у помещика, срочно выехал на Украину, там женился на украинке и, сменив фамилию с Ковалёва на украинский лад – Коваленко, поселился в городе Лебедин Сумской области, где и закончил свой жизненный путь. Год его кончины неизвестен. Последняя его встреча с моим отцом была осенью 1940 года там же. Детей у них не было. Переписка поддерживалась только до войны. У Анисима был очень красивый почерк, как у настоящего писаря.

Фабрика сукна барона фон Корфа работала от приводов водяного колеса: река Леща была перегорожена дамбой с проезжим мостом наверху и тротуаром. Накопленная в пруду вода падала на лопасти с высоты метра полтора, но напора широкого потока хватало, чтобы крутить и колесо, и длинную ось, уходящую через отверстие в цех, на первый этаж. Там через трансмиссию в виде длинных кожаных ремней вращение передавалось на станки.

Так работала лесопилка, а также мельница и сукновалка. Жившие неподалёку крестьяне охотно пользовались этой техникой барона. В 1917 году в имении уже было электричество и по вечерам в парке горели лампы накаливания. В 1918 году фабрика была экспроприрована, барон удрал за границу, его сын пошёл в Белую армию, а жена с двумя детьми жила в имении аж до 1920 г. Потом каким-то образом ей удалось выехать в Германию. Кое-что из имущества барона досталось и моему отцу, так как управляющим имением был его родной брат. Правда, когда установилась советская власть, два коня и почти все крестьянские приспособления и инструменты у отца забрали, т.к. в имении создавали коммуну или совхоз.

К осени 1940 года в Козловичах были созданы два колхоза. Отец не сопротивлялся и в числе первых, как и полагалось послушным гражданам того времени, подал заявление. Но жизнь становилась тяжелее и тяжелее: каждый день работает, зарабатывает «палочки», а на еду для семьи и для скотины не хватает. В Белоруссии хотя и не было такого голода, как на Украине, но тем не менее тоже перебивались с картошки на хлеб, да и тех не хватало. Дети мачехи подрастали, но в 1939–1940 годах были ещё неработоспособные. Работать в колхозе она не могла – большая семья. Были ещё и Серёжа, Яша, Митя, Аня – соответственно 16, 13, 10 и 7 лет. Работнички слабые. Отец начал думать, как спасти семью от надвигавшегося голода и всё повышающегося интереса к нему как к бывшему состоятельному крестьянину. Поехал на Украину к брату за советом. Переехать к нему не решился, а по его протекции двинулся вместе с семьёй на Северный Кавказ.



*Анисим Яковлевич Ковалёв, фотография 1914 или 1915 г.*

Там начал работать в колхозе. А перед этим по дороге от брата заехал в Могилёв, где я в то время учился в военном училище.

Поговорили, походили по городу, отец показал мне архиерейский дом, губернское правление, место, откуда он призывался в царские войска. Проживала его семья в селе Благодарное (теперь город Ставропольского края). Там мои братья и сестра закончили школу, братья получили профессии механизаторов. Работали и на комбайнах, и водителями автомашин. Отец писал, что хлеба там всегда было в достатке, но мало воды...

### *Разговор с отцом*

*Встретились мы на вокзале, как и договаривались в письме. Это был светлый, почти солнечный осенний день, хотя облачка к обеду всё больше и больше вытесняли летнюю голубизну. Было что-то противоестественное в этом медленном процессе поедания голубого серым. Встал на перроне возле входных дверей – дымящиеся клубы заметил издавелека, ещё на подходе к водонапорной башине. Они весело выпрыгивали из-за густых кустов можжевельника, плотно разросшегося вдоль путей. Вот выпрыгнули ещё раз, ещё... и чёрный корпус паровоза, довольно пыхтя, втащил на прямой участок цепочку зелёных вагонов. Вдохнув полной грудью, локомотив остановился, над ним тут же зависла проржавевшая труба, и в разгорячённое нутро полилась толстая струя прохладной водицы. Отца заметил не сразу – из тесных вагонов, обалдевшие от качки, провонявшиеся угольной пылью, начали выпрыгивать разные люди. Конечная станция большого по тем временам города! Десятки и сотни человечков, нагруженных поклажей – чемоданами, мешками, коробками... У некоторых особей, в основном женского пола, через голову были надеты неимоверного размера узлы, набитые каким-то ценным скарбом. Раздались крики: носильщики с колясками предлагали помощь за небольшие деньги.*

*– А, сынок, здравствуй! – отец обнял меня, крепко прижал и от него сразу расплылся запах то ли хлеба, то ли наших сеней. Он*

нёс холщовый самодельный чемодан, а на плече висел кругленький мешочек из серого льняного полотна. Мы обнялись. Я взял тяжёлый чемодан и весь в растроганных чувствах предложил папе нанять подводу. Пока он думал, как можно отказаться от дорогостоящей городской услуги, к нам уже подскочил вертлявый мужичок и, не имея других клиентов, согласился буквально за копейки довезти до нашей курсантской казармы. Сели, свесив ноги на сторону. Отец ехал, смотрел на дома, редкие автомашины, людей, спешивших по своим делам и... улыбался.

– Ты чего?

– Просто вспоминаю день, когда меня забирали в войско. Молодой шиш был, думал, отслужу, привезу домой форму, женюсь – и жизнь пойдёт новая. Так оно и началось, да потом форма эта и всё вокруг начали портиться.

– Какая форма? Что ты имеешь в виду? – серьёзно спросил я, хотя и догадывался, о чём он.

– Да как тебе это, – он положил левую руку мне на плечо, и я почувствовал жар его ладони, – ну, думалось-то одно: детишки пойдут, хозяйство расти будет, а мне интересно было, справлюсь я или не потяну. Но потянул... – и опять замолчал.

Так хотелось показать ему нашу комнату на пятерых, но дежурный на вахте, как я и предполагал, не пропустил – чужой, мол... Какой он чужой? Мой отец, и всё...

– Да ладно, сынок. Теперь везде одни строгости, в каждом ищут супостата\*. Пойдём пройдемся по улицам. Покажу, где я тогда был, о жизни поговорим, а здесь в твоих комнатах ушей многовато. Кто знает, что там за стенкой?

Я удивился такому началу, хотел было возразить, что просто у военных другой порядок, чем на селе, но смолчал. Очень уж был обрадован его приезду. Вкратце рассказал, как идёт учёба, о своих успехах, двух поощрениях за успеваемость. Похвастался, что моё фото с нашей фамилией висит на Доске почёта всего училища, и командование роты поговаривает о присвоении мне звания лейтенанта по окончании. А его дают не каждому, только отличникам, остальным – младшего лейтенанта.



*Курсант МПУ, 1939 г., г. Могилёв*

Отец кивал головой, удивлялся моей прыти, говорил, что они с матерью так и думали, что мне предстоит длинная дорога и по жизни, и в науку.

– Ты и иди, куда Господь показывает. Думаю, что человеком станешь. Наши-то не все такие, кто подленивается, кто только за плугом, а вот у Сербаевых сынок в напитки ударился. Совсем по воскресным дням чумной ходит, в драки даже полез. Милиция приезжала. Смотри, на такую стезю не иди. А вот и дом, откуда меня в войско царское призвали. О! А напротив, где я ещё юным был, когда пошёл просить архиерея, чтобы жениться разрешил. На твоей матери, не на мачехе. Трусил, боялся, но пошёл – понимал, что уже хозяином пора стать, а без женитьбы какое хозяйство? Хотя уже пару коров было, да и лошадка... У матери-то орава, куда ей? Разрешил тот главный. Перекрестил, пожелал светлого пути. Вот я по нему и пошёл. Да не судьба мне с Аннушкой случилась. Забрал Господь. А как святая была – красавица, весёлая, работающая. Тебя успела родить, а потом что-то со здоровьем. Быстро угасла. Да ладно о бедах. Как ты, что у тебя дальше после учёбы этой?

Я в общих чертах рассказал отцу о моих буднях, чем занимаюсь, что учу. Упомянул и то, что среди курсантов, да и преподавателей ходят уже слухи о немцах, стоящих в Польше близ наших границ. Тревога какая-то есть.

После учёбы служить пойду на пару лет, потом домой, к жене.

– Да, Василёк ты мой, маманя наша тебе ещё это от себя передала, – и он, вытащив из холицёвой сумки что-то красноватое, протянул мне. Это был шарф, связанный из толстых шерстяных ниток мачехой, которая уже давно мне стала настоящей матерью.

– А как это его красным сделали?

– Это она сама. Кипятила долго в ольховой коре, в луковой шелухе – вот и цвет коричневый с красноватым оттенком. Будешь дальше расти – многое сам узнаешь.

Мы зашли в парк. На входе купил два бумажных стаканчика мороженого и угостил отца. Тот не хотел брать, но, расчув-

ствовавшись, с наслаждением начал его есть, откусывая маленькими кусочками, растягивая редкое в крестьянской жизни удовольствие. Вдруг к нам подошёл армейский патруль – два бритых наголо солдата и офицер в ремнях и с кобурой.

– Кто разрешил увольнительную?..

Офицер, напомаженный и начищенный до блеска, долго изучал мою бумажку, вертел в руках, даже смотрел на просвет, но вернул, строго отчитав, что сидеть мне на скамейке запрещено, да и мороженое так демонстративно есть нельзя?! Мол, будущий офицер должен быть скромным и не выпячиваться ничем! Пригрозил гауптвахтой и, довольный произведённым на бородатого крестьянина эффектом, удалился в сопровождении мешковатых сообщников.

– Слушай, сын. Давай с центральных улиц уйдём. Здесь тоже уже начинается, – промолвил отец, и через пару минут мы уже шли по тропинке над водной гладью Днепра, – тут в тишине и сказать кое-что тебе хочу. Тяжело это безмерно, но жизнь такая настала. Нам уже нечем в хозяйстве всю семью прокормить. Недостаёт. Зерна и того только до апреля, а там жмыхом и отрубями обходимся. Или у кого пазычыць\* чуть. Вот сели мы с матерью и подумали, а не махнуть ли нам на Кавказ? Там у брата моего какие-то знакомые по Питеру. Он и дал их адрес и сказал, что они – люди хорошие и по первости обязательно помогут на ноги встать.

У меня прямо голос пропал! Съезжают? Отец и мать? А как мы, я? Жена моя, сынок? Не знал что и сказать, неопытный был. Привык, что приедешь к ним, а там хорошо, приятно, пахнет всегда домашним...

– Иначе никак, – продолжил, – вот ещё. Ты должен это знать и опасаться! Ко мне уже не впервой приглядываются местные. Мол, раньше кулаком был и, хотя сейчас хозяйство не больше других, но они говорят, что душок у меня кулацкий мог остаться внутри. А это Сибирь по теперешним временам, а похуже – и на тот свет. Вот это главное – голод-то переживём, а вот такую «любовь» советов не переживём. Убьют! Понимаешь?

– Ну да, вроде тоже слышал, что люди исчезают. Работяги даже, и из крестьянства больше. А в моём педучилище, я тебе рассказывал, так половину арестовали, помнишь?

– Как не помнить, помню. Вот и решение такое. Ездил я на Украину в город Лебедин к брату. Тот советует – на Кавказ. Там и тише, да и далеко от центров. Пока эта ихняя «культура общения» туда доберётся, может, и целыми выживем. Работать – не привыкать, а остальное всё в руках божьих! Да и ты будь внимательным – ничего лишнего при других, пусть и твои товарищи будут! Понял? Ничего ни про властей, про положение, трудности эти вечные, особенно про этих главных, ну, что с усами, и прочих там... Смертью пахнет теперь любое баловство словами! Так мне брат наказывал и подробно всё объяснял, а у него в Питере жизнь была особая, офицером был. Он там всё изучил, всё и видел. Да вот тоже вовремя оттуда. Не хотел, но скажу тебе. Доверяю. Ты у нас самый умный, должен и это знать. Поменял он фамилию как-то с Ковалёва на Коваленко, да и место рождения сменил на украинское. Вроде пронесло, даже какую-то бумажку ему там выдали. Женился на местной тоже. Работает истопником в каком-то учреждении. Сидит там незаметно, никуда не вылезает, но живут. Помни, сынок, разговор этот. Чую, свидимся нескоро. Давай на выход. Поезд у меня около полуночи...

Я весь в слезах стоял на перроне, а силуэт отца растворился сначала в жёлтых фонарях, потом ушёл в тень, за стекло... и исчез. Только что был рядом, голос его родной, лицо с бородой, умные и немного усталые глаза, слова вещице...

Младшая сестра моего отца Мария Яковлевна Антонова (Ковалёва) проживала недалеко от нашей усадьбы, метрах в 400. Её муж Сидор рано умер. Остались два сына Логин (Логвин) и Павел и дочь Евдокия. У них был общий земельный надел на двух братьев, поэтому дома стояли рядом. У Павла трое детей – Адам, мой ровесник и друг, Ваня и Надя. Адам окончил Оршанское педучилище, но на год позже меня. Жена Павла Матрёна Яковлевна была из богатой семьи, хорошая швея, грамотная, пела в церковном хоре. Иногда шила нам верхнюю

одежду – рубахи, штаны, простые куртки. Мой двоюродный брат Логин детей не имел. Мать жила при нём. Часто приходила к нам поговорить с мачехой или братом. Судьба Логина оказалась трагичной: после появления колхоза он работал ветеринаром, единственным на всю округу. В колхозе сдохли две коровы (мало ли что бывает!), но власти обвинили его в преступлении. Он был арестован и через пару дней расстрелян в подвалах Оршанского НКВД. Детали неизвестны. Его мать повесилась в 1930 году в своём доме на следующий день после отказа чека в свидании. От сторожа школы узнала, что её сын и ещё 12 человек расстреляны в пригородном лесу в воскресный день. Дочь тёти Марии – кузина, вышла замуж в чужое село. Помню только её шумную свадьбу.

Историю ареста Логина и подобные трагедии с другими родственниками я узнал из уст отца в день нашей встречи в 1940 году в Могилёве.

### *Дело проверки «Отравитель»*

*Обоснование: «По данным сексота „Ярого“, является членом самой сильной группы кулаков в районе, проводил систематическую а/с пропаганду, допустил из-за враждебного отношения к соввласти отравление колхозного скота в количестве 2-ух коров, которые сразу скончались. Срывал мероприятия партии и правительства на селе».*

*Заведено: «13» ноября 1930 г.*

*Закончено: «2» декабря 1930 г.*

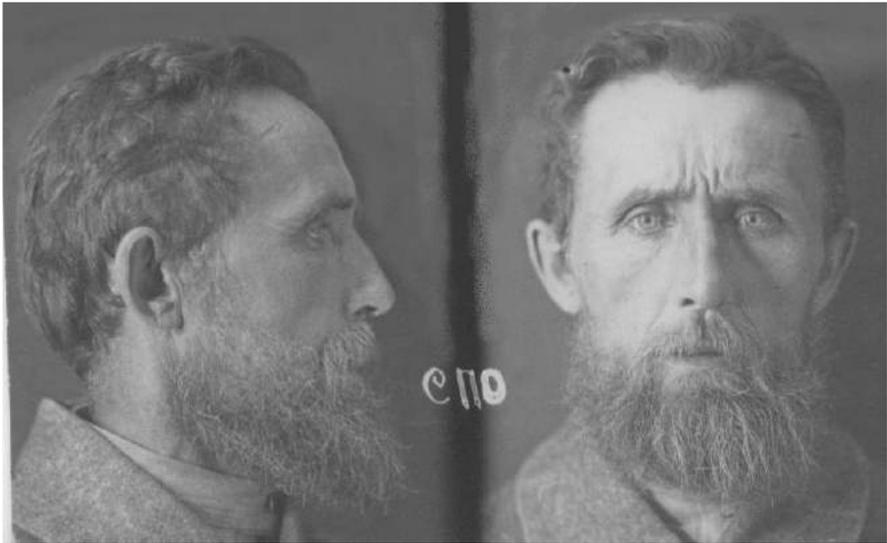
*Дело вёл: Пом. уполномоченного по Оршанскому РО НКВД  
..... (Редькин)*

*Пост. Тр. ОГПУ по ст.ст. 68, 24 – расстрелять.*

*Приговор приведён в исполнение:*

*«2» декабря (в ночь) 1930 г. Место исполнения – «Ровки».*

*Комендант РО НКВД.....(Измаилов).*



*А по правде было так. Их дома, дома двух братьев, отстояли от нашего метров на 400 и были хорошо видны с нашего двора.*

*Логин (или, как мы его звали, – Логвин) Сидорович Антонов и брат его Павел жили как раз в этих домах. Крепкие, из неподсочных сосен, на четыре окна, они прочно стояли на земле и казалось, что никакие бури не способны даже расшатать их, не то что разрушить.*

*У Логвина детей не было. С ним жила ещё не старая мать, продавшая свою осиротелую хату после внезапной кончины мужа. При нём проживала, но недолго, какая-то пришедшая чернявая женщина не из наших краёв, которая быстро пропала. Говорили – не понравилось здесь, а была она то ли с Украины, то ли откуда-то с юга. Больше болтала, чем работала. Мать содержала домашнее хозяйство, а сын её был редким в то время работником. Он закончил курсы по ветеринарному делу и трудился в единственном числе в новом колхозе имени Гея\*. Поскольку во всём районе такой специальности ни у кого не было, то власти то ли попросили его, то ли скорее заставили работать на три колхоза. Вот Логвин и мотался от зари до зари по коровникам, конюшням и овчарням. Опыт приобрёл, авто-*

*ритет. С ним советовались, как расплодить стадо, как сохранить молодняк в морозы, как лечить... Помогал и людям.*

*Но события в этом крае уже шли по другой тропе, по тёмной...*

*Все знали, что аптека находится на центральной площади и входить в неё нужно было через синюю дверь. Но никто не ведал, что рядом, за углом, была и другая, выкрашенная в коричневый цвет. Она никогда не открывалась: то ли была забита гвоздями, то ли за ненадобностью. Одни говорили, что там склад ненужных вещей, другие – что аптекарские принадлежности. Но дверь эта всё-таки открывалась – и не со скрипом, и не днём! Она была хорошо смазана в прямом и переносном смысле и предназначалась для проникновения в тайное логово местного уполномоченного, курировавшего и город, и прилегающие к нему деревни. Да, забыл сказать – курировал он не дома и постройки, а тех, кто там жил, растил детей, скот – словом, всех людей местных.*

*– Давай-давай! Что ты тянешься так долго? Открыл, прыг внутрь – и затих, слушаешь. Там и дырочка специальная есть, чтобы посмотреть, не шёл ли кто следом. Садись, закуривай.*

*– Да вы, Семён Лазаревич, каждый раз мне курить предлагаете, а я-то не употребляю эту вашу гадость. Тут и так постоянно чем-то воняет... Вы меня всё время с кем-то путаете, – человечек небольшого роста с усами, весь смугленький, как цыган, проскользнул между уполномоченным и тёплой печкой и устроился на стуле.*

*– Ладно, не куришь так не куришь. Значит водку пьёшь, – сосрился на свою сторону товарищ Редькин. Он был почти старожил этих мест. Назначили его уполномоченным по Орианскому району четыре года назад, записав под начало пять сельских советов, четыре колхоза с отделениями, одну маши-нотракторную станцию, артель по рыбной ловле на реке и три право-славных церкви «со всеми потрохами», как любил выражаться он сам.*

*– Что-то ты отлынивать начал, а? Уже месяц, а толку от тебя никакого. Не даёшь ты полезной для советской власти информации, не ищешь...*

- Так это... Ну, как тут сказать...
- Уклоняешься, значит, от правительственных заданий? Добром не закончится. Вокруг, смотри, что делается: посевы плохие, госплан по сдаче никак не идёт, планы всякие срываются... Знаешь, как это называется?
- Ну, это... как враги, значит?
- Ну вот, прозрел. Давай вместе думать, где они и сколько? Возьми такое большое село, как Яковлевичи. Там раньше и порядок был, и работы разные при имени у этого немца фон Корфа, а теперь что? Бардак? А почему? Думай, напрягай свою пролетарско-крестьянскую память.
- Может, опять враги? А как напрягать? Забрались туда вместо барона?
- Ну, ну давай же... Подробнее. Что ты имеешь в виду? Куда забрался и кто?
- Не знаю, вроде даже не враг он, а полезный такой, но...
- Кто он, где? Не укрывай, а то за укрывательство... сам знаешь!
- Не, куды тут укрывать? Таких мест, поди, нету. Везде эти, ну, как я...
- Ты брось подсчитывать, грамотей. За попытку раскрыть – сразу к стенке. Так кто там и куда?
- Так вот у Гея, то есть в колхозе имени Гея, две коровы позавчера подошли. Возле храма нашего люди говорили, что именно две. Одна чёрной масти, а вот вторая, не расслышал, вроде с пятнами возле...
- Да хрен с ней, с твоей мастью. Кто отравил колхозное имущество, вернее, скотину? Кто этот супостат?
- Поговаривают, что вызывали к коровам нашего ветелинара, Логина.
- Не «ветелинар» (когда ты уже запомнишь, грамотей?), а «ветеринар»! Так что тот сделал? Чем травил?
- Да он, вроде, сам не травил, они по очереди подошли, эти две, а остальные пока остались. Там коровник, а в нём коровы. Так только две...

– Чем, говорю, он их травил? Давай, не тяни. Это уже государственное преступление! Понимаешь? Скрывать его – тоже преступление!

– Да уже давно понял, что лучше сдал сразу – и свободен на неделю...

– Что, что ты тут?..

– Ничего-ничего, так. Вот говорили, что этот Логин, или Логвин, чёрт его знает, как правильное имя евоное, сам и насыпал что-то белое в корм ихний, вот и откинулись бурёнки. У него был и ещё один такой случай, правда, не с колхозной коровой, а с телёнком у Игнатия, моего родственника. Также, наверно, подсыпал, тот и загнулся. Вы мне за информацию немного выпишите, ну, для семьи, а?

– Кто, твой Игнатий загнулся? Это уже теракт! Выпишу, выпишу.

– Не-е, это телё померло, не он. Малое было, день от роду или два...

– Молодец! На бумагу, запиши. Давай побыстрей, а то вечереет уже. Тут, сверху, начни: ... числа месяца, мной из разговоров с жителями, крестьянами села Яковлевичи выяснено, что одним из прокравишихся в советское сельское хозяйство является местный ветеринар Логин Антонов, систематически травивший советский скот неизвестными ядами. В результате его враждебно-антисоветской деятельности погибли две коровы из колхоза имени Гея и телёнок у частного лица, активиста-колхозника. Пиши, пиши... Так и быть, вот тебе десятка на подъём хозяйства. Распишись дважды – за информацию и за это. Молодец! Всё! Поздно. Я выгляну сейчас, а ты потом шмыг... Поговори ещё с мужиками, может, всплывёт ещё какой гад. В следующую пятницу здесь.

А по правде дело было так. Поймали того Логина на коровнике, заломали руки, раза два дали под дых, чтобы власти уважал, и увезли, и посадили, а потом... Да вы уже знаете. Жена его пошла выяснять в Оршу. Её выгнали отовсюду, а сторож школы, что напротив НКВД, сказал ей по секрету, что ещё в прошлое воскресенье всех, и мужа её, за городом в лесу...

*Пришла она домой и повесилась прямо в хате... Вся деревня неделю молчала... Хорошие очень люди были. Он всем помогал, но...*



*Дмитрий Кузьмич Ковалёв – брат отца, его жена Ольга и внуки – Ольга (1 год) и Сергей (7 лет), 1978 год. Благодарное Ставропольского края.*

Почему он именно тогда захотел рассказать об этом, было непонятно, но с течением времени, когда всё чаще и чаще ползли слухи об арестах и исчезновении людей, стало ясно: таким образом отец хотел меня предупредить об осторожности и внимательности, особенно при контактах с незнакомыми или даже знакомыми людьми. Эта отцовская мудрость во всей будущей жизни сыграла положительную роль и в моём поведении до войны, выживании в плену благодаря знанию немецкого языка, и особенно в послевоенное время с буквально вьёвшимся в меня пятном концлагеря и фактом освобождения американцами.

Уверен, что такие страницы биографии постоянно притягивали разных любопытных «дятлов», состоявших на службе в тайных государственных структурах, и без такого самоконтроля я не имел бы никаких шансов нормально устроить свою жизнь, как и получилось впоследствии. “А почему так?” – спросят нынешние сторонники возвращения Сталина и его репрессивной машины. А потому, что в нашем государстве, особенно в то «весёлое» время (как говорил сам вождь, “жить стало лучше, жить стало веселее!”), вся деятельность и внутренних спецслужб, и судов, и всей юридической системы была направлена только в обвинительную сторону! Никто среди деятелей советской власти на всех уровнях никогда не думал и думать не хотел, что любая война не обходится ни без человеческих жертв, ни без пленных, ни без поражений. Ну а что касается судьбы отдельного человека, то тут действовала всеобщая шизофрения, когда людей считали просто массой, а на деле – серой и послушной толпой, которая должна была двигаться каждый раз в том направлении, которое ей указывали с кремлёвской башни. Об отдельно взятом человеке и речи не могло быть – для великого государства он просто не существовал! Направления и цели соцстроительства менялись с каждым новым гениальным лидером компартии, а толпа молча поворачивала туда, куда ей указывали.

Расскажу ещё об одной семье, близкой мне по матери. Далековато, там, где лесные массивы Станок и Лучки сходились под углом, стоял большой хутор. Его хозяйкой была сестра моей мамы Мария Суворова. Тоже вдова. Её старший сын Саластей был офицером царской армии в высоком звании подполковника. В 1921 году он вернулся домой и при попытке ареста его в 1925 году большевиками смог удрать.



*Саластей Митрофанович Суворов – на фоне двери слева, сверху.  
В гостях у графини О.Кашинской (родственника благоверной  
Анны Кашинской). Справа – генерал-лейтенант А.В.  
Святловский, 12.01.1916 г.*

### *Саластей – птица вольная*

*Зимой 1921 или 1922 года откуда-то вернулся сын моей тётки Марии, важный офицер в звании подполковника с интересным именем Саластей. Даже тогда, когда мне и было-то всего ничего, имя это, да и вид его производил сильное впечатление – Саластей Митрофанович Суворов! Запомнилось мне это сильно. Уже потом, много лет спустя, узнал от отца, что Саластей был не простым военным царского времени. В конце XIX столетия он служил где-то на границе с Польшей, потом в Европе*

*в необычной должности – командовал каким-то важным отделом военной разведки под руководством самого графа Шувалова, в те годы посла России в Германии. Высокий, крепкий мужчина, умеющий делать, наверное, всё, что только придумало человечество, – пилить, строгать, строить, играть, работать по металлу...*

*Их большой хутор был похож скорее на помещичье имение. Я был там всего раза три: первый – в дни расцвета их хозяйства, и позже, когда хутор полностью опустел. О произошедшем мне рассказал отец во время последней встречи в Могилёве перед войной. То ли он хотел поведать о нашем родстве, чтобы я знал это и передал следующему поколению, то ли боялся забыть какие-то подробности о своём большом роде, то ли это было предостережение?*

*Запомнилось же мне вот что: во время редких застолий, когда семейный праздник объединял на время человек десять–двенадцать и участники позволяли себе немного выпить (крепко пьющих, в отличие от нашего времени, вообще не было!), в конце Саластей поднимал рюмку за всех и почему-то добавлял: “А мне, как Саластею, птице вольной, тоже здоровья”. Никто не понимал смысл высказывания, а он и не объяснял, отделялся шуточками. В колхоз он не пошёл, вернее, его туда не приняли, объяснив, что царскому офицеру в советской жизни места нет. Саластей после этого ходил мрачный, неразговорчивый и почти не покидал своего хутора. На базар продать что-нибудь или прикупить ездил за него и за себя его брат Василий. Когда же прошёл слух об аресте беглых монахов, то он вообще часто ночевал в каком-то шалаше в лесу, но в зимнее время возвращался домой. Однажды вечером он поехал в Яковлевичи, а это в пяти километрах от дома. Там зашёл к своему знакомому, бывшему военному царского времени, прапорщику. Тот сообщил, что к нему два дня назад приходил уполномоченный ОГПУ и интересовался, где проживает семья Суворовых, мол, под предлогом постановки на учёт в военкомате самого Саластея. Прапорщик сказал, что связей с Суворовыми не поддерживает, а проживают они на каком-то хуторе. С его слов было ясно, что чекисты пока точно не знают местонахождение хутора, а так*

бы давно нагрянули туда. Но, видимо, побаивались, зная о бравом подполковнике. Может и в голову стрельнуть! Саластей поблагодарил бывшего сослуживца и тихонько покинул дом. Вокруг было темно, но, когда тучи чуть разошлись, в свете луны он неожиданно увидел на базарной площади, за церковью, припрятанную автомашину – американский бьюик типа форда. Спрятавшись за забором, понаблюдал: в кабине никого, но в окнах сельсовета горел свет и за занавеской виднелись человеческие тени. Сколько, не видно, но не одна и не две – больше.

Сердце сжалось от предчувствия! Вот момент истины! Что делать, что предпринять? Он, крадучись, пошёл к своей лошади и, чтобы не производить лишнего шума, отвязал её от телеги, сел верхом и та, будто поняв усложнившуюся обстановку, пошла тихим шагом из Яковлевич. Отец конечно не мог мне передать деталей того, что происходило в доме Саластея, но и так было понятно, что для них, этих несчастных людей, настали чёрные дни. Саластей, оставив жену и малых детей, спешно собрал документы, взял с собой револьвер (он показывал его отцу) и исчез в лесной чаще. Отец и муж пропал, словно его и не было никогда! Горе, но всех их ждали ещё и другие испытания!

Бригада по захвату к рассвету тихо окружила хутор. Не знаю почему, но почти все свои грязные дела чекисты совершали под утро, когда и сон у людей крепче, да и надежда побольше – ночь-то уже прошла? Главный заорал: “Выходи!” – в ответ тишина, а потом плач детей... Обыскали всё – коровник, конюшню, пороли сено вилами, даже стреляли в стога. Облазили подвал, баню, силосные ямы... Никого. Очень недовольные, оставили хату и сделали вид, что уехали. Но вернулись пешком, сделав скрытную засаду в ближайшей роце. Слава Богу, что Саластей предупредил жену, чтобы ни в коем случае не пыталась искать его в лесу возле шалаша. Та поняла и осталась дома, хотя сердце подсказывало: он где-то рядом! Наступившей ночью, когда тишина накрыла этот уголок и чуть спало напряжение, с потолка послышался скрип шагов и тихие постукивания в чердачный люк. Она открыла: сверху, почти как с небес, спустился её любимый муж. Он рассказал, у кого можно будет забрать его сбережения (а хранил он их у того самого

*прапорщика). Саластей понимал, что их могут арестовать после его исчезновения, но надеялся, что родные отделаются временным задержанием. Наивный! Железное ЧК не имело такого важного органа, как сердце! Им было вообще плевать на всех, тем более на свои жертвы! Они гордились арестами и получали за них ордена! Они прямо давились своим величием!*

*Семья провела самую горько-сладкую ночь вместе, и ещё затемно Саластей ушёл. Ушёл навсегда!*

*Много позже, в середине 50-х, от него к отцу на Кавказ пришло письмо, но не по почте – его принёс незнакомый человек – отдал и тут же ушёл. В письме этом был вопрос о судьбе семьи и намёк, что у него самого дела нормальные. Всё! Больше никто ничего о нём не слышал. Саластей как был, так и остался свободной птицей! Его родных через пару лет выпустили. Какое-то время они проживали в Подмоскowie. Потом оттуда уехали и, по неподтверждённым слухам, в конце концов воссоединились с мужем и отцом. Их дальнейшая судьба неизвестна.*

Второй сын моей тётки, Василий Митрофанович Суворов, долгое время после войны работал в Минске заведующим хозмагазином на Червенском рынке. Жаль, что я об этом ничего не знал. Он умер, а его потомки проживают в городе Минске. Других родственников по линии матери не знаю. Тётю Жучиху (так её прозвали) последний раз видел приблизительно в 1933 году.

Настало время рассказать о своей матери. Анна Матвеевна Ковалёва-Посудневская родилась в 1875 году в деревне Осипово Браздеченского сельсовета Оршанского района. Дочь небогатых крестьян. В 1941 году при окончании военного училища я получил бланк анкеты с множеством вопросов. Там были вопросы и о матери. Сначала написал, что мать умерла в 1920 году и я о ней ничего не знаю. Анкету забраковали, так как всякие контролирующие и бдящие органы тщательно копались в жизни каждого смертного, надеясь обнаружить хоть какой-нибудь компромат (без этого они просто не могли дышать!), а потом, дожав допросами и угрозами, расстрелять очередного тайного врага, пробравшегося в военное училище. Пришлось срочно писать отцу, чтобы тот подробно рассказал о её судьбе и биографии. Он написал, что моя мама из семьи обычных крестьян, вся

«недвижимость» её родителей – семь гектаров земли и семеро детей. Интересно, что в селе Осипово сейчас проживает несколько человек с такой же фамилией – Посудневские. Похоронена мама на Козловичском кладбище. Умерла от послеродовой инфекции, у неё были парализованы ноги, два года сильно болела. Помню её еле-еле, как во сне: священник молился над гробом и махал кадилом. Сестра Прасковья держала меня, трёхлетнего, на руках, а я трогал батюшку за длинные волосы...

### *Песня о матери*

*Изредка, пугающе громко, раздавались сильные взрывы, отзывавшиеся звоном посуды в старом самодельном буфете. Звучало несколько мгновений и само стекло... Схватенный объятиями 35 градусного мороза, добротный сколоченный крестьянский дом сопротивлялся, кряхтел, высвобождаясь от ледяных объятий. Новые, смолистые с желтизной, мощные брёвна покрылись морщинами пока немногочисленных трещин, и эта борьба протянется ещё долго, очень долго, жаль только, что исход её известен...*

*Коллеблющееся пламя печи, что стояла у выхода, выхватывало из темноты деревянную люльку с верёвками, тянувшимися вверх, струганый стол, посредине его под льняной салфеткой – круглый крестьянский хлеб и две миски с ложками (в те времена вилки были только у богатых).*

*В доме никого, но отсутствие было недолгим – люлька чуть колыхалась. Сквозь потрескивание поленьев слышалось ровное сопение. Произведение любви человеческой спало.*

*Согнутая под тяжестью охапки дров, в хату вошла мать. Русые волосы, выбившиеся из-под платка, прилипли ко лбу. Она осторожно, полено за поленом, положила дрова за печь, но не всё вышло гладко – от стука малыши проснулся, но не заплакал, заворочался и открыл глаза. Подошла, наклонилась – улыбка расцветила её красивое лицо. Сбросив платок и кожух, взяла сына на руки, села под образами и начала кормить грудью.*

*Никогда и никто ещё не создал полного описания этой библейской картины – кормящая мать!*

*Густые тёмно-русые волосы рассыпались по плечам, шёлковым водопадом ниспадая на спину, где были перехвачены тесёмкой. Лёгкий наклон головы говорил о бесконечной любви и нежности к этому чмокающему комочку. Кончики бровей, чуть опущенные вниз, большие серые глаза, тонкий нос с горбинкой, белая кожа, благостное выражение лица делали её похожей на молодую женщину, нарисованную на иконе и окружённую золотым сиянием. Правда, волосы у той были ненатурально чёрные, да и находилась она высоко над всеми, там, где не властвует время.*

*Прекрасная шея переходила в округлые полные плечи, Достойные кисти великих мастеров. Сын ужинал, впитывая в себя материнскую любовь и всё лучшее, чем владела эта женщина. Такой красивой и должен был бы запомнить он свою счастливую мать...*

*Но то ли Судьба, то ли Божий Перст прервали этот священный союз. До родов отец выехал на своей лошади на далёкие заработки – зимний вывоз леса. Далеко, очень далеко он был... и не успел, приехал только на похороны любимой жены, подарившей ему своё последнее дитя.*

*Подорвавшись и простыв на тяжкой крестьянской работе, она слегла и так же тихо, как и жила, покинула этот мир, сжимая в одной руке подаренную любимым мужем заколку, в другой – тёплую ладошку своего маленького сыночка – последнего подарка мужу.*

*Вот так появился на свет Божий мой отец – из Света рождения в тьму главной потери! На вопросы о матери, уже девяностолетний, говорил: “Ничего толком не помню, но очень красивая была. Чувство этого осталось... Тепло её, руки её... Как первый хлеб, как первая весна... Святая была... Ношу её в сердце до конца. – После паузы загадочно:– А там видно будет...”*

*– Сколько детей было в семье? Как вы мирились, как учились? Какие отношения были между вами?*

Хозяйство было большое, семья многочисленная, а тут умирает мать. Огромное горе свалилось на нас. Плакали дети, голосили сёстры... Больно переживал отец потерю любимой женщины и матери своих детей. Год погоревал (траур!) и решил жениться второй раз. Но вот кто пойдёт на такую ораву? На такое хозяйство! Хотя взрослые дети у отца были, но исключительный порядок всё же навести никак не удавалось.

После смерти моей мамы в семье остались:

Секлетя (в быту Суклида), 1896 г.р.;

Прасковья (Паша) 1899 г.р.;

Марфа (Маша), 1902 г.р.;

Иван (Ваня), 1905 г.р.;

Тимофей (Тима), 1908 г.р.;

Ефросинья (Фруза, или Прося), 1914 г.р.;

Василь (Васька, Василёк), 1917 г.р., – это я;

Сергей, 1923 г.р.;

Яша, 1926 г.р.;

Митя (Дмитрий), 1929 г. р.;

Аня, 1932 г.р.

Четверо последних – от второго брака.

Ещё Иван и Николай – сыновья мачехи от первого мужа, умершего в молодом возрасте. Всего же 13 детей!

Вот отец и чесал затылок: три девки на выданье, каждой приданое, да и самому нужно жениться. Но кто пойдёт, когда столько душ? Все претендентки в жёны пугались и количества земли, и детей. Земля – это труд с утра до ночи, дети – бесконечные заботы. В 1921 году отец всё же нашёл женщину – вдову с двумя детьми. Ещё двое в хату! Не всем это понравилось. Но, когда сёстры и были чем-то недовольны, они молчали, а вот старший брат Ваня встретил мачеху в штыки. Такая неприязнь продолжалась аж до того времени, пока он не съехал в далёкие края. Моя мачеха Пелагея Михайловна Ковалёва (Головко-Вашкевич) родом из деревни Новое Песковское сельсовета Слонимского района Гродненской области. Изгнанная войной 1914 года, она с мужем эвакуировалась в Нижний Новгород, где

работала на железной дороге, а муж – приказчиком у какого-то купца. Почему он не был на фронте – не говорила. Девичья фамилия Вашкевич, по первому мужу – Головко. Пелагея Михайловна была на десять лет моложе отца – приблизительно 1889 г. р. Когда Юзэф Пилсудский создал самостоятельную Польшу, беженцы начали возвращаться на родину. Семья Головко добралась до Орши и каким-то образом очутилась в Козловичах, и тут случилась беда: умер её муж. Пока она занималась похоронами, справляла сороковины, границу между Белоруссией и Польшей закрыли. Искать консульство или ещё какой помощи бедная вдова не могла. Осталась жить в маленькой хатке недалеко от церкви с двумя мальчиками. Она и стала второй женой моего отца. Обвенчались в конце 1921 года. На родине у мачехи остались отец, два брата, Иев и Филарет, также мачеха. Переписка возобновилась где-то в 1932 году. Её отец писал по-русски, братья – по-польски. Письма, само собой, подвергались государственной цензуре: польская сторона вычёркивала крамольные слова по своему разумению, а советская вырезала и непотребные слова, и даже целые строчки каким-то острым инструментом. Между СССР и Польшей был установлен почтовый союз, и письма доходили почти регулярно, но не все. Помню, как мачеха выводила печатными буквами на конверте: “Весь Новае, гмина Пяски, повят Слонимски, воеводство Гродзенскае”. Когда учился в педтехникуме, то адреса подписывал или по-русски, или по-польски. Помню, что в одном из писем отец мачехи очень интересовался, большие ли налоги, что такое «колхоз», а также чем накрыта хата – соломой или гонтой. В Орше я иногда покупал для мачехи газету на польском языке «Орка» (Пашня), которая издавалась в Минске как официальный орган ЦК КП Белоруссии. Тогда такие газеты выходили на литовском, еврейском и других языках. Мачеха по слогам читала заголовок, что «сяно и бульбу тшэба здаваць паньству» – это значит государству. А мы смеялись и говорили, что паньству ничего не нужно сдавать, а отбирать всё у панов. Эта газета выходила в Минске с 1926 по 1937 год. После расстрела всех сотрудников редакции газету закрыли как рупор империализма.

Не всё гладко шло в семье с мачехой. Я, а также младшая сестра Ефросинья называли Пелагею Михайловну мамой. Тима кое-как мирился с ней, выполнял отдельные просьбы принести дров или воды. Сёстры, особенно две старшие, начали готовиться замуж и тормозили отца, чтобы уже думал о приданом для каждой.

Сложности в семье заставили мачеху отвезти своих мальчиков в Оршу. Там женский монастырь был переделан в детский приют, куда и взяли их на полное гособеспечение. Позже оба приезжали на каникулы. В чёрной форменной одежде, ботинках, разговорчивые, смелые. Моего отца называли по имени-отчеству, а нас по именам. Успешно учились в школе, а потом один выучился на водителя, второй на закройщика. Перед самым началом войны работали в Орше, в мастерских: Иван Николаевич и Николай Николаевич Головки. Дальнейшая их судьба мне неизвестна.

Старшие сёстры одна за другой начали удирать от проблем нашей большой семьи – повыходили замуж, обзавелись детьми. Секлетя вышла замуж в 1921 году. Её второй муж (первый, офицер, инвалид войны, скоропостижно умер) Лазарь Родичев – сельский парень, трудолюбивый, заботливый. Это у него мой отец одолжал молотарню для обмолота пшеницы. У него была веялка с конным приводом и много других приспособлений. После большого пожара в Козловичах также вышел на хутор и проживал недалеко от нас, в полутора километрах. Его жена, моя сестра Секлетя, после родов умерла, где-то в 1928 или 1929 году. После войны её семья, Миша, Надя и маленькая Нина, очутилась в селе Америка Шкловского района. Все они были Родичевы. Странное название села сохранилось до наших дней! Наверно, из-за тех людей, которые или эмигрировали в Америку, или работали там. С потомками старшей сестры я поддерживал связь сразу после войны: написал несколько писем и получил на них ответ от племянницы Надежды. Потом переписка заглохла.

Вспомнил, что когда наша семья была ещё большая, она размещалась в двух домах – старом и новом. Старый дом, рубленый ещё топором, был перевезён на хутор из деревни и,

собранный, стоял во дворе на всякий случай. Сейчас же пригодился. Спали в разных домах, но за стол собирались вместе. Новый дом и амбар были построены, как говорил отец, «в свободу» – в то время, когда старая власть уже была сброшена, а новая ещё не полностью установилась. В этот короткий промежуток люди жили довольно свободно – трудились, плоды труда продавали на рынке, торговали и в городе, излишки сдавали за деньги государству на закупочных пунктах. Пока их никто не притеснял.

Вторая моя сестра, Прасковья Кузьминична, вышла замуж в 1922 году. Она была хорошей помощницей для отца во всех его делах: умела косить, ходить за плугом, могла и дрова поколоть. Высокая, красивая, с развитым чувством юмора, Паша ещё и в церковном хоре пела.

Хорошо помню свадьбу своей старшей сестры Прасковьи. Это было в 1920 году, т.к. моя племянница Алеся родилась в 1922-м. Помню шум, весёлое застолье, музыку. Множество гостей – как-никак сестра выходила замуж за школьного учителя из богатой семьи. Венчались, дарили подарки. Отъезжая, сестра прощалась со всеми и даже целовала все иконы в доме. Сосед в роли тамады кричал: “Родной отец! Что даруешь молодой – коня, вола, золото или серебро? Подходи к столу и выкладывай!” Тут же отец дарил хлеб-соль, а мать – икону. Остальное приданое – корова, овцы, сундуки с одеждой – дарилось потом, на следующий день.

В 1928 году замуж выходила вторая моя сестра – Марфа. Всё выглядело уже иначе: венца не было (арестовали батюшку), как-то скромно, тихо. Припоминаю, тогда в школе была пяти-дневка: четыре дня учились, пятый работали – когда на фабрике, когда в колхозе. Свадьба же была в воскресенье. Вернулся домой – хата полна гостей. Все удивились, что в такой день я пошёл в школу. Но для меня школа уже тогда была дороже, чем шумное застолье с крепкой выпивкой и криками полутрезвых людей.

Помню, почему не курю. Сестра привезла из Новороссийска коробочку папирос для отца, хотя он не курил. Ей показалось, что это будет дорогим и желанным подарком в те простые вре-

мена. Ко мне пришёл друг Ефим и, увидев папиросы, говорит: “Бери пачку, пойдём в сад и всласть покурим!”

И покурили! Меня нашли еле живого под кустом и приволокли домой. Отхаживали дня два... Дело в том, что Ефим уже давно потягивал самокрутки и к этому привык, а я никогда этой гадости в рот не брал. “Всё! – сказал я себе. – Больше даже в руки не возьму!” И слово своё сдержал.

Муж сестры Никита Фёдорович Борисенко – сельский учитель, сын владельца нашего единственного магазина. Магазин этот я помню – стоял в конце села большой дом на две половины, покрашенный коричневой краской. В одной половине жила семья, в другой был магазин с прилавком и полками для продуктов. Надкрыльцом вывеска: «Бакалейная и табачная торговля». Приказчика не держали – торговали сами по очереди. Сам Никита Фёдорович закончил гимназию в Орше и работал в деревне Лютины, недалеко от Козлович. Кроме дома, семья Борисенко владела ещё и большим хутором, можно сказать, даже именем, недалеко от деревни Чарнде. Наверно, был куплен до революции на всякий случай. Об этом хуторе мне ещё придётся вспомнить, но позже.

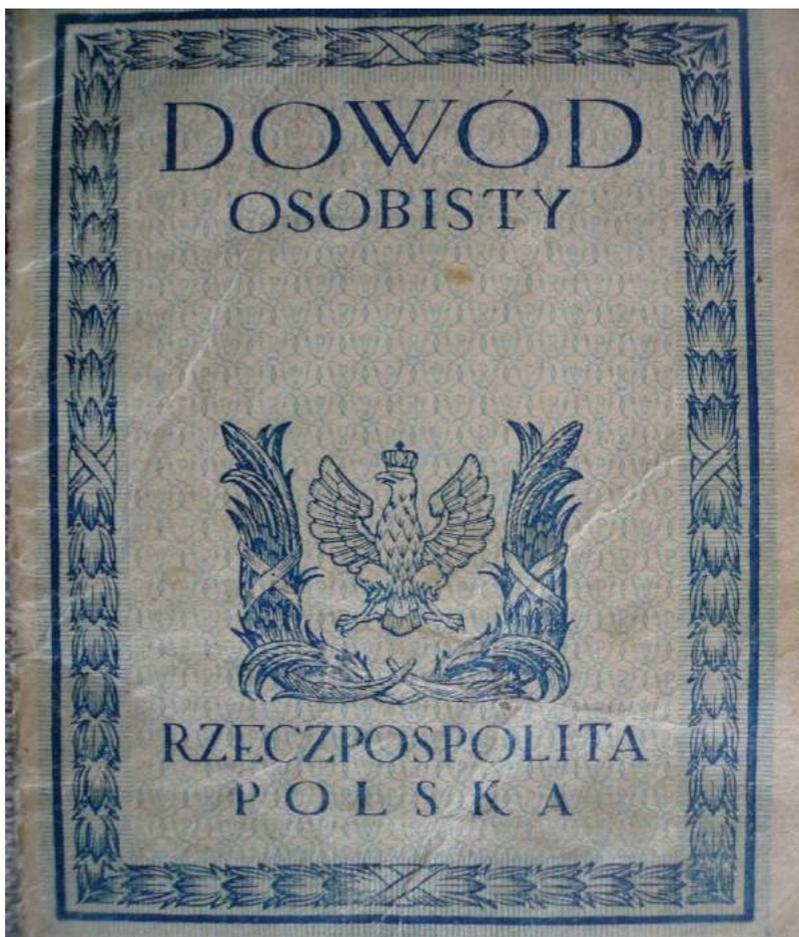
В 1933 году семья Борисенко была раскулачена и сослана на Урал. Но в ссылку отправили не всех – отца, мать и младшего брата. Старший брат Никиты уже работал инженером на Путиловском заводе в Ленинграде, но из-за своих родственников вскоре тоже был арестован. Его судьба неизвестна. Младший брат красиво рисовал. Однажды, когда мать отсутствовала, он нарисовал икону Божьей Матери и вставил рисунок в рамку вместо старой. Набожная мать целую неделю молилась и не замечала подмены. В конце концов сын не выдержал и сказал, что подменил икону. Мать испугалась и сказала всё сделать так, как было раньше, а нарисованное сжечь. Сын не согласился: “Как же сжигать образ Матери Божьей? Она такая же, как и та, что на иконе...”. Тогда отнесли рисунок к батюшке. Тот был немало удивлён качеством изображения, вертел рисунок в руках, присматривался и сказал: “Сделайте рамку, вставьте стекло и принесите в церковь на освящение. Иначе на неё молиться нельзя, так как она не каноническая”. Так и было сделано. Инцидент

уладили. Когда на Урале погиб отец Никиты (в шахте случился обвал), мать покинула младшего сына там и нелегально вернулась домой. Я в это время учился в педтехникуме и проживал в семье моей сестры на льнокомбинате. Там же Никита Фёдорович работал бухгалтером. Кажется, в 1926 г. в школах был введён белорусский язык. Белорусского он совершенно не знал и вынужден был бросить работу учителя. Талантливый, очень грамотный и коммуникабельный. Чуть позже заочно закончил московский институт и получил диплом бухгалтера.

*– Что вспоминается из тех тяжких лет? Как сказались репрессии на родных?*

Наступили тяжёлые времена. Это был повальный страх перед арестами. Я не преувеличиваю: почти каждый ждал своей участи. Сестра заранее сушила сухари из чёрного хлеба. В одну из ночей арестовали почти всё начальство льнокомбината: директора Негневицкого (почему-то запомнилась эта фамилия), инженеров, бухгалтеров, техников... Сестра посоветовала мне устроиться жить в общежитие, что я и сделал. Жил в Орше по улице Свердлова. Как раз в это тревожное время нелегально вернулась из ссылки мать Никиты Фёдоровича Анна Филимоновна. Все волновались: что делать? Обращаться в паспортный стол, в милицию было чрезвычайно опасно. Никита съездил тайком к знакомому в сельсовет, но и там никакой помощи не оказали. Тогда он срочно поехал в Москву. Там жил его родственник, бывший нэпман по фамилии Островский, каким-то чудом избежавший репрессий. Его помощь в подделке документов оказалась действительной и помогла спасти жизнь. Тем не менее тучи над головой Никиты Фёдоровича сгущались. Кто-то из близких его знакомых по работе случайно увидел у Никиты Фёдоровича польский паспорт. Тот нашёл его у моей мачехи и взял из любопытства. В своё время после смерти первого мужа она пробовала выехать в Польшу, но не успела собрать все документы. Паспорт был выписан на фамилию покойного мужа и из-за отсутствия фотографии не имел никакой силы. (В то время на польских паспортах фотографий их владельцев не было.) После

того, как паспорт случайно увидел коллега, Никита отнёс его обратно моей мачехе. Буквально через пару дней его вызвали в отдел НКВД и допросили по этому факту. Он сказал, что паспорт сжёг. Ему не поверили, и над ним нависла угроза ареста. Тогда, чтобы не мелькать в Орше, он быстро увольняется из льнокомбината и временно устраивается на винзавод в Озерцах Толочинского района, недалеко от Орши. Но, спустя пару месяцев, решил уехать с женой как можно дальше – на Алтай. После недолгих поисков устроился бухгалтером на золотые прииски. На этом предприятии не было специалиста его профиля.



Умная (как говорила моя мачеха – еврейская) голова Никиты помогла ему найти выход из сложившейся ситуации: или ждать ареста, или самим, но без конвоя, выехать в те же края самостоятельно.

На льнокомбинате сестра работала мастером чесального цеха и также постоянно боялась ареста. Она имела контакты с литовскими инженерами, устанавливавшими в цеху новую технику. Помню интересный случай. В то время в рабочих клубах часто организовывали танцы под духовой оркестр. В фойе работал буфет. Сестра достала четыре приглашения. Никита Фёдорович, моя сестра Паша (его жена), я и моя племянница Алеся направились туда. Оделись по-праздничному, т.к. там будут и танцы, и, хоть и бедненький, но буфет! В этот субботний вечер собралось много народу. Во время танцев мне приглянулась одна неместная красивая девушка в невиданном синем платье. Когда наступила пауза, я предложил ей выйти на свежий воздух, погулять. Она согласилась. Мы стали на углу. Я попробовал взять её за талию – так делали все ребята из села, а как ходили в городе, я и не знал... Девушка сразу меня поправила и сказала, что так некрасиво, а нужно брать её под руку – и показала, как это делается. Мы раза два обошли вокруг клуба. Ходили и другие парочки. Моя сестра, увидев нас, подозвала и с ужасом предупредила, чтобы я больше не подходил к этой мадам, так как она дочь литовского инженера. На этом моё знакомство с империалистическим, но таким привлекательным «западом» закончилось навсегда. Даже запомнил её имя – Стася.

В один из моих приходов к Паше случилось следующее: она отвела меня за дом и тихим голосом, оглядываясь по сторонам, прошептала, что три дня назад снова арестовали её свекровь Анну Филимоновну и посадили в Оршанскую женскую тюрьму, где раньше были Пятницкая церковь и монастырь. Паша, боясь туда наведаться, попросила меня отнести передачу. По правде сказать, я тоже здорово струхнул, но, чтобы не показаться трусом, согласился.

И вот в воскресный день на ватных от страха ногах я приближался к этому жуткому месту, которое из символа христианской веры слишком быстро превратилось в важнейший

и трагический символ новой, «свободной» коммунистической жизни.

Подхожу ко входу в Божий храм. Слева от закрытых ворот сколоченная из грубых досок будка. Из криво пропиленной квадратной дыры высовывается чья-то волосатая рука в зелёной гимнастёрке, взмахом даёт команду подходить следующему, забирает у того сумку или кулёк, снова взмах – и очередной участник этой жуткой сцены делает свой шаг. Я стал в очень тихую очередь и начал присматриваться ко всему, что было вокруг. Люди, подавляющее большинство женщины, стояли молча, но иногда всё же был слышен шёпот с безнадёжными интонациями и обращённое в никуда: “Ой, Боженька мой, она же беременная, как же так можно...”, или: “Кто бы мне сказал, когда мою выпустят, она же никому ничего плохого...”. В начале очереди стоял какой-то худой, щедедушный телом старик. В левой руке он держал красную авоську, и рука его сильно дрожала. Из-под прикрытых век тоненьким ручейком постоянно текли слёзы. Он молчал и лишь изредка издавал звуки, похожие на мычание. Я на всю оставшуюся жизнь запомнил эту кошмарную картину у входа в ад! Это, на нынешний взгляд, и были ворота в ад, и сюда, в почти поминальную очередь безнадёжности и отчаяния, людей жёстко поставила наша самая гуманная власть?! Через окно опять высунулась мохнатая смуглая рука, и сиплый прокуренный голос крикнул: “Быстрее, пацан! Быстрее!” Это уже ко мне. “Фамилия?” – рука вырвала у меня передачу и махнула следующему. Я хотел было передать какие-то слова поддержки от родственников, но меня никто не слушал. За час стояния в очереди я смог рассмотреть через решётку больших железных кованых ворот то, что делалось внутри. Там, кто под деревом, кто просто на траве или на каких-то старых матрацах и одеялах, сидели, лежали и полулежали десятки разного возраста и вида женщин. Они со слезами, но молча, также смотрели на нас, но ни подойти, ни что-то сказать не могли. Между ними и воротами редкой цепью стояли с оружием какие-то смуглые солдаты с грозными восточными лицами, и, если кто-то начинал даже шевелиться или не дай Бог вставать, «монгол» тут же подскакивал и сильно толкал женщину прямо в грудь прикладом

или рукой. Те даже не сопротивлялись и не кричали, понимая, что это их последние деньки. На меня сквозь эту решётку смотрели наполненные слезами и страхом смерти очень разные красивые женские глаза. В них ещё было что-то такое, что ни описать, ни понять я не мог, да и сейчас не могу. В них было всё – их мир, их дом, детки, мычащая корова и жеребёнок, хрюканье в хлеву... Одинокий муж на фоне заходящего за горизонт солнца... Но жизни в этих глазах уже не было... Где-то через неделю все они пропали. Исчезла и будка, и вся охрана. Раскрытыми настезь остались и ворота, и дверь в некогда православный храм. Только слухи: вывезли, но недалеко, куда-то за Оршу, ближе к матушке России, то ли под Смоленск, то ли недалеко в нашем лесу...

Что-то подталкивало меня, и однажды я решился зайти в эту церковь. Там уже не было ни служб, ни тех, кто их отправлял. Но на стенах и над алтарём ещё висели иконы святых (молитесь, мол, теперь сколько хотите...), стены молчали, только холодный сквозняк шевелил длинный шест, на котором когда-то висели свечи в подсвечниках. Через несколько дней сожгли и иконы, и всё, что могло гореть в яростном пламени борьбы за нового советского человека.

*– Что ты, с учётом приобретённого жизненного опыта, думаешь теперь насчёт издевательств, унижений, пыток и расстрелов невинных людей в то время? Что же это было и зачем?*

Следует добавить, что, исходя из своего опыта и полученных в жизни знаний, стало понятно, что размах агентурно-оперативной шизофрении у карательных органов того времени (20–30-е годы) был такой, что, кажется, он вышел за рамки не только разумного, но и неразумного, а сами они и всё нарастающие поиски врагов были закручены в огромную спираль, описывавшую бесконечные круги и втягивавшую в свою бездонную чёрную дыру всё большее количество людей. Как-будто мотор великой державы начал работать вразнос! Сам по себе! Всё, что не укладывалось в постоянно меняющиеся законы и внутренние

чекистские инструкции, многократно субъективно усиленные разными ведомственными приказами, бралось за аксиому, ну а её, как вы знаете, никому и никогда доказывать не нужно! Но этих же «активистов-исполнителей», знаменитые «двойки», «тройки» тоже периодически, как и всю карательную систему, «ператраховывали». Но ласковой, оглядываясь по сторонам, – некоторых приносили в жертву, объясняя должностные преступления персональной жадой крови или принадлежностью к какой-нибудь враждебной организации – троцкистам, центристам, сионистам, заговорщикам, кое-кого срочно объявляли шпионами мирового империализма, большинство же отделялись длительными и не очень поездками в Сибирь, работой другого профиля – в лагерях, пересыльных пунктах, в охране. Потом снова повышали, выдвигали, укрепляли и ставили на центральные посты НКВД. Затем опять чистка собственных рядов... и расстрелы невинных людей, аресты, ссылки, пытки, фальсификация в угоду кремлёвским властям и на местах – местному партийному аппарату. Главное же – вся страна и её институты, особенно карательные, беспрекословно двигались в русле, указанном Сталиным, величайшим человеконенавистником, садистом и палачом. Он лично вертел по своей прихоти колесо российской истории, воображая, что только кровью и расстрелами можно воспитать новых людей. Колесо это, казалось, будет вертеться бесконечно, затрагивая и наше время.

До войны Никита Фёдорович работал на приисках «Базан» Алтайского края, также бухгалтером. Жили они там неплохо. Получали к деньгам даже какие-то боны. Сестра держала корову, нигде не работала. Племянница отучилась сначала в школе, потом закончила в Новосибирске мединститут. После войны, много лет спустя, семья Борисенко очутилась под Москвой, в Раменском. Тут Министерство цветной металлургии построило дом для своего ветерана труда перед его выходом на пенсию. Он приезжал к нам в Минск в 1955 году, и мы тогда успели поговорить с ним обо всём. Сестра Паша также посетила нас, когда мы жили на улице Мясникова. Это были последние встречи с моими воспитателями и родственниками. Их отношение ко мне

в те тяжёлые времена всегда искренним, отеческим, они делились всем, что было в их семье.

Теперь в их доме проживает моя племянница Александра (она же Алеся) Никитовна Лебедева. Также приезжала к нам в 1984 году.

Хочу отметить для любопытства, как жил сельский школьный учитель в старые времена. Об этом нам рассказывали сестра и её муж. Учителем он недолго – приблизительно с 1913 по 1926 год. Проживали в своём доме на берегу речушки Клобик, недалеко от имения барона фон Корфа в Липках. Имели большой огород, держали корову, свиней, гусей, кур... В доме были граммофон, швейная машинка, напольные часы, шкаф, сундуки для белья и для инструментов. Всё это было выписано в своё время из Германии. Из семейных драгоценностей (мне, ребёнку, давали с ними поиграть) – два золотых креста с цепочками, два обручальных кольца, маленькая золотая ложечка, серебряный столовый набор на 6 персон, а также старательно сохраняемые, так говорила сестра, 24 золотых монетки царской чеканки. Зарплата учителя до революции была 35 рублей в месяц. Для сравнения: сельский священник имел годовой оклад 600 рублей, земский врач – также 600 рублей. В тяжелое время сестра отнесла в Торгсин две цепочки и получила взамен четыре пуда пшеничной муки. Торгсин – это аббревиатура\*. Обозначает – «торговля с иностранцами». Я даже помню, где был в Орше этот магазин. Там было почти всё, но не за деньги, а за золото или серебро. Советская страна должна была выполнять планы первой пятилетки, своих денег не хватало, а капиталисты не давали нам никаких кредитов.

Старая мать моего шурина не поехала на Алтай, а осталась в Орше, где работала по найму нянькой в разных семьях. Однажды я её встретил возле Ильинской церкви. Она обрадовалась. Разговорились. Анна Филимоновна в конце встречи сказала, что, когда я женюсь и у меня появятся дети, то она с удовольствием приедет нам помогать. Так и получилось. В 1939–1941 гг. она нянчила нашего первенца Славика. Умерла в доме престарелых в Бабиницах под Оршей, где и похоронена. Последний раз я её

видел в 1953 году, когда ездил на похороны моей сестры Ефросиньи.

В период оккупации Анна Филимоновна, не зная ни слова по-немецки, каким-то образом смогла вернуть свой хутор возле Черно́ва. Как она смогла убедить немцев, что это её собственность, не знаю. Но недолго тешилась счастьем владения. Сбежала куда-то, как только вернулись наши. Верующая, очень набожная женщина, основным багажом которой были иконка, крестик и Евангелие, прожила длинную и пёструю жизнь и закончила свой век в 90 лет. “Царство ей небесное!” – говорят в таких случаях.

Кажется, я что-то забыл? Вот что. Мой шурин хорошо играл на скрипке и гитаре. Столярничал. Несколько раз семья Борисенко приезжала в гости. Мой отец был не совсем доволен. Сестра привозила с собой, кроме двоих детей, ещё и няньку, взятую из детского приюта. Но в хате было весело! Никита Фёдорович, чуть выпив крепкой самогонки, брал гитару и начинал:

Раз купил мне барин чаю  
И велел его сварить,  
А я от роду не знаю,  
Как проклятый чай варить.

Насыпал черпаком в кипяток перца, добавлял туда чеснок, лук, соль, горчицу и пел дальше:

Чай готов: извольте кушать!  
Снял я с барина пальто...

Дальше слов не помню. Однажды утром сестра, ещё не заплетая косы, в каком-то длинном халате, закужилась по комнате и запела в темпе вальса:

Разбил моё сердце сапожник  
И душу загнал под каблук...

Старший брат Ваня сразу же перевёл две строчки на белорусский язык. Это было время первых шагов белорусизации в двадцатые годы. И сам пропел:

Краўцы маё сэрца разбілі,  
Загналі душу пад абцас.

Все смеялись. Белорусский язык вызвал интерес. Привезённая сестрой няня учила нас петь также что-то своё. Кое-что запомнилось:

На стене часы висели –  
Тараканы стрелки съели,  
Мыши гири оборвали,  
И часы ходить не стали...

Я очень благодарен шурину и сестре за помощь и поддержку в сложные годы моего студенческого житья. Помогали, конечно, и мои родители – отец привозил к сестре картошку, муку, крупы. На выходные дни я иногда добирался пешком до Козловичских хуторов, а это приблизительно 20 км от Орши. Мне давали то, что было дома, – бельё, хлеб, иногда сало, банку солёного масла... В то время у всех студентов и рабочих было по одному выходному дню. После лекций в субботу к родителям приходил поздно вечером, часам к 9–10-ти. А назавтра после обеда отправлялся в обратную дорогу. Однажды осенью, в октябре или ноябре, меня застал в дороге сильный дождь – промок до нитки. Дрожу как осиновый лист. С одежды течёт. Сначала залез в стог сена – думал, согреюсь, но дрожь пробирала всё сильнее и сильнее. Инстинкт самосохранения подсказал: нужно что-то предпринять. Простыну и заболēju. Я вылез – было уже темно. Увидел огонёк и побежал туда. Зашёл в сени, стою, дрожу. Вода течёт ручьём. Темно. “Кто там?” – с печки слезла старая женщина. Сначала испугалась, но, рассмотрев меня при свете лампы, покормила и велела лезть на печку. Одежду раскинула на длин-

ном шесте. Часа через три всё высохло. Я согрелся и заснул, а утром вовремя был на занятиях.

Пришла очередь рассказать и про третью сестру – Машу. Родилась она в 1902 году. Знала множество песен. Возилась то с сонником, то с песенником. Трудолюбивая. Старший брат прозвал её почему-то Марфой-посадницей\*, но она не обижалась. Её муж Тимофей Шевелёв, сын бывшего панского лесничего – владельца лесных массивов на Оршанщине – Станок и Лучки, ранее принадлежавших барону. Жил в имении Липки, километра три от Яковлевич, в большом казённом доме. Потом построили свой. Местность прекрасная – речка с болотцем и родниками, старинный парк с аллеями, холмы, берёзовая роща. Прямо как на картинах И. Левитана\*. Шурин держал кроликов. Но росли они не в клетках, а просто бегали где хотели в пределах большого огороженного луга с кустами, водой и всякими растениями. Там было много капусты, и они постоянно трещали листьями, надувая щёки и набирая вес. Держали корову. Власти сначала выслали семью отца шурина, а потом взялись и за его сыновей. Вот так сестра Маша очутилась в Сибири, где и умерла от сильной простуды, работая штукатуром. Место неизвестно. Последний раз видел её в 1953 году. У них был один сын Михаил. Тимофей был человеком грамотным, всё время читал какие-то книжки. Какое-то время работал на фабрике по производству сукна в Яковлевичах-первых. Ходили слухи, что кто-то видел Шевелёва во время войны на оккупированной территории. Что он там делал и как очутился – неизвестно.

Понятно, что в большой семье не всё шло гладко. Были трудности, неполадки, ссоры. Не все приняли мачеху дружелюбно. И если сёстры больше молчали и не проявляли себя, то старший брат Иван свою неприязнь к мачехе выказывал на каждом шагу. Никак не называл, не обращался с просьбами – просто игнорировал. За столом сидел молча и стремился поскорее покинуть совместный обед или ужин. Избалованный был. Первый сынок у отца. Когда он появился на свет, то родители справили ему такие крестины, что все соседи удивились. Работать не принуждали, пасти коров и овец рано не будили. Вырос Ваня сторонящимся любого монотонного труда. Предпочитал

делать только то, что ему нравилось. В этом он был отменный умелец – шил обувь, столярничал, сделал себе верстак, по желанию сестёр сделал им сундуки для приданого, шкатулки, делал чемоданы, баулы. Пробовал построить аэросани. В то время они как раз входили в моду. Конечно, мотора у него не было, но он надеялся использовать силу ветра. «Конфисковал» у сестёр несколько простыней для паруса, сделал раму, сиденье, прикрепил лыжи... Помогал ли отцу? Это зависело от настроения. Любил красиво одеться и погулять. Окончил начальную школу на «отлично», но дальше учиться не захотел. Служил в кавалерии. Много читал. Откуда-то приносил домой разные интересные книжки, которые давал читать и мне. Помню – «Бедные люди», «Чёрная магия», «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Тихий Дон» Шолохова. Не жалел он и отцовских денег и при удобном случае покупал на них то часы-ходики в дом, то какой-то календарь, для меня купил азбуку на картонке и повесил её на печь. Вообще-то он мне помогал: покупал краски, тетради, пенал, иногда и учебники...

Однажды отец нанял портных пошить двум старшим сыновьям чёрные френчи, брюки и полушубки. Специалисты работали у нас дома целых две недели. Шили руками. Ивану не понравились прорезные карманы – подавай ему накладные, на английский манер?! Портные не умели это делать. Тогда он пошил френч сам и к нему брюки-галифе с подтяжками. Тимофею же пошили обычную одежду. Один раз отец направил Ивана в город продать зерно – для чего-то срочно понадобились деньги. Он его продал и... купил ведро мёда! А что, почему не полакомиться сладким? Отец был очень недоволен. Иван был видным парнем, привлекательным. Три года гулял с одной девушкой, а женился на вдове – женщине, у которой недавно умер муж. После его женитьбы отец поставил ему дом – переделали относительно новое гумно в жилое помещение. Дом поставили возле пруда, между берёзками и ольхой. Живи, сынок! Жена привела корову, её отец дал ещё жеребёнка, пару овец, свиней. Ещё в 1925 году Иван читал в церкви Апостола\*перед Пасхой, но очень быстро при новых властях стал яростным атеистом – прилюдно ругал попов, на собрании выступал за

закрытие храма в Козловичах. Метаморфоза, приспособленчество – или желание выжить, хитрость? Трудно выделить что-то одно, наверное, в его характере было всего понемножку. Не приспособившись к самостоятельной жизни и при новых властях, мой брат Иван где-то в 1930 году покинул Беларусь и поехал искать лучшей жизни на Северном Кавказе. Там и умерла его жена Елизавета Владимировна, оставив двоих детей. Первый, Валентин, родился у них ещё в Козловичах, и брат захотел его покрестить. Хотели взять меня за крёстного, но он сам не посоветовал – сказал, что за исполнение религиозных обрядов могу пострадать – могут выгнать из школы. Тогда я был в 7 классе. Последний раз я видел Ваню в 1930 году. До войны была кое-какая переписка.

Мой третий брат Тимофей, 1908 г. р. Настоящий труженик и первый помощник отцу. Трудиться начал с раннего детства. Водил коней в ночное, пас коров, рано вставал, поздно ложился. Не боялся никакой работы. Учился, правда, недолго – всего три года. Тима был полной противоположностью старшего брата. Курил. Ваня не курил. А уже лошади – это его стихия! На одной сидит верхом, два коня по сторонам – и так лихо ими управляет, словно на арене цирка. Тихой езды не понимал. Один год Тима уговорил отца оставить на развод годовалого жеребёнка. Отец согласился. Со временем вырос стройный сильный жеребец. На нём не работали и не запрягали. Он был предназначен для племенного развода. Но через пару лет его продали – возникли очередные трудности с кормами. Лишняя скотина в хозяйстве тоже лишние затраты. С этим славным жеребцом связаны два нехороших случая: как-то он сильно укусил меня за ногу и, что гораздо хуже, – убил соседского мальчика. Дело было под вечер. Тимка вёл коней на ночлег. Дорога проходила мимо усадьбы Шинкарёвых. Два подростка – мой друг Ефим и его брат задумали испугать лошадей. Один из них с головой накрылся кожухом с вывернутым наружу мехом и, когда лошади поровнялись с кустами, выскочил из них и бросился под ноги жеребцу. Тот испугался, круто отпрыгнул в сторону, но успел ударить копытом мальчика в голову. Удар был очень сильный – брат моего друга скончался на месте, через большую трещину хлестала кровь.

Родители погибшего видели через окно всю эту жуткую сцену и виноватых не искали. Так детская глупая шутка стояла подростку жизни. Случилось же в селе и ещё одно памятное и страшное событие...

### *Жуткий урок*

*Шумная кучка детей выкатилась из школы и с криками начала усаживаться в сани. Буйная кобыла косилась на всё это безобразие и нервно перебирала ногами. Ездовым был Левон Ревенков, живший с двумя братьями в скособоченной хатке на краю болотистого ручейка. У этой постройки даже не было дверей. На зиму часть плетня заполнялась еловыми лапками, тростником и просто прислонялась к косяку. Он кое-как содержал кобылу и зарабатывал минимум на жизнь, время от времени занимаясь частным извозом. Зимой его нанимали за деньги или за зерно соседи по хутору для доставки детей в школу в Яковлевичи, что в трёх верстах. После работы он с воплями и плясками пропивал всё с братьями и ждал нового приглашения. Левон прикрикнул на шумевших детей, тронул вожжи, и сани, скрипя по крупчатому январскому снегу, поползли в сторону фабрики барона фон Корфа. Потом через мосток возле мельницы с обледенелым колесом, чуть в гору и дальше в сторону черневшего на горизонте леса.*

*Тёмное небесное покрывало быстро опускалось на зимний пейзаж, заглушая вечерние краски и редкие звуки, ещё долетавшие от удалявшихся Яковлевичей. Мороз начал пробирать неподвижную ватагу, и дети потеснее прижимались друг к другу, сохраняя остатки школьного тепла. Все молчали, всматриваясь в густую темноту обступившего их леса.*

*Ефимка зашептал на ухо Василию: „Посмотри назад. Видишь огоньки недалеко? Что это, как ты думаешь?“*

*– Как что? От Яковлевич-то мы отъехали недалеко. Где-то в окнах и светится...*

*– А я знаю, что никакие это не окна. Это волки. Глаза у них по ночам, как мне папа говорил, начинают светиться.*

– Не пугай ты меня. Никаких волков здесь нет. Они, мне мой папа тоже говорил, живут за большим лесом, а к этой дороге не подходят.

– Да что твой, он ни разу на охоте не был. Вот мой – настоящий охотник...

– Ну и что, что на охоте не был? Не любит он просто так убивать животных, пусть себе и волки будут. Зверство это. Как у диких людей. Твой – живодёр, а мой – нет. Я-то видел, с каким остервенелым лицом твой свиней колот, даже с наслаждением...

– Э-э-э, ерунду говоришь. Боязливый твой, все боязливые так говорят, а мой – настоящий герой, потому что мужик...

– Не боязливый он, а в Бога верит. Не хочет никакой крови лишней. Вот в чём дело, а ты про боязливость. Разные люди есть, потому это и хорошо, что разные. Есть и злые, вот Левон, некоторые из них и пьяницы. К ихнему плетню даже не подойдёшь. Сразу, как те собаки, лаяться начинают. Другие же и яблок дадут, а то и белого хлеба когда... А ты так про моего отца...

– Ладно, не обижайся. Говорят разное, а потом ещё и завидуют. Твой же и в Америку ездил, зарабатывал там... Понимаю теперь, откуда у вас и жатка, и сеялка.

– Он там почти год работал и смог заработать – на нашу пристройку к дому, конную жатку и на сеялку также. Ещё мамке швейную машинку купил, но жаль, что она так и не успела на ней... А жатку и сеялку уже советы отобрали, так что не завидуй. Машинка осталась, а мамки нету...

– Да ты извини... Это я не со зла.

Друзья замолчали. Горечь главной потери снова подступила к горлу Василька, из глаз скатилась первая слезинка, потом ВТО-рая... Он еле смог сдержать нахлынувшие воспоминания. Он слабо помнил свою маму, только её ласковые руки, ровный голос и длинные русые волосы, которыми он так любил играть. Что ж запомнишь в три года? Общее ощущение родного тепла и жуткую боль в тот последний день...

– Смотри, огоньки уже ближе к нам! Во, слева от дороги! Это точно волки! Что же делать?!

*Ефимка не успел договорить, как кобыла рванула вперёд, а дремавший Антоша едва не выпал в снег.*

*– Держитесь за сани! Все! И один за другого! Ой, беда! Зима суровая выпала, да и зверей в лесу после того, как красные его вырубил, не стало. Вот они и разгулялись. Держитесь, мать вашу разэтак...! Но, но, милая!*

*Сани бросало из стороны в сторону – колея была извилистая и местами сползала до самого края дороги. Опытная кобыла, наверно, уже не один раз встречалась с зубастыми хищниками и сразу среагировала на опасность. Но блестящих глаз становилось всё больше и больше, и уже не только с одной стороны. Казалось, они начали окружать сани... Ездовой стеганул пугой и громко взмолился: «Родная, давай, не подведи! Боженька, помоги хоть к густому лесу добраться, там хоть деревьев погуще...».*

*Плотный лес неожиданно поднялся чёрной стеной, и сани с писком въехали под его крышу. Вдруг правый полоз наткнулся то ли на пенёк, то ли на корень – сани подпрыгнули и кто-то с криком выпал из них... Кобыла помчалась изо всех своих сил, спасая и свою жизнь, и жизни седоков...*

*Сзади тёмное небо прорезал животный визг, слова ещё какие-то – и всё затихло... Жуткие светлячки исчезли.*

*Все оцепенели и утратили речь. Как только миновали рошу, выяснилось, что из саней выпал Антон, ученик 3 класса, сосед Васи. Их дома стояли рядом. В семье было двое детей – сестра постарше и он.*

*Жуткий урок! Он оставил в памяти Василька глубокий след и, может быть, отчасти послужил формированию в характере осторожности и предусмотрительности. Потом он частенько в сложных ситуациях говорил : „Никогда не торопись! Никогда не лезь, как говорят, в дырку!“*

*К сожалению, у брата Тимы рано проявились другие склонности – любовь к спиртному. Идя на танцы в соседнюю деревню, он брал с собой фляжку самогонки – удобно держать в кармане плоскую посудину. Там выходил в коридор и подкреплял свои эмоции очередной дозой алкоголя. Оправдываясь, говорил: не могу подойти к девушке, стесняюсь, если чуток не выпью. Од-*

нажды отец отпустил его на работу в Оршу – заработать на новые сапоги и костюм. Работал он на строительстве большого моста через Днепр. Приехал домой весёлый, радостный и привёз огромную бутылку водки. Такой огромной посуды я никогда не видел. Все удивились покупке, а отец был очень недоволен, хотя ему, как всегда, всё сошло с рук. Наверное, деревенскому парню казалось, что нет в мире ничего более драгоценного, чем водка. Вся жизнь брат прожил в Яковлевичах-первых, где работал в колхозе конюхом. Его жена Екатерина Сидоровна – хуторская девушка из села Леща. Детей не было. Последний раз встречался с ними в 1953 году на похоронах нашей сестры Ефросиньи. К концу жизни брат был тяжело больным человеком и почти утратил способность ходить. По своему участку и огороду ползал на коленях. Его судьбу не назовёшь лёгкой и радостной. Со временем начал злоупотреблять алкоголем и его жена. Оба умерли в бедности и одиночестве где-то в середине 90-х. Кстати, в начале 90-ых наш сын Олег вместе с супругой Наташей ездили на мою родину и посетили также брата Тимофея. Он уже не мог ходить, а только выползал на коленках во двор собственного дома.

На шестое место по возрасту ставлю мою сестру Ефросинью Кузьминичну Семашко (Михалочкину). Дважды была замужем. Родилась она в 1914 году. Весёлая и активная девушка. Самая талантливая на хуторах в пении частушек. Вечерами её голос был слышен издали. На выпасе коров она что-то вязала или вышивала и пела. Некоторые её припевки я запомнил.

Вот одна песня из её репертуара:

Зачем ты, мать моя родная,  
Родила ты меня на свет?  
Зачем, судьбину проклиная,  
Должна я мучиться весь век?  
Лежишь в гробу теперь спокойно,  
Не слышишь больше ничего.  
Услышь же, мать, как сердцу больно,  
Как больно сердцу моему...



*Чудом сохранившийся дом Тимофея и Екатерины Ковалёвых,  
пос. Яковлевичи.*

В содержании явно чувствуется доля сироты. Или вот ещё:

Хорошая я хороша, да плохо одета.  
Никто замуж не берёт девицу за это.  
Я с тринадцати годков по людям ходила,  
Где качала я детей, где коров доила.  
Пойду с горя в монастырь, Богу помолюся,  
Пред иконою святой слезами зальюся...

От такой песни и в самом деле хочется заплакать.

Однажды на каникулах я приехал из Орши. Пришёл, как обычно, на сельскую вечеринку. Вдруг там услышал, как девчата поют частушки. У меня аж мороз по телу: это же был 1937 год! А моя сестра вытягивает как можно громче:

Сила ломит и железо, надорвёшься – будет брак.  
Я в стахановцы не лезу, потому что не дурак.  
Как у наших у ворот, у нашей калитки  
Повесился комсомолец на суровой нитке...

Я как мог строже и доходчивей объяснил девушкам, что не нужно петь такие частушки – это очень опасно при нашем социалистическом строе. И от себя добавил, что их сочиняют явно враги, чтобы очернить нашу молодёжь и наше стахановское\* движение. Такое категорически исполнять нельзя! Что вы думаете? Подействовало!

Прося – прекрасная работница, рукодельница, помощница мачехе, всегда жизнерадостная и активная. Прекрасно танцевала. Красивая, лицом похожа на свою мать. К сожалению, во время её молодости (1931–1940 гг.) отец жил уже очень скромно, даже бедно. Работал в колхозе за «палочки» и не получал ничего. Время было тяжкое, тревожное и голодное. Голод на Украине сказался и у нас. Держать позволялось только одну корову и свинью. А работать больше было некому – дети мачехи ещё не выросли. Ефросинья пробовала работать в колхозе, но могла заработать только на хлеб. Отец часто жаловался, что три старших дочери и два сына фактически разрушили его хозяйство, не привнося ничего. А каждому нужно было что-то дать – дочерям приданое, сыновьям – построить дома да помочь купить коня. Ефросинья даже не имела относительно нормальных условий жизни, которые были у старших детей. Скромно одетая, притихшая, она долго ждала своего счастья. Говорила с болью в сердце, что парни не замечают её, хотя сёстры были нарасхват. Но 24-летней всё же вышла замуж за директора совхоза – вдовца с тремя дочками: Надеждой – 1928, Лидией – 1932 и Валентиной – 1933 г. р. Воспитывала как своих родных. Падчерица моей сестры Валентина Митрофановна Черникова сейчас живёт в

Минске и с теплотой вспоминает свою вторую мать. В 1937 году родился сын Эдуард (к несчастью, утонул в Днепре). Не успела вырастить сына, как мужа забрали в армию – началась финская кампания\*. Ещё были дети Александр и Клавдия (1939 и 1941 г. р.) – значит, Семашко мог быть призван в 1940 году. Там, в снегах Суоми\*, он и погиб. Осталась моя сестра с шестью детьми разного возраста. Но самое большое горе свалилось на её семью во время войны. Немцы вывезли её на принудительные работы вместе со всеми детьми. Я писал по просьбе Валентины Митрофановны письма в Германию, чтобы получить подтверждение, что сестра и её дети находились именно там. Сейчас моя племянница имеет на руках документы, свидетельствующие, что она являлась несовершеннолетним узником фашистского рейха и имеет право на определённые льготы. В городе Гамборне сестра похоронила свою маленькую Клаву. Но что-то подействовало – оттуда пришло письмо с уведомлением, где похоронена девочка с указанием места и номера могилы. У немцев порядок – всё и все под номерами, правда, чаще могилки. Остальные после победы вернулись домой. Сестра работала в совхозе «Баби-ничи» недалеко от Орши. Там и умерла от туберкулёза в 1953 году, начавшегося ещё в плену. Её дети выросли и проживают сейчас кто где: Надежда – в совхозе «Большевик», Александр – в рыбхозе, в посёлке Волма. Сын сестры Ефросиньи – главный инженер в совхозе «Волма», его жена акушерка, У них трое детей – Галя, Марина и Олег.

Перед тем, как перейти к собственной биографии, расскажу об отцовском гнезде, теперь уже исчезнувшем полностью. (Помните, как у Я. Коласа – пьеса „Раскіданае гняздо«?)

Хуторский массив Читовые, или Чатовые, – странное название, может быть, от слова «чётный»? Размещался за два километра на юг от села Козловичи. Село – приблизительно дворов двадцать, беспорядочно разбросанных в треугольнике между полями, болотцем и ручьём. Где-то в центре этого поселения и находился хутор моих родителей. Поскольку это название – Читовые – было не совсем понятное, то неофициально наш хутор называли Зелёный Гай\*. На это была причина: отец не смог освоить большой дополнительный земельный участок (гектара

три), и почти забросил его. Так он и остался, зарастая молодым лесом, чему мы все были очень рады – с левой стороны болото, вокруг густые заросли кустов, ольхи, подальше орешник, рябина, на сухих местах росли грибы – рыжики, волнушки, лисички... Возле нашей рощи чуть позже построили вторую, более просторную баню.

В царской России с 1906 по 1917 год проводилась земельная реформа, получившая название по фамилии её инициатора П.А. Столыпина (1862–1911), министра внутренних дел и одновременно Председателя Совета Министров России. К сожалению, реформу большевики не приняли. Её сущность: крестьянам было позволено выходить из сельской общины и, получив землю в постоянное владение, переселяться на хутора. Царское правительство выдавало существенные кредиты для строительства дома, хозяйственных построек, покупку основных орудий труда, а также для приобретения дополнительных земельных площадей. Для финансирования этого проекта был создан Земельный банк. Отец обратился туда с просьбой о ссуде и прикупил ещё три гектара земли. Это было урочище Принцево в километре от нашего хутора. Участок в три гектара земли и полтора гектара леса – сосновый бор и рядом ещё полузаросшее болото. В связи с этим вспомнилось выражение В.Ленина о реформах Столыпина, где он с опаской говорит, что (здесь только суть высказывания), если дать реформам состояться, то пролетарская революция не произойдёт!

Один мудрый и богатый человек из наших соседей, предчувствуя последствия этой революции, распродал всю землю – более 100 гектаров, оставив себе только огород и сад. Наша земля упиралась в его забор, и мы, дети, иногда пролезали сквозь дырки, чтобы посмотреть на удивительный памятник с изображением человека на постаменте. Тут был похоронен сын землевладельца – подросток, страдавший падучей, иначе – эпилепсией. Кто-то посоветовал отцу внезапно испугать больного мальчика: мол, тогда от неожиданности он может стать здоровым. Выбить клин клином. И когда юноша читал в саду книжку, отец подкрался сзади и выстрелил у него почти над ухом. Сын его тут же и умер, как говорили, от разрыва сердца. На памят-

нике было что-то написано латинскими буквами. Спустя несколько лет, уже будучи студентом педтехникума, я снова очутился в этом саду и смог прочесть тревожившую меня надпись «Letum non omnia finit!» (Со смертью не всё кончается).

Десятина земли – 1 га (1,092 десятины) стоила в то время 100 рублей. Отец думал, что после возвращения со службы брата Анисима им двоим будет мало 12 гектаров, полученных от государства при выходе на хутора. Отец мечтал купить ещё три гектара на долю брата, но помешала революция.

Год 1931-й. На наших хуторах создаётся колхоз имени Гея\*. Отец не колебался и не сопротивлялся: в числе первых понял, что никакое сопротивление не имеет смысла – ты один против государственного аппарата. Сдал всё, что требовали: двух лошадей, одну корову, тёлку, разобрали также на дрова для колхозной конторы сеновал и гумно. Потом загребли почти весь сельхоз-инвентарь и сечкарню. Остались только малые ручные жернова, стоявшие в коридоре, – на них мололи зерно на муку для личного пользования. Позже, когда обстановка вновь накалилась и власти стали ещё больше зверствовать по причине сплошных неудач на ниве упорногостроительства социализма на селе, эти жернова были разбиты вдребезги каким-то ярым противником «старого порядка». Как так – колхозник и владеет почти настоящей мельницей?! Даже такая ручная мельница из двух круглых камней с дыркой посередине не должна была создавать иллюзию собственности у члена колхоза! Вот тут-то и наступают «настоящие» перемены – от старой к «новой» жизни – бедность и разруха, разочарование, неуверенность, страх, чтобы не стало ещё хуже.

Отцу уже под шестьдесят. Дети от второй жены ещё маленькие, а из мачехи какой работник? В колхоз она ходила редко. Там постоянно трудился только отец. Помнится одна деталь. Первый год колхозной жизни был неплохим: осенью отец получил колхозный паёк на себя и на всех детей, как говорят, на иждивенцев. Это его обрадовало. Говорил мне, студенту: „Если так будет и дальше, то жить можно и в колхозе!“ К сожалению, так не случилось. Все последующие годы в колхозах на детей и стариков зерна больше не выдавали, а только на тех, кто работал.

Трудодень в именных списках обозначался палочкой. Но со временем перестали давать и за палочки. Бухгалтерия была странная – подсчитывали что-то усреднённое по всем работникам и потом делили на рабочие дни. Получалось намного меньше, чем при индивидуальном подсчёте. Тут-то и появилось издевательское, горькое выражение: работать за «палочки». Урожаи стали низкими. Труд постепенно становился подневольным и принудительным – никто из местных властей не хотел учитывать ни возраст, ни семейное положение, ни случившиеся болезни. Заболел – сам виноват, за эти дни ничего не получишь. После сбора урожая зерновых план был таков: сдать государству (помните, «первая заповедь»?), оплатить натурой за услуги МТС (машинно-тракторная станция – колхозам не разрешалось иметь свою технику), засыпать семенной фонд. Последнее было почти святым и сверхобязательным делом всех хозяйств: план должен быть выполнен под страхом грозных санкций, вплоть до ареста председателя колхоза или совхоза. На семенной фонд зерна часто не хватало. Изредка помогало государство – откуда-то привозили дополнительное зерно, но чаще принуждали самих же крестьян пополнять бесплатно зерновые запасы. А уже делить на трудодни ничего не оставалось! Были и годы, когда на трудодень выпадало по 200 грамм третьесортного зерна после сортировки урожая. Например, отец зарабатывал в год 200 трудодней (зимой работы было очень мало). Ему насчитывали за это 40 кг – заработок, скажем, мизерный на большую семью. Учтите, что колхозная мельница не брала деньгами за помол для крестьян, а только натурой – «гарцами». Гарнец – это старая мера сыпучих, равная 3,28 литра. Так вот: крестьянин привозил на мельницу мешочек или два ржи (пшеницу и ячмень в частное хозяйство не выдавали!), а ему говорят: с вас ещё возьмём гарцевый сбор – один гарнец с пуда. Если таких мешков (из собственного хозяйства) раньше было десять–двенадцать, то остаток на зиму был неплохой. Именно такое количество зерна в дореволюционное время отец возил на эту мельницу, а при советах получалось только два или три, максимум четыре мешка! При таких условиях индивидуальное хозяйство стало быстро хиреть. По правде говоря, уже никакого

крепкого прежнего хозяйства и не было – одна корова, свинья с поросятами и куры. Держать овец, гусей и уток запрещалось по уставу этой сельхозарттели (что-то вроде общественного договора, навязанного государством).

Отец болезненно переживал за такое своё положение как хозяина. Неоднократно говорил, что ему стыдно перед детьми, и в итоге решил поискать лучшего счастья. Поехал в 1940 году на Украину за советом к брату Анисиму. Я в то время был курсантом Могилёвского военного пехотного училища. На обратном пути он заехал ко мне. Командир батальона выдал мне увольнительную на целый день. Мы ходили по городу, побывали в столовой, отец показал мне бывшее архиерейское подворье, дом губернатора, место, откуда он призывался в армию. Что-то недосказанное, даже тревожное висело в воздухе, разговор двух близких людей по какой-то причине не очень получался. Ходить-то мы ходили, а интересной темы для беседы не находилось – слишком много нового, непонятного, да и жуткого появилось в нашей жизни. Люди даже на улицах боялись разговаривать, боялись появления любого человека в их доме, будь то сосед или бывший знакомый. Под их лицом, вернее, личиной, уже мог быть сексот НКВД. А при далёкой родне вообще рот держали закрытым и ограничивались общими, ничего не значащими фразами. При вопросе: „Как живёте?“, все, перебивая друг друга, торопились заверить вопрошавшего, что дела у них идут как нельзя лучше!

Это была наша предпоследняя встреча с отцом. Последняя случилась уже после войны. Отец тогда сказал, что переезжает, но не на Украину к брату, а на Северный Кавказ, в село Благодарное. У него была какая-то рекомендация от Анисима к знакомым. Почти сразу после приезда он начал продавать всё, что мог продать, – скот, хозяйственные принадлежности, инструменты, зерно. Наконец выехал вместе с женой и детьми по железной дороге. Позже писали, что живут намного лучше – много хлеба, пшеницы. Упоминал, что сохранность урожая оставляла желать лучшего – зерно горами лежало в хозяйственных дворах, накрытое только брезентом. Хранилищ не хватало, и оно портилось, ожидая очереди на элеватор. Мои братья работали

механизаторами и получали достаточно пшеницы. Отец подрабатывал и сторожем. Интересный случай. Во время войны немцы кратковременно были и на Ставрополье. Отец сторожил колхозный сад. Едут они на грузовике, останавливаются – и к нему. Спрашивают через переводчика: „Кому принадлежит сад?“ „Колхозу“, – отвечает отец. „Теперь он будет немецким“, – объяснил фриц. А отец, не думая: „Скоро вернутся наши и спросят с меня за этот сад“. Переводчик с трудом перевёл. Немец постоял, подумал, потом спросил, где лучшие яблоки. Сорвал, попробовал, потом набрали в сумки и уехали. Больше их отец не видел.

Белорусскую семью на Кавказе встретили дружелюбно – колхоз выделил дом, корову, помог деньгами. Мои братья закончили среднюю школу, потом какие-то курсы механизаторов и устроились в этом же колхозе. Самый старший из них, Сергей, после армии и участия в партизанском движении остался в Белоруссии, обзавёлся семьёй и проживал в посёлке Городок Глусского района. Там сейчас живут его дети и внуки – Аня, Михаил, Наташа и Николай. Один внук брата, Михаил Оленин, живёт и работает в Минске. Средний брат Яков погиб в автокатастрофе. В Благодарном проживают его родственники – мои племянники.

У отца с мачехой была ещё дочь Анна. Мы встречались после войны в городе Лида, где работала моя жена. Какое-то время она жила у нас, и мы даже готовы были её оставить на жительство – училась бы здесь, да и помогала бы нам с детьми. Но у Анны были свои планы. Она сначала уехала домой, потом очутилась с мужем в Пятигорске. Там что-то у них не заладилось с постоянной работой, и они очутились в Сибири. Сестра работала в каком-то линейном отряде по обслуживанию высоковольтных линий и, к сожалению, во время зимних холодов заблудилась и замёрзла в тайге.

Разбросала, развеяла жизнь когда-то большую нашу семью. Прошли годы. Много лет. Каждый из нас встретил свою судьбу, и не сказать, чтобы она оказалась слишком уж милостивой и счастливой! Умер отец, почила наша добрая мачеха. Поумирали все мои братья и сёстры. Их могилы разбросаны по всему свету. Остались только имена да воспоминания детства... А я пока

живу, разменял уж десятый десяток и, хоть судьба была не из лёгких, а жизнь не баловала меня, тем не менее прожил уже много, живу и надеюсь прожить ещё энное количество лет, которые мне дарует Господь!

Ну а насчёт того, что моя жена и твоя мать не позволяла мне ехать одному к своим и довольно жёстко противилась этому, то это было почему-то всегда! Почему, по какой причине? Однозначного ответа у меня нет, но я ей доверял и доверяю во всём, и она, возможно, немного авторитарно пользовалась таким доверием, мол, „я лучше знаю, что нужно, а что ненужно моему мужу...“. Я не перечил, потому как слишком много пережил, чтобы спорить по мелочам, да так и спокойнее. Знаю, сын, что ты имеешь в виду, но вот тебе такой мой ответ...

## Путь в науку

Брат сказал, что уже нужно записываться в школу. Где-то в конце августа 1924 года я и мой друг Ефим отправились в село Козловичи-вторые (это в двух километрах от нашего хутора). На крыльце школы нас встретила моя будущая учительница Анна Владимировна Козлова-Лисовская. Спросила фамилию. Мой друг своей фамилии не знал. Я назвал её – Шинкарёв. Первый класс был большим – человек за сорок. Почти все мальчики, девочек мало. Учительница мне понравилась. Я не помню случая, чтобы она кричала на детей – в этом не было необходимости. Её слушались все. Школа была двухкомплектная – одна учительница вела два класса (1-й и 2-й), учитель, он же и директор школы, также 2-й и 4-й. Каждый из них доводил своих учеников до выпуска. Учился я ровно, любил и школу и учёбу. Старался быть дисциплинированным, не опаздывать, вовремя делать уроки, быть активным. Меня по этой причине часто ставили в пример. Не помню случая, чтобы было неинтересно или одолевала лень. Родня подбадривала: учись, будешь учителем, как Никита Фёдорович (муж моей сестры Прасковьи). О других профессиях на селе и не мечтали. Правда, один раз отец, задумавшись, ляпнул: “Вот если бы старые времена, выучиться бы тебе на ба-

тюшку... Вечная и непыльная работа! А теперь что? Не в почёте у них церковники, больше – люди из ОГПУ”.

Экзамены сдавали по-старому – в одну из школ сельсовета приезжал инспектор из Орши или из Витебска. Каждый учитель привозил туда своих детей. Ехали на подводах, мобилизованных для этой цели. Писали диктанты, изложение, решали задачи. Всё письменно – устных экзаменов в ту пору не было. В конце получали справки, написанные от руки, с печатью сельсовета и характеристики от учителя, заверенные печатью. У меня, кроме всего, было написано, что выпускник начальной школы не сделал за четыре года учёбы ни одной грамматической ошибки. Жаль, что эта характеристика не сохранилась. Их всех сдали при поступлении в пятый класс уже в Яковлевичскую семилетку. Много позже, где-то в 70-х, я написал на белорусском языке стишок, посвящённый моей первой учительнице Анне Владимировне Козловой-Лисовской. Он, конечно, далёк от совершенства, очень простой, но в нём есть и мои чувства, и моя благодарная память!

На ўзгорку наша школа,  
Ліпы старыя і плот.  
Побач поле для футбола  
Ды маленькі агарод.

Зверху шыльда, унізе ганак,  
Тры ступенькі... І тады,  
У маленстве, кожны ранак  
З букваром я йшоў сюды.

На сцяне партрэт Скарыны,  
Тут і дошка для пісьма...  
Засталіся ўспаміны,  
А настаўніцы няма.

Дваццаць восьмы – год упарты.  
У нас канікулы, зіма...

Адпачылі і зноў за парты.  
Мы прыйшлі – яе няма.

Тут старожка са званочкам,  
Ды не звоніць, усё маўчыць...  
Вочы ціскае платочкам,  
Мусіць плача? Што рабіць?

А праз тыдзень мы празналі –  
Нехта ў вёску прыязджаў,  
І настаўніцу забралі...  
Увесь клас наш гараваў.

Вырас я. Часы другія.  
А гадочкі ўсё ідуць.  
Толькі горкія ўспаміны  
Супакою не даюць...

*Вскоре был арестован и муж моей учительницы, работавший инспектором райфинотдела. Точный год ареста в памяти не удержался, но эту жуткую картину, когда из живого человека на глазах соседей делали кровавую мумию, запомнил на всю жизнь! С самого раннего утра, почти ночью, через село несколько раз проехал грузовик с закрытой будкой в кузове. Автомобиль в те времена, да ещё в таком глухом месте, был для всех новинкой, и многие жители при звуках мотора повыскакивали на улицу. Я тоже услышал натужный рёв и выскочил посмотреть на это механическое чудо. В кабине два человека – шофёр и кто-то в гимнастёрке и фуражке. Потом люди говорили, что видели других в будке. Те прятались за брезентовой тряпкой, но она колыхалась во время езды по нашим знаменитым колдобинам и приоткрывала лица «борцов с внутренними врагами». Всем стало ясно, что эти посланцы ада искали дом новой жертвы. От наших соседей слышал слова – „...снова арестовывать..., что это за власть – убивать по ночам своих?“ Люди, поняв опасность, попрятались по домам, но продолжали наблюдать через окна. Когда грузовик остановился возле их хаты, из*

кузова посыпались вооружённые люди с винтовками наперевес – человек восемь или десять. Они, как черти, перепрыгнули через забор и стали цепью вокруг. Несколько заскочило внутрь. Оттуда раздались истошные крики и вопли! Мои волосы и кожа первый раз в жизни встали дыбом! Главный, до поры сидевший в кабине, важно вышел из неё и, не глядя по сторонам, с револьвером в руке пошёл к сням. Оттуда прямо на ступеньки выкатился муж моей любимой учительницы. Со связанными за спиной руками он грохнулся головой о камень и остался лежать. Лицо, рубаха, руки его были в крови. Мелькнула мысль – когда же эти смогли избить его до такой степени? Из сеней, из окон, через печную трубу рвался на волю, к людям истошный женский крик. Солдаты никого не выпускали из дома. Старший махнул револьвером – к избитому, который уже начал дико ворочать окровавленными глазами, подскочили двое, схватили под руки и потащили в будку. Подняли, посадили на борт и сильно швырнули внутрь, в темноту. Внезапную тишину пронзил тот же женский крик, переходящий то в сип умирающего, то опять взмывавший к начавшему светлеть небу... Чекисты спешили, впереди было много работы...

Это было начало! И теперь, кто бы мне ни говорил, что советская власть вела ожесточённую борьбу против всяких многочисленных настоящих врагов и внутри и снаружи, отвечу прямо: это было наибольшее преступление – уничтожить миллионы своих безвинных людей только за то, что они не подходили полностью под постоянно менявшиеся мерки так называемой народной власти?! Главным стержнем, скреплявшим намертво ряды ЧК, было чувство общего цеха, повязанность невинной кровью и ещё то, что отсутствие найденных врагов в течение недели или, не дай Бог, месяца, сразу же безо всяких обиняков ставилось в вину и конкретному оперработнику, и всему райотделу, а это было чревато! Могли и расстрелять самих! К сожалению, сейчас вновь и вновь раздаются голоса с тоской о Сталине, голоса тех, кто кровно или духовно повязан с тем временем! Камо грядеши?\*

– Куда идём? А не зашли ли уже?

## День второй

*– Где и как ты учился? Какие были школы, кто вас учил? Как решил стать учителем?*

В 1928 году я закончил начальную школу в Козловичах. Это была бывшая церковно-приходская школа, открытая в 1900 году. В то время школы делились на три категории: начальная, семилетняя, школа второй ступени (время обучения до 9 класса). Как учили в годы моего детства? Наша учительница каждый день на последнем уроке задавала нам загадку, которую мы должны были отгадать дома или по дороге туда. Так повторялось два года – в первом и во втором классах. Никто из учеников не смог отгадать вот такую загадку: в комнате четыре угла, в каждом сидит по одному коту, против каждого кота – три. Сколько котов в комнате? В четвёртом классе при выпуске учительница написала на доске латинский алфавит – говорит, понадобится, когда пойдёте учиться дальше. В начальную школу ходил в основном пешком. Когда случались большие снегопады, мы с Ефимом брали по небольшому снопу сена и втыкали вдоль вытопанной ранее тропинки пучки соломы, чтобы обозначить путь, иначе каждый день после нового снегопада нужно было опять топтать глубокий снег. Редко, когда было настроение у родителей или у старших братьев, нас подвозили на санях. При этом сани запрягали только мои родители. В мороза и самые тёмные ночи подвозили и Чевенковы, но за какую-нибудь плату. Ефим всегда ездил с нами. Но такое удовольствие случалось редко – только в сильные морозы или в снежную круговерть. По окончании начальной школы получил вместо грамоты – книгу Янки Мавра «В стране райской птицы» с соответствующей надписью. Награда не сохранилась. Отнёс документы в Маслаки, где уже была семилетняя школа. Далековато, придётся искать съёмную квартиру. Вдруг приезжает брат Тима из сельсовета и сообщает, что в Яковлевичах открывается семилетка. Что же делать? Завтра занятия. Отец говорит: «Садись на коня и давай быстрее»

Маслаки, забирай документы!” Назавтра я отнёс в Яковлевичи своё свидетельство об окончании начальной школы и заявление о принятии в пятый класс. Приняли. Начались занятия. Семилетнюю школу открыли на базе старой начальной. Кто-то толковый из сельсовета подсчитал, что в селе довольно много детей подходящего возраста, и семилетка необходима. Нашли и помещение. Её разместили в бывших военных казармах. Ученики сами разбирали трёхэтажные деревянные нары, расставляли привезённые из Орши парты. Здание было бревенчатое и длинное. А откуда здесь казармы? В те времена в войсках было два вида службы: обыкновенная, по призыву, и территориальная – те, кто по семейным обстоятельствам не мог быть призван в кадровую армию, т.е. оторван от большой семьи, или не подходил по состоянию здоровья. Эти каждый год по месяцу проходили военную подготовку у себя на родине, обычно при сельсоветах. И когда такую форму подготовки ликвидировали, остались казармы, кухня (на ней грели бесплатный чай, давали и немножко сахара – каждому на день по четыре кусочка), только стаканы и кружки приносили свои. На кухонных полках у каждого было маленькое отделение для кружки, ложки или стакана. Мы брали из дому хлеб, сало, а чаепитие было на большой перемене. У пятиклассников уже два новых учителя – директор школы Цеханский и учитель немецкого языка Петцольд – муж пожилой немки акушерки. Остальные предметы преподавали учителя начальных классов. В семилетнюю школу ходили пешком – последнюю лошадь у отца отобрали, у других также. Власти под угрозой ареста заставили их сдать в колхоз. Мачеха плакала – лошадь по имени Весёлка привыкла к ней, отзывалась на кличку и приветствовала её по утрам тихим ржаньем.

У старшего брата были самодельные лыжи, и я пробовал ходить на них, но мне они доставались редко. Брат оставался по два года почти в каждом классе и семилетку не закончил, бросил. К сожалению, потом погиб где-то на Дальнем Востоке. Обычно в школу ходили втроем – я, мой родственник Адам и Нина Лаврушкина, дом которой стоял за Адамовым. Тёмными ночами жгли факелы, боялись волков, так как часть дороги пролегала через дремучий лес. Факел делали так: брали консервную

банку, наполняли пеплом, сажей, древесной смолой и тряпками, затем поливали керосином. Такой факел горел почти неделю, но его зажигали лишь на короткое время и только в лесу. Экономии. В семилетке также учился на «отлично». Учителя хвалили меня. Пение преподавал Пигулевский. Он раньше был в Яковлевичах дьяконом, а когда церковь закрыли, снял рясу и стал учителем. Он вёл и младшие классы. Хорошо играл на скрипке, на фортепиано. Немецкий язык преподавал, как я уже упоминал, немец по национальности, Петцольд Иосиф Леонович (настоящее имя он никогда не произносил – Иоганн). Высокий седой человек с ёжиком на голове. Носитель языка, он знал его прекрасно и учил нас хорошо. Особое внимание уделял мне, так как я с удовольствием и уже какими-то успехами воспринимал новое. Интересно, что некоторые учителя были выходцами из семей священнослужителей. Анна Адамовна – дочь священника, старая дева, Ольга Ивановна тоже из духовной семьи, физрук – сын попа, потом уехал от нас в Ленинград. Наука меня радовала и вдохновляла, предметы давались легко. Чуть тяжелей шли алгебра и геометрия. Арифметика была на «отлично». В 1925 – 1927 годах многое ещё осталось от дореволюционных правил. Так, каждый год выпуск ездил на экскурсию – в самих Яковлевичах на сукноткацкую фабрику, в Оршу. В Яковлевичи из школы пешком, а если подальше, то за нами шла подвода на случай, если кто-то устанет или заболит. После окончания седьмого класса ездили в Оршу, где обязательно фотографировались всем классом, посещали завод, городскую школу, типографию, соковыжимную фабрику. Экзамены в семилетке были только письменные – диктант по языкам, сочинение, изложение и математика. Поскольку это была фабрично-заводская школа, то с шестого класса все ученики ходили на производственную практику на фабрику барона фон Корфа, по разным цехам, а потом менялись. И так все три года. Обслуживали ткацкие станки, прядильные, мотальные, работали в сукновалке, в ворсильном цеху. Я научился управлять ткацким станком, и это не требовало особых усилий. Главное – связать лопнувшую нитку основы, не останавливая его. Это ловкость рук! А секрет в том, что узел специально не делается, а просто концы шерстя-

ной нитки складываются вместе, подкручиваются – и узел готов! После окончания седьмого класса некоторые девочки так и остались работать на этой фабрике. В 1931 году я окончил семилетку. Мне вручили талон на покупку подросткового костюма, а старший брат Иван дал целых семь рублей. Был и первый школьный выпускной вечер. Мы собирали продукты для банкета кто что мог: кусочек сала, ветчины, колбасы, яйца, творог, хлеб, лук. Складывали всё это в шкаф в своём классе. В день, когда должен был состояться торжественный вечер и застолье, оказалось, что нас ограбили! Всё было украдено через открытое окно. Гниловатая рама поддавалась нажиму, и из неё выпали все крючки и запоры. Оказывается, и в то время были вору?! Пришлось собирать по второму разу. Вечер пошёл не по плану: все сидели в классе, ученики и учителя попеременно, президиума не было, вели сердечные разговоры, обменивались адресами, строили планы на будущее. Почти два часа со мной разговаривала наша Анна Адамовна, учительница русского языка и литературы. Много позже я случайно встретил её в вагоне какого-то поезда. Она уже работала в другом месте. Анна Адамовна призналась мне, что я ей всегда нравился и как ученик, и как опрятный мальчик. Спасибо ей за такую похвалу! Хорошо помню почти всех своих учителей по семилетке. Директор Цеханский Иван Николаевич, Анна Адамовна – русский язык и литература, Ольга Ивановна – рисование и черчение, Лавровский – физкультура и военное дело, Пигулевский Сергей Николаевич – пение. Это бывший дьякон и родной брат известного белорусского оперного баритона Н.Н. Пигулевского (1897–1967). Второй мой друг и самый близкий сосед Ефим доучился в начальной школе до начала четвёртого класса, но потом бросил.

Что же делать дальше? Куда податься за наукой? Пока раздумывали, лето прошло. Конец августа. Из Орши приезжает брат Иван, говорит: „Прасковья наказывала, чтобы ты приехал к ней. Подумаем, где тебе дальше“. До первого сентября оставалось дня три. У отца денег нет, а мне нужна обувь, да и на дорогу хотя бы на первые дни. Занять? Но у кого? И тут моя ма-чеха говорит: „Затапливай баню и зови кума мыться. А там он под парком и раскошелится Васе на десять или сколько рублей“.

Отцовский кум и наш сосед Сербаяев Василь был большим любителем бани. Горячий пар, веник, вода – его стихия. Так и вышло. На следующий день после удачной парилки отец запряг коня, и мы поехали в Оршу. Там зашли в магазин, купили мне ботинки, носки, пару носовых платков (до этого времени и не знал, что они существуют) и хорошую кепку. Потом поехали к сестре Прасковье на льнокомбинат. Сели за стол, стали ждать её мужа с работы. Долго советовались. В то время в Орше было три техникума – железнодорожный, мясной промышленности и педагогический на базе бывшей учительской семинарии. Сестра тянула меня в мясной, отец – в железнодорожный, а я стоял за педтехникум. Проблему решил Никита Фёдорович, сам в прошлом учитель: „Поскольку Вася хочет стать учителем, то пусть и будет так“. Это важное в моей жизни событие произошло 1 сентября. Во всех техникумах уже начались занятия. Решили: ехать шурина просить директора о приёме не очень хорошо. Лучше, когда за сына попросит сам отец. Крестьянин, из далекого села с большой бородой, усами, сам привёл сына в науку – всё это наилучшим образом ассоциировалось с представлениями властей о новом советском крестьянстве и уже неплохо подходило под стиль новой жизни. Так и получилось. Приняла нас заведующая учебной частью Нина Борисовна Шеина. Задала вопрос: „А ты на самом деле хочешь стать учителем?“ Я ответил с жаром и положительно. Она улыбнулась: „Прекрасно, теперь пусть твой отец едет спокойно домой, а ты следуй за мной. Он уже может гордиться своим сыном-студентом“. Отец быстро перекрестился и перекрестил меня. Потом тихо, словно боясь, что кто-то его услышит, почти со слезами (я первый раз видел его в таком взволнованном состоянии) выдал: „С Богом, сынок!“ Шеина привела меня к высоким дубовым дверям, открыла, и я попал в огромную аудиторию. Громко сказала: „Вот новый студент! Прошу любить и жаловать!“ Это была последняя, четвёртая, ещё неполная группа набора, и мне повезло. Итак – первый курс, группа Д. Учёба началась. Меня восхищало всё: множество невиданных и страшноватых чучел в зоокабинете, огромные напольные часы с громким боем, стоявшие в коридорной нише, блестящий чёрный рояль в зале и пианино в

спортивном. Была ещё и фисгармония\* в преподавательской. Библиотека – рядом, не нужно выходить на улицу! А сколько нечитанных книжек? Большое двухэтажное здание из красного блестящего кирпича, стоявшее на Красной улице, представляло собой букву Г. Всё, как положено в солидном учебном заведении: в центре – широкая парадная лестница с красивой балюстрадой\*, большие светлые аудитории, коридоры с высокими сводчатыми окнами, актовый зал со сценой и столом для президиума, раздевалка внизу, кабинеты по профилю – ботанический, химический, физический, зоологический – каждый с подиумом для преподавателя, небольшой трибуной на длинном столе и двумя симметричными углублениями по сторонам с насыпанным в них мелким песком (потом узнал – это для всяких опытов с жидкостями и кислотами). На первом этаже в одном углу – туалеты, в противоположном – буфет. К моему сожалению, предлагали там только бесплатный прозрачный чай, за остальное – сахар и кусочек чёрного или белого хлеба – нужно было платить. От множества преподавателей я вначале чуть растерялся и не понимал, что это уже не школа, и здесь почти никто не совмещает преподавание нескольких дисциплин.

В техникуме (тогда его не называли педучилищем) пережил множество трагических и непонятных событий: хорошо помню, как был убит С.М. Киров в 1934 году. Все газеты вышли с широкими чёрными рамками — плерезами (траурная рамка вокруг портрета умершего). Об этом убийстве ходили разные слухи, но я уже тогда старался уклоняться от всяких разговоров об этом случае. После этого – аресты многих преподавателей, некоторых руководителей города. Почти каждую неделю шёпотом сначала среди старших, потом уже и среди нас расползались тревожные слухи: ночью арестован первый секретарь Оршанского горкома компартии Соскин, второй секретарь...

Однажды в 1933 году приходим на занятия. В девять наша сторожиха даёт звонок. Мы ждём преподавателей.. Проходит пять, десять минут – никого, их просто нет?! Послали дежурного группы в преподавательскую узнать, в чём дело, – никакого вразумительного ответа. Но в некоторых аудиториях занятия всё же велись. Нас отправили в библиотеку.



*Здесь отец получил звание учителя.*

День так проходит, второй... Снова ждём. Никто ничего не понимает – куда подевались любимые учителя? Только через неделю узнали, что в стенах нашего скромного заведения сверхбдительные местные чекисты выявили целую подпольную анти-советскую организацию, и в связи с этим и были арестованы бе-долаги – директор техникума Н.И. Зенюк, он же преподаватель русского языка и литературы, математик Барановский, рисо-вания и сам художник П.А. Жизневский, пения – П.М. Косач (автор известной песни «Хорошо весною бродится»), физик Ф.В. Тодрин, преподаватель белорусского языка и литературы, автор книги «Словарь Червеньщины» М.В. Шатэрник, психологии – П.П. Мышко, астрономии и географии – Виноградов (говорили, что это бывший профессор из Москвы) и другие. Всех теперь, к сожалению, не помню. Нас никто и никогда не информировал о том, что происходило вокруг. Тем более такое таинственное и

непонятное! Ещё долго, многие дни и месяцы в коридорах и аудиториях техникума царила зловещая тишина, а среди преподавателей и студентов чувствовались настороженность и страх. Этих несчастных, исчезнувших внезапно из нашего и из других техникумов, было ещё человек тридцать! На занятия не явились некоторые студенты, в том числе и мой друг Янка Толстик. Он отказался петь песню-агитку, посвящённую смерти Ю.Пилсудского\*, где был припев: “Сдох Пилсудский, сдох!” На уроке пения он неосторожно сказал: “О человеке нормальные люди никогда не говорят “сдох”, а говорят „умер”...”. Новый преподаватель пения с «двойной профессией» тут же донёс в НКВД. Потом этот любитель наушничанья\* быстро переехал в областной центр, да ещё с повышением, где сделал пристойную карьеру, вплоть до преподавания в высшем учебном заведении. Наверное, его оценили не только за труд, но и за склонность к предательству и бесчестию. Я встречал его после войны. Вот на таких подонках, выслуживавшихся за счёт доносов, и держалась в те годы наша великая держава! Мы пришли после новогодних каникул, а преподавать некому. Кто постарше и поопытнее, нашёптывал, что нужно опасаться сторожа, жившего вместе с женой в угловой маленькой комнате с отдельным входом. Жена работала уборщицей и истопником, а её муж заготавливал дрова и исполнял обязанности завхоза. Вспоминаю одну довольно странную особенность его поведения – по праздникам, после торжественных собраний или вечеров, к нему частенько заходили преподаватели мужчины пропустить по рюмочке, посидеть в его каморке и поболтать о жизни. Он не только слыл гостеприимным хозяином, но и приторговывал самогонкой, которую привозил из деревни от своих родственников. Ну, а от стаканчика и ломтика домашней ветчины отказаться никто не мог. Преподаватели менялись каждый год – их арестовывали по непонятным причинам, а этот весёлый человек, зимой и летом ходивший в вонючих валенках и сыпавший анекдотами, оставался цел и невредим. Уже после окончания учёбы я случайно узнал, что ещё до войны он тоже уехал с супругой в Минск, в столицу, и там тоже устроился завхозом в какой-то институт. Видимо, для зачистки уже вузовской, всегда ненадёжной моло-

дѣжи. Чудеса, да и только! Со временем, в течение пары месяцев, арестованных временно заменили городские учителя, а позже начали присылать новых. Тревожная жизнь продолжалась...

## Уроки жизни

По городу ползли слухи: исчезли секретари горкома партии, многие руководители предприятий и организаций. Фантазмагорическая чистка набирала обороты! Жуткое дуновение от круговерти арестов коснулось и меня. Только случайно остался на свободе. Будучи студентом, жил какое-то время у знакомых моей сестры Прасковьи – преподавателя белорусского языка и литературы педтехникума М.В. Шатерника и его жены Лидии Вячеславовны – мест в общежитии всем не хватало. У них была трёхкомнатная квартира, детей не было.

Однажды в техникуме был вечер, посвящённый Октябрьской революции. Мне поручили сделать доклад от студенчества, и я громко и искренне распинаялся на трибуне, рассказывая о наших победах на всех фронтах – учебном, научном, политическом. Видел в зале лица – напряжённые, старательно вслушивавшиеся в особенности моей интонации и тщетно пытавшиеся обнаружить в словах что-то новое, кто – и враждебно-ревизионистское... Вечер был в субботу и порядочно затянулся. Идти домой было поздно, и я заночевал на пустой койке у своего друга Вани Малыгина. Следующий день воскресный, и я, радостно подпрыгивая под лучами осеннего солнца, поскакал к Шатерникам. До льнокомбината, где они жили, было километра три. Поднимаюсь на второй этаж, знакомый номер на двери – 18. На обшарпанной площадке темновато. Вставляю ключ в замочную скважину, поворот – и вдруг за спиной тихо: “Не трогай! Не открывай! Ты что, пломбу не видишь?” Я повернулся, от неожиданности сердце начало громко стучать. Передо мной стояла соседка из 17-й квартиры и держала в руках кусочек синей бумажки. Я её знал давно. Лидия Вячеславовна и соседка хорошо дружили, а её дочь Альбина часто приходила к моим хозяевам послушать граммофон. Тогда я бросил свои занятия и мы втроём

с удовольствием слушали пение Вертинского, Шаляпина, Собинова...

– А где же они? – растерянно спросил я у Веры Ивановны.

– Забрали ночью! Лидия успела мне сунуть эту бумажку, а узелок для тебя выхватил милиционер...

И соседка скрылась за своей дверью. Я остолбенел! Вот оно – рядом! А что будет со мной? Арестуют? А за что? За то, что жил у них. Где же ночевать? В квартире остались учебники, книжки из библиотеки, конспекты, вещи. Вышел во двор, зашёл в беседку, сел. Руки дрожали. Никогда не испытывал такого напряжения. Состояние было близкое к обмороку. Заставил себя собраться, развернул записку: “Мадам Троц, Богом прошу, дайте приют моему братику. Он должен закончить учёбу, иначе пропадёт... Верная Вам Вера”. Её подруга с гимназических времён Лилия Леонардовна Троц проживала в деревушке Пустыньки на берегу Днепра. Я ходил туда часто к кому-то за мороженым. Мадам была то ли сестрой, то ли горничной богатого горожанина, сосланного советами в Сибирь. Мысли путались, руки дрожали. Могли забрать и меня? Ну и что, что не член их семьи? Кто бы стал разбираться? Сибирь большая – всем хватит места! Было жаль и конспектов, и учебников. В опустевшей квартире осталась любимица гитара, огромный граммофон, напольные часы, швейная машинка «Зингер»... А главное – сокровищница знаний «Энциклопедический словарь Брокхауза и Эфрона», девяносто два тома! Они занимали почти четыре полки в книжном шкафу. Эту уникальную во все времена энциклопедию Михаил Васильевич обещал подарить мне, когда я сам стану учителем. Всё пропало! А примет ли меня эта мадам теперь, в это опасное время? На меня, шестнадцатилетнего сельского юношу, ещё подростка, сразу навалилось такое горе! Хлебну я без помощи и опекунов. Но желудок напомнил – не обедал, не ужинал, а было уже под вечер. Мне оставалось только пойти по адресу в это село. Дорога не заняла много времени. Отыскал дом. Двери открыла сама хозяйка. Удивилась, но пригласила зайти в комнату.

– Что случилось? Какая просьба, от кого?

Я начал рассказывать. Она слушала, сложив руки на коленях. На глазах появились слёзы. Потом собралась и спросила, ел ли я и когда? Я признался, что во рту ни крошки с самого утра. Потом рассказал о семье, об отце, нашей деревне. О том, что у меня ни гроша, а теперь и места для жилья. За деньгами я смогу пойти к отцу только через неделю. А туда не ходил никакой транспорт, только пешком – четыре с хвостиком часа по пыли летом или по грязи осенью! Далекое, тяжело, но я всё выдержал, перетерпел и выстоял. Прожив у чужого человека какое-то время, перебрался в общежитие. Конечно, отец и мачеха помогали как могли, больше продуктами – картошкой, мукой, хлебом, салом, реже деньгами. Большое им всем спасибо!

В 1935-м на «отлично» закончил учёбу, получил звание учителя русского языка и литературы с правом преподавания в 5–7 классах средней школы. После Орши закончил в Минске трёхмесячные курсы повышения квалификации для работы уже в старших классах. Занимались в помещении Белпединститута на Советской улице. Жили в общежитии. Минск в то время не оставил у меня ярких впечатлений прежде всего по причине отсутствия свободного времени, да и сама атмосфера среди слушателей и преподавателей была особенной – никто не завязывал знакомств, все отделялись общими разговорами. Темы об обстановке в стране, за рубежом, жизненных проблемах почти не затрагивались – всё вскользь, обрывисто и настороженно. В голове всё чаще и чаще возникали вопросы: а как будет с работой, куда направят, где жить? Нам преподавали прекрасные лекторы и высокопрофессиональные, творческие люди. Особенно запомнился Якуб Колас – наша литературная и национальная гордость! Он читал курс методики преподавания русского и белорусского языков, а также литературы. Выпускники получали небольшую стипендию за все месяцы и в конце ещё подъёмные\*. Суммы не помню.

После курсов у меня хватило времени заехать к родителям. После торжественного вечера, когда за столом собрались почти все родственники и было переговорено обо всём, я отправился погулять один. Почему? На душе была какая-то тревога.



*г. Орша, 27.01.1935 г., педтехникум (слева направо) Иван Малыгин, Семён Оладин, Василий Ковалёв, Иван Якубов, Осип Крикунов, Константин Волков.*

Беспокойство и чувство странного одиночества, несмотря на встречу с родными, овладевали мной. Непонятно откуда и по какой причине пришла в голову мысль, что, возможно, это моя последняя прогулка на моей родине.

*Вокруг каждая деталь вечернего пейзажа, окрашенная уже в цвета догорающего дня, ласкала глаза и сердце и словно подсказывала, что впереди ещё будут и новые встречи, и новые лица... Но полного спокойствия почему-то не было. Было грустно от того, что покидаю родной край, свой дом, родителей, моих друзей детства. Что-то подсказывало, что покидаю надолго, может навсегда. Пройдя семейную рощу (полоска разношёрстного леса длиной с полкилометра), где каждую осень мы собирали грибы и ягоды, вышел к мостку через небольшую, но светлую речушку с интересным названием Леца. За ней с правой стороны высился кирпичный двухэтажный корпус бывшей фабрики барона фон Корфа, основателя льняной промышленности на витебщине. Этот немецкий род долгие годы верно служил царской короне и сделал много доброго на, казалось бы, чужой земле. Фон Корф не только агитировал за посевы льна, но и построил много предприятий по его обработке. Я думал о том, что и моё знакомство с трудом рабочего осуществилось именно на этой фабрике. Но когда-то могучие станки и другие приспособления, приводившиеся в движение огромным водяным колесом, сейчас молчали. В цехах были выбиты стёкла, свет нигде не горел. Дорожка, тянувшаяся параллельно корпусу, заросла травой. Года два это дорогое и сложное оборудование ещё стояло в цеху, но потом, как мне сказали родные, всё было разграблено, и новая власть не нашла ничего лучшего, как сдать все станки и инструменты в металлолом?! Одним росчерком пера тупого и недалёковидного местного советского бюрократа со всей уже хорошо развитой льняной промышленностью в регионе было покончено! С сожалением смотрел на остатки разворованной красной черепицы на крыше и на лежащие, выгнутые какой-то страшной силой железные ворота. Я никак не мог понять, почему так случилось – то, что было достатком, что было сделано потом и тяжёлым трудом, стало ненужным для труболюбивых в своей массе и самостоятельных людей! Никакого ответа на этот вопрос в то время у меня не было и не могло быть. Нет и полного понимания этой необъяснимой злобы и расточительства и сейчас! В школьные годы пропаганды новой и счастливой жизни почти не*

было, но уже в педтехникуме не проходило и дня без настойчивой, назойливой и агрессивной долбёжки будущих основ коммунистического общества и ускоренного создания условий для его приближения. Всё, что было доброго и человеческого в прошлом, категорически отбрасывалось и заменялось на «прекрасные, заманчивые планы светлого будущего». Я этого по молодости почти не замечал, да толком и не понимал, если бы не разговоры с отцом и особенно с мужем моей сестры Никитой Фёдоровичем Борисенко. Мало того что он был образованным и любопытным ко всему человеком с широкими взглядами, он был и талантливым – прекрасно играл на гитаре, исполнял множество романсов, баллад, песен, владел и живописью. Именно ему, имевшему богатый жизненный опыт и хорошую интеллектуальную базу, новые порядки казались дикими и неразумными. Он первый из всех моих родных, да и знакомых, понял, что нужно съезжать отсюда, из мест, где слишком активно и жёстко начала действовать советская власть, беспрестанно вводя новые и новые законы, закабалавшие любую инициативу и пресекавшие не только инакомыслие, но и самостоятельность. Быстро устанавливались одинаковые ограничения и рамки абсолютно для всех. Покоряться власти представляли силой! До него как-то дошло, что возможно (были и слухи) в далёких от центра местах можно будет пересидеть эти частые грозы, что там, на периферии, не так быстро и не так интенсивно будут насиловать людей, а главное – там не будет такого повального и вездесущего контроля. Не могу с уверенностью сказать, но теперь, с моим жизненным опытом и с тем, что я познал и увидел на сложных тропинках моего пути, смею предположить, что он уже в те годы владел какими-то знаниями тайного характера. Почему, спросите вы? Однажды после ареста моего шурина Логвина он сказал мне довольно прямо: “Никогда не говори никому своё мнение о людях и событиях вокруг, повторяй только то, о чём пишут в газетных передовицах, никакой отсебятины и никаких собственных выводов!” По его словам, в каждом учреждении, в каждом селе, деревне есть люди, связанные с карательными органами и пе-

*редающие туда всё, что слышат вокруг! Об этом нужно помнить каждый час и каждый день и не болтать ничего лишнего!*

*Странно было слышать это от него, я мало что понимал из сказанного, но всё-таки это пространное и неконкретное предостережение врезалось в память и впоследствии помогло ориентироваться в жизни.*

*От речки Лёца я повернул обратно. В здание школы не заходил. Сам не знаю – то ли какой-то страх, то ли горькое чувство расставания с родными местами? Неужели сюда больше не вернусь? Этот вопрос так и остался занозой в душе, мне стало горько и одиноко...*

Седьмой выпуск Оршанского педтехникума далеко в прошлом. К сожалению, та выпускная фотография не сохранилась. Был выпускной бал, вечер танцев, прогулка к Днепру. И ещё мечты – как оно будет в будущем? Как сложится жизнь, работа? Смогу ли я найти контакт с учителями и школьниками? Распределили меня в Лиозненский район Витебской области.

В конце августа поездом прибыл вместе с чемоданом на станцию Лиозно. Ничего об этой местности не знал. Несколько пассажиров быстро куда-то исчезли – я остался один. Вечерело. В окне дежурного по станции зажглась лампочка. Что делать, куда идти? Вдруг из-за забора появились две женщины. Как выяснилось из короткого разговора, мать с дочерью, тайком от властей подрабатывали извозом и предоставлением ночлега. Они схватили чемодан и, не слушая моих вопросов, поволокли его к двухколой коляске, стоявшей метрах в ста. Пока шли по центру улицы, стемнело полностью. Привезли к какому-то дому. На стук в калитку залаяла собака, потом вышел хмурый мужик в брезентовом плаще. Он что-то буркнул и открыл дверь. Меня наскоро покормили (тёплая картошка «в мундирах» и кусок козьего сыра), взяли рубль и завели за печь. Там стояла широкая деревянная не то кровать, не то полати, но с одеялом и подушкой из сена. Назавтра, часов в семь, меня проводил до калитки тот же молчаливый мужчина, поставил чемодан на улицу и промолвил: “Бывайте!” Дверь в дом захлопнулась, на кухонном

окне вздрогнула любопытная занавеска ... и всё. Я стоял в начале своего самостоятельного пути.

Заведующий РОНО направил меня в местечко Кольшки – небольшое село на границе между Белоруссией и Россией. Рядом была уже Смоленская область. Позже мы ходили туда гулять, и я впервые услышал совершенно другие песни и частушки, да и сам русский язык был с каким-то местным акцентом. Направление-то получил, но как найти школу и на чём до неё добраться? Начал расспрашивать всех встречных. Никакого результата, а уже перевалило за полдень. Кто-то посоветовал пойти на сенобазу, где колхозы сдавали сено, солому. Там нашёл четыре подводы с молодыми парнями. Они были чем-то раздасованы, ругались на чём свет стоит и не обращали на меня никакого внимания. Оказывается, сначала сено приняли, приказали сгрузить одну подводу, но не записали в книгу приходов, так как обнаружили, что оно якобы сыроватое, но само сено оставили. Большую часть пришлось везти обратно. Как я понял из ситуации, это был один из жульнических приёмов присвоения чужого себе! С ними я и поехал к месту назначения. Чемодан и мой рюкзак-мешок ребята запихнули в сено и, ругаясь, отправились обратно. Они матерились и говорили вслух, что каждый год это повторяется, и не один раз, и не только с ними. Я сидел на самом верху и осматривал окрестности. Мне никто не задавал никаких вопросов, и это было лучше, чем отчитываться перед возбуждёнными людьми. Ехали долго. Ездовые болтали кто о чём, постоянно курили самокрутки, и вонючий дым мешал мне сосредоточиться на завтрашней беседе с директором школы. Хотелось представиться каким-то уже зрелым и значимым, а не просто вчерашним выпускником.

*– Как началась твоя работа учителем? С чем ты столкнулся на новом месте? Что было интересного, кого ты там встретил?*

Приехали ночью. Снова ночлег у незнакомых людей. Скромный ужин. Сон на сеновале на старом кожухе. Утром меня отвели в школу. Директор Григорий Петрович Бекаревич встретил

приветливо. Сказал, что буду вести уроки русского языка и литературы в пятых и шестых классах. А там было всего по одному классу. Подсказали и дом, где можно было квартироваться. Хозяйка Вихнина, её муж закройщик. Семья еврейская. Комнатка-боковушка – 15 рублей в месяц, завтрак – чай, хлеб, иногда масло. Остальные продукты должен был закупать сам или просить хозяйку за деньги приобретать еду на базаре или в крохотном магазине. Буквально через месяц мне предложили работать и в местной еврейской школе-семилетке, располагавшейся на другой улице. Так я и ходил туда-сюда. Понедельник, среда, пятница – в свою, вторник, четверг – в еврейскую. Работая в еврейской школе, углубил свои знания и в немецком. Скоро научился писать даже на иврите, но только пару десятков слов. Уж очень сложными оказались эти почти арабские закорючки и палочки. Разговорным же языком был идиш, почти во всём схожий с немецким, только произношение другое, да и некоторые слова, позаимствованные из иврита. Вспоминается интересный эпизод. В мою комнатку заходит хозяйка Сара Давыдовна и внезапно спрашивает: “Гибт эс Гот?” (А Бог есть?) Я неожиданно для самого себя ответил по-немецки: “Их вайс нихт!” (Я не знаю). Хозяйка долго смеялась и удивлялась, откуда я знаю еврейский. Простая женщина не могла сообразить, а может, не знала, что между её родным языком и немецким разница небольшая. Размер заработной платы не помню. Но с первой получки я выслал отцу аж 40 рублей, значит, мне осталось приблизительно столько же.

После двух или трёх месяцев работы зарплату учителям повысили. Уже со второй я купил себе семиструнную гитару, так называемую русскую, так как сейчас это большая редкость – повсеместно распространена модель испанской шестиструнной. На испанской я так и не научился играть. С третьей зарплаты приобрёл наручные часы с тоненькой решёточкой против случайного удара. Так началось моё учительство в маленьком белорусском местечке.



*Во время учёбы в Оршанском педтехникуме с 1931 по 1935 г.*

Молодость перекрывала всё – удалённость от города, непролазную грязь. Вечерами, особенно осенью, без фонаря никто и не ходил. У всех была при себе «летучая мышь»\*. Никаких тротуаров, улицы немощёные, глубокие колеи, ямы, лужи на всю ширину. Ночами крошечная тьма. Никакого электрического освещения не было. Керосин привозили очень редко и нере-

гулярно, да и выдавали только на семью. Одиночкам, как мне, приходилось как-то выкручиваться. Освещались в основном свечами. Вечером проверяю тетради – зажигаю свечу, а потом, когда глаза устают, вторую. При двух уже было достаточно светло и можно было работать. Мои трудности заметили хозяева и выдали мне хороший подсвечник на три свечи. А это уже был настоящий комфорт! Стеариновые свечи стоили недорого. Быт белорусского местечка хорошо описан Якубом Коласам\* в романе «На ростанях». Тишка Гартный\* также хорошо описал местечковую жизнь в романе «Соки целины». На конец тридцатых годов белорусское местечко ещё сохраняло свой самобытный колорит – обязательный процент еврейского населения, интересно звучащая их речь, спокойная, размеренная жизнь без особых перипетий и волнений, старые бревенчатые дома с крыльцом на улицу. В центре церковь, неподалёку синагога, иногда была и мечеть, хотя татары проживали не в каждом городке. По воскресеньям обязательный шумный и пёстрый базар. В местечке была общественная баня человек на 40. Она функционировала по очереди для мужчин и женщин, четыре раза в месяц по субботам. В первый год моей учёбы там было три магазина. Один – с инструментами для хозяйства: косы, топоры, пилы, гвозди, разные скобы, ножи, напильники. Второй – с непритязательной, чаще рабочей, одеждой: брезентовые плащи для пастухов, халаты, головные платки, ватники, валенки, резиновые сапоги, реже – кирзовые, и только пару раз в год рубашки, штаны, кепки. Третий магазин – продуктовый: яйца, подсолнечное масло, семечки, ёлкое\* сало, два вида рыбных консервов, соль, один раз в неделю очень вкусный чёрный подовый\*хлеб (выпекали в пекарне ближайшего леспромхоза). Хлеб выдавали по головам – две буханки в неделю на каждого взрослого. Это было не так и плохо. В других местах хлеба не доставало. Способности продавца Соломона давали о себе знать, да и имя его говорило о многом\*. В здании, где располагался магазин одежды, было маленькое почтовое отделение, а в соседнем доме, в центре посёлка, стоял клуб с библиотекой. Раз в две недели привозили фильмы, и это было самым главным праздником для всех. Стар и млад толпились у дверей задолго, а потом все рвались в зал,

чтобы занять первые ряды. Места были не пронумерованы. Электричество вырабатывалось старым движком, стоявшим в отдельном сарайчике и гроыхавшим так, что голоса актёров были едва слышны. Но не это было главным. Молодость, задор, инициатива двигала всеми, а всяческие трудности или неудобства почти не замечались. Учителя двух школ часто организовывали концерты, ставили пьесы. Помню некоторые постановки – «Павлинка», «Примаки», «Растерянный Савка», «Семья щётчников». А наши песни не отличались особой новизной. Некоторые из нашего репертуара помню до сего времени, например «Коломбину»\*:

Я под маской Коломбины  
С красным веером в руке.  
Он в костюме Арлекина  
И в шутовском колпаке.

Он смешон в своём наряде,  
И любовь его смешна.  
Мы сошлись на маскараде...  
Так налейте ж нам вина!

Свой бокал он выпивая,  
Он всё тосты поднимал  
За милых женщин, прелестных женщин,  
Любивших нас хотя бы час.  
За милых женщин, прелестных женщин,  
Улыбкой счастья чарующих нас...

Пели также «Сижу за решёткой в темнице сырой», «Стоит гора высокая, а под горою гай», «Дывлюсь я на небо...» (украинская). Танцевали «Тарангэллу», цыганский танец, вальсы, еврейский танец «Рэдэлэ»... Репертуар был смешанный – белорусско-русско-еврейско-украинский. Помню куплет еврейской песенки «Мэхтэнэстэ майнэ» (Сватья моя):

Мэхтэнэстэ майнэ, Мэхтэнэстэ гетрае,  
Их вил дих этвас заген.  
Их вил дих этвас заген:  
Шнэлер либэ штаркэ мих,  
Ви аух либэ щтаркэ дих...  
Вэрдэн вир цузамэн гутэ лебэн габэн...

Жизнь в местечке имела свои особенности. Каждый знал тебя и ты знал почти всех. Можно было услышать от старших обращение «мадам» к пожилой женщине. Почти в каждом доме двери, выходящие на улицу, были забиты крест-накрест досками – советские власти запретили частную торговлю! А в старорежимное время здесь было полно всяких лавочек, магазинчиков, пекарен, мастерских. Кому же они начали мешать в советское время? Молодёжи стало мало – здесь ей нечем было заняться. Как только жили старые евреи с большими семьями – одному Богу Яхве\* известно! Среди них были какие-то заготовители, кооператоры, пару портных, закройщик, два сапожника. Несколько человек работали в оставшихся двух магазинах. Две еврейских семьи имели лошадей и занимались извозом. Были и огороды – пять-шесть соток. Люди кое-как сводили концы с концами. Ну а занять постоянного квартиранта – мечта каждой хозяйки. Правда, новых людей приезжали единицы. Сначала я пробовал готовить себе сам, но хозяйка, увидев мои эксперименты с подгоревшей картошкой, взяла эти обязанности на себя, правда, за дополнительную плату.

В тот переходный период на местах ещё оставались старые учителя – интеллигенты дореволюционного времени. Варвара Ивановна Дроздовская окончила Петербургский институт благородных девиц. Её муж, бухгалтер, был два года назад арестован и исчез в подвалах Оршанского НКВД. Она жила с дочерью Альбиной. Играла на фортепиано, гитаре, скрипке. Помню, берёт томик Есенина или Надсона\*, садится за пианино и импровизирует даже без всяких нот! На ходу сочиняет мелодию и поёт. Это прямо зачаровывало меня! Как так возможно? Поговаривали, что она дирижировала церковным хором и сама запевала там. Люди с окрестных сёл и деревень приходили её

послушать. Варвара Ивановна научила меня играть на гитаре, хотя я и раньше пробовал набирать кое-какие аккорды. Директор школы Г.П. Бекаревич когда-то учился на священника, но революция поменяла все приоритеты – он стал учителем. Прекрасно знал языки, литературу, хотя сам преподавал математику и физику. Ещё в школе работали Лакисова, Яковлев, Шноль. Последний преподавал немецкий. Крещёный еврей, он часто говорил: “Погибаю в глуши. Жил когда-то в городе. Я же отлично знаю, кроме немецкого, ещё французский и английский. А тут что?” Он в чём-то провинился перед Советами, но так и не рассказал в чём. Вроде кто-то из родни имел магазин в далёкой Варшаве, и это ему поставили в вину, изгнав из столицы. Конечно, в новых советских условиях, когда всё прежнее и хорошее было низринуто и объявлено крамольным, в разных городах и всях пышным цветом расцвели всякие завистники, и найти среди них добровольного сексота для НКВД было лёгкой задачей. Вот один из них и «заложил» своего грамотного коллегу. Я начал приглядываться к народу, проживавшему в Колясках. Насторожило поведение одного человека, и мне показалось, что именно он мог доложить на Шноля тёмным силам. Это был местный почтальон по кличке «Косой». У него один глаз смотрел на того, с кем он разговаривал, а второй обшаривал окрестности. Кому, как не ему, было удобно наблюдать за жизнью местечка, пользуясь и своей подвижной профессией, и своеобразным физическим «преимуществом» перед другими, обычными людьми?

Сейчас в свободные часы вспомнился интересный эпизод из моей жизни.

Смоленск 1935 года. Я опоздал на поезд Москва – Витебск и должен был ждать аж до 10 часов следующего дня. Милиция после 12 ночи попросила всех покинуть здание вокзала. Час ночи. Ни души. Абсолютная темнота. Вдруг из-за угла приближается женщина. Одета по-городскому: “Пойдёмте со мной. Я дам вам ночлег!” Я чуть поколебался, но дал согласие: “Была не была! Приключение да и только!” Приходим. Маленькая квартирка – кухня и комната. Женщина ведёт меня в спальню и показывает на кровать. Я от неожиданности оторопел. Вдруг она

говорит: “Спите спокойно без всяких «весёлых» фантазий. Я прилягу с матерью за печью”. Немного разочарованный, разделся и лёг. Вдруг сквозь сон слышу шаги. Дверь открывается (у меня мгновенно вспыхнули мечты...), и её голос: “Хочу предупредить, что к вам под утро ляжет мой муж. Он поздно приходит с работы. Так что спите и не волнуйтесь”. Утром я перелез через спящего мужчину и вышел на кухню. Там, улыбаясь, сидели две женщины. Предложили чай с хлебом и маслом. Я сердечно поблагодарил их за помощь незнакомому человеку. Идя к вокзалу, посмеялся над собой и вспомнил, что таких людей, кажется, называют «альтруистами»: сам как-нибудь, а другому помогай!

*– Когда и как ты впервые столкнулся с карательными органами, с печально известным НКВД?*

## Первое предостережение

В 1935 году успешно закончил педтехникум и получил назначение, как уже упоминал, в местечко Колышки, где в семилетке преподавал русский язык и литературу. По совместительству вёл уроки белорусского языка и литературы в местной еврейской школе. Но вот первые неприятности! В самом начале июня после трёх дней занятий вдруг не явилась на работу учительница третьего класса Ольга Вознесенская. Её арестовали по доносу того же «Косого» как представительницу бывшего дворянского сословия, хотя она была всего лишь дочерью дьякона из соседней деревни. Я никогда не был провидцем, но многие после этого трагического случая шептались по углам, что наш всем известный «Косой» несколько раз посещал её на дому, и, видимо, она слишком доверилась проходимцу и подонку, показав свой семейный альбом. Вы, читатели моих воспоминаний, спросите, откуда я это знаю? Правильный вопрос, но по всему местечку мгновенно распространилось, что изъяли у бедной «аристократки» именно все семейные фото-

альбомы, а в них и были “доказательства” если не её прямой принадлежности к «бывшим», то многочисленных родственников учительницы. Этого было достаточно, чтобы без всяких причин и фактов враждебной деятельности лишить человека жизни. Класс остался без учителя, и директор распорядился перевести его на предметное обучение. Мне поручил вести уроки русского языка. Малыши встретили меня неприветливо. В классе было шумно, долго усаживались за парты, многие разговаривали, не обращая на меня никакого внимания. Я начал урок. На задней парте шум, болтовня. Иду к нарушителям, говорю: “Дети, успокойтесь, урок начался, а ты встань и назови своё имя!” Дёргаясь, как пауч, поднялся светловолосый мальчуган и неприветливо буркнул:

– Гришка, а вас как?

– Меня зовут Василий Кузьмич. Я буду вести у вас уроки русского языка. А ты садись. Начинаем работать. Достаньте тетради.

Не успел объяснить тему занятий, как этот шустрый Гришка опять начал болтать. Снова подхожу, чтобы как-то успокоить.

– А вы ему по затылку или в ухо! У него часто так! – выкрикнул его сосед. Все затихли в ожидании моей реакции. Это была явная и, возможно, продуманная провокация!

– Детей бить нельзя! – спокойно говорю я. – А Гриша неплохой мальчик, он больше так не будет.

Но опять встаёт его сосед и как-то очень серьёзно спрашивает: “А если бы вы работали до революции, то били бы детей?”

– Я бы не бил их и в то время. Детей вообще бить нельзя! – отвечаю.

– А Ленин сказал, что буржуев нужно бить всех! – снова сосед Гришки.

Я как мог спокойнее попытался объяснить, что Ленин имел в виду не детей, а самих взрослых буржуев. Это совсем другое дело.

Оказалось, что даже такого невинного диалога с детьми было достаточно, чтобы меня дней через десять вызвали в Лиозно в отдел НКВД! Повестки я не получил – был только звонок директору, сразу окрасивший обстановку в подозрительные и тре-

вожные тона. Слава богу, как выяснилось потом в ходе работы, директор сам ненавидел эти органы и их кровавые делишки.

Допрашивал молодой сотрудник НКВД, явно не белорус – южное лицо вечной национальности, тонкие, как бритва, брови и постоянно кривая улыбочка с издевательским тоном превосходства.

– Ну что? Рассказывай про свою вражескую пропаганду! Как ты в советской школе проводишь подрывную идеологическую работу! Учти, мне известно всё! – пригрозил он и для убедительности ударил кулаком по столу, на котором лежал листок с пятью строчками рукописного текста. Весь вид, поза, важная маска на лице – всё говорило о желании унижить, подавить собеседника, выжать из него то, что необходимо для ареста или ещё чего похуже. Чекист, желая сразу раздавить меня, не предполагал, что у меня есть ещё и неплохие мозги. Повысив голос почти до крика, бросил мне в лицо то, что произошло в третьем классе, и неожиданно предъявил сразу три обвинения: ревизия Ленина, антисоветская пропаганда и идеализация проклятого царского прошлого! Я здорово растерялся. Никогда не сталкивался с таким целенаправленным хамством и грубостью. Абсолютно ничего плохого ни за мной, ни за членами моей семьи не водилось. Отца никуда не вызывали, он вовремя сообразил, что лучше самому отдать Советам то, что грозились отобрать силой, и не навлекать гораздо худшие последствия. Его и не трогали больше.

Я собрался, подумал и решил брать его прямой атакой: “Это чистое враньё! Это мог написать только враг советской власти! Я никогда и нигде не занимался враждебной деятельностью и нет никаких свидетельств этого. Напротив, я комсомолец-активист, редактор стенной газеты «Ленинский комсомолец», езжу с лекциями по сёлам о советском строительстве, пишу статьи об успехах советской власти на деревне. Абсолютно все могут это подтвердить – директор, учителя, работники райкома партии. Это явный поклёп на настоящего советского учителя. Такое мог написать только настоящий враг, затесавшийся в ваши ряды! Враньё от первого слова до последнего!” Я почти выкрикнул это, как последнюю защиту перед дорогой в неизвестность. Не знаю

точно что, но, видимо, отчаяние, прозвучавшее в моём голосе, оказало какое-то смягчающее воздействие на моего противника, хотя внутри мой боевой сначала настрой сменился тоскливым ожиданием своей участи.

Допрос неожиданно закончился тем, что мне было в жёсткой форме предложено написать свою версию случившегося и дать оценку своим же словам. Ещё – охарактеризовать весь класс (учтите, это были третьеклассники?!) с политической точки зрения. Он вручил мне ручку, чернила, бумагу и отправил писать в пустое соседнее помещение. Стало чуть легче. Я понял или мне так показалось, что арест пока откладывается. Написал всё как было, но повторил ещё раз свой защитный тезис: бить незащищённых детей – дело аморальное, тем более недопустимое в социалистическом обществе и школах. А карать за злостные преступления – дело специальных юридических органов. Учитель же должен давать знания и воспитывать в духе социализма. Получилось, на мой взгляд, слишком прямолинейно и коряво, но в такой обстановке ждать от меня чего-то другого нельзя было. Я собрал всё, что было в голове, и попробовал хотя бы так защитить себя первый раз.

Принимая от меня два исписанных листа, чекист угрожающе процедил: “Хорошо, что ты ещё молод, но в будущем смотри! Получишь тюрьму несмотря на твою писанину!”

Меня отпустили. Выйдя на улицу, обнаружил, что уже темно. Значит, я там просидел часа четыре! Коленки дрожали, что-то урчало в желудке, настроение, несмотря на полученную свободу, было не ахти.

После я нашёл всё-таки контакт с этими и другими учениками, но в душе остался тревожный осадок и какое-то первоначальное разумение окружавших меня обстоятельств и особой атмосферы 30-х годов. Конечно, было очень неприятно и самому, и перед другими за этот вызов, хотя директор сделал вид, что ничего не произошло, за что я ему особо благодарен. Этим жестом он негласно подбодрил меня и как бы выдал «индульгенцию» на продолжение трудиться, не заикливаясь на происшедшем. В голове вертелся вопрос: «Кто же донёс? «Косой», но другой?»

Эта первая тревожная история в моей жизни имела, однако, своё продолжение.

Педсовет, как всегда, затянулся. Было около десяти вечера. Иду сквозь сплошную темноту. Только в окнах отдельных домов чуть мерцают свечи. Вдруг из калитки кто-то вышел. Подошёл внезапно ко мне. Женщина, голова и плечи накрыты пледом. Лица не видно. Тихо и быстро заговорила: «Вам в вашем третьем классе нужно быть особо внимательным – они уже «съели» двух учительниц и вас тоже могут подставить. Отец этого Гришки работает сторожем в Оршанском НКВД. А вы, как я слышала от учеников, хороший учитель, да и преподаёте в классе, где учится мой сын...». Что-то хотела добавить, но замолчала и исчезла в темноте. Скрипнула калитка. Оглянулся – никого. Не догадался подойти поближе и посмотреть номер дома. Так и осталась эта незнакомка только в моей памяти. А в школе сколько ни всматривался в детей, так и не узнал, кто же её сын? Но этот совет тоже научил меня осторожности: с тех пор я старался избегать любых провокационных вопросов и, если они всё-таки звучали из уст некоторых коллег, я ограничивался, как бы это сказать, неопределённым мычанием. Более я не встречался с доблестными чекистами аж до 1945 года.

Отмечу ещё то, что осталось в памяти от этой первой встречи и потом повторилось через много лет: и этот сотрудник, и те, с которыми я встречался после освобождения, пользовались одним и тем же приёмом. Они прямолинейно обвиняли людей в самых страшных грехах, впиваясь глазками в дрожавшего человека. Неважно, что ни доказательств, ни свидетелей под рукой не было. Главным средством давления был страх. Страх, уже размножившийся среди советских людей, испытавших его жуткие последствия на себе или на родственниках, соседях. Вся их работа основывалась на страхе перед расстрелом, пытками, тюрьмой или ссылкой в Сибирь!



*1935 г. Студентки Оршанского педагогического техникума. Моя будущая жена в центре. В те годы её звали Валентина – так было безопаснее, поскольку её настоящее имя Ванда напоминало о польских корнях. Но в годы учёбы я не был знаком с ней. Это случилось уже в Кольшиках.*

Кроме языков, на меня скоро навесили и ботанику (учитель был арестован, так как носил яркую польскую фамилию – Пшебыльский). Пришлось обложиться учебниками, пособиями – и дело пошло. Преподавание этого предмета требовало периодического проведения экскурсий на природу, в нашем случае – в прекрасный старый лес. Однажды солнечным июньским утром мы направились туда. Шли группами по 4–5 человек. Разговаривали, смеялись. Девчонки шли вместе, мальчики сами разбились на кучки по интересам. Кто срывал цветы, кто жевал только что проклюнувшийся щавель. Всем было весело. Я же чувствовал себя не слишком уверенно, так как не знал названий многих растений и цветов. А ко мне подходили ученики и спрашивали, что это, а что то... Я нашёл выход и отвечал, что пояс-

ню на следующем уроке, но так, как это полагается в ботанике – название по-латыни, а потом общепринятое. Ученики удивлялись, но больше не приставали. Вдруг мальчики заговорили громче, слышались слова – “дай мне, ну дай, я только подержу...”. Я подошёл. Оказалось, что у одного ученика был револьвер, которого я никогда в жизни не видел. Оружие переходило из рук в руки, все щёлкали спусковым крючком, вращали, слава богу, пустой барабан. Я попросил, чтобы дали подержать и мне. Хозяин револьвера сначала упирался, боясь, что его отберут, но потом дал. Я сказал ему: “Даю слово учителя, что отдам, но больше ты его с собой не приноси!” В моих руках оказался изящный револьвер бельгийского конструктора Нагана. Я где-то читал или слышал эту фамилию, но в руках никогда револьвер не держал. В нашей семье не было даже охотничьего ружья. Отец не любил ни охоту, ни охотников. Я подержал его и отдал владельцу. Вдруг он, преисполнившись ко мне доверием, говорит: “А я вам дам выстрелить, но в лесу!”. Остановились. Ученик, имя его было Стасик, вынул из кармана захваченную из дома для этого случая газету и наколол на сучок. На ней уже были нарисованы два чёрных круга. Вытащив патрон из кармана, он ловко, одним движением вставил его в барабан и дал мне. Целиться я уже умел, как-никак в педтехникуме преподавали и военное дело, но никогда не стрелял из такого оружия. Прицелился, нажал на курок – раздался оглушительный выстрел, с верхушек деревьев посыпались вороны, а в центре газеты образовалась дыра. Лес заглушил звуки и при возвращении назад никто не спрашивал, что там стреляло. А что делать мне как учителю? По атмосфере того времени нужно было срочно доложить о наличии оружия у ученика! Но опять этому чекисту? Или директору? Но я совершу непоправимое предательство в отношении подростка-шестиклассника, ещё ребёнка, испорчу ему всю дальнейшую жизнь. Для меня наступил, как теперь говорят, момент истины! Что делать? Неожиданно ко мне подходит этот Стасик и громко, наверно, чтобы слышали другие, уверенно говорит: “Мы, Василий Кузьмич, никому не скажем, что вы стреляли из револьвера. Мы вас не выдадим. Никто не посмеет это сделать, а револьвер не мой. Его нашли возле

старых могил времён первой войны...”. Я почему-то сразу ему поверил и решил забыть этот необычный случай. Позже я узнал, что отец этого ученика – старый кронштадтский матрос, чудом уцелевший после известного восстания\*. В глухом белорусском местечке он смог выжить и сохранить семью. Работал при клубе, ремонтировал всякие часы, велосипеды, примусы\* и другие хозяйственные инструменты. Именно он отремонтировал мне погнутую защитную решётку на моих первых наручных часах. Такой же револьвер позже я увидел только во время учёбы в военном училище.

В 1937 году в Колышки приехала молодая учительница Валентина Васильевна Улитина. Ещё пополнение – будет преподавать белорусский язык и литературу, да и квартирантка для кого-то. Остановилась у Хайлеи. Как-то директор школы сказал мне, что будет педсовет, и попросил пригласить новую учительницу. Хайлеин дом я знал. Захожу внутрь. Спрашиваю: “У вас живёт новая учительница?” Слышу: “Проходите”. В боковой комнатке за столом сидела белокурая с пышной причёской молодая девушка. Она читала «Отцы и дети» И. Тургенева. Надо же такое запомнить? Я поздоровался как можно вежливей. Сказал, что её приглашают на педсовет, а сам внезапно подумал: “Это моя!” Самонадеянность? Что ж, может быть, но думать-то никому не запрещено? Жизнь и в этом медвежьем углу пошла веселей. Молодёжи прибавилось. Учитель Зяма Дикман, новый историк Григорий Гурченко... Кажется, больше соперников у меня не было. Ходили вместе в кино, на танцы в клуб. Пальто я уже умел подавать – научила сестра. Девушку вести под руку также умел. Плюс, конечно, гитара! Год прошёл быстро.

В апреле 1938-го мы поженились. Моя молодая жена – Ванда Васильевна Ковалёва (Улитина), но прилюдно её звали Валентиной по понятным причинам, чтобы не было слышно польских корней. Она мать моих двух детей, и мы идём по жизни уже семьдесят три года. Больше чем полвека с хвостиком! Жизни долгой, трудовой, временами тяжёлой и небогатой, было и почти трагической, но всё же жизни!



С высоты моего возраста и прошедшего времени могу сказать без хвастовства, что полюбил я, дети мои – Святослав и Олег, вашу мать крепко и навсегда. Такая уж моя судьба!

*– Что ты можешь рассказать о родных твоей жены? Чем они занимались? Среди них мои любимые бабушка и дедушка – Каролина и Василий. Откуда они, кто? Что это за место такое – Красиово?*

Поскольку моя жена происходит из деревни Красилово, расскажу об этой местности. Деревня Красилово расположена в Толочинском районе Витебской области. В доколхозное время тут было 18 крестьянских дворов. Одна улица. Почти все дома на одной стороне, на другой только три. У каждого хозяина был свой сад. Деревня небольшая. Её уже нет на картах Белоруссии. Находилась на автомагистрали Минск – Москва, в 200 метрах от неё. В старые времена эта дорога называлась Екатерининским трактом Варшава – Москва. Кое-где изгибы дороги выровняли, и старые берёзы остались в стороне. Проезжую часть расширили и к 40-м годам покрыли асфальтом. Расстояние до районного центра Толочина 12 километров, до областного Витебска – 125. В двух километрах село Славени. Название говорит само за себя – поселение славян. Красилово относительно молодая деревня. Возникла после отмены крепостного права, после 1861 года, когда безземельные крестьяне получили от царской власти наделы земли. В годы строительства Екатерининского тракта, как говорит семейное предание, одному из основателей рода по линии матери моей жены по фамилии Стома было присвоено звание столбового дворянина за заслуги в организации строительства своего участка этой важной для всей России дороги. Каждому главе или сельскому старосте выделяли участок будущей дороги, где он должен был организовать работу местных крестьян с лошадьми, подводами и другими приспособлениями для отсыпки грунта, гравия, песка, утрамбовки всего этого, транспортировки камней, строительного леса. Вот так предок матери моей жены и выделился своими организаторскими способностями и трудолюбием. Увы, это звучное дворянское звание ничего не дало этой, по сути, крестьянской семье. Выдали соответствующую грамоту, выделили больше земли и разрешили построить в соседнем селе Гостыничи дом-усадьбу. Вот и все привилегии. Этой грамотой было разрешено писать и пользоваться фамилией, объединявшей два рода, на дворянский манер – Стома-Мержинские. Уже в XIX веке это дворянство было почти забыто, а жизнь, как и раньше, требовала напря-

жения всех сил в ежедневном труде. Через много лет мать моей жены Каролина Валерьяновна Улитина (Стома-Мержинская) посмеивалась, когда кто-то вспоминал дворянские корни её предков: “Хоть я и дворянка, но вместо золочёной кареты – хлев, коровы и петух – вот и всё дворянство!” Но хочу всё-таки отметить – наверно, благородные гены или ещё что-то сыграли свою особую роль в становлении характера, в поведении и культуре этой необычной женщины. Она обладала гениальной памятью, умела лечить людей, знала очень много из народной медицины и с успехом пользовалась этими знаниями. Кроме того, владела и навыками гипноза, чем и прославилась далеко за пределами своего Красилова. Отмечу, что мать моей тёщи, её ласково называли бабуней, в своё время работала администратором-ключницей у богатых помещиков Горделковских, с которыми была связана какими-то дальними родственными узами. Именно она имела прямое отношение к обедневшему роду столбовых дворян Стома-Мержинских, но документов об этом интересном биографическом факте не сохранилось. Я и мой сын Олег пробовали найти какие-нибудь следы этой фамилии. В Витебской области уездные архивы сохранились не полностью, но в архивах Минской губернии в списке дворян всё же есть эта красивая фамилия Стома-Мержинские, есть она и в Польше, куда в далёкие от нас годы выехали их родственники. Чего-то более подробного найти не удалось. “Иных уж нет, а те – далече...”, как писал поэт. Но молодёжь продолжит и их, и наш род – генеология не оборвётся.



*Василий Андреевич Улитин и Каролина Валерьяновна Улитина  
(Стома-Мержинская). Фото конца 50-х годов XX в.*

Название деревни Красилово говорит о её прекрасном облике – очень много зелени, высоченные столетние липы стоят вдоль всего села по одну сторону, за ними большие сады с яблонями, сливами, вишнями, грушами. Напротив – дома, а за ними длинными полосами огороды, поля картофеля, спускающиеся к ставкам, по-местному – сажалкам. Между домами – сирень, рябина, орешник. Шум со стороны шоссе не слышен – его заглушают такие же старые липы вдоль варшавского тракта. Почти все дома, вплоть до конца шестидесятых, с соломенными крышами, но два дома, моей родни и ещё один – были покрыты красной черепицей, взятой с руин родового поместья в уже забытом селе Гостыниччи. Ещё в 20–30-е годы в этом здании был сельсовет, библиотека, зал для танцев или кинопередвижки\*. В начале 50-х ещё можно было видеть это полуразрушенное бревенчатое

здание с крыльцом и спаренными колоннами по сторонам. Интересно отметить, что моя теща Каролина Валерьяновна почти никогда не ходила в эту деревню. Она избегала её под любыми предлогами. Даже когда нужно было искать там отбившуюся от стада корову, она просила об этом мужа. Что-то мешало ей, стояло поперёк, напоминая, наверно, не самые радостные страницы её биографии. Моя жена – дочь белоруса Василия Андреевича Улитина и польки Каролины Валерьяновны Стома-Мержинской. О её предках и их истории я уже упоминал. Отец моей жены в 1912 году платил за аренду волоки (20 гектаров) земли сто рублей в год. Весной 50 и осенью 50. Много это или мало? Можно только сравнить с ценой других вещей: дойная корова стоила тогда 7–8 рублей, телёнок – до 10. Мужские сапоги – около 2 рублей. Моя теща прожила долгую жизнь и умерла в Минске в 1982 году. Похоронена вместе с мужем на кладбище в Толочине. Она была не совсем типичной представительницей обычного белорусского крестьянства. На таких, как говорят, всегда держалась культура, традиции, менталитет нашего народа, да и всего славянства. Умная от рождения, общительная, владевшая письмом и грамотой, умела шить, вышивать, ткать из льна полотно, дорожки, коврики. Пользовалась авторитетом у людей как народная целительница. К ней часто приходили люди с разными недугами. Видел сам, как она с помощью своих гипнотических способностей оказывала действенную помощь тем, кто страдал «падучей», т.е. эпилептическими припадками. Необъяснимо и таинственно умела гадать на картах, предсказывая судьбы людей. Со слов родственников жены знаю, что во время войны, находясь на оккупированной территории, она иногда садилась за стол и раскладывала карты. Каждой из замужних дочерей хотелось знать судьбу своего мужа. И Каролина Валерьяновна сосредоточенно гадала на каждого, и у неё выходило, что все мужья должны вернуться домой, хотя кто-то из родни пострадает. Так и вышло – все зятя, бывшие на действующем фронте и принимавшие активное участие в боевых операциях, вернулись почти невредимыми. Более того, с многочисленными наградами и высокими званиями. Сыну её, Станиславу, не повезло – он был

снайпером, отличился в своей редкой военной профессии, трижды был награждён боевыми орденами, но в конце войны его подстрелил немецкий снайпер. Разрывной пулей «дум-дум» (так её называли в народе) было раздроблено левое предплечье, и с тех пор он владел только правой рукой. Получив степень инвалида 1-й группы, продолжал трудиться на скромных должностях до конца своей жизни.

Католичка по вероисповеданию, Каролина Валерьяновна не была фанатиком веры, но в случае духовной необходимости читала молитвенник-кантичку\*. Хорошо владела польским, русским и белорусским языками. Обладала превосходной врождённой памятью – она знала наизусть целые поэмы, сказания, песни, могла легко воспроизводить главы из «Евгения Онегина» «Мцыри», «Капитанской дочки». Пела все католические костельные литании, от простейших мелодий до «Аве Мария». Репертуар её был богат и обширен. Так, она знала на память всю поэму «Тарас на Парнасе», «Песнь о вещем Олеге» – её любимые произведения. Охотно декламировала дореволюционные хрестоматийные\* стихотворения, например:

Вышел внук на пашню к деду  
В рубашонке, босиком,  
Улыбнулся и промолвил:  
– Здравствуй, дедушка Пахом!

Ты, я вижу, притомился.  
Научи меня пахать,  
Как учили мы, бывало,  
«Отче наш» с тобой читать!

–Что ж, изволь, коли охота  
И силёнка есть в руках.  
Почися, будь помощник  
Деду старому в трудах.

И Пахом к сохе с молитвой  
Внука за руку подвёл.

Внук, крестясь, бороздою  
За лошадкою пошёл.

А вот другой колоритный стишок:

Лысый, с белой бородою  
Дедушка сидит.  
Чаша с хлебом и водою  
Перед ним стоит.

Бел, как лунь. На лбу морщины,  
Сумрачный лицом, –  
Много видел он кручины  
На веку своём.  
Всё прошло. Пропала сила,  
Притупился взгляд.  
Смерть в могилу уложила  
Деток и внучат.  
С ним здесь в хате закоптелой  
Кот один живёт.  
Старый он и спит день целый,  
С печи не сползёт.

Старику немного надо –  
Лапти сплесть, подшить.  
Вот и вся его отрада:  
В Божий храм сходить...

Ещё хрестоматийный шедевр религиозно-поучительного характера:

Вечер был. Сверкали звёзды.  
На дворе мороз трещал.–  
Шёл по улице мальчишка,  
Посинел и весь дрожал.

Боже, – говорит сиротка, –  
Я прозяб и есть хочу.  
Кто согреет и накормит,  
Боже, добру сироту?

Шла дорогой той старушка,  
Услыхала сироту,  
Приласкала и согрела,  
И поесть ему дала.

Положила спать в постельку.  
– Как тепло, – промолвил он.  
Закрыв глаза, улыбнулся  
И уснул спокойным сном.

Бог и птичку в поле кормит  
И кропит росой цветок.  
Бесприютного сиротку  
Также не оставит Бог.

Пела Каролина Валерьяновна также прекрасно – тоненьким,  
чуть дрожащим голоском с берущим за душу вибрато\*:

Окрасился месяц багрянцем,  
И море бушует у скал...  
–Поедем, красотка, кататься,  
Давно я тебя поджидал.

–Спасибо, поеду охотно,  
Я волны морские люблю.  
Дай парусу полную волю,  
Сама же я сяду к рулю.

–Ты правишь в открытое море,  
Где с бурей не справишься нам.  
В такую шальную погоду  
Нельзя доверяться волнам.

–Нельзя? Почему, дорогой мой?  
Поддавшись той горькой судьбе,  
Ты вспомни, изменник коварный,  
Как я доверялась тебе!

Меня обманул ты однажды.  
Сегодня тебя провела.  
Смотри же, вот ножик булатный,  
Который недаром взяла.

Ты брось пред погибелью вёсла,  
Спасти чтоб никто нас не мог...  
Поутру приплыли два трупа,  
А с ними разбитый челнок...

Ещё декламировала пушкинское «Как ныне собирается вещей Олег отмстить неразумным хазарам...». К ней периодически приезжали из Минска любители старинных песен и сказаний, корреспонденты радио, записывали на плёнку её искусство и удивлялись: откуда у крестьянки такой запас, такие знания?! Её уникальная память удерживала и произведения М.Лермонтова – «Тамара», «Тростник», «Стенька Разин», пушкинское – «Под чёрной осенью ненастной в пустынных дева шла лесах и тайный плод любви несчастной держала в трепетных руках», большие отрывки из «Евгения Онегина», стихи А. Блока, Ф. Тютчева и многое другое... Не любила В. Маяковского и называла его довольно ярко – «бандит»...

Её муж, отец моей жены Василий Андреевич Улитин (1892–1968) родился и проживал тоже в Красилово. Имел 7 гектаров земли. Предки его из тех же краёв. Очень трудолюбивый человек, как сказали бы теперь – трудоголик! Владел многими ремеслами. Принимал участие в первой мировой войне в качестве кавалериста. Имел какой-то нижний чин, что видно на старой фотографии. Интересно отметить, что по возвращению живым и здоровым с войны, он «умыкнул»\* свою будущую жену на коне, выкрал её из родного дома ночью. Революционные события

встретил в своей деревне, где работал до конца 50-х кузнецом в местной кузнице. Очень переживал, когда какой-то партийно-советский деятель из Толочина, несмотря на неоднократные просьбы односельчан оставить кузницу в деревне, всё же закрыл её, проявив партийную принципиальность и волю, а главное – полное безразличие к потребностям местных жителей!

### *Расставание с кузницей*

*С вечера со стороны дремучего леса, что тянулся синей полосой по всему горизонту, стала наплывать на деревню какая-то чёрная масса. “Потянет на дождь, но крепкий будет, – тревожно сказал Василь, – да и на бурю похоже. Помню, после гражданской...”*

*– Ты хлев-то прикрой, да и гусей с сажалки пригони, а то не дай Бог...– в той же тревожной тональности ответила его жена*

*.– Помнишь, до войны как разбросало? Хорошо, что половину крыши снесло, и тут что-то похожее.*

*Душу хозяина последнюю неделю царапала непонятная тревога, направленная в завтрашний день. Или это было связано с возрастом, просто казалось?*

*Но после приезда в деревню какого-то говорливого человечка с райкома партии, который носился по селу, выискивая любые недостатки и мелочи (в стране разруха, а он к деревне вяжется!), среди мужиков поползли слухи, что само колхозное правление скоро закроют и Красилово уже не будет центром хотя бы на сельском, местном уровне, а просто одним из колхозных отделений, вроде даже не первым, а третьим?! Обидно стало им. Детсад закрыли, библиотеку тоже, а как было удобно – все дети бегали туда за книжками, да и взрослые время от времени захаживали. Ежедневно читать, конечно, было некогда, но тоскливыми зимними вечерами под свечкой или под керосиновой лампой можно было осилить пару-тройку страничек.*

*Задул холодный ветер, недовольно зашумели ещё мощные липы, посаженные, говорят, ещё при царе – может, лет 150 назад. Заскрипели под ударами стихии ворота и плетень... Пропали все ласточки, угомонились говорливые птицы. Быстро темнело...*

*– Цыган наш Миллян, слышишь, Каролинка, договорился до того, что сказал – кузницу мою закроют... – глубокое отчаяние прозвучало в этих словах.– А зачем её закрывать? Все имеют нужду в ней, да и денег она много не просит. Сами бы содержали. Когда углём разжигаю, а теперь чаще древесным. Пусть бы и работала, да и мне занятие любимое, плюс копейка... Привык я за столько лет. Другая такая за 20 километров, а у нас ещё и сёла разные в округе нуждаются.*

*Василий глубоко и печально вздохнул. Пошёл в сени и, открыв кладовую, вытащил из сундука с зерном литровую бутылку с собственной самогонкой.*

*– Ты извини, немного глотну. Я ж тайком от тебя не употребляю. Печёт что-то внутри. Чувствую, гадость какую-то скажут завтра. Не дай Бог про кузницу!*

*– Да ладно, что ты – маленький? Знаю тебя уже сто лет. Глотни, если не по себе. Вдруг поможет? Во какие времена настали! До войны расстреливали, а теперь мучают, свою власть показывают...*

*– Да не власть, а глупость, дурость серую. Паспорта не дают\*, труда нашего не хотят ни видеть, ни понимать. Давай в закрома, сдавай последнее, а тебе – нуль! Да, кое-что, кое-как, но так медленно, а народ по-прежнему перебивается... До завтра бы дожить...*

*Чёрная сила природы прошла мимо. Не ударила ни страшной грозой, ни ослепительными молниями. Как намёк, как предупреждение... Ветер затихал, небо очищалось, между густыми тучами появились светлые полосы. Солнце бордовым диском постепенно исчезало за далёкими вершинами сосен. «Слишком оно красное. Быть беде».*



*Каролина Валерьяновна Улитина (Стома-Мержинская).*

На следующий день Василий вернулся с собрания с чужим лицом – бледный, уголки губ скорбно опущены вниз, в глазах почти слёзы: «Закрыли, сволочи, мать их туды... – выругался, что было крайне редко, – вот взял только на память». Он вытащил из-под соломы на подводе два молота – средний и малый и спихнул на землю наковальню: «Оставлю себе, пусть для души будут. Как-никак лет двадцать пять там...». Грустно вздохнул и отнёс своё кузнечное добро подальше от глаз людских за сарай. Потом он годами обходил стороной свою родную некогда кузницу и старался не останавливать взгляд на её раскрытых воротах-ладонях, будто просивших о помощи. На следующий год кто-то снял все петли, уволок створки ворот, забрал всё, что смог найти внутри и даже снял часть крыши. Позже тёмными осенними ночами цыган Миллян разобрал всю кузницу на дрова.

Не любил Василь, когда кто-то из гостей или зятьёв спрашивал о кузнице. Тяжело вздыхал, вставал из-за стола и уходил, может в сад, а может и в баню. Возвращался оттуда минут через двадцать, когда отходило сердце. Наливал в рюмочку крепкого самогона, выгнанного им самим, ставил рюмку на стол, накрывал её широкой ладонью кузнеца и, легонько дотрагиваясь до края, водил пальцем по кругу по часовой стрелке... Сидел молча, и было что-то таинственное и необъяснимое в этом новом ритуале. До сей поры не могу ни понять, ни объяснить даже самому себе. В этой позе было всё – прошлое деревенского кузнеца, его тоска по молоту и огненному горну, надежда на лучшее впереди, мысли о вечности...

Может, Всевышний распорядился так, что много лет спустя, после их ухода в мир иной, на развалинах дедовой бани я нашёл именно эту рюмку, дедову рюмку. Три знакомых полоски жёлтого цвета были уже почти не видны, но осталась маленькая щербинка, на которой дед задерживал на мгновение свой палец, а потом продолжал движение по кругу... Только в редких случаях я пользуюсь сейчас этой рюмочкой и с любовью вспоминаю её хозяина...

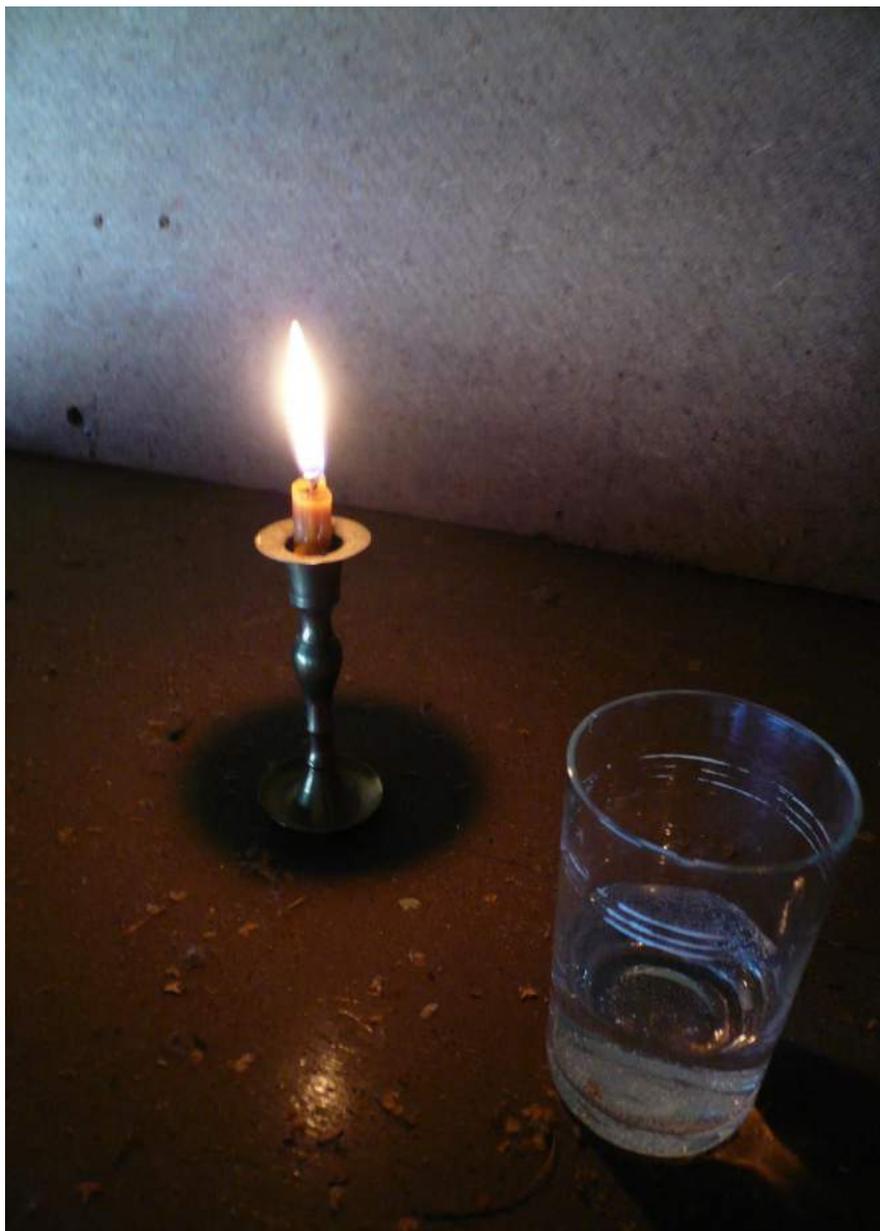
Дед был чуть выше среднего роста, худощавый, будто свитый из стальных жил. Будучи физически крепким от природы, он ещё набрался много сил, работая долгие годы

кузнецом. Трудился без спешки, размеренно, его никогда не лихорадило по причине или нехватки времени, или от непривычных, усложнившихся условий. Размеренно, спокойно, время от времени покряхтывая от удовольствия, он делал свою непростую работу, особо не обижаясь ни на менявшиеся день ото дня новшества, нина неизменные идиотские инициативы, особенно по части жизни крестьян, спускавшиеся из Центра народу как гениальнейшие планы знающих абсолютно всё райкомовских вождей. Говорил: «Там что, не люди, как мы? Постоянно ошибаются, что-то подправляют, исправляют, грозятся, что в райкоме, что в исполкоме... Сами в руках, кроме карандаша, ничего не держали, а нам жить нужно, хлеб растить, скотину... Яблони вырубил, сливы, коня нашего забрали, ещё заберут, но мы же сами, наверно, останемся? Кто ж на них, на это государство будет работать и этих бездельников кормить? При царе и то получше было...».

Любил ночевать в саду. Для этого соорудил просторный шалаш с плотной крышей из жердей, еловых лапок и соломы. Внутри лежали два-три старых кожуха и подушки, набитые сеном. К нему, в этот таинственный пахучий уголок, постоянно просились внуки и внучки. Ночёвка там была как поощрение, как премия за хорошее поведение. И получалось, что в гости к деду в это экзотическое жилище набивалось много маленького народу.

А он и не жаловался. Покурит на воздухе, посидит вместе с собакой Волчком в обнимку, да и пошёл укладываться в баню... Волчка снимал с цепи – «пусть погуляет», и тот, набегавшись до одури, приходил к деду под утро сам и укладывался возле ног.

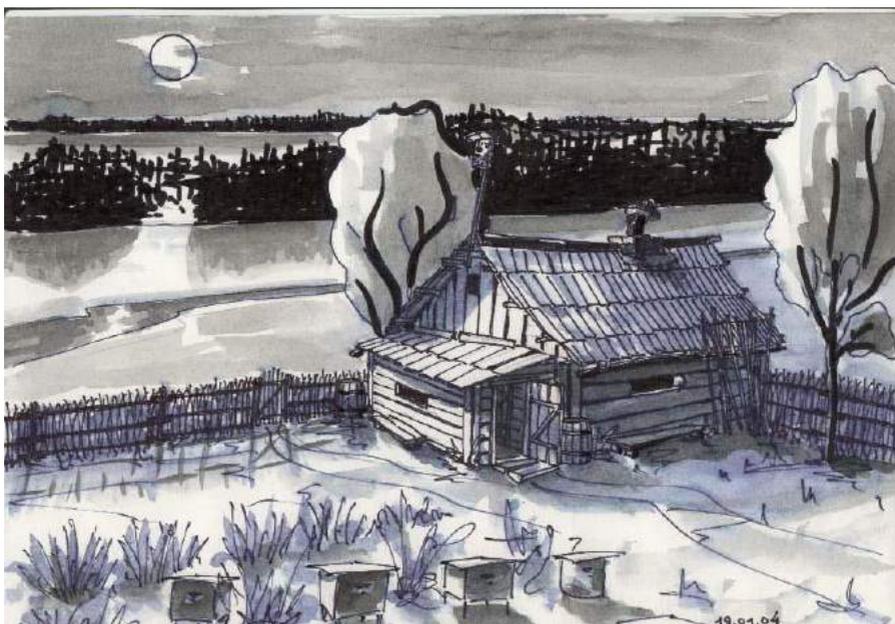
Василь слушал шум яблонь, думал о завтрашнем дне, а Волчок задумчиво вглядывался в звёздное небо и проводил глазами редкие метеориты. Что это такое, он, скорее всего, не знал, но выражение его морды всегда было наполнено вековой собачьей мудростью и любопытством...



*Настоящая дедова рюмка, найденная Олегом на развалинах его бани спустя 15 лет после его кончины.*

– *Завтра не забыть бы рамки в ульях проверить. Здоровые ли там все? Носить уже начали... Может, воды им добавить? От работы жажда и у пчёл появляется.*

*А ульев этих у него набиралось в разное время от 10 до 15. Во время войны меньше, так как не хотел мёд показывать ни немцам, ни партизанам. Вывозил ночами ульи в дальний лес на свои секретные делянки. Так надёжнее. Правда, пару раз наши, так называемые местные партизаны, делали набеги и туда – всё разграбили, разбросали... Но пчёлки потом снова взялись за работу и... Сон смеживал веки, пчёлы давно не летали, мысли путались и в конце концов застывали в ожидании следующего утра...*



*Дедова банька.*

Родня моих тестя и тёщи также многочисленная и довольно заметная. У Василия Андреевича был брат Прокоп и сестра Дарья. Прокоп – человек трудолюбивый и изобретательный. Он работал мастером на крахмальном заводе сначала в Смоленске, потом в Толочине, а в начале века жил и зарабатывал деньги в течение лет пяти в Америке. В деревне Красилово имел свой дом, крепкое хозяйство. Дважды женат. От первой жены двое детей – Мария и Григорий. Оба проживали в деревне Кацевичи Толочинского района. Мария – человек заметный, комсомолка тридцатых годов, активистка, любила петь, организовывать разные праздники и дни торжеств. Прекрасная портниха. Прожила длинную и насыщенную жизнь, умерла в 1989 году. Её брат Григорий жил в той же деревне, но подробно о его судьбе не знаю. От второй жены у Прокопа родилась дочь – Зинаида Прокопьевна Зайцева – известная в своё время на всю Белоруссию учительница русского языка и литературы. Награждена многими знаками отличия. О её методах преподавания изданы брошюры, книги. Спасаясь от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, переехала к своей дочери (муж, директор крупного завода в Лунинце, трагически погиб) в городской посёлок Бешенковичи Витебской области. Там её дочь работает журналистом в районной газете.

Братья моего тестя – Прокофий и Иван, по кличке «Толстый», проживали в Красилово. Ещё были родственники по фамилии Ермоловичи, Верховины. Интересно, что все дома перечисленных родственников были покрыты гонтой\*. Богатых или хотя бы живших в достатке в Красилово никогда не было. Но при советской власти такая ситуация – в деревне, да и «вообще без врагов» выглядела абсурдно, ибо не могли не затесаться и в эти нищие ряды скрытые враги крестьянского социализма. Таких в результате неоднократных тщательных поисков всё же нашли. Им оказался далёкий родственник тестя Игнат Верховин. Его раскулачили, отобрали всё, что можно было оторвать от земли и выгнать из хлева, арестовали и вместе с семьёй выслали в неизвестном направлении. В его доме устроили колхозный детский сад, где пару лет проработала воспитательницей моя тёща.

В культурном и образовательном отношении деревня Краси́лово отличалась от других – почти вся молодёжь пошла учиться. Из Краси́ловских выходцев 15 человек стали учителями, один – железнодорожным инженером, одна – телеграфисткой, другая секретарём райсовета в райцентре. Рекорд же побиты детьми семьи Улитиных – четыре дочери получили педагогическое образование, пятая – сначала медтехник, потом, после окончания Витебского мединститута, – врач-стоматолог, младший стал дорожным строителем.

Теперь же деревня Краси́лово пропала – остались две хатки, посещаемые только летом, сады заросли бурьяном и колючками, исчезли пруды и речушка. Тень запустения навеки накрыла некогда весёлую и красивую деревушку. Но на старой дороге до сей поры ещё стоит указатель – Краси́лово, как память, как дань и селу, и жившим там людям.



*Фото сделано Олегом в 2009 году.*

В Красилово постоянно проживала после выхода замуж учительница Полина Михайловна Чигирь, также родственница Улитиных. Женщина интеллигентная, образованная, уроженка города Могилёва. У неё было двое детей – Зинаида и Геннадий. Интересная деталь: в период немецкой оккупации Зинаида работала переводчицей у немцев, а потом бесследно исчезла. Она закончила тот же педтехникум, что и я. А немецкий язык ей и мне преподавала один и тот же педагог, крещёная еврейка из Мюнхена Розалия Зархи – по-еврейски Зарх. В Красилово жили люди с фамилиями не только белорусскими, но и явно российского происхождения – Улитины, Верховины, Ермоловичи, Флёровы, Яськовы, Лемешевы, Емельяновы...

У Василия Андреевича были ещё две сестры – Наталья (с детства глухонемая, умерла после войны) и Дарья Кроер (никто так и не узнал, откуда у её родни по мужу немецкие корни). Она жила в деревне рядом с райцентром. У Дарьи было шестеро детей: три сына (Константин, Иван, Владимир) и три дочери – Надежда, Анна и Агафья (по-народному – Гапуля).

Много родственников было и у моей тётчи Каролины Валерьяновны. Две её сестры, Констанция и София, проживали перед войной в Варшаве. София работала домашней учительницей у богатых людей, а Констанция – секретарём в какой-то фирме.

Теперь расскажу о сёстрах(их было четыре) и брате моей жены. Их биографии также интересны и отражают в большой степени разные особенности и этапы нашей жизни в те времена. Размещу их по возрастному принципу.

Старшая сестра Ванды София Васильевна Левкович, бывшая учительница русского языка и литературы, после войны во время учёбы мужа в Военной академии работала завотделом в закрытом кремлёвском магазине. Её муж – полковник, ветеран войны, бывший заместитель командующего Прибалтийским военным округом по хозяйственно-строительной части. Там же проживают её неординарные дети и внуки. Сын Эдуард, один их основателей первого в СССР джазового оркестра «ТКМ» (Телевизионный клуб молодёжи), впоследствии успешный бизнесмен. Его супруга – кандидат наук, преподавала в

Ленинградском университете. Отдельно нужно отметить их выдающегося сына Василия Петренко (взял себе фамилию пожившей матери). Он в наши дни является одним из всемирно известных дирижёров классической музыки. За вклад в развитие и возрождение Ливерпульского Королевского симфонического оркестра награждён Орденом Великобритании и титулом «почётный гражданин города Ливерпуля». Является главным и постоянным дирижёром Ливерпульского оркестра и одновременно главным дирижёром симфонического оркестра города Осло в Швеции. Проживает с семьёй на два адреса, гастролирует по всему миру, в том числе и в России. Бывший ученик Ю.Темирканова, главного дирижёра Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Дочь Тамара Калинина много лет проработала завбиблиотекой на океанском лайнере «А. Пушкин». Её муж Олег Калинин – известный в ленинградских кругах математик, кандидат наук, выходец из знаменитой школы Ф.Богомолова. Его отец, настоятель одного из православных храмов Петербурга, расстрелян во время сталинских чисток в конце 30-х годов. Дочь – гастролирующая исполнительница старинной музыки на редком сейчас инструменте – виола да Гамба. Работает в основном в странах Европы.

Ещё одна сестра, Алина, вышла замуж за Николая Гридюшко. Он ветеран войны, полковник, награждён многими отечественными и зарубежными наградами. Был дважды ранен. Последнее время служил начальником политуправления Новосибирского военного округа. Его семья из Сибири в конце 60-х переехала в Витебск, где он работал заведующим отделом народного образования области. Трагически и нелепо погиб на рыбалке. Выпившие компаньоны перевернули лодку. Плавать герой войны уже хорошо не мог. Честный, преданный курсу партии, бесребреник, ярый сторонник сталинской политики, он погиб, так и не поняв истинной сути своего трагического времени и настоящих причин репрессий. От вопросов своего тестя во время семейных встреч о причинах репрессий в 30-е годы он уклонялся, пытался свалить всё то на троцкистов, то на вражеский заговор. В семье Гридюшко дочь Нэлли и сын Юрий.

Последний умер в молодом возрасте, был талантливым и весёлым парнем. Нэлли замужем, живёт в Витебске.



*Семья Гридюшко – Алина (близнецы с моей женой Вандой), Юрий, Нэлли, Николай.*

Сестра Юзэфа Васильевна Мамчева после войны до самой кончины проживала в Рязани. Её муж Георгий (в быту Жора), бывший военный лётчик, пролетавший всю войну на американских истребителях «Р-39 Аэрокобра». Горел, дважды был сбит, сам уничтожил 9 вражеских самолётов. Командованием полка был представлен к высшим наградам, но дальше Особого отдела МГБ дивизии документ не прошёл – кто-то из его близких родственников был репрессирован за участие в какой-то заговорщицкой или антисоветской организации в российской глубинке. Несмотря на неоднократные рапорты об оставлении на службе, он был уволен из рядов ВВС, и это сказалось на его дальнейшей жизни и здоровье. У них двое дочерей – Лариса и Лена. Лариса – кандидат радиотехнических наук, бывшая зав.

научной лабораторией Рязанского радиоинститута. Её муж тоже с таким же учёным званием, заведующий кафедрой этого же института. У Ларисы двое детей – прелестная дочь Алина и сын Михаил. О Лене деталей не знаю, у неё есть семья, дети. Все они живут и работают в Рязани.



*Георгий и Юзэфа Мамчевы.*

Следующей идёт моя жена Ванда. О ней я уже рассказал.

Младшая дочь Мария Авсиевич (Улитина) долгие годы жила в Толочине, работая врачом-стоматологом. Очень красивая женщина, похожая на известную актрису Л.Фотиеву. Дети – дочь Людмила, музыкальный руководитель в детском саду, сын Сергей – шеф фирмы по организации крупных выставочных проектов, в том числе международных.



Мария Васильевна

Единственный сын в семье Улитиных – Станислав, инвалид войны, снайпер, отмеченный несколькими боевыми орденами. Его вторая жена – в начале войны радистка одного из партизанских отрядов на территории Белоруссии, потом шифровальщица специальной группы кодирования связи на станции метро «Комсомольская» при самом И.Сталине. Награждена многими орденами и медалями. У Станислава двое детей – сын Юрий, закончил музыкальный взвод Суворовского училища в

России, трагически погиб при опрокидывании автомашины. Дочь Людмила закончила Гродненский пединститут и сейчас работает директором школы. Проживает в Брестской области в пос. Телеханы. Её муж Виктор – начальник закрытого охотничье-лесного хозяйства «Телеханы».



*Сестра с братом – Мария и Станислав Улитины. Послевоенная фотография.*

Чтобы закончить семейные дела, следует сказать вот ещё что. Мы с Вандой имеем двух сыновей – Святослава и Олега. Мы старались, учили и воспитывали их, как могли и умели. Только с высоты нашего возраста можно заметить недостатки и в пройденном пути, и в воспитании детей.

Нелёгкий час выпал на нашу долю. От 1917 года до нашего времени, когда пишутся эти строки (2008–2009 годы), жизнь была неровная, часто нервозная и трагическая, с переменными успехами, но всегда волнительная и прекрасная.

В 1939 году мы перебрались из Лиозненского в Оршанский район, поближе к родителям. Устроились в Заболотскую школу. Ванда преподавала белорусский язык и литературу, я – соответственно русский язык и литературу в 5–7 классах. Наш первенец Святослав родился 16 февраля 1939 года в Заболотье.

В 1939 году я поступил на заочный факультет Могилёвского пединститута по специальности «белорусская филология и литература». Мне очень хотелось получить высшее профессиональное образование, да и тянуло меня к языкам, литературе, истории. Интерес к немецкой культуре был также заложен ещё со школьных времён – из рассказов родителей о семье барона фон Корфа, из редких встреч с его детьми и первых проб говорить с ними на немецком. Они смеялись, но без всякой язвительности поправляли недостатки и поощряли интерес и к языку, и к своей культуре. Многие дали и уроки иностранного сначала в школе, потом в педтехникуме. Это врезалось в память, и с того времени я имел собственный взгляд на людей этой национальности – далеко не все немцы, как вдалбливала советская пропаганда, были нашими врагами. Это подтверждалось и прекрасной немецкой литературой, музыкой, позже – многими философскими трудами, высочайшим уровнем науки и техники, которые во многом до сего времени остаются для нас желанной, но трудно достижимой целью. А меня уже долгие годы, с тех пор, как начал немного «видеть и слышать», что делается вокруг (и не только рядом, но и там, откуда долетали громкие торжественные реляции и слухи о победах на всех фронтах, о «догонялках», о постоянно повышающемся уровне жизни простых людей), мучает один-единственный вопрос: почему так? И

ещё – почему, положив на плаху нашей истории миллионные жертвы, мы так и не добились желаемого? Ну хотя бы на уровне какой-то Дании?! Даже там (пусть они меня простят!) люди жили и живут лучше нас? Почему? Почему – при таких-то наших богатствах? Честных ответов нет!

Ответы, конечно, есть – нас отучили от самостоятельной качественной работы, поощряемой прежде всего материально. На первый план была выдвинута идеология строительства равного для всех общества – величайшая утопия, если не сказать, ложь и обман! Строить-то строили, но получше и пожирнее для себя, а остальным – по остаточному принципу. Партийные выскочки старательно руководили всем и всеми, чаще всего не разбираясь даже в примитивных основах этих направлений и новшеств. Чего стоит одна только «кукурузная революция»! Шарханья в освоении целины, зерноводстве, мясной промышленности, лёгкой. Привычка делать всё тяп-ляп укоренилась на фоне постоянных призывов «догнать, перевыполнить, удвоить, «пятилетку– за три года!», закончить обязательно к празднику Октября!» Чудеса! Конечно, были и успехи, но о них лучше прочитать у бывших членов политбюро или у ярых сторонников И. Сталина.

Отсюда, из Заболотья, под новый, 1940 год, меня призвали в армию. Оршанским военкоматом я был признан годным по здоровью в военно-воздушные силы Красной Армии. Но приближающаяся угроза возможной войны спутала все карты – спешным порядком меня направили в Могилёв, где открылось новое военно-пехотное училище. Тревога уже ощущалась, а военных кадров становилось всё меньше и меньше – дьявольский механизм НКВД работал без передышки, уничтожая практически всё военное командование, начиная с полкового звена и выше! Моё личное дело было опечатано сургучной печатью, вручено под расписку (будто там были какие-то секреты – сплошная дурь того, да и нашего, времени!), и я поехал в Могилёв. Только там мне сказали адрес училища. Всё, даже простые дела, типа переезда, постановки на учёт, были окутаны завесой кромешной тайны и всеобщей подозрительности. Власть через послушный, дённо и ночью трудившийся репрессивный

аппарат НКВД везде искали и успешно находили сонмы закопавшихся врагов!

Почти на каждой лекции нам вбивали две простых, но важных для жизни в «свободной» социалистической стране истины: единственный гений в мире – наш отец Сталин, и всё, что сделано в СССР – лучшее! Не дай Бог, если какое-то существо любого пола и звания усомнится в этом, допустив колебания или, что самое страшное – свое персональное, отличное от масс мнение! Не позволялось даже цитировать ранее прочитанное, несмотря на то, что авторами были знаменитые советские литераторы! А вдруг они уже состоят в списках врагов?

Далеко не сразу, но эти жёсткие правила тогдашней жизни всё же дохо-дили до курсантов, в том числе и до меня. Я частенько вспоминал осторожные слова моего отца и особенно его советы насчёт высказываний и поведения при чужих или малознакомых людях.

Вспоминаю, как во время первого года учёбы в училище произошёл редкий и трагический случай – я вместе с другими курсантами выехал в летний лагерь для знакомства с работой в полевых условиях. Человек 20 курсантов сидели в большой палатке и слушали лекцию. Вдруг рядом раздался мощный взрыв, нашу палатку сорвало, все бросились в разные стороны... Кто кричал «война!», кто – «диверсанты!»!

На следующий день поползли слухи: офицер на занятиях о средствах пассивной обороны – это значит мины, колючие заграждения, надолбы, траншеи – решил показать особенности противотанкового минирования. Взяв в руки принесённую в качестве пособия круглую мину, положил её на землю и сказал: «Запомните, противотанковая мина не представляет никакой опасности для пехотинцев. Она рассчитана на гораздо больший вес, чем вес человека, даже двух, и не может взорваться, когда кто-то на неё наступит...». И он тут же стал на мину... Хорошо, что эта мина была пиротехническая, предназначенная для учёбы или демонстрации, но не для боевых условий. В ней не было настоящей взрывчатки, но и силы пиротехнического заряда хватило, чтобы оторвать бедолаге лектору ступню.



*Заочник Могилёвского пединститута. 1939 г.*

Все, кто сидел в первом ряду, получили сильные ожоги, но остались невредимы. После этого жуткого случая заставить курсантов даже в приказном порядке бросить гранату было очень трудно. Лишь постепенно пропал этот страх перед настоящим убийственным оружием. Атмосфера в армейской учёбе была настроена только на позитивное восприятие и службы, и ведения боя, только на быструю победу лёгкой ценой.

*Я спросил у отца, было ли ему самому страшно после этого случая бросать боевую гранату?*

– Да, было страшно, но я собирал всю свою волю в кулак и думал только о том, как её бросить, чтобы ничего и никого не зацепить в окопе, не споткнуться, главное – бросить достаточно высоко, но по наклонной траектории, а потом залечь на землю.

Характерная деталь: с февраля 1940 года на вооружение Красной Армии был принят автомат ППД-40 (пистолет-пулемёт Дегтярёва), более ранняя, не очень удачная модификация которого уже применялась в советско-финской войне (с 30 ноября 1939 по 12 марта 1940 года). В училище изучали как основное стрелковое оружие магазинную винтовку Мосина образца 1891 года, бывшую единственной неавтоматической винтовкой. Изучали также и её модификации – винтовку Токарева, карабин Симонова. Что же касается автомата ППД-40, то его несколько раз показывали нам на лекциях, но в воинской части, куда я прибыл после училища, их ещё не было. Некоторое время считали, что автоматами следует вооружать только внутренние и специальные войска НКВД, но не регулярную армию. Почему? Вроде из-за сложности эксплуатации, ремонта и поддержания в боевом состоянии. Училище я окончил на «отлично», и только мне и ещё пятерым курсантам было присвоено звание лейтенанта, а не младшего лейтенанта, как всем!

Полтора года учёбы пролетели быстро. Дальше продолжать не было смысла – так поговаривали наши начальники. Запахло войной! 15 июня 1941 года на митинге по случаю окончания учёбы комиссар училища Шумилин сказал: «Теперь в Могилёве более выгодно держать боевую часть, а учиться можно и где-нибудь

подальше, поэтому училище эвакуируется в Ярославль, а последний курс выпустим досрочно. Всем курсантам получить на складе новые шинели, гимнастёрки, сапоги, португееи, головные уборы и бельё. Каждому по два комплекта – зимнее и летнее». Никто из нас в эти дни не думал и не подозревал о приближении войны. На сердце была какая-то необъяснимая радость! Да, я хорошо это знаю. Особенно когда у любого молодого человека заканчивается один этап жизни и начинается другой – школа, учёба, служба в армии, потом гражданская жизнь – работа, женитьба... Предчувствие чего-то важного, самостоятельной службы Родине! Молодой офицер, да ещё в те времена – это была особая честь для меня и для других! И хоть погоны тогда не носили, были знаки отличия на петлицах – два красных кубика на каждой и полосатый с золотым тиснением острый треугольник на левом рукаве. Ну а звание лейтенанта, полученное за отличные успехи, прямо грело душу и звало к подвигам во имя Отчизны! Большая честь для меня и моих друзей лейтенантов! Походка стала уверенной, чёткой, взгляд острый и внимательный – надо же было первому отдавать честь начальству?!

У неженатых – мысли о девушках, у меня – о моей молодой жене и сыне. На выпускной вечер 16 июня ко мне приехала Ванда. Мы поселились в гостинице. Целых два дня гуляли курсанты-выпускники, покупали в Могилёве все чемоданы, упаковочные ремни, сундучки из лозы (это было особенно модно) для белья и всякой мелочи. Всё уже сложено, даже две бутылки коньяка, хотя я вообще не пил, но все берут и я взял. Сфотографировались на память. Фотограф клятвенно пообещал выслать фото на почтовый адрес жены. Но фотографии из Могилёва так и не пришли. Начали грузиться в эшелон. Народу полно. 18 июня я распрощался с Вандой. Она поехала в Заболотье, а я – в неизвестность... В вагонах было шумно – кто вёз с собой жену, кто – подругу, подхваченную на ходу. Мерный перестук вагонных колёс располагал к воспоминаниям, а они, в большинстве своём, были приятными и волнующими – наше знакомство и любовь, рождение сына, первые робкие шаги в организации семейной жизни, осознание взрослости.



*1940 г., г. Могилёв. Фото во время одной из встреч с женой.*

Вспоминались встречи с родными – как я возил показывать свою будущую супругу своим, а потом Ванда знакомила меня со своими родными. Всё было так свежо, ново, все чувства были обострены... и, казалось, нашей весне не будет конца! Вечерами при свете керосиновой лампы, после проверки кипы ученических тетрадей мы сидели и под посапывание нашего первенца ду-

мали о завтрашнем дне: что мы будем делать дальше, получится ли выехать в город. Я планировал учиться дальше, и жена не возражала. Но в воздухе уже пахло чем-то тревожным. То кто-то что-то услышал по радио, то приезжавшие проверяющие из областного центра упоминали о каких-то напряжениях с Германией... За окном в наступивших сумерках ещё можно было различить белые стволы берёз, мелькавших за вагонным стеклом, и силуэты белорусских хат, готовившихся к ночи. В душе то ли горечь какая-то, то ли ещё что-то не-понятное... Может, из-за расставания, может, из-за отъезда...

## Последние дни

18 июня выехал из Могилёва поездом, уже в плацкартном вагоне\*. Проезд был оплачен военкоматом, а плацкарта полагалась мне как офицеру. Пару минут я радовался этому как ребёнок. С собой был брезентовый чемодан, плащ-накидка и рюкзак для мелких вещей. Новенький сундучок из лозы со всякими покупками я отдал жене. В кармане гимнастёрки документы и единственная фотография жены от июля 1940 года, где она сфотографирована в красивом белом платье, с сумочкой и подаренным мной букетом цветов. Эту фотографию я пронёс сквозь всё пекло войны, сквозь плен, через все фашистские муки... Я сберёг её до моего освобождения из концентрационного лагеря американскими войсками в апреле 1945 года. Но довести до Родины не смог. Эта фотография, американская справка на трёх языках об обстоятельствах моего освобождения и реабилитационном лечении (весил 52 кг), 10 долларов, выданных на первое время, перстень итальянской графини были отобраны представителем НКГБ на первом же допросе, и я в числе других был отправлен для проверки в фильтрационный лагерь.



*Перед присвоением звания лейтенанта. 1941 г., г. Могилёв.*

## День третий

Я продолжал смотреть в вагонное окно, за которым быстро пролетали мирные белорусские пейзажи – хаты с дымками над трубами, крестьяне, работавшие на земле, коровы на зелёных заливных лугах... В небе стремительно мелькали ласточки, опиившая замысловатые пируэты и круги.

На душе по-прежнему почему-то горько. Или причиной было расставание, или что-то другое, о чём не успели поговорить. Что-то жгло в груди и не давало заснуть. Может, думаю теперь, это и была настоящая человеческая интуиция, но подсознательная, очень слабая, как бы на уровне первичных догадок и мыслей. А догадки эти и мысли всё больше и больше подкреплялись чуткими и осторожными намёками то наших командиров, то какими-то обрывками слов, подслушанных на рынке или на улицах в городе.

Только к вечеру на попутной машине добрался из Гродно в Белосток\*, где находился штаб 10-й армии. Доложил о прибытии, и меня тут же направили в штаб 29-й мотомехдивизии. Там заспанный начальник пригласил к столу, где лежала топографическая карта. Спросил, умею ли ориентироваться по карте. Ответил, что на «отлично» сдал военную топографию. Спросил, откуда знаю немецкий язык (в моём личном деле это было особо отмечено), и записал меня в журнал прибытия. Я ответил, что ещё в школе старался изучать немецкий, а учителями у меня были сами носители этого языка. Расписался под приказом, где значилось, что я назначаюсь помощником начальника 2-го отдела штаба 29-й мотомехдивизии. Штабист пожал мне руку и добавил, что переночевать придётся на диване рядом с помещением дежурного по части. На следующий день нужно было получить офицерскую форму (она отличалась по качеству от курсантской), планшетку, пистолет и двухсуточный паёк. По своей любознательности, не думая, задал глупейший в этой ситуации вопрос: «Что означает должность начальника 2-го отдела», чем вызвал крайнее недовольство: «Чему вас там учили? Или до конца не доучили? Это одно из самых важных под-

разделений – во 2-м отделе вы будете организовывать дивизионную прифронтовую разведку, как в тылу вражеских войск, а в мирное время – в приграничной зоне с сопредельным государством. Вас что, вообще этому не учили?» «Нет-нет, учили, – поспешил заверить его я, – я на «отлично» сдал этот предмет. И как организовывать резидентурную сеть, как вербовать агентуру, на какой основе...» «Ладно, хватит, а то вы так тут разгонитесь, что все свои секретные знания разболтаете. В этот отдел, как внезапно выяснилось, уже в который раз затесались очередные враги народа (он произнёс эту фразу с ядовитым сарказмом, явно рассчитанным на то, что я правильно пойму двойной смысл), – внимательно посмотрел на меня и продолжил:– Там ничего и никого уже нет, одни карты, ориентировки из округа, наставления, оперативные совсекретные документы со списками уже приобретённой агентуры, по-моему, только два человека. У вас будет помощник, секретчик. Его обязанность – держать все документы в порядке, обновлять их по мере поступления новых, уничтожать по акту устаревшие, печатать и размножать то, что вам будет поручено начальством, и ещё всякие мелочи, вплоть до содержания спецавтомашины с кунгом\* в чистоте и порядке. Но секретчик ещё не подготовлен. Вот вам, как знающему немецкий язык и как отличнику учёбы, предстоит научить его, как правильно организовать чёткую работу с секретными документами, и другим обязанностям, главное – держать язык за зубами, а то эти совсем было разболтались... К совсекретным документам (их там немного), никого, кроме тех, кто в списке, не подпускать на пушечный выстрел! За одно нарушение – расстрел! Да, это я вам по-дружески,– никого не спрашивайте о тех, кто там работал до вас! Смерти подобно! Отправитесь вслед за ними! Всё! Доброй ночи, а завтра – в летний полевой лагерь. Там к вам припишут автомашину ЗИС-5\* и шофёра. У вас будет отдельная палатка и питание всем в офицерской столовой, так как все вы секретноносители. Наша дивизия принимает участие в военно-полевых учениях 10-й армии».

Долго не мог заснуть – и жестковато было на старом кожаном диване, да и мысли всякие лезли в голову. Справлюсь ли? В стране уже давно судачили о возможности конфликта с Западом.

Правда, конкретно Германию называли не часто, но нам почему-то казалось, что именно с ней будут большие проблемы: нет-нет да и проскакивало то о немецких войсках, стоящих в Польше, то о каких-то учениях германских ВМФ в Балтийском море... Было тревожно, но нам не верилось, что на такую могучую и непобедимую страну, как наша (это особо яростно подогревалось советской пропагандой!), может кто-то напасть. Тем более немцы, уже познавшие силу русского оружия и дух наших солдат, и не один раз в истории.

Засыпая, подумал о жене, сыне, оставшихся в далёком Заболотье. Но ничего – три года пролетят быстро, да и видеться мы тоже будем – через 6 месяцев я получу свой первый отпуск дней на семь. Вот и поеду к ним. С улыбкой на устах крепко уснул.

*– Каково было состояние наших войск? Предчувствовали ли военные, с которыми ты столкнулся в армии, приближение этой жуткой угрозы? Что они предпринимали в последние дни, часы? Что происходило в твоей части накануне войны?*

Девятнадцатого я прибыл в г.Слоним Гродненской области в распоряжение штаба 29-й мотомехдивизии, которой командовал генерал-майор Бекжанов. Построились на плацу перед зданием штаба. Одетые с иголочки, подтянутые, молодые, аккуратно подстриженные, мы смотрелись очень респектабельно – прямо старорежимные блестящие офицеры! Фраза «послужим Родине» прямо звенела в голове каждого. О враге, который уже стоял за дверями, кое-какие мысли тоже приходили, но наша знаменитая шапкозакидательская советская пропаганда так позатыкала всем уши и глаза, что абсолютно все были уверены, что враг никогда не нападёт, так как мы нас-только сильные и непобедимые, что он сразу найдёт смерть на своей же территории! Интересно будет узнать современным молодым людям, да и сторонникам Сталина, что в нашем училище вообще не преподавали тактику ведения войны на своей земле, на территории могущественного Советского Союза! Любое неосторожное слово о возможности отступления или организации сопротивления врагу на нашей

земле каралось увольнением и арестом! Недотёпа, молотивший бездумно языком, исчезал навсегда на бескрайних просторах необъятной матери-Родины. За время моего полуторогодового обучения в училище исчезли почти все офицеры преподаватели, чьи фамилии были польского происхождения или напоминали таковые – Гервитовский, Августинович, Муравский, Сикорский, Гжелбовский, Савинский, Песляк, Бубер... Других фамилий не запомнил.

Военное начальство, четыре или пять человек, приветливо поздоровались с нами и скомандовали «вольно». «У кого из вас красивый почерк?» – спросил кто-то из них. Нашёлся выпускник с почерком. «А кто умеет делать чертежи?» – новый вопрос. Из строя вышел и такой специалист. До меня дошло, что выбирают кадры для службы в штабе дивизии, и тут мелькнула мысль: «Вот бы меня туда?» Вперёд выступил офицер в редко виданных в те времена чёрных очках. Подошёл поближе: «Кто из вас хорошо знает немецкий язык, но не только устный, а и письменный? Вы же все его учили?» Я подумал: «У меня одни пятёрки», но высовываться с моими относительными знаниями не стал. И вдруг стоявший рядом со мной выпалил: «Да у нас только Ковалёв разговаривать на немецком может. Он и с преподавательницей нашей на нём балакал...». Этого оказалось достаточно, чтобы моя судьба только лишь после одной фразы повернула на другие рельсы... Вот какую роль может сыграть господин случай?! Два-три слова – и ты уже улетаешь в другие обстоятельства, в другую сторону, туда, где тебя ждёт полная неизвестность. Если бы меня угораздило попасть в обычные подразделения, командиром роты, даже его замом, то кто знает, как сложилась бы моя дальнейшая жизнь, да и сложилась ли бы вообще? Что это было? Предзнаменование, перст Всевышнего, просто поворот? Последовал приказ: «Лейтенант Ковалёв, два шага вперёд! Остальные в распоряжение зам командира полка по кадрам!» Мы попрощались, но как-то неумело и растерянно. Наивно думали, что и дальше будем служить вместе, бок о бок, вновь ощущая то же курсантское братство, только на новом уровне. Увы, пути-дорожки с первого дня службы начали расходиться в разные стороны. Майор Бирюльков, начальник 2-

го отдела, повёл меня в свой кабинет. Познакомились поближе. Оказывается, я его знал – он был командиром учебного батальона в том же могилёвском училище, и я видел его там пару раз. Майор пояснил, что тёмные очки носит недавно, после того как простудил глаза во время езды зимой на мотоцикле. Он сел напротив меня и начал спокойно и последовательно рассказывать о моих новых обязанностях. Уточнил, что у него нет сейчас заместителя и я назначаюсь на это место, т.е. по-военному – «замнач-2». Уже не помощником, как было говорено ранее, а заместителем. Оклад свой не помню, тем более что я его ни разу не получал, т.е. не успел получить. «Ко мне никого не допускать без моего разрешения», – сказал кому-то в коридоре. «Вот карта Германии», – он отодвинул красную занавеску на стене. Там была обычная географическая карта части Европы – Дания, Германия, Австрия, Польша, Чехия и Литва, отошедшая к СССР в августе 1940 года. Западная часть карты была почему-то аккуратно отрезана по линии границ со странами к западу от Германии. Территория Германии, как потенциального противника, была обведена красным карандашом. Кое-где уже были нарисованы чёрные прямоугольники и треугольники, обозначавшие, как мне показалось, дислокацию каких-то воинских подразделений, но чьих – написано не было. «Вот ваше поле деятельности. Наносить свежие данные из ориентировок, докладных и других документов Генерального штаба и нашего Главкома». Показал, где секретные папки, где несекретные, журналы входящих и исходящих документов, списки имущества, закреплённого за нашим подразделением.

Вдруг без всякого вступления майор, без оглядки по сторонам и колебаний, сказал: «А нам ваш немецкий язык скоро пригодится. Я тоже пробую его учить», – при этом он вытащил шуфлядку и показал два учебника немецкого языка и словари, изданные где-то в Москве. И продолжил: «Немного послужите, а потом мы отправим вас в Ленинград учиться на военного переводчика. У нас он пока (так и сказал!) есть, но он поволжский\* немец Вольдемар Фрост, а сейчас время особенное, сами знаете... и мне бы хотелось иметь при штабе переводчика нашей национальности. Мало ли что! Лучше русского...». Так и

сказал – «русского», хотя знал, что я из Белоруссии. «Сейчас идите и представьтесь генерал-майору. Он в своём кабинете».

Я почти на цыпочках подошёл к дверям, обитым кожей, и постучал. У такого высокого начальства бывать ещё никогда не приходилось. Мне довелось как-то бывать в кабинете начальника нашего училища полковника Шадрина (его вдовья жена жила в Минске в 1956–1957 годах). Я искал тогда квартиру для нашего сына Святослава, поступившего в политехнический институт. Захожу в частный дом, стоявший сзади, во дворах института. Пожилая женщина открыла дверь. Поговорили, договорились об оплате. Я увидел на стенке фотографию человека в военной форме и сразу узнал в нём начальника училища. Спросил, кто это. «Это мой муж. Он погиб на фронте. А откуда вы его знаете?» Я ответил. Она сначала с интересом слушала меня, но скоро впала в какое-то своё обычное задумчивое состояние и застыла возле фотопортрета.

Генерал-майор спросил: «Куда определили на службу? Вопросы?» Это была краткая аудиенция с настоящим, первым в моей жизни генералом. Она оставила приятное впечатление. Намного позже, навидавшись всяких начальников в разных инстанциях и учреждениях, я начал чуть соображать, что многие среди этих людей с лампасами и без – это уже почти и не люди. У них и голоса нечеловеческие, кричающие, каждый пытается баском стоящего напротив задавить, или хотя бы проскрипеть что-то претендующее на исключительность. Словом – это особый отряд человекообразных, но с чрезмерно развившимися способностями мимикрировать, приспособливаться, угождать, годами в позе склонённого лакея выжидать «своё» перед высшим начальством, только бы заполучить в руки руководящую должность, как в карьере, так и в морали. Зато перед низшими они короли! Но таковыми, слава богу, были далеко не все!

Я в своём кабинете. «Пока он на двоих, потом нам выдадут ещё комнату. Теперь насчёт квартиры, – опередил меня Бирюльков. – Пока она не понадобится – мы выезжаем в летние лагерь, а потом найдём что-нибудь для вашей семьи в Слониме. Там много предложений и адресов. Ночь вы переспите здесь на диванчике. Никто не потревожит. Прослужите недели три, по-

том я вам дам отпуск, привезёте жену и сына и будете устраиваться».

Остаток дня использовал для ознакомления со Слонимом. Типичный западный городок – дома с верандами, чистота, мощёные улицы, много цветов, магазинчики с крыльцом, выходящим на улицу, и обязательно с навесом от дождя. В парке – скамейки, в киосках мороженое и напитки. Люди одеты аккуратно, я не увидел, чтобы кто-то ходил в лохмотьях или в грязной одежде, что, к сожалению, можно было наблюдать на моей родине. Наверное уровень жизни здесь повыше. Почему? Тогда, конечно, я не мог ни объяснить, ни понять причин этого. Приходилось верить своим глазам. Но уже хорошо понимал другое – рассказывать об этом, хвалиться где-нибудь, что видел другую, более богатую жизнь, категорически нельзя!

Зашёл в спешно организованный солдатский клуб. Там можно было попить чаю, съесть пирожок, почитать центральные газеты. В углу стояло фортепиано. Подошёл, одним пальцем наиграл простую мелодию. Ко мне тут же подошла какая-то дама и на русском языке, но с сильным польским акцентом сказала, что если я интересуюсь музыкой, то она могла бы давать мне платные частные уроки. Это предложение было слишком неожиданным и, поблагодарив, я быстро ретировался оттуда.

Вечером решил сходить в ресторан. До этого никогда в нём не был, и мне казалось, что это заведение какое-то особенное, и люди, сидящие там, тоже неземные. Это инфантильно-восторженное впечатление сложилось, скорее всего, от какого-то фильма и, главное, – от бедности. Денег не хватало даже на нормальную еду, а тут прямо заманчивые буржуазные развлечения! Интересы и смелости добавляло и моё новое положение советского офицера, и, конечно, удалённость от строгого семейного очага.

Красивые официантки тут же окружили меня, провели за столик у окна с видом на городскую площадь, предложили меню и отошли в сторону. Я сразу почувствовал себя раскованным, будто ходил сюда тратить деньги каждую неделю. Увидев, как ведут себя бывалые посетители, я, подражая завсегдатаям, откинулся на спинку стула и стал лениво перелистывать меню.

Официантка сразу поняла, что я приехал сюда из самых глухих мест, подошла и помогла выбрать пару блюд. Удивилась, услышав, что я вообще не употребляю спиртного, но довольно быстро принесла невиданное жаркое из свинины, овощной салат и чёрный кофе. Я прямо проглотил всю эту вкуснятину и изящным движением кисти поднёс к губам чашку с заморским кофе. Какая гадость! Только успел рассчитаться – подошёл военный патруль. Офицер и два солдата с винтовками. Мне тихим, но настойчивым голосом приказали немедленно покинуть сие заведение, объяснив, что здесь небезопасно для советского офицера – слишком много польских шпионов и диверсантов! От страха я через две секунды уже был на приличном расстоянии от этого скопища потенциальных врагов нашей страны! Было поздно. Перебежками, оглядываясь назад и по сторонам (а вдруг меня уже преследует группа захвата?), я быстро прошёл часового и очутился в своём кабинете. Дверь закрыл на ключ, сел и начал обдумывать своё не совсем правильное поведение. Сделал вывод, что ещё не успел совершить конкретные глупости – пойти на уроки музыки, заказать спиртное или попытаться установить контакт с прелестной официанткой-полькой...

Найдя в шкафу одеяло и подушку, лёг на диван и тут же уснул. Ночь прошла спокойно, даже фривольные сны не снились. Утром начальник сказал, чтобы я пошёл на склад и получил положенное дополнительное обмундирование, личное оружие и запас продовольствия на первые четыре дня. Завскладом, высокий худой капитан, сморщился и недовольным голосом прогундосил: «Только приехали, а им уже боевое оружие раздавать!» Но положенное выдал – полевую форму (галифе, гимнастёрку, плащ-накидку, ремень, портупею, планшетку, шинель и пилотку). Ещё нательное бельё и портянки. В довольно большой картонной коробке были четыре банки тушёнки, каша в пакетах, две буханки чёрного чёрствого хлеба вместо сухарей, чай, сахар и соль. Я впервые стал обладателем настоящего боевого 8-зарядного пистолета системы Токарева (ТТ) и двух обойм к нему. Расписался и радостный направился всё примерять. Голод давал о себе знать, и нужно было где-нибудь перекусить. Начались сборы с отъездом в летние лагеря. Брали с собой всё, что могло понадо-

биться для обучения и быта солдат – палатки большие взводные и малые для отделения, учебные доски, деревянные щиты для сборных домиков старшего офицерского состава, запасы горючего, запакованные ящики с едой...

Для нашего маленького подразделения полагалась штабная автомашина, не персональная, а для секретной части – карт, схем, документов. Это был ЗИС-5 с фанерным кунгом. Посредине стол, прикреплённый к полу, две табуретки, шкафы с запорами, полки, ящики с картами на замках, рация (не работала – не было сменных аккумуляторов), ящик с патронами для винтовки Мосина. Майор Бирюльков познакомил меня с водителем. Это был смоленский парень по имени Сеня. Больше о нём ничего не знаю. В машине разместил свой чемодан, короб с бельём, шинель, плащ-палатку, фуражку. Взял и гитару. К столу была привинчена пишущая машинка какой-то американской фирмы. Помню только знак – орёл с одной головой и буквы «USA». Пока штаб продолжал грузиться в автомашины, я настроил на МАШИНКЕ два письма – одно жене, второе отцу. Думал, что с такой техникой завалю их своими посланиями и поддержку морально. Перед отъездом меня представили разведзвуду, который был в нашем подчинении. Солдаты приняли приветливо и с интересом. Одно смутило их, что я не курю. Значит, перекуров будет меньше. Вот такое было начало.

В 11 часов на вверенной мне машине вместе с шофёром, рядовым Сеней, выехал в летний лагерь. В кунге лежали закрытые на висячий замок два оцинкованных ящика с моими первыми секретными документами. Ехали долго. ЗИС-5 на просёлочной дороге с выбоинами, глубокой колеёй еле развивал скорость 30–35 км в час, но мы безостановочно продвигались вперёд к новому месту службы.

Вокруг был дремучий лес, но там, где ели чуть расступались, светлели полянки с орешником и берёзами. На опушке пост с деревянным шлагбаумом. Проверка документов, отмашка флажком – и мы продолжили свой путь. Километра через три вторая проверка. Приграничная зона! Таков был порядок здесь! О, если бы он был такой в частях и подразделениях, растянувшихся вдоль нашей западной границы!

Лагерь размещался к западу от Белостока, приблизительно в 15 километрах, на берегу реки Нарев, в северной части Супрасльской пуци – глухого лесного массива практически без населённых пунктов. Шофёр мне попался молчаливый, но во время долгой езды мы понемногу разговорились. Болтали обо всём, но старательно избегали главной темы – приближения катастрофы, возможной войны. Никто не знал ни места, где она начнётся, ни дня, хотя на протяжении последней недели, ещё до моего прибытия сюда, среди курсантов и военнослужащих училища всё чаще и чаще слышен был шёпот: то кто-то слышал гул самолётов в ночи, то какую-то перестрелку с лазутчиками. Постоянно восторженный осетин, случайно попавший из горного селения прямо в Могилёв, даже видел два немецких самолёта... Когда его спросили, как он определил их вражескую принадлежность, он ответил очень оригинально: «Слюшай, я горец и ещё охотник, а у них зрение, как у орла, вот и увидел буквы ихние, и сердцем чую...» Услышав такое, все застыли в изумлении от таких природных качеств.

Мы ехали и ехали. Сеня вертел баранку из стороны в сторону, избегая ям и крупных корней. Мы продолжали говорить, но больше о покинутых семьях, родине, учёбе, красоте пробегающих за окном картин. Один раз я спросил что-то о составе семьи Сени. Тот запнулся и мрачно сказал, что у него одна мать, шестеро сестёр и два брата. Отца забрали. Сказав это, он замолчал и больше не вымолвил ни слова. Мы все болели подозрительностью и страхом.

Свернув с основной дороги, метров через 300 выехали к пойме реки. Вдоль неё, на расстоянии 40–50 метров от воды ровными рядами стояли новенькие зелёные брезентовые палатки, вмещавшие до 14–16 человек. Далее, ближе к кромке леса, стояли палатки поменьше. Каждую охранял вооружённый часовой. В них, по моему представлению, должно было находиться ротное вооружение – винтовки, автоматы, гранаты, пулемёты и боеприпасы. Вдоль палаток была проложена ровная дорожка – дёрн убрали, в углубление насыпали речной песок и по всей длине провели меловой краской две ярких линии. Параллельно палаткам с личным составом, но ближе к лесу, установили 6-

местные для командного состава. Для нас, как секретного и важного подразделения, была выделена такая же. Она одиноко стояла самой крайней, под лапами могучей ели, но в самом конце палаточного городка. Именно это обстоятельство и сыграло главную роль в том, что мы в момент яростной бомбёжки остались живы! Разместив в жилище свои вещи, я оставил в ней шофёра за часового и пошёл доложить о прибытии.

Начальник 2-го отдела майор Бирюльков приветливо встретил меня и закрепил за нашим маленьким подразделением (почему-то уже второй раз) ту же грузовую автомашину ЗИС-5 и находившееся в ней содержимое. Такое тщательное бюрократическое отслеживание всего, что перемещается из базового места во временные лагеря, мне показалось странноватым. Будто не было более важных вещей, чем дублировать приходные журналы?! Я тоже второй раз расписался за секретные документы и тут же познакомился с представленным мне новым секретчиком, младшим лейтенантом Григорием Голубом. Бирюльков пояснил, что мы должны будем начинать с чистого листа, т.к. никаких новых топографических привязок и обозначений нет, нет обобщающих справок об оперативной обстановке на территории учений, не обозначены позиции учебного противника. Это уже было более чем странно, так как и я, и секретчик, да и всё наше подразделение были оформлены приказом всего день назад, но куда же девалось «нажитое» за предыдущие годы, наработанное предшественниками? Но я не стал задавать дурацких вопросов и просто «проглотил» вводную. Начинать так начинать! Майор приказал Голубу выйти, а мне доверительно объяснил, что сам почти не разбирается в войсковой разведке и боится даже раскрывать эти папки со страшными, пугающими названиями типа «прифронтовая агентура, организация резидентуры в прифронтовой полосе, постов скрытого стационарного или передвижного наблюдения, захват или компрометация командирского состава противника, в том числе и представителей армейских спецслужб, перевербовки и дальнейшего использования их в качестве источников необходимой нам информации...». При первом же знакомстве с майором ничего подобного я от него не слышал, даже намёка на беспомощность. Думаю теперь, что

усиливающаяся тревога, слухи о возможной войне, да ещё на фоне лихорадочной подозрительности и страха перед карательными органами, болезненно обострили состояние его неуверенности, вылившееся в признание беспомощности... Я тогда не понял этого, но ответил, что готов приступить к исполнению обязанностей.

Имея некоторое представление о войсковой разведке полкового и армейского уровня, считал, что моих знаний, полученных в училище, хватит, чтобы освоиться и приступить к «реанимированию» этой работы. Первое время хотя бы на бумаге, да и для учебных целей.

Если бы я мог предвидеть, что ни освоиться, ни делать что-то полезное мне будет не суждено. Многие – организация, технический уровень, разведка противника оказались выше и лучше наших. Слабые, разьединённые, полуразбитые советские части не смогли оказать в первые дни и месяцы войны никакого сопротивления врагу. Об этом самом тяжёлом периоде до сих пор нет окончательных выводов и всестороннего документального и объективного анализа. Каждый из тех, кто описал эту битву веков в своих мемуарах, придерживался прежде всего принятой в Кремле точки зрения и, по понятным причинам, не мог да и боялся говорить правду, и только правду. Наша идеология требовала только победоносного освещения войны, наших неоспоримых успехов, но не давала никакой свободы для объективного, вдумчивого анализа причин ошибок и поражений в первые годы...

Бирюльков сказал, чтобы я обошёл территорию полка, проверил охрану палаток с оружием, размещение личного состава и письменно доложил о выявленных недостатках. Подумав, добавил: «Возьмите оперативную карту учебного региона и проанализируйте расстановку отмеченных на ней сил и средств, обратив особое внимание на фланги полка и стыковку с соседними подразделениями. Возьмите своего шофёра, секретчика и сходите по очереди в офицерскую столовую. Вы будете приписаны именно к ней. Потом младший лейтенант Голуб займётся сверкой имеющихся у вас документов, запишет их в журнал и составит секретный список по названиям и содер-

жанию. Один экземпляр списка подготовьте в штаб полка. После работы ко мне. Доложить о проверке в 19.00».

После обеда я взялся за исполнение приказа. Условия размещения повзводно и поротно не вызывали вопросов. Правда, бросился в глаза слишком парадный вид вытянувшихся вдоль белой дорожки палаток. Теперь бы сказали – как в пионерском лагере! Очень уж заметно. А нам ведь преподавали и основы маскировки, и применение для этого подручных средств на местности. По заученным первичным правилам войскового разведчика, маскировка лагеря, расположения полковых подразделений, пункта наблюдения должна быть максимальной. Более того, даже вводить в заблуждение предполагаемого противника. С высоты же весь полк был как на ладони – весь личный состав располагался в палатках, вытянутых на открытой местности вдоль реки. Рядом – палатки с вооружением. Только несколько штук было на отдалении под прикрытием крайних деревьев.

Зная пароль «Сокол», проверил все ротные палатки с оружием. Там, на моё удивление, в пирамидах стояли винтовки, но не настоящие, а макеты из дерева. Только в нескольких пирамидах были настоящие. Получалось, что на роту из 100 человек приходилось 40 боевых винтовок, значит на батальон – 170 и т.д. Но часовой мне показал, что в отдельных опломбированных ящиках в этих же палатках были ещё боевые винтовки. На роту два ящика плюс две пирамиды, в каждой по 10 винтовок! Не густо, но всё-таки! Я записал это как недостаток или недосмотр. Записал ещё и отсутствие пулемётов и автоматов, хотя последние только-только начали появляться в армии, да и то в качестве учебного оружия. Меня удивило такое положение, и я спросил часового, где настоящее оружие и с чем мы будем учиться? Тот простодушно ответил, что на учениях все будут выполнять строевые приёмы с макетами, а стрельбы проводится с винтовками. А пулемёты, боезапас к ним, гранаты – в другом складе, в здании старой мельницы в 3 км от нас. Автоматов вообще нет. Заметил с улыбочкой, что на патронах, наверно, экономят. Я приструнил его и сказал строго, что начальство знает,

что делает, а его работа – стоять и надёжно охранять палатку. Часовой смутился, ответил: «Есть!» и отошёл подальше.

Вооружение, как я понял, всё-таки было. Магазинные винтовки Мосина. Хоть и старого, 1891 года, образца, но прекрасно зарекомендовавшие себя в боях. Новых автоматов ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина) было мало. Их начали поставлять в начале 1941 года, но на склады под охрану. Открыть склады можно было только по команде из штаба армии в Гродно. В нашем полку, как я слышал от командиров, было 60 автоматов ППШ. Все они и остальные боевые винтовки с патронами, гранаты находились в том же кирпичном здании бывшей польской мельницы, стоявшей в нескольких километрах в нашем тылу. А деревянными винтовками пользовались во всех приграничных частях для отработки навыков рукопашного боя, строевых приёмов, положений устава внутренней и караульной службы. Все в то время в армии были вполне удовлетворены крепкими деревянными макетами, где вместо штыка был приделан железный прут, а вместо ремня – толстая верёвка. Прицельной рамки, спускового механизма, магазина не было. Никто не верил в настоящую войну, вот и играли с этими детскими игрушками. Много лет спустя стало понятно, что ни промышленность, ни наши технические возможности не могли тогда полностью обеспечить войска современным оружием. Да и репрессии среди инженеров, конструкторов сыграли отрицательную роль.

Я записал наблюдения и занялся картами. На них чётко, явно профессиональной рукой (потом я узнал, что до меня здесь служил бывший царский штабист) были обозначены все особенности дислокации частей 10-й армии, но уже устарелые. Выглядело это убедительно и неприступно: с правого фланга нашей 29-й мотомехдивизии, на север, размещалась 7-я танковая дивизия, на юг – 4-я, также танковая дивизия. Перед этими дивизиями и перед нами вдоль западной границы, кроме небольших по численности и слабо вооружённых пограничных застав, дислоцировались (с юга на север) 13-ая стрелковая дивизия, 6-я железнодорожная дивизия, 8 сд и 2 сд\*. С тыла наша дивизия не была прикрыта. Ближайшие силы – 17-й мехкорпус и 155 сд размещались в районе города Барановичи, в 200

км от нас. Кроме этого, войска одной только 10-й армии прикрывались с воздуха 41-м ИАП (истребительно-авиационный полк), правда, с самолётами, больше половины из которых были устаревшими. Вот выкладки, взятые из разных архивных документов (Википедия: авиасоединения при 10-й армии:

– 41-й ИАП – МиГ-3 – 100 шт., И-16 – 29 шт.;

– 124-й ИАП – МиГ-3 – 78 шт., И-16 – 23 шт.;

– 126-й ИАП – МиГ-3 – 68 шт., И-16 – 23 шт.;

– 129-й ИАП – МиГ-3 – 57 шт., И-16 – 61 шт.

Итого: МиГ-3 – 303 шт. и И-16 – 136 шт. Вместе: 439 шт.)

Что сказать? Силы внушительные, и при правильной и плановой организации вооружённых сил, особенно на западных рубежах, можно было бы избежать огромных потерь и хаотичного отступления! Расстрелянные командармы и командиры дивизий не виноваты в том, что Сталин не оценил, да и не смог бы оценить объективную обстановку на этом участке – прежде всего из-за своего укоренившегося вождизма – видите ли, он, и только он всё понимал и предвидел тоже всё! Недоверие, болезненная подозрительность, опора на сомнительные и сфальсифицированные доносы из «старательного» НКВД сыграли трагическую роль в начальном периоде самой разрушительной войны, а главное – уничтожении элиты военных профессионалов прямо в предвоенные годы! Сталин никогда не был ни военным стратегом, ни вдумчивым руководителем! Зато он обладал неисчерпаемым арсеналом подковёрной, впоследствии и открытой борьбы со всеми, кто мог претендовать без его благоволения на более высокие места в созданной им иерархии, на самостоятельность в политических и других вопросах, в деле организации производства, внедрения новшеств, выдвижения новых талантливых кадров.

Интересной оказалась надпись на обороте карты: «Проверка, проведённая разведзводом на учениях 10-й армии 1939 года, показала отсутствие надёжной связи не только между подразделениями дивизии, но и с частями, находящимися на северном и южном флангах. Также выявлено слабое взаимо-

действие с авиационными полками и танковыми дивизиями. Рядовой и младший командный состав, офицеры среднего звена не имеют чётких инструкций при организации контратак во взаимодействии с танковыми и авиационными частями при нанесении артиллерийских ударов силами 10-й армии. На учениях пехотные соединения отставали от огневого вала и задерживались при марше за ударными группами. При подобных отрывах у предполагаемого противника появляется возможность организации контратаки и нивелировки итогов артобстрела или танкового наступления».

После этих строк до меня сразу дошло, по какой причине автор этих выводов был арестован. Тем не менее такая оценка состояния наших войск мне показалась поспешной и на то время непатриотичной. В моей памяти остались некоторые замечания преподавателей училища в отношении советской техники довоенного периода – самолётов, танков, артиллерии. Капитан Соломятин, преподававший курс «Моторизованное, техническое и боевое оснащение Красной Армии» (поговаривали, что в царской армии он имел звание подполковника), отмечал, что наиболее распространённые самолёты типа МиГ-3 и И-16 имели хорошие лётные характеристики. На высотах более 4000 метров они не уступали другим иностранным самолётам, но с «Мессершмиттами» перевеса в воздухе не было. Ещё он очень осторожно пару раз намекал об особой склонности наших МиГов к возгоранию даже от пулемётных пуль. Все крылья, хвост, корпус этих самолётов в первые годы войны были сделаны из деревянных клееных брусков, покрытых снаружи бакелитизированной многослойной фанерой, а элероны и рули обтягивались перкалем – тканью на основе шёлка, пропитанной лаком. Мотор первое время крепился также к усиленной деревянной раме и был закрыт снаружи, как и кабина пилота, катаным стальным листом толщиной от 2 до 3 мм.

Уже в конце 80-х в газетах и других изданиях я находил статьи и авторов, которые говорили другую правду, но тоже горькую. Эту правду о нашем военно-техническом уровне не любили вспоминать номенклатурные герои войны и партийные деятели. Ибо провалы в этой и других отраслях происходили от кровавых

репрессий, от поголовного уничтожения лучшего генофонда среди учёных, конструкторов, инженеров. Даже если твоя фамилия только была похожа на польскую или немецкую, это уже становилось причиной для гонений или ареста.

Вот один из таких эпизодов довоенного времени:

## «Механизмы войны»

Помогайбо А.А.

„Когда взяли Ванникова, создавшего конвеерную сборку, не имевшую аналогов, производство авиамоторов оказалось под угрозой. Когда взяли Баландина, нарком авиапромышленности А.И. Шахурин говорил Сталину: „Баландин считается у нас «эталонным» директором. Лучше его нет“.

Конструктор Р.Бартини создал «Сталь-7», на основе которого был сконструирован скоростной дальний бомбардировщик Ур-2, но из-за ареста он не смог продолжить работу над самолётом «Сталь-8», который должен был летать быстрее немецких истребителей.

Арестовали и конструктора вертолётов А.М. Иаксона. Как известно, автором массового вертолётостроения был американец русского происхождения И.Сикорский, друг Поликарпова\*. За связь с ним и «проталкивание вредительских самолётов» Поликарпова приговорили к расстрелу, который, к счастью, был заменён на шарашку\*, где ему совместно с Григоровичем\* дали возможность «искупить вину», что они и сделали, создав истребитель И-5 со средними параметрами. Во вторую мировую американская армия уже пользовалась вертолётами Сикорского для эвакуации раненых, а также в морских операциях. В СССР, на родине вертолётов, где Юрьев сконструировал знаменитый «автомат перекося», работы по вертолётам из-за ареста Иаксона надолго были задержаны.

Угроза ареста нависла над авиаконструктором Алексеевым. Коллега донёс: „Алексеев – явно иностранный шпион, у него

откуда-то иностранная сумка, европейские очки и авторучка, он говорит по-немецки и по-английски...“. Несмотря на idiotское содержание доноса, дело начали раскручивать, и Алексеев спешно вынужден был покинуть КБ Туполева\*. Позже он стал замом Лавочкина\* и его соавтором по Ла-5 и Ла-7 – лучшим советским истребителям ВОВ.

В лагерях оказался весь цвет авиационной мысли – авиаконструкторы А.Туполев, В.Петляков, начальник КБ экспериментальных самолётов В.Мясищев (будущий разработчик дальних стратегических бомбардировщиков), Р.Бартини, автор многих новшеств И.Неман, В.Чижевский (создал самолёт БОК\*), главный конструктор завода им. Асовиахима Д.Марков, начальник КБ по самолёту «Максим Горький» Б.Саукке, главный конструктор Остехбюро А.Бонин, конструктор авиавооружения А.Надашкевич, автор знаменитого авиазвена Вахмистров, конструктор автожиров А.Черемухин. Была арестована также группа сотрудников ЦАГИ во главе с Н.Харламовым.

А.Помогайбо продолжает: „Арестами Сталин нанёс уничтожающий удар по авиапромышленности. Научное производство было полностью остановлено. И это за год до начала войны! Из-за ареста Петлякову не удалось закончить ТБ-7. Самолёт совершил первый полёт в декабре 1936 года, но к началу войны в строю было всего два таких типа. И поэтому в тыл противника отправляли безнадежно устаревшие ТБ-3 со скоростями чуть выше 200 км. Они были неспособны даже маневрировать из-за толщины передней кромки крыла и срывались в штопор при малейшей ошибке пилота. Для немецких истребителей он был лёгкой целью“. Л.Кербер, создавший целую серию различных авиаприборов, вспоминал: „Будет недалеко от истины, если оценим количество специалистов, уничтоженных триумvirатом из НКВД – Ягодой, Ежовым и Берией в нашем министерстве в 280–300 человек самой высокой квалификации“.

Каждый самолёт проходил программу лётных испытаний на заводе-изготовителе. За двадцать-тридцать минут полёта проверялась скорость, маневренность, способность делать фигуры

высшего пилотажа, надёжность. Только после этого самолёт передавался в руки военного лётчика.

Но в военные округа поступали не сами самолёты, а наборы в ящиках. Собирай и лети! В лучшем случае машины облётывали заводские лётчики-испытатели, а потом их отправляли по железной дороге в разобранном виде по местам дислокации авиаподразделений. Это значит, что освоить эти самолёты в полном объёме лётный состав смог бы не ранее конца 1941 года! Овладеть такой техникой прямо в бою было невозможно. Ранее они летели до своих частей только «своим ходом», и лётчик-испытатель мог впоследствии доводить технику до нужного состояния.

Может поэтому глава ВВС, расстрелянный позже Рычагов, заявлял Сталину: „Вы заставляете нас летать на грубо сколоченных гробах и у нас именно по этой причине громадные потери!“

А.Помогайбо в книге «Псевдоисторик Суворов и загадки Второй мировой войны», ссылаясь на данные М.Мельтюхова («Упущенный шанс Сталина», с.510), приводит следующие цифры: „По германским данным, первый удар уничтожил 890 советских самолётов (668 на земле и 222 в воздушном бою), а Люфтваффе утратила всего 18 самолётов. Советская авиация оказалась неэффективной. До вечера 22 июня потери советских ВВС, по германским данным, достигли 1811 самолётов (1489 уничтожены на земле и 322 сбиты в боях). Немецкая авиация утратила 35 самолётов и ещё около 100 были повреждены (с.511)“.

Р.Иринархов приводит по Западному Особому округу уже другие цифры немецких потерь: „ВВС ЗапВО за 22 июня сбили 143 самолёта, в том числе 32 Me-109 и 15 Me-110. Наши потери составили 738 самолётов – 47% всей авиации округа. Но наши истребители МиГ-3 в системе ПВО, несмотря на слабое вооружение (на самолётах стояли не авиационные пушки, а только пулемёты), оказались достаточно эффективными, особенно против высотных разведчиков врага“. МиГ-3 и был задуман как высотный истребитель, в соответствии с распространённым мнением, что воздушные бои будут развёртываться на больших

высотах. Каков был заказ – таким было и исполнение конструкторами. На низких высотах он проигрывал.

Фронтальная действительность внесла свои резкие коррективы. Подавляющее большинство воздушных боёв проводилась на высотах 2–3, максимум, но редко, – 4 км. Высокие лётно-технические данные МиГа-3 на высотах более 5 и 6 км оказались не востребованными. А ниже он уступал другим истребителям – нашим Якам, ЛаГГам, и особенно немецким «Мессершмиттам».

Вышеописанное ярко представляет предвоенную обстановку и степень нашей боеготовности.

Ровно в 19 вечера доложил начальнику штаба майору Бирюлькову в присутствии командира дивизии генерал-майора Бикжанава, что на основании поротной проверки дивизии и диспозиции других воинских частей, отмеченных на картах, отклонений от стандартных положений боевого и полевого уставов не замечено. Обрадованный положительной оценкой за выполнение первого в жизни приказа, после ужина побегал в свою палатку и при свете керосиновой лампы настроил жене письмо. В нём в общих словах написал, что у меня всё в порядке, здоровье тоже, задал пару вопросов такого же плана и бросил его в почтовый ящик, прибитый к сосне. Кольнула невесть откуда появившаяся мысль – „дойдёт ли?“.

Как другие полки перебирались в летние лагеря, не знаю. Весь штаб нашей дивизии расположился прямо за линиями ротных палаток, разбитых побатальонно, на берегу речки Супрасль. В трёх километрах слева и справа находились два населённых пункта – Кузница и Сакулка. В то время город Белосток и Белостокская область принадлежали Белоруссии. Редкие сосны торчали в зарослях мелкоколосья и разных кустарниках. За речкой – напротив большой зелёный луг. Но досконально изучить местность не хватило времени: всего-то один день.

Забыл сказать, что днём побывал в Брестской крепости – возил пакет с сургучными печатями, за который, как мне сказали, отвечал головой! Вот бы знать тогда, что в нём было? Дали пикап\*, двух солдат для охраны и двух водителей на всякий случай.

Планшетка была при мне, но ни карты, ни хотя бы какой-то схемы, как и куда ехать, не было. Я простодушно предложил воспользоваться картой из секретной части... Но реакция была ожидаемой – „ни в коем случае!“. В первом же селе взяли проводника, молодого поляка. Я сказал ему: „Покажешь, где самая короткая дорога в Брест. Доедем – привезём тебя обратно...“.

Ехали быстро, хотя дорога была просёлочной, но ровной. Мелькали хутора, рощи, крепкие солидные дома, не похожие на те, которые я видел на своей родине – в основном квадратные, с четырьмя скатами, со множеством окон и обязательным крыльцом, накрытым навесом, изастеклённой верандой. Брестская крепость поразила меня своей неприступностью, солидностью, даже могуществом. Посредине стояла церковь, переделанная, как я узнал из надписи, в гарнизонный клуб. Пакет был вручён под расписку, и мы отправились обратно. По дороге отпустили запуганного молодца и без приключений доехали до лагеря.

Ещё шла разгрузка. Вокруг суматоха, беготня, крики, команды. Солдаты спешили. До ночи всё-же успели сделать всё, даже поставили отдельный щитовой домик для генерала и четыре – для офицеров. Мелкие работы отложили на завтра. После отбоя наконец-то наступила тишина. Но кое-где из палаток были слышны негромкие разговоры – о семье, о своей деревне... Ярче запахло хвоей, луговой травой...

Я, мой секретчик и шофёр разместились, как я уже упоминал, в отдельной палатке, что вызывало у нас особую гордость и придавало значимость – почти как штабные офицеры. Над палаткой нависали длинные лапы мохнатой ели. Рядом стояла наша машина с кунгом. Сон никак не приходил... Далеко за полночь что-то громыхнуло несколько раз, но далеко – эхо едва докатилось до нас и застряло в густом лесу. Проснулся и Сеня: „Что это, гром?“ Я ответил, что не знаю, но на гром не очень похоже... Замолчали. Голуб крепко спал. На приближающуюся грозу тоже было не очень похоже. На душе стало совсем муторно: везде уже ползли слухи(а кто и говорил), что идёт большая война... Я подумал: может, у человека, как и у животных, тоже есть особое предчувствие тревоги, приближающейся беды?.. Перед тем как

заснуть, увидел, что на меня сквозь маленькую дырочку в брезенте светит какая-то звёздочка. Не ярко, новсё же светит, и её дрожащие лучи доходят и до меня, несмотря на огромное расстояние и этот тревожный гром с западной стороны...

*– Расскажи о главном – о самом начале! О самой великой трагедии в твоей судьбе и в жизни нашей страны! Какое было начало?*

## АПОКАЛИПСИС

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года.

Палатка с треском оторвалась от земли и исчезла вместе с кольями, подхваченная какой-то дьявольской силой! Я вскочил с раскладушки – прямо надо мной висело то же тёмное небо со множеством звёздочек, но со стороны Польши эти звёздочки приближались, зловеще увеличиваясь и приобретали форму остроконечного чёрного креста, совсем как на полотнах Дюрера\*, когда он описывал картины ада. Уже над нами кресты превращались в огромные немецкие «Юнкерсы-87» (распознавать их научились позже) и, оглушительно ревя моторами, пронеслись над головами дальше. За ними вся земля поднималась дыбом, чёрными столбами подбрасывая всё, что попадалось на пути – людей, палатки, лошадей, стволы деревьев, какие-то жерди, проволоку, ошмётки живого... Вокруг стоял крик, раздавались вопли, стоны, просьбы о помощи, предсмертные хрипы... Солдаты в белом исподнем, как привидения, метались по территории лагеря – кто бежал в лес, большинство неслись к реке и на тот берег. Эти силуэты кандидатов в мертвецы были особенно заметны на тёмном фоне травы и кустов. Они падали и падали, скошенные пулемётными очередями, но всё равно, подчиняясь законам паники и животному инстинкту самосохранения, бегали и бегали по кругу, завершая его смертью на земле или на глубине реки. Неслышанные проклятья накрыли наш когда-то кра-

сивенький и приглаженный лагерь. Никто не знал, куда бежать, где прятаться, что делать. Поверхность реки кипела от пуль, разрезавших напополам людские тела. Я успел крикнуть своим: „За мной!“ и моё подразделение бросилось в спасительный лес под защиту разлапистых мохнатых елей. Мы не побежали, как все, к реке и этим спаслись. Судьба была к нам благосклонна – паника не отняла способность думать. По воде уже плыли десятки трупов в белой одежде смертников. Дрожа от страха, мы прижимались друг к другу. Разрывы бомб и трескотня пулемётов внезапно стали реже, почти все были перебиты, а остатки исчезли за дальними кустами за рекой. Неожиданная оглушающая тишина! Вдруг – одинокий и колеблющийся, как маячок свечи на ветру, звук полковой трубы! Будто сверху ангел уже приглашал в вечный полёт! Трубили офицерский сбор! Звуки тревожные, требовательные, звавшие подняться с колен. Не надеясь на звуковой сигнал, прибежал растрёпанный посыльный. Он носился вдоль двух-трёх (это из целого-то полка!) уцелевших палаток и орал во весь голос: „Всем в штаб, всем в штаб! Немедленно! В любой форме!“ Выжившие и оставшиеся в пределах лагеря побежали в направлении генеральского домика. Никто не подавал команды строиться, и вся эта толпа растерянных, полуодетых солдат и офицеров собралась на поляне. Внезапно прекратились все разговоры, и жуткая тревога повисла в воздухе. Глаза уставились на генерала, появившегося из дверей. Лицо его было больше испуганным, чем озабоченным. Деревянным голосом с чуть заметной дрожью он сообщил: „Сегодня ночью Германия без объявления войны напала на Советский Союз! По всей западной границе идут тяжёлые оборонительные бои. Вражеские самолёты, отбомбившись по первой линии нашей обороны, делают налёты сейчас в глубине, на города и сёла Белоруссии. Наши войска приняли срочные меры по отпору врагу и полному его разгрому...– эта фраза на фоне собравшейся толпы, да, толпы, а не войска, прозвучала особенно безнадежно. – Объявляю боевую готовность номер один! Всем собрать людей, сосредоточить их в лесу поротно и получить оружие с боеприпасами со складов“. Кто-то выкрикнул: „Нет приказа открыть склады! Нам ничего не выдали! А склад

разбомбили!“ Генерал резко среагировал: „Вот мой приказ: все склады открыть и выдать по нормативам военного времени оружие! За неповиновение – расстрел на месте!“ На слове «открыть» его голос звучал уже почти героически! Увидев меня, приказал: „Лейтенант Ковалёв, срочно организовать изучение автомата ППШ со всеми офицерами полка. Вас ознакомили с ним в училище. Всем ждать моих дальнейших указаний!“ Подумал о чём-то и тихо добавил: „Плохо со связью – Слоним и Гродно не отвечают. Может, диверсанты. Начальнику связи разобраться и доложить!“ Кто-то опять крикнул: „Он и его зам убиты – бомба попала в палатку!“ Генерал вяло махнул рукой и исчез в домике.

Мне выдали два автомата без патронов. Это было плохо, но я начал показывать и рассказывать, как его разбирать, заряжать, чистить и прицеливаться. Занятия тут же были прерваны приказом разыскать оставшихся в живых бойцов, и офицеры начали их вылавливать среди кустов, а некоторых находили даже в соседних деревнях. Всех заставили привести себя в порядок и приказали не разбегаться. Особо усердствовали политработники всех рангов, пытаясь вызвать к жизни оторопелых и напуганных солдат, так и рвавшихся сбежать в укромные места. При переключке и проверке выяснилось, что полк потерял убитыми, ранеными и пропавшими сразу почти четверть состава! Мои занятия по ППШ так и не возобновлялись.

К обеду в небе снова начали появляться немецкие самолёты. Нас они пока не трогали, а летели треугольниками дальше на восток. Кто-то из старших офицеров, прибывший из Белостока, сообщил, что в 14 часов по радио выступил министр иностранных дел В.Молотов. Всё стало понятно: настоящая, страшная война пришла и в наш дом, в наши семьи! Сразу возникла тревожная мысль: а как там жена и сын? Что ожидает их? Увидимся ли? Написать бы письмо!

Только я попытался напомнить начальнику штаба о продолжении инструктажа по автомату, как снова раздались крики, команды, и все офицеры побежали кто куда... Порядка уже не было. Всё было настолько наэлектризовано, смято и разбросано, что организовать даже подобие противодействия в такой

экстремальной обстановке не удавалось. К тому же для такой ситуации не было абсолютно ничего подготовлено! Не могу сказать, что я знал в эти часы больше того, что видел, но общий хаос, противоречивые команды, отсутствие согласованности приводили к суматохе, панике, непониманию, расстерянности, а в отдельных случаях даже сопротивлению.

Часть военных бросилась к зданию старой мельницы, где был главный склад всего личного оружия полка, в том числе пулемёты, миномёты и боеприпасы к ним. Часовые сначала отказались его открывать из-за отсутствия письменного предписания из штаба армии, которое в таких случаях должно было прибыть нарочным. Они начали орать, угрожали открыть пальбу и кричали в страхе, что нужен приказ, и только из Гродно, из окружного штаба. Стычки и споры длились минут двадцать. Силой, оттолкнув часовых, удалось выдать личное оружие, винтовки, пулемёты, ящики с гранатами и деревянные сундуки с патронами. Всё погрузили на подводы, тачки и быстро повезли к месту дислокации. Уже без нервозности и паники оставшемуся личному составу выдали винтовки и патроны, точно не помню, но, по-моему, по 30 штук на бойца. Винтовочных патронов хватало, но гранат и патронов к пулемётам оказалось катастрофически мало! На роту, как мне помнится, было по два ящика гранат (40 штук), а на каждый пулемёт «Максим» — по ленте. Мало было и ротных миномётов. Почему так получилось, по какой причине не были соблюдены даже нормы боевого устава, никто ничего не понимал! Было поздно — близко, очень близко раздавался рокот танковых моторов и гулкие выстрелы их пушек. Удары с воздуха с низких высот стали слабее, но началась плотная бомбёжка с высоты 1–2 километра. Люди в панике разбежались. Ко мне снова подскочил взмыленный Бирюльков. Его левая рука была окровавлена и болталась на грязной полоске ткани. Он закричал: „Ковалёв, сейчас же в Гродно! Там дадут приказ. Бывай! Не успел даже толком познакомиться — теперь, наверно, на том свете“.

В рядах моего подразделения также произошли потери — исчез секретчик Голуб. Убит или ранен? Никто его не видел. Наткнувшись опять на начальника штаба, получил тот же приказ, но

более подробный: „Все секретные документы погрузить на машину и, соблюдая осторожность, маскировку, доставить в Гродно, в штаб армии. Там ждать дальнейшего приказа, как действовать дальше!“ Поддерживая забинтованную руку, грустно добавил: „Убито очень много людей, и не только у нас. Полная неразбериха, нет оружейного комплекта... Ничего не понимаю...“. Умолк. Я осторожно спросил, как действовать, если солдаты, особенно раненные, будут проситься подвезти? Бирюльков махнул рукой: „Не разрешается, но теперь... Действуй по обстановке, лейтенант Ковалёв. Не знаю, увидимся ли ещё. Тяжёлые дни наступают... Как мы так всё прошляпили?“ И он, обречённо согнувшись, медленно пошёл к кустам на берегу реки, где собралась группа штабных офицеров. Генерала уже не было видно. Домик его лежал в виде груды досок и щитов, но говорили, что он живой и скоро появится. Внезапность вражеского налёта, отсутствие всякой связи и отработанных действий на случай атаки вылились в поголовный разгром всей 29-й дивизии и почти всей 10-й армии. Главная причина поражения – преступная неготовность руководства страны к подобной ситуации. Ничто не было приведено в состояние, чтобы дать отпор врагу в первый же час всеми силами и средствами, которые пылились на складах. На тревожные сигналы власть не обращала внимания! За неповиновение и собственную инициативу грозил арест!

Мы с Сеней быстро начали загружать машину ящиками, коробками, картами. Выделили две канистры бензина и нам. Из-за неопытности показалось, что этого достаточно, чтобы доехать до цели. Сколько было недочётов, нелепостей и неумения?!

Запомнившаяся картина: самолёт летит строго по белой линии дорожки для построений. Бомбы падают на брезент, палатки взлетают вверх с останками людей, табуретками, какой-то рванью... Везде кровь, оторванные головы, вспоротые животы, конечности, умирающие прямо на глазах люди. Самолёт быстро увеличивался и, когда сквозь отблески на лобовом стекле становился виден силуэт пилота в очках, начинали рокотать пулемёты и пушки, жёстко втыкая свои очереди-струи прямо в спины бегущих, в их головы, лица. Из спин, животов, из голов

тут же брызгала длинной струёй почти чёрная кровь – человек падал, кое-кто успевал поднять то ли к небу, то ли к нам руки в последней мольбе... и навечно замирал. Из живота самолёта и из-под крыльев начинали выпадать безобидные на вид толстенькие кругляшки. Всё покрылось дымом, гарью и воплями умирающих. Большая часть солдат бросилась к берегу, надеясь переплыть на ту сторону и спрятаться в густом кустарнике. Но до него от палаток было метров 40–50 открытого пространства – вся эта отмель быстро покрылась трупами, песок стал красным от крови и человеческих останков, вода закипела от очередей...

10-я армия, где в 29-й дивизии я начал службу, попыталась организовать контрудар в районе Слонима и Гродно на белостокском направлении. До 28 июня немецкие соединения группы армии «Центр» полностью окружили войска Западного фронта в Белостокско-Минском котле. 3-я, 4-я и 10-я армии практически перестали существовать. Все соединения и части 10-й армии были разгромлены. 30 июня при попытке пересечь шоссе Барановичи – Минск управление армии было уничтожено, и только остатки войск, вышедшие из окружения, были переданы впоследствии 4-й армии.

В Белостокско-Минском котле войска Западного фронта потерпели тяжёлое поражение: большая часть сил попала в окружение и была уничтожена артиллерией, самолётами и подвижными танковыми соединениями врага. С 625 000 человек своего состава фронт потерял около 420 000! К врагу попало большое количество военной техники и горючего.

Всю вину за это поражение Сталин взвалил на командование фронтом. 30 июня 1941 года командующий фронтом генерал армии Герой Советского Союза Д. Павлов был срочно вызван в Москву, снят с должности и 4 июля арестован. После короткого разбирательства он был приговорён к расстрелу. Вместе с ним 22 июля были расстреляны: начальник штаба фронта генерал-майор В.Климовских, начальник связи фронта генерал-майор А.Григорьев, начальник артиллерии фронта генерал-лейтенант Н.Клич, командир 14-го мехкорпуса генерал-майор С.Оборин, командующий 4-й армией генерал-майор А.Коробков... Никто не хотел разбираться по сути – ошибки тех, кто сидел наверху,

требовали жертв и виновных! Нужно было заметить свои следы!  
А Главный сурово молчал!

После суток разброда и ожидания хоть какого-то приказа наши войска с большими потерями начали отступать на восток. Никто и никогда не готовился к этому и не изучал тактику отхода. Хватились карт с обстановкой в тылах. В нашем подразделении таковых не оказалось. В автомашине, приписанной к штабу, обнаружили длинные ящики. Не дожидаясь приказов, распломбировали. Открыли – карты, много всяких карт СССР от Балтики до Чёрного моря. И ни одной – с картографическим описанием обстановки за нашей спиной! Ни направлений, ни шоссейных дорог, их качества и пропускной способности, нет сведений о железнодорожных станциях, заправках водой, складах горючего для автомобилей и танков... Не было и никаких отметок арьергардных укреплений или хотя бы особенностей рельефа. Ничего! Не собирались мы никогда и никуда отступать! Стратегия была одна – война на территории врага до окончательной победы! Другого варианта для наших оставшихся в живых «светлых» командных голов и для самого Вождя не было! Что ж, намерения вполне приемлемые и ласкающие слух главного кремлёвского Стратега! Но это была уже настоящая война! Не армейские или окружные учения, не показательные игры, а война с применением всех современных сил и средств, дее способной и эффективной тактикой нападения, окружения, внезапного разделения казавшейся целостной обороны на фрагменты и куски, уничтожение потерявших способность к организованному сопротивлению окружённых и деморализованных частей. Да, многие, большинство пробовали (именно пробовали!) стоять насмерть, как призывали со второго ряда полит агитаторы и толкователи основ социализма! Их в свою очередь подталкивали наганами в спину почти исчезнувшие в первые дни представители тайной власти в войсках – особысты. Дня три их никто не видел. Даже командиры спрашивали, куда же подевались доблестные чекисты? Кто говорил, что всех собрали в центре, но в каком – никто не знал, другие говорили, что их посадили на чёрный огромный самолёт, чтобы в Москве организовать из них десантные группы для высадки чуть ли не в

самом Берлине! А ведь в каждой дивизии их было пять-шесть человек. Политруки кричали: „Стоять насмерть!“, а люди даже не знали, по какой дороге и куда отступить, где стоять, где находится знаменитая сталинская линия обороны, о которой нам рассказывали сказки на занятиях в училище. На чём перевозить боеприпасы, кухню? Где бензин? К несчастью оказалось, что в летнем лагере не был предусмотрен запас горючего. Всё было только в бензобаках, а для дозаправки нужно было ехать аж в Слоним.

Всем было тяжело и обидно – нас гнали, как неорганизованное стадо, обратно, туда, где нам уже грезилась новая счастливая жизнь. Батальонные рации не работали из-за отсутствия сменяемых аккумуляторов. Мало кто знал, что они должны были периодически (в то время довольно часто!) заряжаться. Почти все специалисты по связи, оставшиеся с царских времён, сидели в застенках НКГБ. Я сам попробовал как-то оживить нашу станцию, но ничего не получилось. Телефонная связь не работала. Москва, Минск молчали, будто набрали воды в рот. Началось повальное отступление – горькое, непростительное, повлекшее миллионные жертвы. Где же наши самолёты, наши сталинские соколы, летавшие до войны выше и быстрее всех? Где наши армады танков, на которых так приятно было смотреть на парадах в кино? Где неисчислимое количество грозной артиллерии? Уже одним своим видом они внушали, что мы непобедимы! Не раз и не два, уже в этой жуткой обстановке хаотичного отступления, задавали вопросы один другому наши офицеры: „Что же делать, куда отступить?“

Не знали мы, что Гитлер сконцентрировал возле границ СССР 190 полностью скомплектованных, технически оснащённых современным оружием дивизий! Плюс 3500 танков, 50 000 пушек разного калибра, 3900 самолётов! Нас учили, что во время войны любое подразделение, любая часть утраивается и оснащается новейшими системами ведения огня, личным оружием и тройным запасом патронов и снарядов. Теоретически мы неплохо разыгрывали поставленные задачи в разных тактических вариантах и на разных уровнях – от ротного до армейского. На доске и в тетрадках всё выглядело убедительно и неопро-

вержимо. А почему же так случилось здесь, на самом, как нам говорили, укрепленном западном направлении? Полного и объективного ответа не было, как не будет его и годы спустя! Даже сейчас, когда теоретики перестройки и постперестройки в лице прорвавшихся к власти сверхактивных людей провозгласили свободу мнений, даже в эти дни ни от кого не добьешься истины! Всё покрыто мраком нашей тяжёлой, бюрократической, раблепной системы, всё опять стало секретным и непозволительным для простых, честных и любопытных людей. Жаль, что опять нашу молодёжь держат за дураков и воспитывают в полной изоляции от исторической правды! Кто же придёт нам на смену? Куда опять идём?

Тогда мы знали, что наша армия самая могущественная в мире, наше оружие – самое мощное и, само собой разумеется, наше политическое и военное руководство – самое умное и дальновидное! Всё, что было «самое-самое» во всём мире – было только у нас?! Прозорливость же Кремля проявлялась уникально! Вот факт: 14 июня 1941 года по радио передали заявление ТАСС следующего содержания: „По данным СССР, Германия также неуклонно придерживается условий советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз...“. Вот так! Что это – преднамеренное издевательство над здравым смыслом, над голыми фактами о германских войсках в 3–5 километрах от всей нашей западной границы? Полная утрата чувства ответственности за страну, за её безопасность, за жизни людей? Безумство авторитарного и непогрешимого лидера? Когда же люди поймут, что непогрешимых нет во всей природе? Даже в любом правительстве их просто нет! Что, опять шпионы империализма в соседнем со Сталиным кабинете помешали ему думать головой? Тысячи врагов с танками, пушками, самолётами стоят наготове в километре от государственной границы, почти все говорят о грядущей войне, а у нас даже не позволили раздать штатное оружие за неделю, за день до Апокалипсиса?!

Очень слабо была организована оборона в Западном Особом военном округе. Старую линию укрепления по прежней границе оставили в 1939 году, а новый оборонный рубеж, начав, не завершили. Говорили: кое-что кое-где построили, но сплошного

оборонительного вала, как во Франции\* или хотя бы в Финляндии\*, построить не смогли. Лозунги, обещания, призывы, звон медных славопесенных труб заглушили логику и правду.

Наши автомашины, направленные в Слоним за боеприпасами и вооружением, не вернулись – то ли погибли под огнём, то ли просто не хватило горючего. Ни патронов, ни снарядов, ни гранат, ни мин... Воюй чем хочешь или тем, что найдёшь на поле боя. Совсем как при Куликовской битве. А немцы 22 июня смогли силами авиации совершить почти одновременный массированный налёт на 66 аэродромов приграничных округов! «Мессершмитты-110», «Юнкерсы-87» не давали нам передышки. К вечеру 22 июня немецкие танки продвинулись вглубь территории на 50–60 км, окружили Брест, захватили города Гродно, Кобрин и много других населённых пунктов. Уже горели сёла, посёлки, сельхозпостройки далеко от границы.

Некоторые подробности отступления остались в памяти. В штабе никто не знал моей фамилии, кроме майора Бирюлькова. Все знали меня как офицера из отдела разведки, поэтому постоянно посылали вперёд – разведать дорогу, разузнать, кто в деревне, первым обнаружить вражеский десант или засаду. Помню, иду лесной дорогой один впереди, за мной движется штабная колонна и наш грузовик в хвосте. Вокруг темнота и страх. Кто-то из старых служаков посоветовал мне постоянно держать в руке пистолет. Сам я не догадался. Наверно, тот уже служил в финнскую? Однажды солдаты поймали четырёх девушек. Это были польки из соседних деревень. Сразу у политрука вопрос – откуда и зачем они здесь? Шпионят? И вдруг команда: „Расстрелять!“ А я как раз был назначен дежурным по штабу, и эти жуткие обязанности взвалили на меня, молоденького лейтенанта, к тому же в недалёком прошлом учителя?! Я, толком ещё не поняв жути приказа, взял с собой солдата, и мы пошли в лес. Девушки, оторопев от страха и отчаяния, взялись за руки и шли впереди цепочкой, приплакивая и оглядываясь. Мы, с оружием наперевес, за ними. По ходу этой почти похоронной процессии у меня в голове начали проступать зачатки здравомыслия: я подумал, что обстоятельства этого хаотичного и безнадёжного дня могут помочь мне, нам, избежать участи палачей. Я сказал об этом

солдату. Он, трижды перекрестившись, сразу, без колебаний согласился. Когда отошли от нашей группы подальше, мы дали в воздух два залпа. Само собой – в воздух. Развязали девушек, пребывавших в полуобморочном состоянии, и я им сказал польски: „Никогда не попадайтесь на глаза нашим солдатам! А сейчас – бегом домой!“ Мы, не сговариваясь, облегчённо вздохнули. Солдат этот как-то по-особому посмотрел на меня и опять истово перекрестился. Перекрестился и я. Уже была война, но у нас не было никакого порядка, был только хаос, поэтому эта вольность и сошла нам с рук. Однако к вечеру опять поймали какого-то старика, державшего в руках ржавую проволоку. Меня сменил другой дежурный. Явившийся ниоткуда политрук громко объявил, что старичок – не просто старичок, а шпион западных сил (каких – не сказал) и резал он наши линии связи, хотя провода у него были толстые и ржавые, а связь, как известно, пользуется тонкими, гибкими и медными. Старика схватили с каким-то мешком, в котором обнаружили свёрток с белым порошком. Нашёлся среди нас химик, который сказал, что это соль, только крупного помола. Но его уже никто не слышал. Старик кричал что-то на польском, разъярённый политрук – на своём, политическом, но все вдруг яростно захотели его смерти! Все, кроме нас двоих, затаившихся от происходившего на глазах и спасших три часа назад чьи-то божьи души, пришли в состояние пляски святого Витта\*. Кричали, вопили, подпрыгивали, желая прямо руками и прямо здесь разорвать впервые увиденного классового врага! Такого единогодушия, такого большевистского энтузиазма я более не встречал! Сами в смертельной опасности, безоружные, панически отступают, а тут – герои? Дед божился, что купил соли и нёс её домой, а по дороге от старого забора оторвал два метра проволоки для ремонта КА-литки. Ничего не резал и никакой связи не видел. Он мгновенно начал понимать по-русски, так как до него дошло: пришёл его последний час! Деда пустили в расход в 50 метрах от обочины. Я до сих пор слышу его истошный, дикий крик, мольбу к Богу, к палачам на родном польском языке! Интересно, что команду дал наш особист, курировавший полк, вдруг появившийся на поле «праведного» боя! Таким дичайшим и скотским образом, думаю,

он хотел отчитаться перед своим начальством и записать на свой личный счёт уничтоженного лазутчика уже в первый же день своей борьбы против тайных операций фашистских спецслужб?!

Что же это было? Выход наружу зловонных сил обессиленных, но злобных людей? Своего рода отмщение за позор, отступление и несбыточные мечты о завтрашнем коммунистическом счастье? Отыгаться хоть на невиновном?! Наброситься скопом, орущей толпой на одинокого? Так проще, так безнаказанно? Кто потом вспомнит, был ли зачинщик, было ли праведно действие, рассчитанное на благодарных зрителей? Христианство свято и истинно, Рим третий или пятый, которыми мы всенародно и огульно кичились и кичимся до сих пор, были отброшены, как дымчато-кружевной платок Дездемоны перед простым актом удушения дрожащими руками чёрного дегенерата! Содом!

Шли последние дни июня. Все стихийно двигались на восток, чтобы выбраться из окружения. Никто не знал ни о планах вышестоящего руководства, ни о том, что делать – в каком направлении двигаться, что обходить, где враг, где свои? Слышал, как отдельные офицеры, уже не боясь ни особиста, ни самого чёрта, говорили, что именно наш командующий генерал армии Д.Г. Павлов был одним из первых, кто звонил в Кремль, докладывал об усложнении обстановки, перебежчиках из числа крестьян с той стороны и просил дать ему возможность ввести в войсках полную боевую готовность. Но никто его не слушал. Все смертельно боялись Главного, поэтому его так легко отдали палачам из НКГБ. Нужно было хоть на кого-то свалить свою вину. Так делали они и до войны, и во время неё, да и после. Вспомните подлочки «Курск», «Комсомолец»! Появился у нас и сам маршал Куликов. Кто-то его послал проверить обстановку. Как он добрался, на чём и куда внезапно пропал – неизвестно, но я носил ему в броневтомобиль поднос с жареной курицей, хлебом и кофе. В броневике с ним был ещё кто-то, но я не видел. Он пробыл в нашей части чуть больше часа, что-то уточнял на картах с командирами, но потом исчез, чтобы никогда не вернуться, растворившись во мраке лесных дебрей, окружавших и сохранявших до поры наши жизни.

Уже на четвёртый день создалась угроза Минску. Его всё теснее и теснее охватывали клещами танковые мобильные соединения врага. Была объявлена мобилизация резервистов 1905–1918 годов рождения. Страна начала предпринимать реальные и вынужденные усилия для отпора врагу. Хотя и поздно, но спохватились, зашевелились, отбросили перманентные поиски врагов внутри себя, ослабили на время давление чекистских удавок на собственной шее. Интересно, обошлись же без поисков и попыток троцкистов и антисоветчиков в годы войны, зато потом опять взялись за отложенную на время работу?!

В это время в самом страшном, катастрофическом положении оказалась 10-я армия, куда входила наша 29-я дивизия. Третья армия также была разгромлена. Разрозненные силы этих двух армий пробовали прорваться на восток, солдаты погибали сотнями и тысячами в неравных боях, попадали в плен, гибли на полях без всякой помощи, оставленные своим командованием на неминуемую смерть. Предельно тяжело было видеть эти людские страдания, но ещё тяжелее было страдать самому! Страдать не столько физически – от боли и ран, сколько морально – от бессилия что-то предпринять, от непонимания происходящего, от беспомощности войск и грозящей безысходности.

Главные силы названных мной двух армий (3-й и 10-й), что находились на Белостокском выступе, были глубоко охвачены войсками противника. Везде раньше нас высаживались вражеские десанты – на перекрёстках дорог, на окраинах деревень, возле одиноких хуторов. Ночью вокруг постоянно вспыхивали разноцветные ракеты – таким образом немецкие отряды сигнализировали друг другу о передвижении наших децентрализованных и морально убитых войсковых групп. Горели сёла. В кюветах, на опушках леса было уже много свежих могил с деревянными православными крестами или без них, с какой-то тряпочкой. Это зависело от того, кто хоронил солдат: если местные старые люди, то ставили крест, а если наши солдаты, боявшиеся всего и вся, особенно чекистской тени, то просто к палке привязывали или тряпочку, или бумажку с фамилией. Через неделю тряпки исчезали - и ещё одна безымянная могила одиноко высилась до первой вспашки. Исчезали не просто

фамилии и имена наших несчастных людей – с ними, неизвестными, исчезала и наша память, наша совесть и вера.

А мы всё шли и шли вглубь своей страны. Вспомнит ли Родина всех своих сыновей в другие времена? Или будут вспомнены только назначенные? Кто скажет им, погибшим и пропавшим, да и оставшимся искреннее «спасибо», или опять для салютов и колонных залов будут избраны отдельные, охотно поддающиеся жестокой власти, но к концу войны оказавшиеся на Олимпе только собственной славой? Кто воздаст другим, тем, первым, за слёзы, испытания, горе и смерть? А может, в истории постепенно останутся только те, кто сидел за толстыми стенами почти собственного «Кремля», кто корчил из себя величайших стратегов всей земли, кто изо всех своих партийных сил стремился соорудить рай «только для трудящихся», но никак не для себя и своего окружения? Отдадим это на суд Истории и подождём, явится ли нам хоть и горькая, но Правда обо всём? Что ж, ждём`с!

Внезапно, как и исчез, ниоткуда появился наш секретчик Голуб! Он смог, спрятавшись где-то, переждать первые волны воздушных атак и остался цел и невредим. Я и не стал спрашивать у него, что и как случилось. Пришёл сам – уже хорошо. Нам лишняя единица не мешает.

Наш ЗИС-5, взвывая слабосильным мотором, подпрыгивал по лесным корням назад в направлении Слонома. Заметив в предместье разрозненные группы военных, в том числе и из нашего полка, мы остановились, и я пошёл искать какого-нибудь начальника. Нашёл. Это был командир 1-го батальона. Он сказал: почти все офицеры штаба погибли, а генерал-майор Бекжанов или погиб или попал в плен. Кто-то видел его последний раз с небольшой группой (человек 5–6 солдат штабного взвода) в маленькой роще, окружённой почти со всех сторон немецкими десантниками. Вдруг мой шофёр Сеня неожиданно сказал, что бензина осталось километров на 10–20! Я строго отчитал его – следить за запасом горючего должен был он. Это входило в его воинские обязанности, но последнее время Сеня пребывал в каком-то заторможенном состоянии. Я спросил о причине этого. Ответ был неожиданным и простым – его семья осталась на

территории, уже оккупированной фашистами, а деревня полностью сгорела. Уцелел ли кто – не знает, но надеется. Что же нам делать дальше? Никогда в жизни я не занимался ни техникой, ни бензином. Со школы у меня проявились другие задатки – языки, литература, история, как сказали бы теперь, – по гуманитарной линии. С техникой я особо не дружил.

Перед поворотом на Слоним бензин всё же закончился. Остаться на дороге было опасно, тем более что в кунге было около десятка ящиков с секретными документами и картами. Отступающие солдаты помогли нам дотолкать грузовик почти до самой реки Щара. Мы разместились на невысоком обрыве над тихими водными струями. Со стороны дороги нас немного прикрывали кроны старых развесистых ив. Что же делать с документами? Я прекрасно понимал, что, несмотря на войну, меня могут запросто расстрелять, если я поступлю с этими бумажками неправильно, не по уставу. Время суровое, и никто не будет со мной разбираться. Подумав, решил, что нужно, как в том рассказе А.Гайдара\*, найти какого-то офицера, старшего по званию, кто мог бы отдать правильный приказ. Лучше, если бы это был штабист. Вышел на переполненную дорогу – едет «эмка»\*. Проголосовал. Остановилась. Из неё выскочил капитан госбезопасности из НКГБ, но не особист, так как форма была другой – наш носил обычную форму военнослужащего, а этот был одет в синее галифе, зелёную гимнастёрку и фуражку с малиновым околышем. Из-за ярко-красных треугольников на малиновых петлицах энкавэдиста было видно за километр.

– Какого ... (далее следовал безостановочный мат), что тебе, лейтенант, нужно? Удираешь? – тут же профессионально пригрозил он мне.

– Никак нет. Организованно отступаю, сохраняя вверенный мне секретный груз, – парировал я, придерживаясь устава.

– Покажи какой? – он заглянул внутрь одного из ящиков, полистал документы, журнал со списками и резко сказал: «Всё в огонь! Всё! Особенно карты с дислокацией полка!» И уже из глубины автомобиля крикнул: „Скажешь, что тебе приказал капитан госбезопасности товарищ Балуев!“

Дымок за автомобилем пропал, а я остался на шумящей дороге один с моими проблемами и с дурацким приказом сжечь карту с дислокацией полка?!

Жгли аж до самого утра. Старались бросать в огонь небольшими стопками, чтобы с воздуха было не так заметно. Вражеских самолётов в тот вечер было мало, и судьба благоволила нам. Вдруг услышали из-за кустарника, тянувшегося вдоль всей дороги: „Давай быстрее, под Слонимом танки!“ Вот это да! А мы же ехали в этот самый Слоним? Значит, нужно его обойти стороной. Закончив свою работу, закопченные, усталые и нервные от психологического напряжения, съели часть пайков и улеглись в кунге. Там всё же крыша и дверь. Конечно, фанера не спасла бы нас при авианалёте, но иллюзию безопасности обеспечивала. Утром подогрели на углях чай и сели завтракать, но не возле нашего автомобиля. Он стоял почти у воды, там было свежо, да и высокий кунг был слишком приметным. Живенько перебрались к помятому бронеавтомобилю, брошенному у дороги. Вдоль него был отрыт небольшой окопчик, и мы, опустив в него ноги, опершись о тёплую броню, предвкушали наслаждение от еды.

Я и шофёр – спинами к броне, напротив, чуть наискосок, наш секретчик Голуб. Рядом лежали в рюкзаках собранные куски хлеба, сорванный с грядок ранний лук, щавель и начатая банка говяжьей консервы. Я тщательно разделил всё богатство на три части. Потом съели остатки холодной гречневой каши и принялись за чай. Я взял с собой и свою новенькую офицерскую планшетку. Жаль было бросать. О, если бы я знал, какую роль она вскоре сыграет в моей жизни! Позже, уже в плену, услышал, что немцы безо всяких разговоров и доказательств расстреливали всех политработников и партийных, но не трогали обычных офицеров, да ещё с планшеткой?! Простой перекрёстный опрос сослуживцев – и одного в яму, другого – в плен!

Вдруг над нами зазвенел мотор пикирующего самолёта. Мы, прикрытые белорусской природой – ивой и ещё броневым бортом, никуда не побежали и спокойно остались на своих местах. Я чуть пригнулся, а сидевший почти напротив секретчик шарил по небу глазами, следуя за самолётом, завершавшим

второй круг. Голуб всё повторял: „Это наверно наш? Не бомбил же в первый заход?“ Это были последние слова в его жизни...

Дальше не помню – сильнейший, до боли в ушах, разрыв бомбы – и всё...

Пришёл в себя на носилках. Левое бедро в крови, к нему примотан бинтами какой-то обломок доски. Сам тоже в крови. На животе лежит моя планшетка. Кто-то, как сквозь стену, говорит: „Тебе повезло – перелом, вена не задета... Куда его? Далеко не сможем. Самим уходить, да и транспорта никакого...“. В ответ: „Давай к дороге, но за кусты. Может, наши подберут, как никак офицер, да и шофёр поможет поискать кого... А ты терпи, сзади едет медпомощь. Кровь мы тебе остановили. Часы есть? Через полчаса ослабишь жгут. Пистолет и патроны в планшетке. Бывай, лейтенант“.

Пока они меня несли к кустам, полосой закрывавшим полевою дорогу, увидел: нашего грузовичка уже не было. Какая-то чёрная куча догорала, воняя резиной. Бронеавтомобиль был на месте, но – о, ужас! – в окопчике стояли целые кирзовые сапоги с ошмётками человеческого мяса, из которого торчали белые кости... Показалось, что от них шёл какой-то пар – от этих сапог или от костей? А, шофёр же был в обмотках! Это всё, что осталось от младшего лейтенанта Голуба. От этой кошмарной картины снова провал в сознании... Очнулся, Сеня вливал мне в рот воду из котелка. Ослабил по моей просьбе жгут. Кровь уже не пульсировала, а еле сочилась сквозь бинты. Невыносимой боли не чувствовал, но нога полностью одервенела. Голоса людей, шум автомашин... Показалось даже, что еду среди своих... Еле хватило сил приподняться на локтях. Нога опять заболела. Рядом, на удивление, сидит невредимый Сеня! Он чуть оглушён, но вполне дееспособен – пробует говорить со мной, что-то подправляет, оглядывается по сторонам.

Сколько прошло времени – не могу вспомнить. Боль опять притихла. Вдруг немецкая речь! Оттуда, со стороны дороги. Мы в кустах – нас, наверное, не видать. Передо мной, как на экране кино, пробежала вся моя молодая, только начавшаяся жизнь. Да, я уже знал из наших храбрых фильмов, из прокламаций политруков, что в такой ситуации герои нашей страны пускают себе

пулю в лоб! Просто умереть, ничего не совершив, – ни за семью, ни за страну? Хотя бы, как на экране, – уничтожить десяток, а лучше сотню гитлеровцев! Это был бы геройский поступок, а вот так – беспомощным пустить себе пулю в этих пыльных кустах? Оборвать и жизнь, и все надежды, и мою любовь? Бесследно исчезнуть в зарослях крапивы?

Я попросил Сеню раздобыть палку с развилкой и из последних сил, опираясь на его плечо и на самодельный костыль, мы потащились подальше от дороги. Метров через 20 достигли пшеничного поля и залегли передохнуть. Так, с передышками, отползали дальше и дальше. Слышали рёв немецких гружёных автомашин, немецкую речь, похожую на собачий лай, но надежда ещё не покидала нас, а может, сам Всевышний даровал нам эти моменты последней относительной свободы. Мы надеялись, что в пшеничном поле, в поле нашего детства, мы сможем не только выжить, но и вернуться к своим. Не зря же говорят, что дома и стены помогают! А тут поля хлеба!

Жуткое, обидное слово «окруженец» ранило сердце и душу. Оно сильно навредит тысячам и тысячам невинных людей, попавших по воле обстоятельств в плен к более сильному врагу. Оно будет вредить и портить людям жизнь и после войны, уже среди своих! Власти и сам Сталин прекрасно знали всю правду первых лет вооружённой борьбы со злым и мощным противником, но не хотели ни за что взять на себя хотя бы частичку вины за бездарные промахи и ошибки в анализе предвоенной обстановки. Они считали виноватыми всех, кто был ниже их статусом, званием и не обладал таким авторитетом и безграничной властью. Никто не смел сказать Ему правды! Потом, после того как отшумели военные грозы, а большинство покалеченных телом и душой ушли в другой мир, генералы и маршалы срочно взялись за мемуары, часто противореча один другому – каждому хотелось оставить по себе нерушимый глянцевоый памятник в памяти народной, прежде всего у сменившихся вождей! Но и после смерти главного садиста и палача всех времён и народов не было правды! Так, обрывки, лоскутья от настоящей истории Великой войны! Каждый из написавших книжонку забывал напрочь и причины, и потери, а

главное – тех, кто ложился тысячами и сотнями тысяч навечно в сырую землю, добывая своими смертями Родине свободу, а им Славу воителей! Даже после того, как Он исчез с лица планеты, Его тень, силуэт приводили в лакейский трепет боевых генералов и маршалов, так и не сказавших всю Правду о войне, спрятавших свою честь за железобетонными фразами о любви к компартии, политбюро и идеям коммунизма?!

Даже прославленный маршал Г.К.Жуков вынужден был выжать из себя слова о гениальности Вождя как величайшего военачальника всех времён! Сейчас хотелось бы спросить у него, а не вспомнит ли он хоть какую-нибудь операцию, предложенную, придуманную и проведённую этим стратегом? Конечно, Сталин был гениален! Но в другой области, в области искусного манипулирования человеческими жизнями – в фальсификации обвинений, выискивании заведомо фальшивых причин и предложений для уничтожения любого, кто мог бы посягнуть, прямо или косвенно, на Его непререкаемый авторитет! Это он, и только он отбросил нашу страну на десятилетия назад! Но Славу победителя, славу всенародного Отца и Вождя тут же присвоил себе! И до сих пор сырые и убогие умом, слабые духом и мозгами лакеи от рождения чтут и лелеют память об этом звероподобном грузине, положившем великую Россию себе под мягкие кавказские сапоги!

Да, много было и перебежчиков, и таких, кто добровольно сдался в плен. Я знал их. Но вот вопрос к тем, кто готов расстрелять других, но только не себя за желание обычных людей (не фанатиков!) выжить и за их горящую местью память об уничтоженных дедах, отцах, за ссылки и гниение в уже советских лагерях?! А на что после этого могли рассчитывать они, когда ночами загребали тысячи и тысячи невинных, физически и морально угнетали всех, на кого показывал кривой палец очередного стукача?

Уцелевшие от репрессий военные держались из последних сил. Верные, в преобладающем большинстве, своей присяге, они воевали с немцами как могли тем, что предоставила им могучая и непобедимая Родина. Они заслонили её, а по правде – свои дома,

своих жён и детей, телами и жизнями перекрывая осатанелому врагу дорогу на восток.

Почти целый день мы пролежали в пшенице. Какая же будет ночь? Ничего не обещало быть добрым. Ногу периодически, раз в полчаса, схватывала боль, но я кое-как притерпелся к ней и почти не стонал, боясь привлечь чужое внимание. Очень хотелось есть. Мы рвали какие-то листики и травку на расстоянии вытянутой руки и хоть этим заглушали голод. Увидели дорогу, отходившую от шоссе. За ней среди деревьев и кустарника виднелись какие-то строения. Наверно хутор или ещё что? Может там спасение? Не выдадут же? Свои, белорусы! Переползли эту дорогу – и снова в кусты. Не знали мы, что с другой стороны хутора тоже были немцы. Подсчитали наше оружие – у меня пистолет, но почему-то с одним магазином, второй исчез. Значит, восемь патронов. У Сени откуда-то два пистолета, но без патронов. Он подобрал их где-то на поле боя. Я разделил патроны на две кучки, и мы стали думать, что делать дальше. Наша стратегия была простая: любым способом отползти, отдалиться от главной и вспомогательной дорог, уйти как можно дальше, поближе к лесу. Но мы решили при отсутствии немцев на хуторе раздобыть чуть-чуть поесть. Подкрепиться. Силы быстро покидали меня. С предельной осторожностью, уже в сумерках, поползли к домам. Там за всё время наблюдения не было видно никакой опасности. Кто-то брал воду из колодца, мычала корова... А если что, то последняя пуля для себя. Продвинулись ещё метров на пятьдесят. Осталось ещё столько. Вдруг лай собак – через пшеницу со стороны шоссе к нам шли трое с автоматами наперевес. Их путь был правее нашего лежбища, и мы, воспользовавшись этим, поползли изо всех сил к отдельно стоявшему сараю. Там высмотрели какую-то дощатую загородку и решили спрятаться за ней. Ещё пару метров, ещё... и вот мы под досками. Пытаемся унять дыхание. Нога болит нестерпимо, но ставка – жизнь! Сеня заботливо дал попить. Стало легче. Поправили заборчик, и это лишнее движение заметили немцы. Раздались голоса, команды, послышался хруст сухих стеблей...

Я как можно дальше отбросил свой пистолет и начал молиться... Что я говорил, о чём просил Боженьку – пусть это останется моей тайной до самого конца! Высшая сила и на этот раз стала на мою сторону – шаги и хруст удалились, голоса стали намного глуше...

Кто меня упрекнёт, кто станет судьёй, кто обвинит меня в предательстве? Я попробовал, уже из последних сил, отползти подальше от выдавшей нас ограды...

Кто-то из немцев заорал: „Там советы, советы! Фойер!“ (Огонь!) В воздухе заскрежетала уже знакомая нам немецкая мина. Одна, другая. Взрыв! Опять скрежет... Ближе, ещё ближе... Сеня не выдержал и побежал. Автоматная очередь – и почти одновременно взрыв... Дальше – провал...

Снова немецкая речь, но уже надо мной: „Ком, хир ист офицер...“ (Сюда, здесь офицер...). Опять потерял сознание...

Вновь пришёл в себя – лежу в луже крови посередине крестьянского двора. „О, такой же, как у нас? – мелькнуло в голове, – может, сон?“ Но это был только первый из последующих жутких моих снов. Успел потрогать окровавленную ногу – теперь уже правая, но не так сильно – чуть выше лодыжки открытая рана, кровь течёт слабо, чуть сочится... Ещё пекло внизу живота. „Слава богу, что не порван крупный сосуд. Буду жить!“

С двух сторон на меня выскочили немцы: „Ваффеннидэр!“ (Оружие на землю!) А у меня уже не было никакого оружия. Сопротивляться я не мог, только поднять голову и чуть корпус на пару секунд. Двигаться было невозможно. Всё моё тело было в крови от пояса до пояса. Две собаки бросались на меня, но немцы почему-то не разрешали им куснуть советского офицера. Я лежал на траве и вертел головой, стараясь хотя бы зрительно предупредить любую опасность, хотя что я мог сделать? Но вот из-за сарая вышел... кто бы вы думали? Мой Сеня с носилками в руках! Он был живой, этот парень. Меня схватили за ноги и руки, и я опять потерял от боли сознание...

Немец шёл впереди, носилки раскачивались, а сзади я услышал шепоток: „Товарищ лейтенант, не волнуйтесь – мы живём. Сказали вас в лазарет или к санитарам. Я так понял...“. Стали. Я

сказал Сене перетянуть опять мою левую ногу ремнём – кровь начала сочиться сильнее. От кровопотери кружилась голова. На моём животе по-прежнему лежала моя заветная планшетка. Подошёл какой-то высокий немец в форме, но светлой, не похожей на других. У него были по локти засучены рукава, и я подумал, что будут резать... Опять мне стало плохо... «Офицер, офицер», – он начал тыкать мне в грудь. «Я, я, их бин офицер, – неожиданно для него ответил я по-немецки, – лейтнант». Он принёс медицинский пакет с бинтами, йодом и лекарствами. Приказал Сене перевязать, показал, как и где. Потом покрутил возле виска пальцем и сказал по-польски, сильно коверкая слова, что мне нужно срочно принять таблетки от заражения крови. Я понял и съел целых три штуки. Сразу потянуло в сон. Сквозь завесу полусознания видел, что вдоль дороги сидело много наших солдат. Были и офицеры. Все понурые, с опущенными головами, на лицах безысходность и страх. Кое-кто даже плакал. Раздали питьевую воду. Десяток людей помылись до пояса. Остальные смотрели на это и продолжали сидеть. Охрана выстроилась полуколёсом вокруг скопища людей. Со стороны поля в нас упёрлись стволы танковых пушек. Ещё охраняли и овчарки, штук пять. Красивые, со стоячими ушами.

Вдруг появляется немецкий мотоцикл с коляской. За рулём, никогда бы не подумал – наш дивизионный переводчик старший лейтенант Петер Фрост, поволжский немец. В полной форме советского офицера со всеми нашивками и значками! Я изо всех сил крикнул ему. Сам не знаю зачем. Думал, может, вывезет отсюда, спасёт... Тот подошёл, поздоровался и попросил кого-то посадить меня в коляску. Мотор мотоцикла продолжал стрекотать. Мне так захотелось обнять Фроста, прижаться своей небритой щекой, хоть как-то отблагодарить за освобождение! Хотя бы объятием выразить бесконечную благодарность! Судьба вновь поворачивалась ко мне лицом! Но я почему-то промолчал и стал ждать, что будет дальше.

Сеня с выпученными глазами наблюдал за этим действием и делал мне какие-то знаки... Я махнул ему рукой и с улыбкой крикнул: „Ещё увидимся!“

А дальше было так: меня погрузили в коляску, две ноги высунули наружу, дали в руки планшетку. Фрост криво улыбнулся, и мотоцикл начал движение... Чез несколько километров Петер остановился возле какой-то будки, с помощью часового вытащил меня на землю, прислонил к сетчатому забору и, криво улыбувшись, сказал: „Ты был неплохим белорусским парнем, но, извини, мы теперь по разные стороны...“. Пожал мне руку и крикнул что-то в сторону по-немецки. Оттуда вышли два солдата и поволокли меня внутрь загородки. На левом рукаве Фроста я заметил белую повязку... Мы не были близко знакомы. Он закончил то же училище, что и я, но годом раньше, и был симпатичен тем, что являл для меня первого в жизни настоящего иностранца, представлявшего высокую немецкую культуру, шикарно владевшего языком, да и относился ко мне с уважением, хотя мы и встречались всего раза три.

Одурелый от всего случившегося, ничего не понимая, я снова сидел спиной к сетке и уже как бы со стороны наблюдал за дальнейшим ходом событий. Нога моя продолжала периодически дёргаться и болеть, но после таблеток – не так сильно. Можно было терпеть. Я терпел и смотрел. Передо мной открывалась странная и тревожащая картина!

Огромное поле с уклоном в сторону Щары было огорожено по периметру высоким двухметровым забором из колючей проволоки, прикреплённой к деревянным столбам. Местами проволоку заменяли сборные дощатые щиты. Мысль: „О! У них даже заборы для нас были заранее заготовлены! А что же мы так просто попались?“ Внутри этого пространства сидели, лежали, стояли, чаще небольшими группками, люди в форме солдат Красной Армии. Некоторые босиком, в порванных гимнастёрках с пятнами крови. Их было много – несколько сотен. Четыре или пять. Кое-кто лежал недвижимо, кто-то негромко разговаривал, но общая странная тишина царила над этим скопищем. Заметил, что слева от будки были оборудованы низенькие помещения для собак с полом и плотной крышей. Немецкие овчарки, как узнал позже, отличались неимоверной злобой, агрессивностью, особенно к русским пленным (может, научили реагировать так на наш славянский язык?), дисциплиной и чёткими навыками

охранной службы. Я бы сказал, что они ненавидели нас больше, чем их хозяева. Почему? Не знаю. Обычно все животные, даже хищники, добрее, чем сами люди. Так мне говорил в детстве ещё отец: „Смотри, Василёк, никакой зверь не сделает человеку зла тайком, за спиной. Звери неспособные на такую гадость. А человек – другое дело! В лицо говорит одно, а за твоей спиной – другое! Так что больше берегись дурных людей, чем животных! Даже твой знакомый может когда-нибудь, выгораживая себя или желая что-то получить от хозяина, наговорить на тебя гадости, солгать или подложить что-то! Вот и думай всегда – где правдивый и честный, а где лживый человек! Большевики обещали-обещали, а до настоящего дела руки так и не дошли. Одни обещания! Только на наших дворах пусто стало – виноваты каждого третьего: то враг, то скот отравил, то любит больше своё, чем колхозное, да ещё и эти с наганами церберы\* везде рыщут, жертвы хотят для властей... Раньше власть на селе шла от старосты, а его народ на собрании села выбирал из наших же. Из толковых, образованных. Вот и жизнь была, какая-никакая, но была...“.

Многое, очень многое я не понимал, но всегда слушал внимательно, как будто догадывался, что всё это мне пригодится, но позже, не сейчас.

Стало чуть легче – кровь успокоилась, рана ещё ныла, но можно было держаться. Рядом на траву опустился какой-то немного знакомый офицер, но без знаков на форме – петлицы и нарукавные нашивки отсутствовали. Он услышал, что я понимаю по-немецки, и тихо прошептал: „Выручай, браток. Скажи им, что я пожарник, а не комиссар. Расстреляют на месте. Прошу тебя Богом (вдруг о Боге вспомнил?!), помоги!“ При первом беглом опросе я попробовал перевести на немецкий его просьбу. Слово «пожар» я знал, а вот «пожарник» слышать не довелось. Я медленно произнёс: „Эр ист фойерлэшер!“ (получилось – „Он есть огнетушитель“). Все весело заржали. Я продолжил свою импровизацию: „Дизер ман ист шеф брандокомандо“ (он начальник пожарной команды). Эти слова произвели на немцев соответствующее впечатление, и его записали к уже прошедшим первичную проверку. Комиссар был очень доволен, ходил вок-

руг меня и говорил всякие глупости, что „он никогда меня не забудет, отблагодарит при освобождении...“ и т.п. Потом он куда-то исчез так же внезапно, как и появился. Больше я его не видел. Мне становилось хуже. Попросил воды, и немец её принёс. Полегчало.

Чувствуя себя победителями, немцы не боялись подходить к нашим пленным и были даже не прочь поговорить. Тогда они подводили своего собеседника ко мне, лежавшему возле забора, и я, используя все зачаточные знания немецкого, пытался перевести. Один часовой, зная, что я немного разговариваю на его языке, подошёл и дал мне сигарету. Я отрицательно покрутил головой: „Их раухэ нихт“. (Не курю.) Другим пленным он ничего не предлагал. Это, наверно, хоть какое-то, но вознаграждение за моё стремление и любопытство к иностранному языку, за моё старание и в этом не отставать. Есть хотелось неимоверно. Что нас ждёт? Какая судьба уготована всем? Становилось хуже и хуже – всё тело била дрожь, голова кружилась, силуэты людей расплывались в какие-то облачка... Я уже плохо слышал голоса, мне даже показалось, что я в отцовской хате, но у горячей печи... Но, несмотря на ухудшение, продолжал следить за обстановкой. Внутренний голос подсказывал, что, обладая хоть какой-то первичной информацией, я смогу предугадать, распознать, откуда может грозить опасность, и попытаться избежать её. Хотя бы с помощью знания немецкого языка. „Раненый, но всё же живой! А что будет потом, когда станет хуже?“ – эта плоховатая мысль всё чаще и чаще всплывала в помутневшем сознании. На душе стало беспокойно. Заметил движение – из будки вышли два офицера. За ними солдаты вытащили стол, табуретки, чернильный прибор и какие-то бумаги. Один офицер, наверно старший по званию, важно уселся, пододвинул бумаги к себе и махнул рукой солдату. Тот оглянулся по сторонам и направился ко мне. Что-то сказал грозным голосом, потом повторил. Я ничего не понял и показал на забинтованные ноги. Тогда ко мне подскочил второй служивый, и оба, грубо схватив меня за воротник шинели, поставили на ноги... От неожиданности и резкой боли я упал на землю и потерял сознание...

Пришёл в себя, открыл глаза – надо мной белый потолок, вокруг белые стены... Мгновенно пришла мысль: я уже не здесь, не на земле... а коммунисты говорили, что второй жизни нет... Вдруг голос по-немецки: „О, и здесь один?“ Подходит кто-то в белом... Ангелы-хранители? Или в ад понесут? Нет – в больничном халате...

Привидение медленно вымолвило по-русски: „Ты – госпиталь. Лежать тихо. Мы делаем вторую операцию. Жизнь придёт завтра...“. Я навсегда запомнил эти слова. Буду жить! Хотя завтра, но буду...

Опять очнулся в большом и светлом помещении. Белые занавески, белые кровати, рядом какие-то люди под одеялами. Кто-то, тоже в белом, ходил туда-сюда, женское лицо, тихие голоса... „Вот награда! Сразу в рай! Не зря я закончил школу на «отлично»? Может, ещё не заслужил?“ – слёзы навернулись на глаза. Снова медленно ухожу в забытие...

Словно сверху, с небес на меня начали спускаться знакомые с детства звуки, слова, запахи... Вновь вижу рассвет над нашим лужком, полупрозрачные облака тумана над болотцем, крики детворы, мычание коров...

Вроде спал, но всё так чётко начало проявляться в голове, что не вспомнить об этом нельзя...

## День четвертый

„Ну, как вы, господин офицер? – кто-то спросил на чистом русском, – вам сделали операцию на левой берцовой кости. Открытого перелома нет, небольшая трещина. Кость стянули скрепками. На правом рваную рану зашили. Осколки извлечены. На животе и щиколотке скользящее ранение. Будете жить...“, – лицо с бородкой исчезло. До меня постепенно доходило, что я пока на своей земле и ещё живой. Появилась надежда.

Ко мне относились одинаково, как и к лежавшим рядом немецким военным. Здесь были только солдаты, единственным офицером оказался я. Каково же было моё удивление, когда я

увидел, что санитар, разносивший таблетки и микстуру по кроватям, подойдя ко мне, сначала отдавал честь по-военному, а потом совал мне в рот медикаменты. Я не знал что и делать? То ли это к добру, а может, к беде? Когда-то читал, что так относятся к врагу перед казнью?!

Кормили три раза в день. Еда была простая, но здоровая – утром чай, два куска белого хлеба, повидло в большой ложке. В обед – суп из чечевицы или фасоли, кусочек мяса, чёрный хлеб, стакан чая или молока.

На третий день, когда почувствовал себя намного лучше, по дурости своей спросил по-немецки, можно ли написать письмо жене? Санитар меня не понял и сбежал за доктором. Я повторил вопрос. Тот громко рассмеялся и ответил: „Keine Briefe. Alle Russe sind Idioten, oder? Du bist ein Gefangene. Nach der Gesundung, geradeaus im Lager!“ (Никаких писем! Что, все русские идиоты? Ты пленный. После выздоровления прямо в лагерь!) Я почему-то всё сразу понял и затих. Передо мной вдруг начала раскрываться зловещая и неизвестная перспектива. Наконец дошло, что в этом слове «Lager», произнесённом с каким-то зловещим нажимом, вмещается главное – моё будущее, страх и полная неизвестность.

Однажды утром слышу – в прихожей какой-то разговор по-немецки. Даже на повышенных тонах. Прислушался – кто-то с сильным русским акцентом просит, чтобы его пропустили именно ко мне (назвал фамилию!), так как это важно для немецкого рейха?! Что это такое, что за визитёр? Чего он хочет от меня и причём тут немецкий рейх?

Дверь открылась, и в палату зашёл человек среднего роста с большой, как шар, лысой головой. Одет был в полувоенную форму – офицерское галифе, хромовые сапоги, но сверху был накинут пиджак. Он держал в руках сильно потёртый кожаный портфель какого-то серого цвета. Подошёл поближе, протянул руку. Я пожал её и показал на стул. Он, ещё ёрзая на стуле, начал на русском: „Сразу видно, что вы представитель той старой русской интеллигенции!“ Я ответил, что родом из большой белорусской крестьянской семьи и никакого отношения к России не имею. Да и в семье интеллигентов не было. Я первый, кто

стал учителем. Визитёр немного смутился, но продолжил визгливым голосом: „Вам сегодня выпадает шанс не только остаться в живых – война есть война, но и послужить своей Родине! Я являюсь представителем всех русских, проживающих за границей, и ищу кандидатов для организации группы специальных войсковых пропагандистов, которые будут силою слова вести борьбу против большевиков. Вы будете освобождены из плена, вам выдадут полный комплект армейской одежды в соответствии с вашим рангом, и вы будете получать повышенный солдатский паёк и ещё немного денег. Сколько, пока не знаю. Я сам прошёл этот путь. Работал учителем, а после множества арестов и зверств советских оккупационных войск перешёл на сторону западной демократии“.

В моей голове мелькнула хорошо привитая мысль: „А, вот они какие, эти настоящие антисоветчики и шпионы... Именно о них говорил на занятиях наш комиссар! Что же мне делать? Согласиться – стать изменником, и тогда смерти от своих не избежать! Наши всё равно победят! Может, и я как-нибудь выживу? Немецкий немного знаю, а вот так примитивно и сразу перескочить на другую сторону? Нет, нас так не учили!“ Я сказал, что „мои знания немецкого очень скромные, и я не смогу полностью понимать, что будут хотеть от меня новые хозяева, да и морально, как офицер, не готов стать предателем. Я знаю, что присягу принимают раз в жизни... И у вас, и у нас“. Сказал это и затих, ожидая приговора. Тот страшно разозлился, повысил тон и, брызгая слюной, заверещал: „Вы будете очень жалеть! Ваша большевистская твердолобость не позволяет вам увидеть новое, привлекательное, а не обещания вашего Сталина! Это ошибка, и вы быстро почувствуете её результаты! Я протянул вам руку помощи, а вы её отбросили! Теперь вы наш враг!“

С перекошенным лицом этот активный лысоголовый вербовщик выскочил из помещения. Наступила тягучая, опасная тишина. Несмотря на то, что в палате были только немцы, они, поняв суть разговора, отвернули головы и лежали, уставив глаза в потолок. Даже они, те, кто вероломно напал на нашу страну, поняли, что здесь происходила мини-драма, мини-борьба идеологий и патриотизма, проще говоря, обычного человека со

сволочью и мразью из бывших соотечественников! Так я впервые в жизни встретился не просто с настоящим изменником, а ещё и профессиональным агентом-вербовщиком из числа своих же белорусов. Я на всю жизнь запомнил его облик – большой, слегка угловатый, полностью лысый череп, маленькие бегающие глазки, очень колючий и пронзительный взгляд, неровный, подпрыгивающий тенорок, моментами переходивший в эмоциональное повизгивание. Я не знал тогда и не мог знать, что немецкие спецслужбы с первых дней войны вели обработку почти всех выходцев из СССР, в первую очередь обездоленных и бесправных пленных, с целью набора как можно большего количества будущих агентов для засылки к нам под разными легендами и по разным каналам. Второй задачей был поиск антисоветских пропагандистов, с помощью которых через радио, средства информации, личные контакты пробовать разложить изнутри армию, советское общество и попытаться создать группы сопротивления и законспирированных диверсантов и шпионов.

Я ещё вернусь к этой теме, но позже. Скажу только, что эта встреча, её направленность помогла мне с самого начала лучше сориентироваться в жутких условиях вражеского плена и, возможно, сберегла жизнь и открыла глаза на потаенные закулисы человеческого существования и очень относительной, часто колеблющейся морали?!

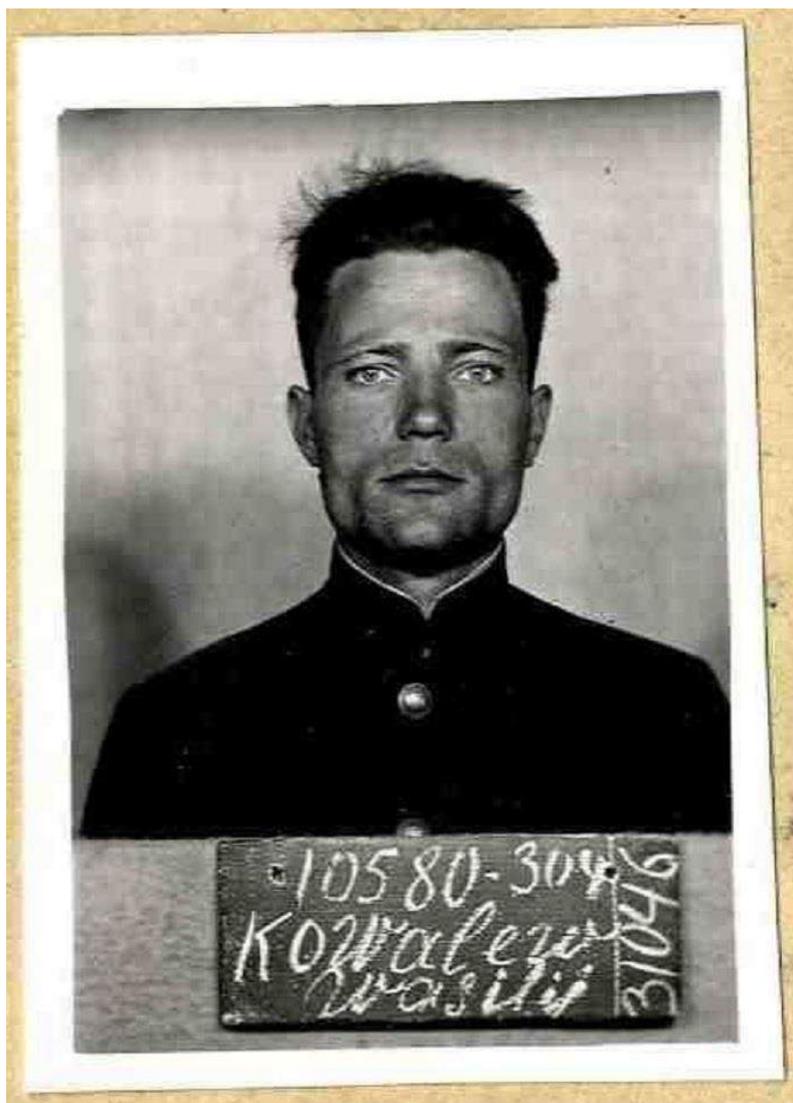
Пробыл в немецком полевом госпитале недели две. До сего времени не знаю и не понимаю, откуда появилась такая доброта и человечность у нашего злейшего врага? Хотели показать разницу в культуре отношений? В отношении к противнику? Сравнить этим свой фашистский режим с режимом Сталина? Думаю, всё намного проще. Учтите – это были только первые дни борьбы, и они в ней имели подавляющее преимущество! Естественно, что из немцев выпирало так называемое благородство победителей, правда, очень недолго! Уже на первом этапе плена я смог в этом убедиться. А пока по утрам в палату заходил солдат-санитар, подходил к каждому лежащему, раздавал лекарства, но только мне, как офицеру, отдавал воинскую честь. И странно, и чуть смешно, если бы горечь не пре-

вуалировала над всеми чувствами! Однажды, подбирая слова, спросил у него, почему он отдаёт честь вражескому офицеру? Немец спокойно, как автомат, с каменным выражением ответил: «Вы для меня сейчас не враг, вы – раненый офицер, и я должен, руководствуясь пунктами немецкого полевого устава в части субординации, приветствовать вас. Пока вы здесь, у вас статус офицера, и неважно какой армии, но, как только выйдете за дверь, вы – пленный... и только! Скоро узнаете разницу, осталось недолго!» – и этот рыжий немчик залился сатанинским хохотом! Действительно, через неделю «рай» закончился!

Так и получилось. Однажды, дней через пять-шесть, меня вывели во двор, дали в руку костыль, и опять рыжий немец, но крупного телосложения, подталкивая прикладом в спину, погнал к группе советских пленнх, стоявшей за забором госпиталя. Я опять очутился среди своих – оборванных, усталых и голодных. Нас построили по четыре. Раза два подсчитывали. Потом окружили автоматчиками и повели в неизвестность. Идти было тяжело. Ещё сильно болели ноги, особенно левая с железками внутри. Еле проковылял километра три. Густая пыль от проезжавших огромных грузовиков лезла в рот, забивала глаза и уши. Вдоль нашей колонны почти непрерывной цепью тянулись грузовики, набитые то солдатами, то ящиками, иногда и скотом. Охрана нервничала – слишком медленно идём. Кое-кто из пленнх украдкой посматривал по сторонам, очевидно, оценивая шансы сбежать. Но из этой довольно большой колонны (человек 300) совершить побег было невозможно – спереди и сзади шли автоматчики, а по сторонам – вооружённые карабинами солдаты со здоровенными и злющими овчарками.

По дороге, напрягая память, постарался запомнить число и место, где я попал в руки врага: седьмого июля 1941 года, деревня Большие Жуховичи, недалеко от старинного белорусского городка Мир. Один отрезок жизни окончен. Начинается второй. Каким он будет?

Колонны пленнх, повинясь грубой силе, тянулись на запад. Враг спешил угнать нас подальше от фронта, от Родины, от родных и близких... Враг праздновал первую победу, вёл себя бесцеремонно и грубо, нахально и незаконно.



*В глазах моего отца всё – страх, отчаяние, печаль о несбывшемся и последнее «прощай» всем нам... Только знающий его или очень наблюдательный человек может уловить еле заметное... Оно в сжатой челюсти, в чисто выбритом лице, в закрытом от всех желании – выжить и вернуться к своим!*

Опущенные головы, усталые лица, медленный, неровный и неуверенный шаг. Запыленные гимнастёрки и сапоги. Большинство босиком, т.к. при спешном отступлении терялись и ботинки, и обмотки. У многих сорваны знаки отличия: треугольники, кубики, шпалы. У нас нет привалов. Нам не дают ни пицци, ни воды. Мы движемся в неизвестность. Мы – пленные. Мы не сами идём – нас ведут. Силой оружия, постоянной угрозой расстрела, пинками и бранью. Гонят... Справа и слева слышится чужая, непривычная, громкая лающая речь. С трудом улавливаю слова: „Schneller! Schwein! Scheiße!“ (Быстрее! Свинья! Дерьмо! – нем.) Потом в лагерях я часто слышал эти три немецких слова на «Sch» – они присутствовали в лексиконе каждого немца. Швабский\* лексикон. Я изучал немецкий язык как иностранный, но его носителями были мои учителя, люди воспитанные, культурные, вежливые. А тут... Немецкая солдатня, гитлеровская свора убийц. На отстающих кричат конвоиры, бьют прикладами, толкают ногами. Со мной поравнялся один конвоир, солдат, лицо сердитое, винтовку держит наперевес... И меня потянуло на разговор. Немецких слов «гнать» или «вести» я не вспомнил, а просто выпалил: „Wohin gehen wir?“ (Куда мы идём? – нем.) И с размаху получил прикладом в левое плечо. Долго болело. „Вот тебе и немецкий язык“, – подумал я и молча продолжил шагать. „Halt Maul!“ (Заткни глотку! – нем.) – бросил мне немец.

Марш продолжается. Печальный и скорбный, унижительный. В глазах – усталость, на лицах – печать стыда и позора. Да ещё мучили недоуменные вопросы: что случилось?, что вдруг произошло?, где наши основные силы?, где наша авиация?, наконец – что предпринимает наше руководство?

Это и мучило не только меня, но и моих товарищей по несчастью. Об этом думал каждый невольник. Как всё изменилось вдруг! Казалось, земля пошла кругом. Что будет с нами? Чтобы отвлечься от болевшей ноги (раны ещё многие годы давали о себе знать!) я придумал занятие – вдох на три небольших шага и на выдохе ещё три. Получилось неплохо – я отвлекался от боли, мне удавалось сохранять в таком ритме больше сил, а главное,

топая по дороге, я погрузился в воспоминания. Перед глазами встал отчий дом, родные лица и голоса оршанщины...

Кто-то из наших сказал, что идти нам ещё километров 15! Куда-то за этот городок с таким милым названием – Мир. Разболелись швы. Очень хотелось пить. Немцы кричат, бьют прикладами остающих, угрожают расстрелом. К любому из пленных, кто хоть каким-то образом нарушал лениво текущее движение колонны, тут же подсакивала овчарка с поводырём и злобно рычала, пытаясь отхватить кусок от ноги или щиколотки. У всех этих собак, как я заметил, были маленькие и красные глазки. Как у чертей! Наконец-то прибыли в этот Мир. А почему не в сам город? Но тут же причина стала ясна – на краю рай-центра высилась старинная крепость с высокими стенами и башнями – Мирский замок. Построили возле ворот. Пересчитали раза два, потом загнали всех на замковый двор – готовый лагерь и ограждения никакого не нужно! Мне и ещё двоим приказали стоять возле входной арки. Ворот не было. Сильно заныла нога. Без воды разжевал выданные мне болеутоляющие таблетки. Тяжело, но, опёршись на стену, стоял. Ждали, что будет дальше. Из пары слов, которыми мы тихонько обменялись, понял, что мои попутчики – санитары и их, наверно, планировали как-то использовать в этом качестве. Тревога возрастала. Уже были слухи, что у немцев нет мест и средств для содержания такого количества военнопленных и они начали уже расстреливать большую часть. Наверно расстреляют и нас? Но почему именно здесь? Гнать почти за 20 километров сюда, в замок и расстрелять здесь? Логика, тем более немецкой, не было никакой! Я начал формировать в голове фразу на немецком и спросил у стоявшего вблизи часового: „А почему меня держат отдельно?“ Тот ткнул пальцем в нашивку на моём рукаве. А, вот оно что! Офицерское звание! К чему это? Раньше действовало неплохо, а как сейчас? Через минуты две другой солдат вдруг принёс мне табуретку. Я сел, и постепенно нога начала отходить. Жду дальше. Наши санитары, стоявшие рядом, увидев, что мне, как офицеру, немцы выдали табуретку, тут же отошли в сторону и больше со мной в контакт не вступали. Жаль, но вбитое нашей пропагандой расслоение на начальников и подчинённых,

на привилегированных и сырых, на законспирированных врагов и борцов за правое дело сыграли и здесь, в самом неподходящем месте, такую же роль, как и в залах, на собраниях, где одни драли горло за власть, разрывая на себе рубашку, а другие хитренько взирали на них с трибун, вбрасывая и вбрасывая в разгорячённую толпу всё новые и новые идеи! Слово «офицер», даже изменённое новой идеологией до бредовых форм, всё так же отдавало классовым негативом, и многие сторонились даже теней прошлого! Конечно, кто-то и подумал, что я изменник или предатель.

Через часа два я опять осмелился и спросил уже у нового сменившегося часового: „Как долго будем здесь?“ „Бис абендессен!“ – был ответ. Значит, до ужина. Слабость одолевала организм и меня начало клонить в сон. Боясь заснуть и упасть, взял в рот какую-то соломинку и начал сосредоточенно её жевать, отодвигая наступающую сонливость. Часовой с удивлением смотрел на меня, думая о правильном определении нас как «скотов» своим нацистским начальством. В конце концов появился старший конвоя и скомандовал: „Ком! Ин официрбараке!“ Показал направление. Подходим. Деревянная будка. Из неё вышло человек 5–6 офицеров в советской форме. Нам принесли воду, мыло и мешковину в качестве полотенец. Это были последние, как оказалось, штрихи более-менее гуманного отношения к нам. Запустили в барак. Гороховый суп-баланда без всякого запаха, по пять картошин в мундирах и по столовой ложке кровяного паштета, чай без сахара. Хлеба не выдали. После ужина меня и большую часть пленённых загнали в бывший коровник или стойло для лошадей. Сильно пахло навозом. На земле лежал слой соломы, какие-то ветки и старые выдавшие виды красноармейские шинели. Почти на всех были пятна крови, и от них исходил неприятный запах. Так и легли. Ночь прошла тревожно. Мучила бессонница. Раньше со мной такого никогда не было. Я смог заснуть только под утро... – кто-то скрипел зубами, стонал, раздавались крики, вздохи, звали то отца, то мать... назывались женские имена... Снаружи то и дело доносилось: „Русише швайне! Шнауцэ – руэ!“ («швайн» я знал – свинья, а «шнауцэ» мне учитель никогда не объяснял. Оказалось, что это

„заткните морды!“). Здесь продержали несколько дней. А в крепость поступали и поступали всё новые и новые пленные. Казалось, им не будет конца!

„Смотри-ка, – говорил старый майор, – офицеров держат отдельно от солдат! Боятся нашей агитации или чего? Что поднимем их на борьбу?“ „Да иди ты со своей борьбой (дальше шёл отборный мат!). Нас первых в расход, чтоб не воняли, а ты тут опять со своей агитацией!“ – отпарировал кто-то из темно-ты. „Нас скоро освободят! – неуверенно утверждал следующий, – я слышал моторы самолётов. Это наш десант, наверно“. „Жди, жди! Сталин сам освободит и всех под расстрел! Предатели, изменники, какого хрена сдались? Присягу-то все принимали? Вот что будет, а ты – «десант», «десант», – мрачно съязвил усатый. – Кому мы сейчас нужны?“

Числа не помню, но был конец июля. Всех вывели из барака. Построили. Офицеров отдельно, но под усиленной охраной. На 30 пленных 6 конвоиров! Куда нас? Как долго продолжится наш путь тревог и унижений? Всех погрузили на длинные грузовики с высокими бортами, такими, что мы, сидевшие и лежавшие на полу, ничего не могли видеть. Подниматься было строго запрещено. Нашлись и такие, но автоматная очередь срезала их, как срезаются былинки острой косой! Все притихли и поняли – началось! С нами уже никто не будет считаться!

Прибыли в польский город Бяла-Подляска. Первый пересылочный лагерь для советских военнопленных. Масса людей! Тысячи, может и десятки тысяч! Изголодавшихся, запуганных, деморализованных! Здесь уже не было никакого разделения на офицеров и рядовых. Серая стриженная масса – это солдаты, а кто с волосами – это офицеры или обслуживающий персонал – врачи, санитары... У некоторых, как и у меня, знаки отличия.

В училище нам немного рассказывали, как на глаз определять количество солдат на плацу или в колоннах. Взвод – человек 30, рота 100–110... и т.д. Скажем, на плацу построен полк – значит, там около 1000 человек. В этом же лагере их было уже раза в три-четыре больше! Огромное поле, обнесённое в два ряда колючей проволокой высотой в два с половиной метра! Через небольшое расстояние ещё один ряд колючки. Через сто метров

стояли вышки, между проволоками собаки и охрана. К ограждению подходить строго запрещалось! Расстрел на месте! Первые ночи то и дело раздавались короткие очереди – кто-то кончал свою жизнь на заборе то ли по своему желанию, то ли из-за ошибки часового. К обеду из каждой группы приблизительно по сто человек выбрали 10. Им дали плащ-палатки и повели в сторону кухни. Там выдали по сорок буханок серого хлеба... и пока всё! Да, ещё по баку воды. Но, когда начинали на месте делить, резать, – поднимался шум, гам, люди бросались на хлеб, вырывали друг у друга, зверски ломая пальцы и царапая лица своих же товарищей по несчастью! На моих глазах они превращались в настоящих зверей! Мгновение – и на палатке не оставалось даже крошек! Немцы бешено ржали, подпрыгивали, заливались смехом до слёз, до икоты – так им было весело при виде страданий! Цивилизованная Европа, когда же ты обретёшь человеческое лицо? Когда же слова «совесть и мораль», «честь и благородство» заменят вашу скудость, жадность и расчётливость? Когда власть чистогана уйдёт на второй план, когда место в домашних беседах займут мудрые и чистые разговоры о бытии, об искусстве, о труде, но не о штампах и навязанном из-за океана разнообразном «дерьме» в виде патологии в браках, семье, обществе?

Все лагерники были поделены, но условно, на армейский манер – взводы, роты и батальоны. Это, как мы потом поняли, планировалось для размещения пленённого «быдла» и лучшего учёта. Никого уже не узнать, будто и не люди вовсе! Все злые, издёрганные, норовящие вцепиться в горло любому, стычки и драки вспыхивают повсеместно. Уже находятся и нашлись те, кто требует себе больше места, больше тепла, больше еды! В основном это более сильные физически, но не всегда. Часто видел, как какой-нибудь «клоп» по размерам, но сверхагрессивный и драчливый, довольно быстро из-за пассивности основной массы занимает верхнюю полку в лагерной иерархии?! Очень интересно! Как и в нашей жизни! Ну а несёт ли он людям сверху счастье, как лидер, или хотя бы что-то похожее на внимание, улучшения, заботу... Это уже в другом, несостоявшемся акте дантовой пьесы!

К вечеру всё повторяется: снова приносят хлеб, воду – и опять атака остервеневших людей! Немцам это нравится, они подпрыгивают от смеха и тыкают пальцами в советских «недо-человеков». Что ж, заставив людей грызть землю, они и подтвердили этим свою теорию. Доставалось ли мне? Конечно, доставалось – сразу с двух сторон: тумачи, драки, но и немножко хлеба. Я был крепкий, несмотря на средний рост и телосложение. Труд с раннего детства, физическая и телесная закалка, вероятно, заложили во мне тот фундамент, благодаря которому я смог и выжить, и пойти вперед!

В этом огромном полевом, в прямом смысле, лагере ещё не было никаких кухонь, но их начали поспешно строить, когда до гитлеровцев дошло, что озверевшие люди могут восстать и похоронить какое-то число победителей в запале ненависти из-за отсутствия еды и жилья.

Я тоже принял посильное участие в строительстве. Большой навес из досок на столбах, внутри три больших котла, каждый приблизительно на 100 человек. Строение без стен, и когда разжигали, то со стороны ветра закрывали всем, что было – шинелями, плащ-палатками, сучьями. Таких кухонь построили десятки. Сколько – не помню. Несколько помещений были сбиты из деревянных готовых щитов, и использование их продумано чисто с немецкой педантичностью: для хлеба – отдельно, второе – для еды из пачек и коробок, третье – для овощей. Довольно быстро возвели тоже дощатые, но с двойными стенками (внутри опилки) помещения для охраны и лагерного начальства. Потом дали команду строить бараки и для пленных. Это строительство уже растянулось аж до холодов. До этого спали на земле под кусками брезента (если был дождь) и своими вещами – шинелями, плащ-палатками, обрывками одеял и любой ветошью. Накрывались даже самодельными щитами из сучьев, кустарника, соломы и зарослей камыша.

Постепенно расклад дня начал приобретать какие-то формы: с вечера заготавливали дрова (остатки сгоревших домов привозили на грузовиках), с утра разводили огонь (где-то с 4 часов) и начинали кипятить чай. Чай не настоящий, а из липы, каких-то цветов, сухой зелени. Сахара никакого не было. Его заменяли

две ложки твёрдого, как смола, и не очень сладкого повидла. Плюс по одному куску серого хлеба явно с примесью зерновых отходов. Хлеб был поначалу очень мягкий, даже мокроватый, но не со всех сторон. У меня сложилось впечатление, что его, высушенный до каменного состояния, специально для нас смачивали водой. Может, и так. За два-три часа до обеда огонь разводили вновь и варили какое-то подобие супа – свёкла, зерно, редко картошка. На второе чаще картошка в мундирах. О! Это уже была пища богов! Не разъешься, но помогала стать на ноги. Иногда подбрасывали витамины – щавель, собранный самими же пленными, зелёный (но редко) лук, молодые листья липы. По неопытности я не раздобыл для себя котелок, хотя видел много раз, как они валялись возле своих бывших хозяев. Приходилось просить у кого-нибудь и ждать. В таком чередовании, как выяснилось, было и маленькое преимущество: из котлов жидкость брали сверху, никто особо не размешивал, а к концу, когда подходила моя очередь, со дна иногда падал в миску и кусочек сальца, мяса странного происхождения, какая-то шкурка! Я, конечно тайком, прикрывая эти вкрапления от чужих взглядов, садился где-нибудь в сторонке и медленно вкушал положенное! Эти минуты совпадали в моём воображении с минутами блаженства, и я не противился им! Вечером – чай, кусок того же хлеба и столовая ложка каменного мармелада, или как его ещё назвать?

Пока живём, строим, пилим, колем дрова, варим, но живём! Воды, чтобы хоть как-то помыться, нет! Удалось пару раз во время дождя повыгнать со своего тела всяких пристроившихся мелких животных страшного вида! Тёрся мелким песком, высыхал под белорусскими ветрами! Так делал далеко не каждый. Кто ленился, кто стеснялся, а большинство безвольно сидели и ждали конца! Я же по своему характеру был не такой! Цель – выжить любой ценой, мой опыт и знания давали мне правильные команды и ориентиры. Я сторонился людей со сволочным характером, забияк, хамов, и мне пока как-то удавалось быть в стороне от кровавых схваток, драк, даже убийств. Спал на своей плащпалатке, с которой не расставался ни на минуту. Пару раз пытались отобрать, но, получив в зубы сам и дав сдачи,

я её сохранил. Теперь думаю, что из-за моих офицерских нашивок соплеменники как-то стеснялись набрасываться скопом на лейтенанта, разделявшего полностью их тяжёлую участь и питавшегося столь же скудно, как и они. Была уже и другая причина: многие, кто лежал, сидел, работал недалеко от меня, слышали, когда я обращался с какими-то вопросами к охране – скажем, недостаёт лопат, затупилась пила... Наверно, всё-таки, это и была основная причина, почему меня особо не трогали. Получалось, что из тысяч людей только я мог кое-как общаться на немецком. И это именно тот случай, когда знания – сила! Обладая хорошей памятью, очень внимательно прислушивался к немецкой речи, вылавливая отдельные слова, пытаюсь понять и запомнить их значение, связь. Вот так постепенно и рос мой первоначальный словарный запас.

Однажды утром после горького чая я и мой новый кратковременный друг (не помню ни фамилии, ни имени) лежали на разосланной плащ-палатке, но чуть поодаль от остальных. Сил немного, бродить по лагерю не хотелось. Мы тихо разговаривали. Может, попытаться удрать? Но как? Броситься ночью на колючую проволоку, подмять её как-то – и в лес? Но такие случаи уже были. Многие не выдерживали, пытались бежать или добровольно кончали жизнь таким способом. Всех успевали застрелить на ограждении. Рядов-то было два, и очень высоких. Я уже говорил – под два с половиной метра! Периодически между ними ходил патруль с собаками. Забыл, прожекторов пока не было. Немцы удивлялись, как я понял из их реплик, что здесь нет никакого электричества. Вспоминали только Барановичи, Слоним, Белосток. С одной стороны – недостаток социалистической индустриализации, с другой – нам меньше контроля и лучей прожекторов прямо в глаза целую ночь.

Мой знакомый пробовал успокаивать меня, когда я погружался в воспоминания о семье, жене, сыне, родных... Он убеждённо говорил, что мы ещё понадобится Родине, она нас не забудет (о, если бы так?!), и мы сможем повоювать. Только бы вырваться на свободу. Одна мысль, что наши победоносные войска скоро придут и освободят, поддерживала и жизнь, и тающие надежды. Не может быть, чтобы Советы не победили! А как

же в гражданскую, с кулаками, с врагами народа? Смогли же? Начали вспоминать французов, шведов поляков, даже турок вспомнили. Когда мы дошли с ним до сопротивления татаро-монгольским набегам, поняли, что недалеко от шизофрении – жестокая действительность была перед нами! Её можно было пощупать. Но в глубине ещё оставались крупинки надежды, может, даже на генетическом, как теперь говорят, уровне.

Кто-то уже начинал верить любимым снам, разным советам и пожеланиям родных в прошлом. Кто-то вспоминал всевидящую бабушку. Но мы лежали на мокроватом плаще, и над нами, почему-то только в сторону востока, плыли чёрные облака. Вдруг от кухни идёт немец. Невысокого роста, без униформы – штаны, рубаха и сапоги. Один глаз закрыт чёрной повязкой. Без оружия, вид мирный. Подошёл, спросил, как попали в плен, где? А почему не сопротивлялись? Откуда такое количество пленных? У вас же, как вы говорили, самая сильная армия? Я понимал смысл почти всех вопросов, даже пытался что-то объяснять. Мой друг – ни «бэ» ни «мэ». А говорил, что на «отлично» учил немецкий. Значит, врал? Немец показывает на меня пальцем: „Вэр бист ду фон беруф?“ (Кто ты по профессии?) Я не задумываясь отвечаю: „Их бин шульлерэр“ (Я школьный учитель). В ответ слышу: „О! Русише интеллигенц!“ Он что-то слышал о русской интеллигенции, славившейся в Европе своей образованностью и высокой культурой. Посидел, подумал и говорит: „Ауф, ком мит!“ (Вставай, иди за мной!) Я поднялся: „Унд камарад?“ (А товарищ?) Немец согласился, и вот мы оба ковыляем за представителем самой расы.

В колючем заборе калитка. Кухня, кроме общего ограждения, имела и свой внутренний забор. Прошли на так называемую кухню, т.е. под навес. Там довольно вкусно пахло. Сразу мысль: „Гады! Сами мясо едят, может, и нам сейчас дадут?“ Увы! Немец подвёл к котлам и сказал: „Фойер махен едэн таг. Ду, – показал на меня, – кессель нумер цвай, унд ду – нумер драй“. (Разводить огонь каждый день. Тебе – котёл номер два, тебе – номер три.) А про еду ничего. Он вручил по картонке, написал латинскими буквами наши фамилии, и сделал это грамотно, как я теперь знаю из законов транскрипции\* – Kowalew. Добавил, чтобы

приходили каждое утро к четырём часам, и без опозданий. За неподчинение – увольнение, а то и похуже! Так я очутился на временной кухне в качестве истопника. Судьба, случай – или кто-то подсказал ему, услышав мои упражнения в немецком? Никто сейчас этого не знает... Явно повезло! Тогда я ещё не понимал осмысленно, какая сила в знании иностранного языка. Много позже, преподавая немецкий, я нашёл слова Карла Маркса: „Айнэ фрэмдэ шпрахэ ист айне ваффе им лебенскампф!“ (Иностранный язык – это оружие в борьбе за жизнь!) Удачно сказано, и правдиво. Конечно, относительно конкретной ситуации.

В лагере Бяла-Подляска нас продержали до осени 1941 года. Я уже сбился с подсчёта дней и не знал, какое число. С холодами лагерь начали эвакуировать в Германию, так сказать, на зимние квартиры. Поначалу это обрадовало, так как мы наивно полагали, что там, уже в стационарных условиях, будет получше, чем в холодном поле, хотя мы отдалялись от Родины, и возможность побега или освобождения быстро таяли, превращаясь в мираж. Опять погрузили на длинные грузовики, но с тентом, по 30–40 человек. Очень тесно, никаких сидений – в основном лёжа или сидя. Еды не выдали – дали только попить. Не знаю, сколько мы тряслись по дорогам Польши, как долго ехали, но очутились в лагере Цайтгайн, на берегу Эльбы. Конечно, самой реки мы толком не видели и ни разу не были на её берегах, но нам говорили, что она метрах в трёхстах. Это уже был не «дулаг» (пересыльный), а «Шталаг» (постоянный).

Конечно, в эти первые дни я мало что понимал и мало что видел, но потом, с течением времени, в разговорах со своими солдагерниками, иногда кое с кем из охраны, местными жителями, узнал, что так называемый лагерь «Цайтгайн» – это, собственно, не один лагерь, не один комплекс, а несколько лагерных филиалов на небольшом расстоянии друг от друга (3–4 км), построенных в апреле–июне 1941 года строительными организациями вермахта для будущих военнопленных. Хочу обратить внимание возможных читателей: лагерь начали строить заранее, уверенно предполагая большое количество захваченных в плен!



*Ехал я по этому узкому шоссе, и оно всё никак не кончалось. Неожиданно за поворотом на левой обочине выскочили эти значимые и тревожные для меня буквы – «Цайтгайн»... Не смогу описать то, что возникло в душе – некое смятение, даже страх перед ожидаемым, воспоминания отца, его слова, интонации, его последний день на земле... Тяжёлая встреча...*

(У нас в те времена тоже строили сотни и тысячи лагерей, но для своих людей и силами самих невинно арестованных! Разница, думаю, понятна любому! Хотя...) Таких заранее заготовленных лагерей ещё до нападения на СССР на своей территории Германия построила 16! Остальные 48 – частично в Польше и после оккупации – на территории СССР. Каждый из этих лагерей был рассчитан на 30000 пленных! Вот это знаменитая немецкая аккуратность и плановое предвидение количества будущих рабов Третьего рейха! Необходимо подчеркнуть, что немцы начали возводить лагерь не с барачков для советских пленных, а сначала строили помещения для администрации, охраны, собак, двойную высокую ограду из колючей

проволки, деревянные вышки для часовых с пулемётами. Для «шталага» № 304, IVH(таково официальное название «моего» лагеря комплекса «Цайтгайн») было выделена территория бывшего военного полигона – плоская равнина с кустарником, несколькими десятками хаотично росших берёз и лип (после ВОВ эта территория использовалась ГСВГ\* как танковый полигон) площадью 66 гектаров. На эту пустошь, открытую всем ветрам, разрытую ямами, колдобинами и рытвинами, в июле 1941 г. прибыла первая колонна советских пленённых солдат.

*„Пережитое и увиденное в вагонах невозможно описать словами. Люди, а среди пленных было много с ранениями, часто серьёзными, истекали кровью. Грязные, гнойные раны воняли, в каждом вагоне приговорённые к смерти умирали от потери крови, от голода, нехватки воды и воздуха. Стоны, проклятия, предсмертные хрипы, мольба к Богу, какие-то имена, заклинания, просьбы, лихорадочный бред...“ (Воспоминания Н.С. Гутыря, 1961 г., из материалов мемориала «Цайтгайн»).*

Вместе со вторым эшелонем в конце сентября прибыл и я. Сразу заметили, что всю территорию оцепивал высоченный, метра четыре, двойной забор из колючей проволоки с бетонными столбами в виде буквы «Г», наклонёнными наружу, напоминавшими многочисленные виселицы, на некоторых уже были большие лампы. Чаше, чем в прежнем лагере, стояли вышки, откуда торчали стволы пулемётов, прожекторы и каски любопытных часовых. Как же, снова огромная партия бесплатных рабов?! Значит, правы были Гитлер и Геббельс, говоря о божественном предназначении немцев быть господами, а славянам – презренными рабами?! В центре большая площадь, мощёная булыжником, но каких-либо строений, кроме здания администрации и охраны, не наблюдалось. Сравнительно ровное поле, заросшее луговой травой, десяток берёз – и всё! Значит, придётся опять ночевать или жить прямо на земле?! Тут же следом за нами железной дорогой прибыла ещё одна огромная партия пленных. Их вид был намного хуже нашего – много тощих, как скелеты, с гниющими провалами на месте ран, страдающих и от боли, и от понимания приближающейся смерти! Зачем же их везли так далеко сюда? Могли бы расстрелять и там. Где наше

армейское руководство, где наши самые мудрые и умные вожди? Где самый Главный? Он первый долдонил, что мы непобедимы, что наши танки – сильнее, самолёты – быстрее, а партия – лучше и мудрее всех «рулит»?! Рядом, как узнали позже, небольшая железнодорожная станция Якобшталь. В двух километрах – город Риза. А ещё дальше – сам Дрезден.



*Входная арка в мемориал Цайтгайн. Лагеря как такового здесь не было – было самое большое место погребения советских военнопленных, не доживших до Победы, умерших от болезней, побоев, расстрелянных лагерными садистами. Сами лагеря с жилыми бараками располагались в 3–5 километрах от этого «центра». От каждого из них сюда, к этой, сейчас красивой и ровненькой, полянке с берёзками и клёнами тянулись ржавые рельсы узкоколейки, по которой военнопленные толкали к заранее выкопанному рвам своих недвижимых земляков. Кое-то даже открывал глаза, оживая перед последним часом. Обычно охранники-капо из числа своих добивали его ударом кулака по голове, хватаясь друг перед другом силой удара...*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Personalkarte I: Personelle Angaben

Bestätigung der Gefangenenskarte

Nr. 10580

Kriegsgefangenen-Stammlager: Stalag 304

Lager: Stalag 304.

Name: Kowaljew Kowalew  
 Vorname: Wasilij  
 Geburtstag und Ort: 1.11.17 Moskau  
 Religion: röm.-kath.  
 Vorname des Vaters: Kusma  
 Familienname der Mutter: Pseudonimoja

Staatsangehörigkeit: Russ  
 Dienstgrad: 9991 Motor. Abt.  
 Truppenteil: Sprach-Lehrer  
 Zivilberuf: Berufs-Gr.: 779  
 Matrikel Nr. (Stammrolle des Heimstaates):  
 Befangenname (Ort und Datum): 7.7.41: Wlss.  
 Ob gesund, krank, verwundet eingeliefert: gesund

Die Kriegsgefangenen

Lichtbild



Nähere Personalbeschreibung IV

Größe	Haarfarbe	Besondere Kennzeichen:
173	blau	

Fingerabdruck des rechten Zehefingers	Name und Anschrift der zu denachrichtigenden Person in der Heimat des Kriegsgefangenen
	Witepskaya Oblast in Bismolen Tolstolinskij raion ra Hougrew Bwladchowskij sel'rowetg. Kowalew d. Krowilowo 4900: Jurmalaba Ustiniy Wandes. Kowalew.

1081.



14. Nov. 1944: voll. arbeitsmündig. Oberleutnant Kadern...

Bestätigung der Gefangenenskarte Nr. Lager: Name:

Всех опросили, заставили расписаться, подсчитали, заклеили. Каждому лагернику ставили на куртке спереди и сзади штамп специальными синими чернилами особой стойкости – букву «R» – значит русский (или Россия). Позже был уже другой знак – «ZU» – Зоветунион (Советский Союз). На шею каждому повесили личную нержавеющую четырёхугольную медную жестянку с названием лагеря и пятизначным номером. Жестянка была разделена крохотными дырочками на две равных половинки, на каждой из которых повторялись эти цифры. Свой номер я запомнил на всю жизнь – 10580! Сначала мы шутили, думая, что придурковатым немцам не жалко тратить лишний металл, мол, можно было обойтись и одной надписью?! Э, нет! Это же немцы, а не мы. Когда кто-то отдавал концы и уходил туда, откуда нет возврата, аккуратные боши\* оставляли на шее мертвеца верхнюю половинку, а вторую бросали в специальный ящик для последующего подсчёта и регулировки объёма питания. После этой процедуры пришло в голову некрасовское\*: «Клеймёный, но не раб!»

Начался новый, самый длинный, самый тревожный отрезок моего плена с периодически возникавшими и дурными, и хорошими мыслями... В этом лагере прошли остаток 1941-го, 1942-й, 1943-й и больше половины 1944 года. В 1941-м до декабря месяца спали в прямом смысле на земле. В это же время началось не очень спешное возведение бараков силами пленных. Самые инициативные и находчивые, спасаясь от ночных холодов и дождей, рыли норы или землянки. Тайком от охраны ломали сучья берёз или находили сухие ветки и покрывали ими эти убежища, хоть чуть-чуть защищаясь от непогоды. Через пару дней нас начали очень активно использовать на разных простых, но самых тяжёлых работах. Каждое утро возле ворот столпотворение. Каждому хочется за проволоку – хоть какая-то, но свобода! Немцы кричат, нервничают, бьют прикладами и палками, пытаются навести свой порядок в этом обезличенном стаде. Группы разные – от 10 до 20 человек, когда и больше. Много раз меня направляли на лесоразработки – снимали кору, обрубали сучья, отпиливали тонкие верхушки, складировали в штабеля. Всё вручную. Тут же подкармливались щавелем, зая-

чьей капустой, кончиками молодых веток. Немецкие леса не такие, как наши, – чисто, никаких завалов, гнилья, всё подобрано, зачищено. Большинство деревьев помечены краской специальными знаками – по возрасту, состоянию, времени предполагаемой вырубке. Потом вместе с другими работал у бауэра, немецкого крестьянина. Молотьба, копка картошки, свёклы, моркови, сбор капусты, яблочек, прополка, стогование сена, соломы, вывоз навоза, пила и колка дров, очистка туалетов, ремонт и разные работы на хоздворе. Главное, только бы не сидели без дела эти русские «свиньи». Это оскорбительное прозвище слышал почти на каждом шагу. Редко, но удавалось кое-что спрятать в гимнастёрку. Контроль был плотным, и за это крепко избивали. Лучше было не воровать, ибо грозил даже расстрел!

Со временем я пронюхал об одной очень привлекательной команде – «Магазинкомандо» (работа на складах). Каждое утро от нас забирали 20 человек. С переводчиком. Но попасть туда было тяжело. Каждый бы хотел. Да и не я один, как выяснилось, владел немецким. Понимали и другие, особенно евреи, выходцы из СССР. Их язык идиш, на котором они говорили у нас, основывался на немецком, лишь грамматика и произношение, а также отдельные слова были непохожи.

В эту команду попасть было нелегко. Скажем, я со своим другом становился в числе первых. Но другие, пришедшие позже, нагло устраивались впереди. Смотришь, а там уже человек двадцать – и до тебя очередь не доходит. А я там уже побывал и понял «выгодные» стороны работы на продовольственных складах. Ещё раз привлечь на свою сторону госпожу Удачу было заманчиво! Вдруг меня заметил один пленный. Мощный, мускулистый. Подошёл: «Ты, я слышал, знаешь немецкий, а у меня есть сила! Я Андрей Соколов, чемпион Алма-Аты\* по боксу, участник всесоюзных соревнований. Будем стоять вместе – никто уже вперёд не пройдёт. Ну а на складах ты поможешь – что и как, главное объяснишь, чтобы не попасться». Так и случилось – впереди уже стать никто не мог. Пару раз он показал силу своего удара – и порядок в очереди, во всяком случае до нас, был восстановлен. Что это, борьба за существование? Да,

борьба. Просто стать в конец и ждать смерти? Это не для тех, у кого есть ум, воля и способность сопротивляться.

Отсчитали двадцать. Конвоиры тут как тут – и нас уже куда-то ведут. Расстояние небольшое – метров 800 от лагеря. Склады были огромные. И для лагеря военнопленных, и для нужд местного региона. Там было очень много награбленного в захваченных Германией странах. Складились там и запасы еды для нас – картошка, брюква, свёкла, в основном кормовая, белая, хлеб, повидло, позже патока\* и какой-то странный беловато-серый сыр, похожий и по вкусу, и по качеству на резину. Тут же были и тюки соломы для производства подошв и утеплителей для обуви немецких солдат, сильно мёрзнувших в России. Начали перебирать гнилую картошку. Некоторые ухитрились её даже пробовать. Конвоир смотрел и морщился. Его чуть не тошнило. Но мы с его благоволения немного съели сладковатой брюквы. Ею немцы кормили и нас, и свиней – и дешёво, и ничего другого не нужно. Кулинарный рецепт приготовления был такой – её кое-как мыли, резали на две половины и бросали в котёл с кипящей водой. Чуть соли – и еда готова! Без хлеба. Редко, но добавляли сердцевину капусты, хвосты и прикорневое основание моркови, подгнивший лук. На второе – картошка в мундирах. Кому какая попадёт – чаще подмороженная, чуть с запахом, но вполне съедобная. Походы на склад нами принимались как дарование свыше.

Между тем с наступлением настоящих холодов в ноябре 1941-го начали вырастать один за другим жилые бараки. Первый был закончен к началу декабря. Сборно-щитовой. Щиты свинчивались вместе длинными болтами, скреплявшими стальные уголки. Это было интересно для нас, никогда невидевших таких новшеств. Барак имел крышу, стены и широкие двери-ворота. Потолка не было. Они были двух типов – 160 и 200 кв.м. Сначала, в декабре–марте 1941–1942-го пленные спали прямо на деревянном полу.

В барак, предназначенный для 100 человек, набивалось до 200, но это было лучше, чем рыть норы, землянки или спать на ледяной земле. Из-за тесноты, недоедания, антисанитарии валом пошли болезни, и люди стали умирать, как мухи. Были дни,

когда на кладбище ежедневно отвозили от 70 до 100 человек! Немцы спохватились – исчезает бесплатная рабочая сила! Вот тогда и приказали срочно ускорить строительство барачных с двух- и трёхэтажными нарами. Тремя рядами, параллельно торцам ставили нары шириной 60 см, длиной 185 см, спаренные. Таким образом, в одном «спальном» отделении могло поместиться 18 человек. Таких спаренных отделений в нашем бараке было 20 – значит, заключённых 300 или чуть больше. Была и одна особенность: если заключённый был малого роста и худой, то их заставляли ложиться по двое, а в особо холодные зимние дни, когда тепла единственной дровяной печки-буржуйки не хватало, спали «солдатиком». Таким образом число бедолаг в каждом бараке увеличивалось.



*К концу 1942 года силами советских военнопленных (на фото) было построено 166 больших щитовых барачных и 26 каменных – для администрации.*

*„Сегодня дежурил на похоронах русских— 500 в одном ряду! Более 12000 лежит уже в общей длинной могиле-рву! Я не могу и не хочу забыть, что видел: как трупы сбрасывают с вагонеток, с каким треском они падают на промёрзшую землю, как открытые глаза беспомощных и невинных жертв как бы следят за этим осквернением... Какой конец человека, людей, наделённых такой же душой, что и я...“ (Из воспоминаний лейтенанта Отто К., 1977 г., документы мемориала «Цайтгайн»).*

Теснота, скученность – самая подходящая обстановка для заразных болезней. Соломенный матрац, рваное, замызганное одеяло или чья-то шинель. Подушки нет. Вместо неё – своя рука. Потом, к весне, нам выдали ещё по одной шинели, тоже с дырками и пятнами. Без ремней и пуговиц. Она служила и подушкой, и дополнительным покрытием. Да, забыл сказать, что весь деревянный щитовой барак высился на полуметровых сваях, чтобы исключить возможность подкопа и рытья тунеля под колючую двойную ограду. Часовые регулярно проверяли это пространство. В лагере таких барачков было 166, пару десятков – из полого кирпича. Последние были очень холодными в зимнее время. Помещение освещалось первый год вонючими карбидными лампами, но потом немцы поняли, что при таком слабом освещении точный подсчёт живых и мёртвых затруднён. С зимы 1943–1944-го они были заменены на электрические.

Однажды четверо конвоиров вели нас после работы в барачок. Мы заметили, что за нашей группой пошёл какой-то человек интеллигентного вида в пиджаке, начищенных туфлях, в очках и с перчатками на руках. Выглядел почти как мои бывшие преподаватели в педтехникуме. Он постоянно что-то спрашивал у конвоиров и помечал в своём блокноте. Прошли через ворота. Нас пересчитали. Старший конвоир сдал наши пропуска и приказал стоять на месте. Потом подал команду построиться всех. Народ повалил из вонючего помещения на воздух. Шумно строился, потом затих.



*Настоящий барак того времени, сохранённый для мемориала Цайтгайн. Он привезён из Якобитала (филиала лагеря), где выживал мой отец и, может быть, хранит в своих стенах его слова, молитвы и горькие мысли...*

Подошёл комендант лагеря, представил нам незнакомца: „Это наш новый начальник по кадрам, т.е. по пленным, господин Герман Зидлер. Он выберет из вас работающих, аккуратных людей и внесёт фамилии в состав постоянной рабочей команды. Большинство из вас лентяи и плохие работники. Вы ничего не умеете делать аккуратно. Больше жрёте, чем работаете!“ На этом он закончил свою пламенную речь и удалился. Человек в очках и пиджаке начал опрашивать всех, кто что может делать, кем был до войны (странно, у немцев есть эта выделяющая их из всех национальностей особенность – пересчитывать и переписывать десятки раз то, что уже однажды было зафиксировано). Появ

через минут десять, что опрос может продлиться до ночи, он приказал любому из нас сделать списки с отражением того, что требовалось. Я понял смысл сказанного и, попросив бумагу и карандаш, начал писать. До меня дошло, что таким образом я могу предложить своих знакомых, друзей в одну команду, и нам вместе будет намного легче переносить тяготы. Вот список, который врезался мне в память навечно. Почему? Не могу ответить. Наверно, эти люди были не просто соллагерники, а как бы опора, фундамент, надежда, наш маленький круг соотечественников, который и помог выжить, который поддерживал в самые тяжкие моменты, за который каждый из нас мог как бы спрятаться и переждать страх. В этом микроколлективе продолжал жить воздух нашей далёкой Родины!

Бессонов (Тула), Антипов (Москва), Ваня малый, Ваня большой, Иван Карагичев, Саша Дубатовка, Михаил Бабин (Мозырь), Михаил Распопов (Украина), Андрей Семёнов (Алма-Ата), Яков Родный(Витебск), Авенир Беляев (Россия), Иван Соломахин (Харьков), Александр Дзюба (Киев), Николай Афанасьев – сын архиерея (Тула), Борис Лаврищев (Пенза), Сергей Бровкин (Вязьма), Глеб Чернов (Подмосковье), Антон Лазовский (Гомель), Сиднев (Россия), Шолев (Урал), скульптор Азанович (Витебск), Покровский (главный редактор журнала «Альпинист»), Богословский, Соловьёв, Антипов (Москва), Селиханов Семён (Оршанский район, земляк). Хотел было вписать и нашего главного переводчика Бориса (тоже из Орши), но его уже не было. Перед тем как немцы начали ликвидировать всех евреев, его сначала забрали в какой-то отдельный барак, потом в другой лагерь... и всё – следы пропали. Был хорошим парнем. Рассказывал, что он сын оршанского балагола (своего рода услуги современного такси, только на лошади с одноосной телегой). Тихий, скромный, он догадывался о своей горькой участи и постоянно вспоминал дом, семью. Интересно, что никогда не ходил пешком на работу или обратно – ехал на тачке или вагонетке, которую толкали пленные. Наверно считал, что знание немецкого даёт ему такие привилегии перед всеми. Выглядело это смешно и грустно – многие уже слышали, что участь евреев предопределена и, может, поэтому прощали ему эти ша-

лости. Пришла очередь взять на себя роль главного, и уже единственного, переводчика. Мне иногда помогал в переводах Сергей Бровкин, тоже еврей, но не ярко выраженный, даже блондин. Раньше он работал преподавателем физики в школе в Вязьме, потом в каком-то московском институте. Грамотный и всесторонне образованный человек. Я многое от него узнал и запомнил, особенно по части бытового электричества, что пригодилось в дальнейшей жизни. Сергей, боясь быть раскрытым (он слегка картавил), никогда не высовывался вперёд. Подскажет мне что-то из-за спины и молчит. Если мне не изменяет память, он, по рассказам других пленных, повторивших мою дорогу, выжил, но как и где, не знаю.



*На территории бывшего общего кладбища сейчас стоят щиты из металла с тысячами фамилий погибших. Не все ещё найдены и идентифицированы – часть документов пропала, часть осела в архивах МГБ. Выжившие до сих пор никак не отмечены...*

Запомнил я за время совместных работ и некоторых немцев: Пауля Вернера, Отто Шмидта, Эриха Решке, Франца Коха (органист из Лейпцига, погиб под Смоленском – партизаны подорвали эшелон), Функе (унтер-офицер, замначальника склада, отъявленная сволочь), Лени Крамар (немка из Риги, взятая после тотальной мобилизации в качестве старшей барака белья и постельных принадлежностей – это складировалось и сортировалось для немецкой армии, не для нас!), ещё был гражданский капельмейстер (руководил похоронным оркестром в местном округе), потом его призвали в армию, где он вскорости и пропал. Ходил с вечно мокрым носом, какой-то плюгавый, сморщенный. Выглядел лет на 60, хотя ему было чуть за 30. Он нас никогда не бил, не обзывал грязными словами, часто давал странные советы, типа „никогда не ешьте заплесневелый хлеб“...

Ещё в этом лагере был немец по кличке «Лёко-Лёко» (Можно перевести как «давай-давай» или «быстрее-быстрее!»). Он всегда ходил с толстой палкой и избивал ею каждого встречного. Бил изо всех сил, наотмашь, и старался попасть по той части тела, которая была особо чувствительна. Это был яркий представитель немецких «отбросов» (такие там тоже есть), вор-домушник, промышлявший, кроме основного занятия, ещё и торговлей тем, что воровал. Торговал также, чем особо гордился, порнографическими фотографиями. Первое, что он выучил на русском – наш беспредельный и цветистый мат! Но меня он не бил. Обходился довольно мирно – пнёт иногда под одно место сапогом – и всё. Подзатыльник мог дать. Может потому, что я не воровал во время работы на складе. Однажды он провёл со мной эксперимент – приказал мне одному разбирать подгнившую морковь, но в этом помещении возле стены лежали мешки с воблой. Я догадался о его хитростях. Заметил, что он не вышел из здания на улицу, а прошёл куда-то в дальний угол за перегородку. Оттуда, как я подумал, он мог наблюдать за мной в щель между досок. Я работал и не обращал на рыбу никакого внимания, даже не съел, как обычно, пару морковок, за что нас особо не бранили. Часа через полтора он привёл мне в помощь двух наших пленных – мол, я один обрабатываю малый объём, а троём лучше. Это был его новый ход. Несмотря на все мои

намёки, что за нами могут следить и за это накажут, моим помощничкам было плевать, и они кинулись к мешкам. Узнать, что там. Обнаружив рыбу, напихали её за гимнастёрки и уселись за работу с морковкой. Тут же налетел «Лёко-Лёко». Красный от злости, он изо всех сил молотил по головам, спинам, ногам этих несчастных голодных людей... Бил до тех пор, пока хватало сил, даже лежачих... Бросился и на меня: «И ты такой же, не бережёшь немецкое добро! Свиньи вы русские!» Но не ударил.

Наблюдал я как-то и картину высадки очередной партии советских пленных, прибывших на ж/д станцию Якобшталь в закрытых товарных вагонах. Поезд остановился. По громкой команде его окружила охрана с собаками. Раздвижные двери открывали они же. Наверно у тех, кто был внутри, сил на это не хватало. Вот эти ворота разъехались в стороны, и свежий морозный воздух начал оживлять смятых в кучу людей. В проёме появились первые испуганные лица. Собаки залаяли громче. Ругань, крики охраны, первые выстрелы из автоматов поднимали измученные тела и заставляли их выползать из вагонов. Кое-кто падал на бетон, кто-то сползал сам, было много там и тех, кого уже просто сбрасывали как недоехавший человеческий материал. На них иногда набрасывались овчарки, не понимавшие, почему эти скоты не хотят стоять по стойке «смирно». Умерших аккуратно, ноги к голове, складировали на площади. Набралось немало. Потом я в числе других грузил их в вагонетки. Пробовал подсчитать, но после цифры 647 сбился... Их тут же начали сжигать в специальных печах на кладбище станции, в 300 метрах от колеи. Боялись антисанитарии и эпидемий! Кто не мог самостоятельно двигаться, был тут же выведен на обочину и расстрелян на глазах у бывших соплеменников. Это заставило всех приободриться, собрать последние силы и выстроиться в колонны. Вновь крики, команды, и шатающиеся тени зашаркали в лагерь...

А вот подошла очередь рассказать вам, как случилось то, после чего не было бы ни меня, ни моего второго сына, ни семьи – ничего! Наверное вы, дорогие читатели, хоть раз встречались в жизни с людьми особого поведения. Они вроде ничем не отличаются от остальных, да и от вас, но есть одно не сразу заметное

качество, скорее, тоненькая черта характера – гаденькая, змеиная, дурно пахнущая, но вызывающая у своего владельца чувство полноценности и даже превосходства. Как назвать такую черту, не знаю! Подумайте сами.

Работали мы однажды на ж/д станции Якобшталь – выгружали бочки с повидлом: большая часть для продажи населению и чуть испорченное, подкисшее – военнопленным. Бочки небольшие, килограмм по пятьдесят, но наши истощённые тела с трудом справлялись с такой работой. Обычно такую бочку тащили вдвоём. Сначала за выступающие края подносят к краю открытого вагона как можно ближе к дощатым сходням. Кладут на пол и ждут, когда двое других носильщика подойдут и будут руками страховать скатывающуюся под своей тяжестью бочку. Работа идёт не шатко и не валко. Один из тех, кто работал на перроне, уроженец Винницы, чернобровый и развесёлый мужичок, решил поиздеваться над своим напарником. Сначала переругивался с ним, командовал, как лучше держать бочку, а потом вдруг, когда они медленно отступали назад, удерживая груз, подставил тому ногу. Тот упал на землю, бочка ринулась вниз, перекатилась, подпрыгнув, через бедалагу и грохнулась углом. Крышка выпала, и из неё тут же потекло жидковатое, тёмно-коричневого цвета повидло... Я в паре с военнопленным работал внутри вагона, подтаскивая бочки к сходням. Немцы мгновенно рассвирепели. Они и до этого едва сдерживались, чтобы не захватить прикладом нашему говоруну. Нас четверых, работавших в вагоне, тоже тут же вышвырнули наружу и вместе с теми двумя поставили к забору. Я попытался что-то пролепетать по-немецки, но слова застряли, да и никто никого не слушал – лязгнули затворы автоматов, в голове мелькнула последняя мысль: „Вот как? А я и не знал раньше, как умирают. А они там? Молитву бы...“. Треск очереди – все упали на землю. Из шестерых было убито наповал трое, остальным разрешили жить. Это сейчас я могу писать эти строки, а тогда не смог идти. Ноги подкашивались, мелкая дрожь передавалась по всему телу, дрожали даже пальцы. Кто-то из немцев увидел мою реакцию и приказал уцелевшим идти в барак. Когда меня волокли на плечах, оглянулся – глаза у тех были открыты, в них запечатлелся испуг, из дырок в груди и

голове упругой струйкой бежала тёмная кровь – сначала на перрон, потом, расширившись в лужу, медленно капала на рельсы.

Дня два не мог прийти в себя. Поднялась температура, озноб бил всю ночь. Сон не приходил. Я вновь и вновь видел эти остекленевшие за мгновение глаза и этот пульсирующий ручеёк... На левом виске остался и «подарок» – глубокий шрам. Потом всю жизнь я его прикрывал причёской.

Судьба? Удача? Счастливый случай? Ещё очень долго, иногда даже спустя годы после возвращения домой, перед сном приходили эти жуткие кадры человеческой кончины!

Один из стрелявших после объяснил мне разницу между словами «лянгзам» и «шнель»: первое означало «медленнее», второе – «быстро». Он даже сначала прошёлся шагом, произнося первое слово, а потом пробежался, объясняя таким образом разницу между ними. Может в этом, как теперь кажется, виноват был и я. Иногда немцы кричали нам в глубину вагона: „Шнель, шнеллер!“, а потом почти сразу – „лянгзам, лянгзам!“. Мог и перепутать. Но, увы, прошло время, и никого не воскресить, даже шутника, решившего исподтишка наказать такого же, как и сам, несчастного заключённого... Прости, Господи, если что...

Кстати, другие пленные, работавшие неподалёку, не обращая никакого внимания ни на часовых, ни на мёртвых, бросились подбирать протёкшее повидло, слизывая его даже с земли. Немцы равнодушно взирали на это. Бочку собрали, едоков разогнали. Они, оказывается, очень хотели есть!

Конечно, наша команда не была стабильной. Люди болели, кто-то просил разрешения поухаживать за тяжело больным или умирающим. Немцы кривили губы, но чаще разрешали, ибо нужды в рабочей силе у них никогда не было. Народ валил валом. Достраивали и достраивали новые бараки...

Мы иногда пользовались доверием немцев – один изображал внезапно заболевшего, а второй просился занести или завести его в барак. Тактику мы меняли, чтобы нас не заподозрили в уклонении от работ. То кто-то упал на пол, то часто просится в туалет (действовало безотказно: немцы как огня боялись дизентерии!), начинает с хрипом дышать... Никакого медицинского обслуживания, в отличие от пленных из других евро-

пейских стран, нам не полагалось. Каждый лечился как мог. Происходила в лагере и фильтрация или, как сейчас говорят в московских верхах, «ротация». Вызвали кого-то в комендатуру, а он и пропал там?! Такие исчезновения после допросов представителями спецслужб становились чаще и чаще. Причин их никто не мог объяснить. Понял я кое-что в этом, но позже.

Не нужно забывать, что в лагере было немало тайных информаторов, агентуры! Мои первичные очень слабые знания по этой всегда притягивающей и таинственной теме очень помогли ориентироваться в лагерной жизни, да и на свободе, особенно в послевоенное время. Они спасли жизнь и раскрыли рамки моих знаний о самых тайных и чёрных страницах нашего полностью «свободного» социалистического общества!

Немец, зондерфюрер (особый начальник), неплохо разговаривавший по-русски, день за днём шнырял среди пленных, лазил по всем баракам, складам, часто даже сам пристраивался к группам людей, вмешивался в разговор, что-то спрашивал, уточнял, даже рассказывал анекдоты. Наверное, его персональные выводы о ком-то конкретном имели решающую, чаще роковую роль. И, конечно, доносы его осведомителей. Среди наших было достаточно любителей-холуёв\*, и их сначала было тяжело распознать, но потом, проанализировав обстановку, обстоятельства, связанные с этими типами, мы с моим другом Андреем начали делать зарубки на вертикальных стойках наших 4-этажных нар. Я был на втором, а он – на первом этаже. Зарубок было по числу дней в месяце. Выглядело это как самодельный календарь и не вызывало ни у кого никаких подозрений. Кстати, зарубки делали не только мы. Каждая седьмая была чуть крупнее и обозначала конец недели. Если, по нашим наблюдениям, кто-то походил на агента-доносчика, мы начинали более внимательно отслеживать его передвижения по территории. Понятно, далеко не всегда у нас это получалось – то не было времени, то мы находились в другом месте. Но уже через месяц начали замечать, что наш «кандидат» в немецкие информаторы довольно систематически, два-три раза в неделю, вызывается в комендатуру (знаменитая немецкая пунктуальность сыграла для нас положительную роль) и выходит каждый раз приблизительно через одинаковое время

– 30–40 минут?! Более того, заметили, что когда все получали наконец возможность в воскресный день отдохнуть пару часов в бараке, такие люди пропадали на час и возвращались обратно, часто жуя какую-то вкуснятину. Это было слышно по запаху! Потом, на следующий день или сразу они подсаживались, скажем, к тому, о ком мы знали, что он вроде то ли политрабтник, то ли настроен просоветски... Или вынашивает план побега! Тогда напротив зарубки, означавшей день его похода в комендатуру, мы ставили маленькую точку гвоздём или осколком стекла. Когда такая система срабатывала на протяжении двух-трёх месяцев, то тут становилось всё ясно – перед нами сто-процентный фашистский информатор! Эти любители «острых ощущений» частенько сами грубо нарушали конспирацию – почти на выходе из комендатуры доедали на ходу то кусок колбасы (невиданное для нас чудо!), то чем-то намазанную булку, то кусок сыра. Наверное, таким образом немцы поддерживали своих доносчиков, чтобы они всегда были начеку! Эти моральные уроды сами ругали Гитлера и фашистов (им это было дозволено, но в определённых рамках!) только для того, чтобы вызвать ответную реакцию своих собеседников и потом сдать их за понюшку табаку\* тайным немецким службам. Эти неожиданные знания помогли уберечься от разных провокаций, предложений и способов выведать хоть какую компру на нас.

Знаю на личном примере, что такие же нелюди и в наше сталинско-бериевское время тоже пользовались этой классической методикой всех спецслужб – сами громко ругали и проклинали Сталина и советскую власть, выявляя таким простым, но надёжным образом всяческих «врагов» в любых сферах и закоулках уже послевоенной жизни!

Выгружаем на той же станции кирпичи. Таскаем по одной, максимум по две кирпичины, сил явно не хватает. В вагоне немец и я. Немец считает количество, я ношу к двери и подаю стоящему внизу, а тот – второму и в вагонетку. Немец дымит сигаретой и чиркает в блокноте: «Цвай унд цванциг, драй унд цванциг...». Вдруг даёт мне большой окурочек сигареты – на, мол, отведай немецкого табачку! Я беру и бросаю окурочек из вагона вниз. Искренне подумал, что он дал его, чтобы выбросить?! Я-то

не курю, и у меня нет зависимости от курева, поэтому о ценности окурка и мыслей никаких не было! Что тут было! Как он разошёлся – бегал, плевал, кричал, несколько раз ударил меня палкой: „Русская свинья! Ему дают сигарету, а он специально выбрасывает подарок? Неблагодарный!“ Я еле смог его успокоить, объяснив, что не понял этого благородного жеста, да и окурков-то не пропал. На него тут же накинудись мои товарищи по несчастью и прямо высосали его до последнего миллиметра. Мало-помалу тот отошёл и в следующий раз сунул мне в качестве подарка два печенья. Я удивился и поблагодарил. Спросил, почему такое уважение? Услышал в ответ: «Ты не думай, что мы все сволочи. Это война нас сделала такими. Я не могу с тобой обходиться по-человечески – самого арестуют. А это тебе к «Вайхнахтэну!» (Рождеству), да ты и выделяешься среди остальных русских. Все грязные, неаккуратные, небритые..., а ты ещё по нашему умеешь...».

Опять странным лейтмотивом\* прозвучали эти слова. Я их часто слышал в свой адрес и в адрес других, чем-то похожих на меня... Значит, не всё потеряно – есть надежда выжить, если ко всему подходить избирательно и продуманно – пытаться даже в этих скотских условиях скользить между Сциллой и Харибдой\*!

А условия и обстоятельства часто были такими: в лагере Цайтгайн немцы однажды сделали облаву на женский блок. Там жили отдельно от всех пленные советские женщины, в большинстве своём медики – врачи, медсёстры, санитарки, связистки, почтальоны... Здоровые молодые мужики, в основном полицаи и надсмотрщики, капо\* (все из числа военнопленных, но пользовавшиеся особым доверием немцев из-за своей ненависти к России, Советам, да и к таким же узникам), иногда ночами пробирались через ограду или под неё (сами заранее устраивали тайные лазы) и пытались, кто силой, кто за подношения, установить интимные контакты с бедолагами женского пола. В ночь облавы немцы выловили там восемь полицаев, даже нашего повара, и назначили всем без исключения чисто немецкое по духу наказание: раздели догола и уложили на груду гравия посередине нашей площади, но как? Головами вниз, а ногами вверх – на эту большую кучу острых камней! Руки

заломали за головы и связали. Ноги связали тоже. Получилась зловещая ромашка! Странно было, что, несмотря на доверие к полицаям и капо со стороны немцев, их никто не жалел, даже наоборот, если они совершали какое-то нарушение?! Тем более не жалели их мы! Некоторые тут же замёрзли, ибо на дворе зима, другие лежали несколько суток, умирая по очереди. Двое часовых ходили по этому дьявольскому кругу, не давая ни встать, ни отползти. Двое суток мы слышали рёв обречённых любителей тайных услад, стоны и проклятия в адрес всех, мольбу о помиловании... На третий день всё затихло, мы перетаскали трупы в крематорий... и тут же из высокой трубы помчались в небо душонки этих подонков вперемежку с густым, чёрным, сладковатым дымком. Тяжкое лагерное зрелище!

Некоторые могут подумать: откуда в лагере могли появиться деньги, немецкие марки? За содействие побегу немцам платили 100 марок, давали и сапоги, ботинки, одежду, наручные часы! Людская масса неоднородная. Некоторые смогли быстро приспособиться к новым, пусть и плохим условиям. Рабочие команды постоянно выходили на работы или к бауэрам, в лес, в пра-чечную, на копку канав, чистку обочин, мусороотстойников. Там пленные контактировали с местным гражданским населением. Несмотря на фашистскую пропаганду о том, что с приходом Гитлера всем зажилося хорошо, простые люди страдали. Всё шло на войну, а им оставались крохи на выживание, на семью, на скот. В Германии стало тяжело с одеждой, обувью, даже с продуктами. И, как ни странно, на этих длиннющих складах хранились огромные богатства, награбленные по всей Европе! Шинели, пальто, куртки, всякая мужская и женская одежда и обувь, постельное и нижнее бельё, чаще новенькое, одеяла, всякая мелочь – пуговицы, швейные иголки, ножницы, столовые приборы, горшки, тазики, кастрюли, мебель... Много было и разных инструментов – столярных, слесарных, для водопроводчиков, автомехаников... Были и разные станки. Так что, если приложить мозги, умение и, конечно, рискуя, то можно было вынести много чего за колючую проволоку. Продав, выручить кое-какие деньги. Конечно, больших сумм не было, но, как говорят, по рублю, по марке – и набегало несколько де-

сятков, а то и пару сотен. Так и собиралась сумма для желанного побега. Кое-кто из наиболее изобретательных умудрялся воровать даже питьевой спирт! Где они разнюхивали его – до сих пор не понимаю. Это особенное подношение предназначалось для всегда продажных полицаев, и не только из наших рядов. Городские полицаи не препятствовали и не задерживали тех, кто торговал по ночам в посёлке. Наши внутренние разрешали вора́м отсутствовать и даже выделяли им со своего стола кое-какую добавку. Не били. Внутренняя, лагерная полиция – это те же пленные, но с гораздо большим доверием немцев. Они носили красные повязки на левом рукаве, всегда имели с собой тяжёлые кожаные плётки и дубинки. Ими и били нещадно всех, кто попадался под руку или что-то делал не так. Притом учащали «упражнения» в виду своих хозяев. Многие из них отличались или садистскими наклонностями, или отклонениями гендерного\* характера. Доставалось и мне, но не так часто, так как мои обязанности нештатного переводчика были известны почти всем, и по этой причине меня чаще щадили.

Что могу рассказать как живой свидетель тех жутких условий в лагере? Почему некоторые шли в эту полицию или в агенты? Однозначного ответа нет и не будет! Такие чёткие ответы на всё штамповались больше у нас, когда победившие в революции начали пожирать и своих, и чужих! Среди нас было много людей, обиженных, оскорблённых, униженных советской властью, особенно среди украинцев, поляков, белорусов, татар. Были и бесшабашные головы, жившие одним днём – сегодня мне хорошо, и неважно как и за чей счёт, а что будет завтра – плевать! Ну и буду докладывать кому нужно, а мне за это – выпить нальют, еды получше, да и не так приставать будут, может, и жизнь сохраню? Были и слабые по характеру, безвольные, пассивные, подверженные внушению и обещаниям. У каждого полица́я был свой парикмахер, сапожник, спец по пошиву.

Человеческое общество – это абсолютно не то, о чём трубили по советскому радио или писали в газетах. Каждый человек – индивидум со своим характером, моралью, нервной системой, волей, опытом, воспитанием. Нет, не было и не будет двух одинаковых людей, или хотя бы близких, из которых можно вы-

ковать единую, одинаково думающую массу?! Даже сам Христос не смог всех образумить. Пришлось ему везде ходить и говорить, внушать веками то, что для нормального человека – само собой разумеющееся! Это также главная ошибка тех, кто задумал и совершил у нас революцию! Учили вроде всё, кроме самого маленького, как им казалось, винтика – человека с его вековыми национальными и религиозными традициями, особенностями быта, семейного уклада, даже психологии. Думалось, собьём всех в одно послушное вождям стадо, направим туда, куда прикажут – и наступит всеобщее благоденствие?! Отберём награбленное у богатых и раздадим поровну бедным! Съев всё розданное, обнаружили, что нужно работать, производить, да ещё как? Не только потом и кровью, перевыполнением встречных и всяких прочих планов, но прежде всего умом и доброй волей! Увы, далеко не все обладают этими качествами – наоборот, мало у кого они есть! Закусывать, болтать и в промежутках выпивать – это пожалуйста, а упорно учиться, потом вкалывать день и ночь, продираясь сквозь плотные ряды подобных – это уже совсем другая песня. Зависть сначала, а потом бунт лежат до поры в каждой серой и ленивой голове!

В нашей команде при складах появилась мысль – освободить имевшегося в наших рядах сапожника для ремонта и изготовления простейшей обуви. С ней была катастрофа – ходить было практически уже не в чем. Донашивали какие-то связанные проволокой, верёвками развалюхи, и каждый мечтал хоть о галошах или поношенной, но целой, без дырок, обуви, неважно какого предназначения. Думали так: он будет работать в бараке, прислуживать в первую очередь немцам и их помощникам, а заодно нам. Меня командировали на переговоры с унтер-офицером Функе. Я долго объяснял ему, чего мы хотим, подбирая правильные слова, и мне почему-то показалось, что русское слово «ремонтировать» – немецкого происхождения. Я его вставил в контекст\* разговора. Функе никак не реагировал. Я ему пять раз повторил – „ремонтирен“, а он как столб! Вдруг правильное слово вскочило в голову – „репарирен“! „Руссишэ Думкопф!“ (Дурная русская голова!) – таков был его ответ мне.

Но, разобравшись во всех деталях, разрешил. Мы обставили угол возле единственного окна – низкий столик, тумбочка и табуретка. И Шолев (такова была фамилия сапожника) через пару дней сшил такие женские туфли, что удивлялись даже немцы. Я бы никогда не сказал, что так можно делать голыми руками, без станков и специальных приспособлений. А на женские туфли у немцев был особый спрос, ну а нам всем – добавочные пайки. Кто хлеба принесёт, кто консерву, кто папиросы. В то время в Германии всё распределялось по карточкам, особенно на периферии, в малых городах и деревнях. Для жены унтер-офицера Шолев пошил чудесные туфли. Тот сначала не брал, боялся, что попадёт в зависимость от врага, но тогда приехала его половина и, долго не разговаривая, забрала свою обувь.

Был случай, когда я переводил немецкому генералу. Поставили меня в команду для работы на складе пиломатериалов. Там же и столярная мастерская. Наш пленный специалист-краснодеревщик изготовил деревянную шкатулку с шуточной картинкой и надписью: «Два дурака дерутся, а третий смотрит». На крышке шкатулки аккуратно выжжены слова по-украински и рисунок – двое боксирующих парней. Эту злополучную шкатулку офицеры показали приехавшему для инспекции складов генералу.

Мы укладываем доски, рейки, брусья. Группа немецких офицеров и генерал стоят неподалёку от ворот склада. Вдруг зовут меня.

– К генералу, и побыстрей!

Ноги мои подкосились, голос пропал, но иду. Останавливаюсь на почтительном расстоянии. Вежливо здороваюсь. В ответ ни слова.

– Ты можешь перевести, что здесь написано? – говорит он и протягивает мне небольшое деревянное изделие. К счастью, я эту шкатулку видел раньше и знал, что написано на её крышке.

– Могу! – отвечаю.

– Ну, давай! – генерал торопит, офицеры улыбаются.

Я, медленно выговаривая немецкие слова, перевожу: „Цвай Думмкопфе зих шляген унд дер Дритте кукт!“ (Zwei Dummköpfe sich schlagen und der Dritte guckt! – Два дурака дерутся, а третий смотрит!)

Стоящие офицеры ехидно улыбаются – многие из них знали эту шуточную надпись.

– Я не нахожу третьего? – говорит генерал. – А ты знаешь, где он спрятан?

– Знаю.

Опасаясь генеральского гнева, как можно мягче объясняю: „Это, господин генерал, старая украинская шутка. Два дурака дерутся, а третий смотрит...“

– Но третьего-то нет? – перебивает меня уже покрасневший генерал.

– Третий – это тот, кто смотрит. Я смотрю – я дурак, вы смотрите – вы ... И я замер. Физически чувствую, как задрожали ноги, тело обдало холодным потом, во рту пересохло... Перегнул, увлёкся! А что, если он не поймёт, и примет на свой счёт? Немецкий генерал – дурак?!

Но он понял и громко рассмеялся: „Я беру это себе!“

Часа через два меня зовут в канцелярию. Ну, думаю, – конец! Отшутился! Тот же генерал дал задание – сделать такую же шкатулку, но с надписью на немецком. Я побежал в мастерскую и спросил у Миши Распопова, сможет ли он выжечь немецкие слова. Написал ему печатными буквами текст – и через день шкатулка была готова, но кто её передал генералу, не знаю.

В лагере заключённых часто били. И немцы, и особенно полицаи из наших. Били просто так, из-за нарушений – не так стал, чуть опоздал, плохо работал, что-то возразил... Не буду кривить душой и врать, напишу правду – мне попадало мало. Почему? Я уже упоминал об этом, но именно из-за того, что я выжил, а не сдох там, у меня долгие годы после войны были сплошные неприятности, преследования и моральное давление со стороны партийных слуг и их тайных «церберов»! Во-первых, я быстро овладел немецким разговорным языком и мог беседовать практически на любую, даже абстрактную, тему. Меня за это ценили как одни, так и другие. Во-вторых – и это, пожалуй, самое главное, – я никогда, даже в самых тяжёлых обстоятельствах, не терял человеческий облик: шинель чистая, подогнана, лицо выбрито, все пуговицы на месте, обувь отремонтированная. Старался также держать себя в хорошей физической форме, да и

внешне вёл себя как офицер, хоть и пленный, – не горбился, стоял прямо, чётко отвечал на вопросы. Подчеркну: немцам, на моё удивление, такое поведение нравилось! Наверно, здесь сыграло роль и моё семейное воспитание. Никто не знал моей фамилии, но все называли меня «Лерэр» – учитель. И эта кличка затвердилась за мной на всё время. Даже на переключке немцы, да и капо, окликали меня именно так. Один русский, услышав, как зовёт меня немец, очень заинтересованно и с негативным чекистским душком спросил: «А откуда у тебя такая иностранная фамилия? А как ты тогда в советские офицеры смог затесаться?» Когда я этому настороженному идиоту разъяснил, он с обескураженным видом отошёл и больше ко мне не приставал – не смог разоблачить во мне врага и здесь?! Поэтому моя аккуратность во всём и везде, дисциплинированность, знание языка всё-таки вызывали уважение даже со стороны врага. Так я считаю сейчас.

Однажды мне всё же крепко попало. Нашу команду повели в немецкую солдатскую баню – очень уж большинство из нас воняло, да так, что рядом даже пройти нельзя было! Не говоря уже о том, чтобы посетить барак. Людям не хватало ни внутренней культуры, ни воли хоть как-то ухаживать за собой – большинство скользило по поверхности, принимая всё происходящее за неизбежность... Мы впервые вымылись, с мылом, горячей водой, вытерлись полотенцами... Красота, воспряли духом! Построили. Начали пересчитывать в тысячный раз, как и водится у настоящих ариев\*. Я стою справа в первом ряду. Как всегда, ровно, почти по стойке смирно. Так с нас требовали, и требовали очень жёстко. И я всегда выполнял это, не желая постоянно получать в зубы или по спине. Но мои собратья стояли кто как хотел – в расстёгнутых шинелях, куртках, у кого шапка на голове, у кого в руках, кривые, согбенные... Тут, мол, нечего вытягиваться перед врагом – своего рода внутренний бессловесный протест. Правда, частенько и получали за это, но... Подходит ко мне офицер в чёрной форме. Наверное, один из наших эсэсовцев. Что-то пробормотал, а потом как заедет по плечу шомполом! Кровь брызнула сквозь гимнастёрку. Жутко больно, но устоял! Терплю изо всех сил. Не жалуясь, не плачу. Он ещё раз ударил, но полегче.

Сзади кто-то прошептал: „А за что он тебя так? Ты ж и по-немецки знаешь?“ Офицер вывел меня со строя на два шага и говорит медленно и членораздельно, чтобы я всё понял: „Почему ты не такой, как все? Значит, ты или шпион, или чёрт знает кто!“. Он показал на моих товарищей. Я, как мог аккуратно, не перегибая в сторону своей «исключительности», пояснил, что я бывший учитель и к тому же привык ещё с детства к аккуратности и дисциплине. Так, мол, учили и дома, и в школе, и в педтехникуме. Кроме того (здесь я вставил свою беспроигрышную козырную карту!)– я слышал и читал, что немцы очень аккуратный, пунктуальный и культурный народ! Пронесло! Больше он меня никогда не трогал и не называл шпионом! Кстати, не знал этот немецкий щёголь, что шпиону не обязательно показывать всем свою аккуратность!

Многое было удивительно, часто непонятно, но то, что видел, о том и пишу! За полкотелка лишней баланды кто-то мыл полициям бельё, другой за кусочек эрзац-хлеба чистил сапоги, вытряхивал постель. Я такой услужливостью не страдал, да и, работая на складе, мог кое-что перехватить. На кухне полицаи были полными хозяевами. Они следили за очередью, избивали тех, кто пытался стать ближе к началу, подгоняли быстрее заканчивать обед. Кто пытался противиться или лез с ними на конфликт, того часто избивали до смерти. Немцы на это никак не реагировали. Виноватых же можно было найти на каждом шагу – у кого-то плохо заправлена постель, у кого-то грязные штаны, обувь и т.д. Кстати, о постелях. Места для спанья находились, как я говорил, на многоэтажных нарах. Они представляли собой дощатое основание, на котором лежал грязный до беспредела тюфяк, наполненный жиденьким слоем человеческого волоса! Он так вонял, что в тёплые дни невозможно было заснуть, и мы выпрашивали у немцев или у капо разрешение на просушку их под солнцем. Иногда за небольшие подношения они шли на уступки – последним тоже спать в бараке. Никаких подушек. Шинель или старое солдатское одеяло. Всё!

Был эпизод, когда я захотел сыграть роль Дон-Кихота\* и заступиться за обездоленных?! Был у нас парень из Тулы, Афанасьев. Сын тульского архиерея. Проживали в Туле по улице

Красноармейской 18. (Спасибо Боженьке, что дал мне такую память! Через 70 лет помню!) Парень весёлый, сообразительный, но задиристый. Он мог достать даже в этих условиях почти всё. Но у себя на Родине попал в тюрьму. Взяв где-то пистолет, он в драке застрелил человека и получил 10 лет. Как малолетку – не расстреляли, но скоро отправили на фронт, сначала в штрафбат, а потом он попал в плен. Уже в плену, в нашем лагере он дал в морду какому-то полицаяу. Его сначала забрали в тюрьму, а потом в концлагерь. И вот, когда к нам приехало какое-то немецкое начальство, я по своей наивности осмелился обратиться к старшему с прошением о возвращении моего друга сюда. Тот взял мою бумажку (а я тщательно и красивым почерком написал всё это по-немецки), прочитал и сказал: «Гут!» Но всё осталось по-прежнему. Он и не думал освобождать Афанасьева. А текст прошения помогла написать и отшлифовать заведующая отделом постельного и нижнего белья фройляйн Лени Крамер. Я-то хотел от всей моей широкой белорусской души хоть что-то сделать боевитому русскому собрату, но увы! У него был неплохой характер, но, будучи неисправимым правдоискателем, да ещё в советских условиях, он постоянно натывался на острые зубья и рамки дозволенной для простых людей жизни! Ему, наверное, как и мне в этой ситуации, хотелось обнять всех нормальных и преградить путь зарвавшимся! Он так мечтал после войны стать самостоятельным и взрослым человеком, учиться, получить профессию инженера! Но не сбылось! Его Рок, его Судьба остановили молодую жизнь здесь! Имя его не запомнил...

Я уже говорил, что среди военнопленных находились люди, вынашивавшие планы побега. Нужно сказать, что попыток сбежать из лагеря было много, но подавляющее большинство находили и возвращали через неделю, максимум две. Наши наивные славяне рассчитывали на поддержку людей своего уровня и почти по классовому принципу, т.е. рабочий рассчитывал найти здесь пролетариев, крестьянин – крестьянина. Мол, такие должны же помочь. Почти наши?! Э, не знали, что люди в Европе, особенно в Германии, не такие, как мы! Да, совершенно не такие! Здесь не принято запросто ходить друг к другу в гости, не принято расспрашивать о том, как живёшь, что нового в се-мье...

Это считалось и считается до сих пор отягощением других своими проблемами?! Общество жёстко разделено на уровни: врач – с врачами, работяга – с подобными себе, человек с бумажкой (дипломом, справкой об окончании каких-нибудь курсов мастеров...) ищет таких же дипломированных. Живут рядом, никогда не общаются, только «Гутен Морген» или «Гутен Абэнд». Всё регламентированно, просчитано, сухо. С беглецами обращались очень жестоко: сутками держали в ледяном карцере, пытали, выбивая имена предполагаемых сообщников, вербовали в качестве агентов, ставя в безвыходное положение – смерть или «стучишь» на нас! Многих, я сам видел это, вешали прилюдно, обязательно с пояснительной табличкой – «беглец» или «убил капо». Висели по неделе для устрашения. Было и такое – меня попросили достать карту Германии. И я однажды выклянчил школьную физическую карту у немца строителя. Под легендой, что хочу больше знать о Германии. Он не без страха дал её мне и каждый день спрашивал, у меня ли она? Потом я соврал, что потерял, и строитель больше не подпускал меня к себе. По этой карте пробовали продумывать хотя бы общее направление маршрута побега. Делали даже самодельные компасы – умельцы шлифовали жестянки, доставали магниты, делали стрелки. Этих подпольных умельцев мы должны были охранять во время работы. Отказаться, по понятным причинам, было нельзя.

Было и такое – вечером ко мне в барак приходят трое наших, но незнакомых. Выкладывают свой план побега. Я должен был ночью, около трёх часов, подойти к вышке, вызвать часового и предложить ему за взятку отвернуть прожектор от ворот, а за это время двое пролезут под проволокой, где не было высокого напряжения, а потом в кювет, через шоссе... и в лес. Ему хорошие часы, новые хромовые сапоги и 100 немецких марок.

Не выполнить эту просьбу – значит предать своих, советских людей, таких же военнопленных, как и сам. И эта акция также угрожала мне с неожиданной стороны – в случае моего отказа на меня могли донести эти же заговорщики, и тогда... Такие случаи были. Я согласился.

Целый вечер подбирал немецкие слова. Там у меня не будет времени исправлять их на ходу! Ночью же выходить из барачков категорически запрещалось! Для ночных потребностей в каждом помещении стояли бочки-параши, но дверь не замыкалась. Часа в два я на цыпочках вышел наружу, подошёл поближе к вышке и тут же был освещён прожектором. Услышал крик: „Хальт!“ Расстояние до вышки метров пять, и я сказал негромко, но рассчитывая, что часовой услышит: „Не стреляйте. Я несю донесение!“ Говоря, успел подойти к подножию. Там была тень, прятавшая меня от соседнего прожектора, да и из пулемёта меня уже нельзя было достать. Что только не придёт в голову в острой ситуации? „Что тебе надо?“ – как-то даже миролюбиво и тихим голосом спрашивает часовой. Я говорю ему о просьбе людей и делаю акцент на выгодной сделке. И вдруг неожиданно для меня: „А что я должен сделать?“ „Они просят только в три часа ночи сегодня отвернуть прожектор от ворот, а вас просили после этого завтра зайти в наш барак“.

Как только стемнело, две тени метнулись к воротам. Луч прожектора бил куда-то поверх ограды. Подняв проволоку, они проползли под воротами и исчезли в спасительной ночи. Соседний часовой, услышав шум, направил в эту сторону прожектор, но было поздно – смельчаки уже лежали в кювете по ту сторону дороги. Утром немец, зайдя в барак, получил обещанное и, довольный, ушёл. Он как никто знал, что на свободе беглецы пробудут недолго. Так и произошло – через неделю их, измороженных и избитых, повесили рядом с теми же воротами, через которые они рвались домой...

Был ещё один способ побега. Это порожние вагонетки узкоколейной дороги. Скажем так – привезли в лагерь пять вагонеток продуктов. Продукты всегда были в упаковке – картонных и фанерных коробках или завернуты в бумагу. Пленные их выгружали, а потом вагонетки вручную толкали за периметр. Часто садились в них, другие их толкали, и эта команда доезжала до ворот, а потом их сгоняли оттуда. Немцы привыкли к таким выходкам и особо не сердились. Но хитрость была именно в упаковках – желавшие испытать судьбу и рисковать жизнью ложились на дно, а сверху их прикрывали мя-

тыми коробками, кусками фанеры, досками, оставшимися после этой доставки или от прежних. Доски и листы фанеры ставили почти параллельно стенкам, но на небольшом расстоянии. Именно в этом пространстве и помещался, скрючившись, беглец, и до немцев никогда не доходило, что туда может втиснуться человек. Воистину, славянская находчивость выше всяких пох-вал! Потом к воротам подъезжал паровоз, цеплял все накопившиеся вагонетки – и вон! Кто-то из пленных подходил поближе к воротам, отвлекая часового от более тщательного осмотра. Его отгоняли, а состав отъезжал. Начало побега удачное, а потом?! Мы не радовались за наших товарищей. Знали, что конец будет ужасным! Здесь и земля не наша, и люди не наши, даже небо и солнце светили больше им! Свобода в центре Германии? Конечно, это была наибольшая глупость, и из таких ситуаций я постоянно делал для себя выводы: лучше набраться сил, воли, хитрости и попытаться выждать! Свобода-то придёт! Обязательно придёт! Это закон жизни! Лучше сначала думать, а потом делать, а не наоборот! До нас доходили слухи, правдивые или нет, не знаю, что те, кто шёл не на восток, а на юго-запад, в сторону Швейцарии, Франции, выживали. Подтверждений этому не было, но иногда по реакции немцев, по отдельным репликам догадывались, что некоторых беглецов ловили чуть ли не у самых Альп.

Чтобы особо не утомлять читателя и не создавать фальшивого представления, что из лагерей почти каждую неделю кто-то бежал, приведу только ещё один пример. Был и такой способ – вывести за территорию лишнего человека в составе какой-нибудь команды. Делалось это так: перед воротами подсчёт. Нужно было всё время шевелиться, меняться местами, создавая небольшой хаос и помехи для пересчёта. Под предлогом того, что кто-то не понял распределения, начинал переспрашивать, уточнять. Пока немец отвечал тупым русским, спрашивавший заслонял кандидата на побег собой, и тот присоединялся к уже проверенной группе. Конечно, только поодиночке! Немцев эти постоянные уточняющие вопросы очень раздражали, но они со своей, можно сказать, тоже тупой педантичностью объясняли и объясняли, куда, в какую команду, где и кем будет работать

имярек\*, не понимая, что весь этот спектакль – ширма для побега. По дороге на работы никто никогда не подсчитывал. Старший охранник получал от часового на вышке уточнённый список, и колонна шатко-валко топала дальше. Такое же количество, как в списке, должно было вернуться в лагерь. И возвращалось. А сбежавшему казалось, что он уже на свободе! Но это была внушённая иллюзия! Я сам читал листовки на дверях у бауэров или на двери кирхи\* с призывом вылавливать беглецов, в том числе и за вознаграждение. В одном месте написано было так: «Немец, запомни: русский пленный – это принадлежность твоего двора, а не твоей семьи! Будь бдительным! При побеге или попытке его совершить докладывай немедленно!»

Ближих же контактов между пленными и гражданским населением не было. Немцы сторонились нас и не вступали в разговор, даже отходили подальше при движении колонны. Ну а про часовых, охрану и говорить нечего – они больше были похожи на зверей, чем на homo-sapiens\*. От них мы слышали только короткие и резкие команды, приказы и оскорбления. За долгое время даже таких нечеловеческих отношений можно было сложить своё представление об этой знаменитой европейской нации. На поведение, казалось бы, каменных и малоэмоциональных немцев оказывали влияние и менявшиеся обстоятельства – на фронте они вели себя одним образом, в тылу – менее жестоко (так рассказывали потом мои родственники, пережившие оккупацию), видимо, потому, что смерть была не рядом. А были ли добрые немцы? Теоретически должны были быть, но я так и не встретил таких за все годы пребывания в плену! Менее агрессивные были, но тех, кто считал бы нас равными, не было вообще! Никто из них никогда не сказал, что они видят в нас людей, пусть и из другой страны. Постоянно подчёркивалась наша отсталость, глупость, бескультурие. А что же проглядывалось в немецком характере и поведении? Главный вывод, сделанный мной из этого опыта, – полная, если можно так сказать, механистичность! Немцы почти никогда не рассуждали – они делали только то, что было написано для них, сказано, скомандовано – полицейским, старостой деревни, начальником охраны... Однажды, усвоив из пропаганды, что все русские –

погань и недоразвитая масса, они так и продолжали считать и до войны, и во время неё, и после. Полагаю, сейчас также, но не так громогласно! Отступить от инструкции, приказа было для них прямо физически невозможно и непонятно! Они даже терялись, когда кто-то из нас спрашивал: „А как бы ты сделал по-другому?“ В такой ситуации они тупо смотрели на вопрошавшего и раздражённо отходили в сторону. Никаких нюансов, деталей, разницы между людьми, даже между своими, тем более пленными, в их менталитете не было! Вот если диплом у кого на стенке, или в рамочке справка об окончании курсов мастеров, то это уже другая степень уважения и одновременно тайной зависти! Тем более они яростно ненавидели тех из нас, кто был умнее, образованнее и находчивее! Ни до кого из немцев, встреченных мной за эти годы, не доходило, что не только в Германии могут быть умные люди, более развитые, имеющие широкие познания в той или иной области. Такого просто не может быть, и всё!

Тем временем жизнь в лагере Цайтгайн продолжалась. Наступила зима 1941-го. Немцы чувствовали себя полными победителями и не стеснялись кричать об этом на каждом шагу. То и дело слышалось: „Минск капут, Смоленск капут, Москва капут, Ленинград капут!“ Но, как оказалось, многие из этих выкриков были преждевременными. В январе 1942 года мы почувствовали среди них какое-то замешательство и особую неразговорчивость. То они только вчера орали у костра песни, а тут ни огня, ни воплей об очередной победе. Что случилось? Ответа не было, но однажды, когда меня отправили в медпункт за йодом (полицай поранил ладонь), стоя там в очереди, услышал то ли о поражении немцев под Москвой, то ли даже о наступлении наших войск! Какая была радость! Мы прямо визжали, радуясь долгожданной новости, укреплявшей наши надежды на выживание и освобождение! Но сколько ещё пришлось ждать!

К зиме возвели ещё пару десятков бараков. Пленные прибывали и прибывали. Наш энтузиазм потихоньку истончался и догорал. Было ясно: немецкая военная машина работала на всю мощь. Те, кто ютился в полуземлянках, наконец-то перебрались под крыши. Число пленных начало стремительно уменьшаться –

косили болезни, антисанитария, негативное психо-логическое состояние, доводившее многих до самоубийства. Неумолимая смерть собирала свою страшную дань, оставляя всё больше и больше опустевших мест на нарах. Их заполняли новые люди. Адово колесо продолжало вертеться. Болезни давали наибольшую смертность. Зима 1941 года «располовинила» наш лагерь – похоронный катафалк (открытая вагонетка) ежедневно вывозил за ближний лесок 40–50 трупов! Утром после «аппеля» (сбор на площади) «тотэнкомандос» (команда по уборке мертвецов) выносила и выносила из бараков умерших. Среди них попадались и полуживые, уже недвижимые и безмолвные. Они только смотрели в небо жуткими от отчаяния и страха глазами, полными слёз и ещё чего-то, что ни тогда, ни сейчас я не могу описать...



*Фото из мемориального центра лагеря Цайтгайн. 1942 г.  
Похоронная команда.*

Конец всего – их жизни, семьи, детства, родных лиц, всякой надежды увидеть их был прямо виден в остекленевших зрачках – этот взгляд полумёртвого человека был в сердце, вызывая такие чувства и эмоции, о которых ранее и не догадывался... Именно здесь начал понимать, как мал этот мир, как скоротечны дни, как много подлости и бесправия среди самих же людей! Были случаи, когда кто-то из них оживал и пробовал что-то шептать сопровождающим – не в госпиталь ли их везут? Немцы, чаще наши полицейские, да и многие рядовые пленные, прямо подпрыгивали от смеха и животного ржания – „Да мы тебя на тот свет, в ад к чертям везём, едь, такую твою...“ –и дальше сплошной мат! С мёртвых и с полуживых снимали всё, что могло пригодиться – штаны, рубашки, шапки. Сначала их складывали за баракком в два-три ряда – голова к голове. Номерки на шее ломали пополам – одну часть снова на шею, вторую в сундук для подсчёта. Никакого локомотива не подгоняли. Грузили в вагонетку ряд за рядом. Такое жуткое зрелище, что и писать о нём страшно – с одной стороны торчали запрокинутые головы, с другой – ноги и так далее. Были и трупы, дико вращавшие глазами, но безгласные. Никто на них не обращал никакого внимания. По ним ходили, их даже утрамбовывали плотнее! Адова картина! Даже великий Данте\* не смог бы описать такое!

*„05.11.41, дежурство по лагерю. Кругом слякоть, вонь и грязь. Перед бараками – длинные ряды умерших. Они прямо брошены в грязь. Оглянулся – я один. Фотографирую. Самое страшное – целый барак полумёртвых: уже умершие, умирающие прямо на моих глазах, хрипящие тяжелобольные, всевперемежку, в общей куче... 16.11.41 – обход лагеря: трупы, трупы, трупы! Обвиняют немым криком и мёртвыми глазами, в некоторых ещё поблёскивает жизнь?! В лагере свирепствует страшная эпидемия – сыпной тиф!“ (Лейтенант Отто К., 1977 г., из материалов мемориала «Цайтгайн»).*

*В ноябре 1941 были зарегистрированы первые случаи сыпного тифа. Отсутствие чистой питьевой воды, отвратительная санитария послужили причинами высокой смертности. Из 10700 пленных, находившихся до ноября 1941 в лагере, к марту*

*1942 года в живых осталось около 3700! (Из материалов мемориала «Цайтгайн»).*

Вагонетки толкали вручную – берегли топливо. Человек сорок–пятьдесят цеплялись со всех сторон и, подгоняемые кнутами и прикладами, везли своих вчерашних товарищей на тот свет, откуда нет возврата никому. Ни креста, ни поминального слова, вообще никаких слов благодарности и прощания! Молча, только скрип ржавых колёс сопровождал эту печальную процессию. В километре от лагеря, в лесу – братские рвы: экскаватор выкапывал траншею – два метра шириной (голова к ногам), два глубиной и метров 50–60 длиной. Это была могила для нас, славян, но на немецкий манер – механизированное изготовление, экономичная по размерам. Бульдозер засыпал их землёй и затем несколько раз утрамбовывал своими широкими гусеницами. Потом следующий ров. Были случаи, когда от этой картины человек падал замертво. Ослабленный организм сдавал именно тут. Ничего необычного – его сталкивали вниз, делали отметку в списке... и работа продолжалась. А был ли он на самом деле мёртв, неважно. Значит, будет им! Из двухсот тысяч пленных к весне 1942 года осталась половина! Но впереди ещё были 1943-й, 1944-й. Пленных стало меньше, чем в первый год, но они прибывали и прибывали.

*„В лагере даже за незначительные проступки наказывали жестоко. Пленных подвешивали на столбах и избивали до смерти. В карцере отказывали в воде и пище. Камеры там не отапливались. Советские военнопленные, совершившие попытку побега, передавались в гестапо. Там их пытали, выбивая имена сообщников, потом большинство расстреливали. Часть более здоровых отправляли на уничтожение в концлагеря. В отношении военнопленных других национальностей – итальянцев, англичан, поляков, пытки и избиения не предпринимались“. (Из материалов мемориала «Цайтгайн»).*



*Здесь фотографии красноармейцев, погибших в лагере в первые месяцы пребывания там. Уже много лет спустя их родственники по просьбе администрации мемориала прислали их фотографии, изображённые уже на посмертных медальонах. Можете представить, что чувствовали родные этих мучеников, узнав об их кончине и заказывая фотографии в похоронном бюро, но без похорон?! Они хоронили уже их души и свою память!*

*„Советские государственные и партийные деятели любого, даже самого низкого ранга, политкомиссары Красной Армии, евреи подлежали «отбору» из общего состава пленных. Десятки тысяч подобных в первую очередь направлялись в концентрационные лагеря для уничтожения. С октября 1941 года оперативная команда из трёх сотрудников Тайной государственной полиции (гестапо) систематически проверяла лагерь «Цайтгайн». В этом им помогал лагерный персонал и осведомители из числа военнопленных. Отобранных изолировали от других в специальном блоке в «форлагере». Как только набиралось 40–50 человек, их отвозили в к/ц «Бухенвальд» и сразу расстреливали. «Вермахт обязан немедленно освободиться от всех элементов среди военнопленных, которых следует рассматривать как движущие силы большевизма“. Оперативный приказ №8 шефа полиции безопасности СД от 17 июля 1941 г. – из материалов мемориала «Цайтгайн»).*

Мне же мои товарищи говорили: „Ты нам в лагере нужен. Без тебя пропадём. Другим переводчикам не доверяем“. Это радовало и поддерживало меня. Давало надежду, что и дальше всё останется для меня в сложившихся, ставших привычными рамках. Насколько было возможно, мои солагерники, особенно те, кто был поближе, помогали мне, даже делали за меня какую-нибудь тяжёлую или грязную работу, приговаривали шутя: „Учителю не годится такая работа. Сами сделаем, мы привычные. Твоё дело – нам переводить да предупреждать, что затевает супостат!“

Почти также было в военном училище, когда мои друзья не разрешили мне таскать на учениях тяжеленный пулемёт. То ли это какое-то особое уважение к учителю, то ли им нравилось моё независимое и честное поведение – не знаю, но, как только я брал в руки пулемёт, ко мне подходил курсант Прокопович: „Давай мне, тебе он не с руки. Ты не привык носить на горбу такое. Лучше расскажи, как ты женился, как ухаживать надо...“. Вот как! Все во взводе знали, что я единственный, кто женат и уже имею сына, и их, естественно, интересовал этот жизненный этап, которого каждый из них тоже ожидал с трепетом, тем более, они видели и мою жену, и фотографии. Почти также и в плену. Когда немец звал меня почистить его грязнящий велосипед или обувь, вперёд выступал обычно Иван Соломахин: „Подожди, учитель, пойду я! Ты лучше сходи для нас к гражданскому электрику, посиди с ним, поговори, расспроси, что в мире делается, а потом вечером расскажешь. И интересно будет, да и время быстрее прокатится...“. Не каждый раз так было, но часто. Один мне говорит: „Кто должен чистить туалеты – учитель или слесарь? Конечно, слесарь! Меня это не обижает, а вот для человека, который учил уму-розуму других, да ещё и немецкий знает, это не годится. А ты иди поговори с немкой, которая бельём заведует. Может, она что-нибудь новое об обстановке на фронте знает? Но осторожно выпытывай, а то если тебя схватят, то мы опять будем как слепые“. Конечно, мне очень приятно было такое отношение. Это и льстило, чего скрывать, но и придавало новые силы бороться, не хныкать и ждать, ждать и ждать.

Наблюдая за жизнью пленных, можно было заметить такую особенность: ни один старший команды не работал вместе с пленными, и немцы их не заставляли, даже поощряли мелкими подачками. Тем самым они проповедовали раздел людей на касты и классы, на рабов и начальников. Правда, эта картина напоминает и нашу прежнюю, да и сегодняшнюю обстановку? Достаточно вспомнить напыщенные, всегда полные всезнайства и презрения к простым гражданам, физиономии партийных и советских начальников всех уровней и должностей!

Однажды я спрятал своим друзьям немножко еды. Немец увидел, что я, прячась, что-то отложил в сторонку. Думал всё, прикончит. Налетел с кулаками, несколько раз сильно ударил и в голову, и в живот и давай орать: „Русская свинья, почему воруешь? Кому ты это всё спрятал? Ты же переводчик, или у вас все такие – от низа до верха? Какой ты пример подаёшь другим свиньям?“ Даже в раже злобы он дал мне знать, что можно не принадлежать к остальным русским, а быть ближе к ним?! Что ж, неплохой, хоть и болезненный, урок! С тех пор я помогал нашим только тогда, когда вблизи не было никого из охраны, да и предлагал им самим набить карманы, а не переключивать это на другого. Но ничего немецкого не жалел – только выйдут, я консерву на землю и ногой под стеллажи. Придёт наша вторая смена, а я им подскажу, что и где. Немцы мне часто намекали, что моё положение неофициального переводчика как бы само собой подразумевает тайное сотрудничество с ними. Я делал вид, что не совсем разбираюсь в языковых тонкостях, увиливал, как мог, прекрасно понимая: достаточно одного предательского шага в отношении своих, одного слова, как я навсегда попаду в ловушку зависимости, и мной уже будут играть, как им заблагорассудится, выбивая только одно – доносы и доносы на соплеменников!

Кстати, такая же «славная» методика использовалась во всех наших доблестных карательных органах! Раз предав, поступившись совестью, ты уже не мог вырваться из цепких лап спецслужбы или даже своего непосредственного куратора, приобретшего карманного стукача. На них, но против тебя работал уже этот компромат!

Девизом моей жизни в плену стало: работаешь на немцев, а помогаешь своим. Я стал намного осторожнее, не вступал в контакты с новыми людьми, сторонился чьего-либо инициативного знакомства. Никто в лагере сейчас не знал немецкого, а без владения языком немцы и не хотели никого слушать. Избрав именно такую модель поведения, я не боялся потом допросов и разговоров ни со стороны МГБ, ни КГБ. Мне нечего было утаивать, и я надеялся, что найдутся люди, которые подтвердят моё поведение.

Так и оказалось. Во время госпроверки уже в советском лагере возле города Козельска все, кого вызывал следователь «СМЕРШа», говорили обо мне только объективное и положительное. Жизнь среди врагов учит изворотливости, расторопности и изобретательности.

Помочь другому – вот задача того, кто владеет иностранным языком. Однажды на склад охранник привёл пойманного беглеца. Но он отделался тумачами, так как был выловлен прямо за воротами, в ближайшей роще. Бедолага до поры сидел там, но, решив сориентироваться, слишком близко подошёл к краю, прямо в руки часового, увидевшего его со своей вышки. Беглец был смертельно напуган, держал в руках сапёрную лопатку. Немец всё спрашивал, кто это и почему у него лопата? „Браток, – взмолился пленный, – помоги, а то расстреляют. Выдумай что-нибудь, Бога ради!“ Я тут же объяснил немцу, что этот пленный работал на копке ям для могил, но, срочно захотев «по-большому», вышел за пределы разрешённого периметра. „Без охраны? – удивился немец, – хотя кто будет это нюхать?“ Брезгливо поморщившись, отошёл. Копатель-неудачник был вне себя от счастья, да и я был рад помочь, а то прямо здесь мог бы состояться приговор ещё одному человеку.

Мой предшественник, переводчик еврей Семён, всегда катался на людях – мы толкаем вагонетку, а он стоит или сидит на ней и посматривает сверху. И так было почти всегда. Как правило, он не работал. Я не мог себе представить, что мои собратья по несчастью везли бы меня на себе только за то, что я кое-как могу общаться с немцами? Это ведь то же, что и предательство! Человек попал в беду, в фашистский плен, в рабство, а там такой же пленный ещё и ездит на тебе?

Был у нас и свой «капо» (старший по бараку). Здоровенный украинец. Он отличался разными звериными, гадкими наклонностями – с ним в кровати всегда спал молоденький тщедушный парень, русский, с большими печальными глазами. Этот капо силой заставлял его вступать с ним в гомосексуальную связь и принудил удовлетворять и другие свои гадкие наклонности. Говорили, что бедняга вскоре бросился на провод высокого напряжения. Тогда «капо» нашёл себе нового. Он бил

его, издевался, а потом резко менял отношение – подкармливал, относился ласково, как к животному. Смотреть на это без омерзения было невозможно!

Но судьба этого выродка была незавидная – как только его назначили старшим на лесных работах, он продолжил свои издевательства и над подростками, и над всеми нами. Однажды он остался один на один с рабочими. Они его разорвали руками на части! Я был недалеко и слышал этот животный рёв – тот орал от боли, люди, осатанелые от ненависти к нему, орал тоже! Даже они, в большинстве потерявшие нормальный человеческий облик, мораль, не могли простить ему такое. Немцы очень спокойно отнеслись к происшествию – они сами ненавидели извращенцев, уничтожая их в печах концлагерей. Через день назначили нового «капо», гораздо меньшего садиста и нормального в известном отношении. Немцы, что интересно, иногда разрешали пленным самим осуществлять суды над теми, кто переходил все рамки человеческого поведения. А таких извергов я не пропуская бы ни в люди, ни даже на тот свет.

Были и те, у кого сдавали нервы –они сами накладывали на себя руки, приближая смерть и сокращая путь страданий. Самоубийства – не редкость в лагерях военнопленных, в том числе и в нашем лагере. Некоторые, об этом трудно писать, сходили с ума. Психика не выдерживала морального угнетения и нечеловеческих условий лагерного существования.

В лагере Цайтгайн, где я содержался до конца 1943 года, был специальный блок из четырёх барачков, в котором содержались (долго ли – не знаю) потерявшие рассудок пленные. Однажды дежурный по лагерю немецкий унтер-офицер мобилизовал меня и еще двух пленных помочь ему водворить очередного помешанного в спецблок. Руки связаны грубой верёвкой, во рту кляп из грязной тряпки. Говорили, что он всё время кричал: „Hitler kaput!“ Заводим его в барак. Перед нами открылось зрелище не для слабонервных. Бледные лица изуродованы гримасами, вид ужасный – грязные, оборванные, босые, одеты как попало. Вопли, крики отчаяния и бессмысленная речь. Смущало их далеко не синхронное поведение. Выкрики на разных языках. Некоторые бились головами о стенку барака.

Другие кусали свои номерные бляхи. Некоторые имитировали стрельбу из винтовки. „И никто не узнает, где могилка твоя“, – тянул хрипловатым тенорком молодой парень. Видимо, всё же понимал приближение конца. А бородатый, заросший, южного вида тип, глядя отрешенными глазами куда-то вверх, тянул на своём мелодичном языке что-то похожее на «Сулико». Всех обитателей спецблока ждала участь «без вести пропавших». Они уже никогда не вернуться на родину, к матерям и отцам, к жёнам и детям. Кто-то будет оплакивать их всю жизнь, а кто-то будет молиться за упокой их души.

Мои записи – не художественное произведение, и я не имею права на фантазию! Пишу то и так, как оно было, как запомнилось мне. Конечно, некоторые поправки может внести само время, прошедшее после войны, более осмысленное. В памяти тоже может произойти кое-какая трансформация, но только в деталях, в мелочах, а главное так врезалось в память, что его ни забыть, ни стереть уже нельзя! Это навеки осталось со мной и в думах, и во снах! А пережитое и увиденное – на этих страницах, в этих строчках, словах, написанных где кровью, где потом, а где любовью к родным и Родине!

Каленца	Вячеслав		* 20.06.1905	† 15.11.1941	Стрельников	Федор	Дмитриевич	* 19.02.1912	† 15.11.1941
Кальничной	Пётр	Гаврилович	* 1908	† 15.11.1941	Сичев	Степан	Васильевич	* 20.08.1914	† 15.11.1941
Карцев	Илья	Трофимович	* 20.07.1887	† 15.11.1941	Тальзин	Валентин	Иванович	* 29.03.1919	† 15.11.1941
Кашаев	Карл	Георгиевич	* 25.07.1919	† 15.11.1941	Тарасов	Кирилл	Артёмович	* 17.03.1916	† 15.11.1941
Клюва	Александр	Иванович	* 15.03.1922	† 15.11.1941	Тарасенко	Николай	Андреевич	* 13.12.1919	† 15.11.1941
Коваль	Семён	Кириллович	* 02.02.1908	† 15.11.1941	Тронос	Владимир	Иванович	* 02.05.1920	† 15.11.1941
Ковальчук	Пётр	Евсеевич	* 1904	† 15.11.1941	Ухов	Александр	Григорьевич	* 21.02.1921	† 15.11.1941
Козачев	Яков	Степанович	* 01.01.1922	† 15.11.1941	Ушанов	Григорий	Яковлевич	* 03.01.1921	† 15.11.1941
Коломазов	Семён	Васильевич	* 1906	† 15.11.1941	Ушляев	Михаил	Михайлович	* 1911	† 15.11.1941
Колосов	Фрол	Фёдорович	* 04.10.1921	† 15.11.1941	Филатов	Родик	Петрович	* 1914	† 15.11.1941
Коменико	Василий	Егизьевич	* 1913	† 15.11.1941	Фролов	Фёдор	Иванович	* 26.12.1912	† 15.11.1941
Костиков	Тарас	Семёнович	* 1908	† 15.11.1941	Фуфая	Александр	Дмитриевич	* 15.03.1916	† 15.11.1941
Красченко	Фёдор	Михайлович	* 06.10.1920	† 15.11.1941	Халимов	Григорий	Григорьевич	* 07.10.1921	† 15.11.1941
Крижашко	Андрей	Фёдорович	* 1913	† 15.11.1941	Хлибинов	Николай	Павлович	* 08.05.1914	† 15.11.1941
Кругляца	Иван	Логанович	* 15.06.1918	† 15.11.1941	Хомченко	Фёдор	Иванович	* 02.07.1920	† 15.11.1941
Круглов	Николай	Михайлович	* 09.02.1922	† 15.11.1941	Хорев	Василий	Егорич	* 1910	† 15.11.1941
Кругляев	Прокофий	Васильевич	* 08.07.1913	† 15.11.1941	Цетков	Фёдоров	Тихонович	* 22.01.1919	† 15.11.1941
Крюков	Сергей	Васильевич	* 01.10.1920	† 15.11.1941	Челцов	Михаил	Михайлович	* 06.09.1915	† 15.11.1941
Кудрин	Пётр	Николаевич	* 15.03.1910	† 15.11.1941	Черников	Василий	Иванович	* 25.07.1912	† 15.11.1941
Кудрявцев	Иван	Ефимович	* 26.02.1922	† 15.11.1941	Чижик	Роман	Григорьевич	* 04.05.1907	† 15.11.1941
Кузми	Гаврил	Афанасьевич	* 25.03.1911	† 15.11.1941	Чумаков	Григорий	Амвросиевич	* 06.07.1906	† 15.11.1941
Кузнецов	Иван	Степанович	* 1911	† 15.11.1941	Шариков	Гавриил	Аверьевич	* 10.06.1919	† 15.11.1941
Куйбышев	Фёдор	Иванович	* 02.03.1921	† 15.11.1941	Шейман	Виль	Эристович	* 08.05.1900	† 15.11.1941
Лаврентченко	Евгений	Иванович	* 05.06.1896	† 15.11.1941	Шенарбе	Фёдор	Петрович	* 01.01.1920	† 15.11.1941
Лаверов	Яков	Денисович	* 18.04.1908	† 15.11.1941	Шитов	Владимир	Васильевич	* 11.12.1921	† 15.11.1941
Ларин	Иван		* 1921	† 15.11.1941	Шкобур	Иван	Кузьмич	* 12.09.1919	† 15.11.1941
Лобов	Яков	Алексеевич	* 1904	† 15.11.1941	Шкодин	Давид	Михайлович	* 1915	† 15.11.1941
Лопатченко	Иван	Александрович	* 19.02.1919	† 15.11.1941	Шнейв	Анатолий	Михайлович	* 1915	† 15.11.1941
Лупанов	Пётр	Андреевич	* 17.07.1920	† 15.11.1941	Шураков	Анатолий	Лаврентьевич	* 16.03.1920	† 15.11.1941
Лыков	Алексей	Александрович	* 23.02.1920	† 15.11.1941	Шимов	Иван	Петрович	* 28.01.1920	† 15.11.1941
Лылин	Пётр	Константинович	* 1910	† 15.11.1941	Яков	Иван	Гаврилович	* 15.06.1921	† 15.11.1941
Макаренко	Владимир	Петрович	* 23.06.1920	† 15.11.1941	Ладотин	Пётр	Денисович	* 21.06.1921	† 15.11.1941
Малиновский	Александр	Иванович	* 10.05.1918	† 15.11.1941	Азаров	Николай	Лукич	* 28.10.1921	† 15.11.1941
Марташин	Владимир	Дмитриевич	* 23.09.1916	† 15.11.1941	Артасов	Фёдор	Кириллович	* 09.07.1913	† 15.11.1941
Меловидов	Степан	Павлович	* 1906	† 15.11.1941	Батидев	Сергей	Степанович	* 07.10.1920	† 15.11.1941
Мигай	Василий	Степанович	* 1913	† 15.11.1941	Безбаблов	Григорий	Васильевич	* 1912	† 15.11.1941
Мисляев	Иван	Фёдорович	* 05.01.1917	† 15.11.1941	Безлианин	Сергей	Исидорович	* 23.09.1912	† 15.11.1941
Митрофанов	Александр	Сергеевич	* 24.05.1921	† 15.11.1941	Белоголов	Павел	Андреевич	* 1912	† 15.11.1941
Мишарков	Василий	Павлович	* 1891	† 15.11.1941	Белослов	Иван	Александрович	* 1919	† 15.11.1941
Молоча	Юрий	Михайлович	* 1912	† 15.11.1941	Бованен	Николай	Иванович	* 25.08.1922	† 15.11.1941
Небасов	Сергей	Николаевич	* 18.08.1920	† 15.11.1941	Бондарев	Николай	Иванович	* 1892	† 15.11.1941
Нечаев	Иван	Иванович	* 06.01.1907	† 15.11.1941	Борисов	Фёдор	Андреевич	* 1919	† 15.11.1941
Нещерет	Григорий	Михайлович	* 08.01.1922	† 15.11.1941	Бучнев	Егор	Васильевич	* 02.12.1921	† 15.11.1941
Новиков	Илья	Леонидович	* 26.06.1920	† 15.11.1941	Быков	Николай	Сергеевич	* 1894	† 15.11.1941
Обросов	Глеб	Васильевич	* 03.01.1920	† 15.11.1941	Васильев	Михаил	Васильевич	* 1908	† 15.11.1941
Огурцов	Елифан	Петрович	* 1920	† 15.11.1941	Васильев	Алексей	Фёдорович	* 22.02.1921	† 15.11.1941
Орлов	Валерий	Петрович	* 13.10.1911	† 15.11.1941	Виноградов	Фёдор	Иванович	* 05.10.1920	† 15.11.1941
Осипов	Михаил	Иванович	* 25.11.1916	† 15.11.1941	Власов	Дмитрий	Михайлович	* 26.09.1918	† 15.11.1941
					Владимир	Григорий	Климентьевич	* 27.03.1921	† 15.11.1941
					Волов	Венедикт	Власович	* 02.02.1920	† 15.11.1941
					Волов	Николай	Иванович	* 08.04.1919	† 15.11.1941

В самой комендатуре был переводчик поляк. Он бил пленных более жестоко, чем все немцы вместе взятые. Как он объяснял потом, – мстил советским людям за 1939 год\*. Свою фамилию никому не говорил, возможно, опасаясь мести после войны. Кличка у него была «Плётка». День и ночь она находилась при нём, даже во время сна. Из толстых кожаных жил, с чёрной костяной ручкой. Он мог достать ею любого метра за два-три. Бил больно, с оттягом и свистом. Были случаи, когда выбивал и глаза. Немцы тогда кричали на него, но недолго. Такой им был нужен. Один раз этот палач даже поговорил со мной. Он мимоходом услышал, как я смея ради учил одного пленного известной фразе по-латыни – «In nomine patris et filii et spiritus sancti» (Во имя Отца и Сына и Святого Духа!) Я помнил это от мачехи. Садист больше меня не трогал. Очевидно решил, что я тоже католик, и позднее относился ко мне как к единове́рцу. Вот как маленькая деталь в поведении, в беседе может неожиданно повлиять на обстановку?

Тяжёлая обстановка в плену показала мне и научила понимать некоторые вещи, не доступные моему разумению и по возрасту, и по тогдашнему опыту. Я чётко увидел, что в такой экстремальной обстановке, когда жизнь и смерть легко и «весело» меняются местами, притом тогда, когда ты этого не ждёшь, люди, особенно те, кто и на «свободе» не отличался примерным или хотя бы правильным поведением, становятся сами собой! То, что сидело внутри у них чёрного, негативного, злобного или агрессивного, прямо выплёскивается наружу в иных условиях, в условиях, когда наглость, хамство, лживость помогают ему, как кажется на первых порах, стать выше остальных, желательно – руководить ими, издеваться, получая моральное удовлетворение садиста и изувера. Заставляя более слабых, зависимых, безвольных прислуживать им, выполнять всё, что они прикажут, эти уроды, сидевшие и сидящие на разных должностях и в наше время, создают именно ту обстановку, когда власти уже никто не доверяет, её боятся и ненавидят... То и дело встречаешь такое и в прессе, и в телевизионных шоу! Наверно, власть затягивает и развращает? Но сколько же можно?

Однажды моя беседа с электриком из гражданских едва не закончилась печально. Молодой парень, разговорчивый, доступный, бывший студент какого-то учебного заведения, подрабатывал в лагере. Проводил освещение, ремонтировал выключатели, прожектора и другое электрооборудование. Иногда он просил помочь: то подержать или нарезать провода, то привинтить какой-нибудь несложный прибор. Я помогал как мог, и мы разговаривали во время работы. Я удивился, как легко и понятно обоим шла беседа. О политике тоже. Что, мол, лучше для людей – социализм или фашизм? Даже такая тема всплыла однажды. Я, распаясь, пытался искренне довести до него, что наша система лучше, наш вождь Сталин ближе к народу, чем их Гитлер. Он умнее всех в мире, поэтому в войне победим мы, и больше войн на земле не будет. Я слабовато контролировал себя, видя, что тот очень внимательно слушает меня, даже показалось, что одобряет. Однажды договорился до того, что выпалил ему следующее: „Вот у вас жгут на кострах произведения таких гениальных учёных и просветителей, как Маркс, Энгельс, Ленин, Гейне\*, а у нас их не жгут, а глубоко изучают, поэтому мы и умнее!“ В этот же день он донёс на меня в гестапо (небольшое отделение было при лагере). Назавтра, как только мы поравнялись с конторой администрации, вышли человека четыре, взяли меня под белые ручки и проводили в комнату для допросов! Один начал кричать и пару раз крепко ударил, рассчитывая выведать, кто меня этой пропаганде научил. Я рассказал ему, кто я по профессии, откуда знаю немецкий, что я бывший офицер, не член партии, выходец из многочисленной крестьянской семьи. И меня к стенке! Приговор на месте! Вывели во двор, поставили к стене канцелярии. Немец вынул пистолет, навёл... Всё смешалось в голове, ни одной ясной мысли... Каша, жуткий страх и безнадежность! Всё, конец! Раздался выстрел, сильно обожгло голову. Больше от страха, чем от боли, я упал. Вдруг немцы шумно заговорили, показывая на стену своей канцелярии: „Там же люди, идиот, куда стреляешь? “На мгновение меня забыли. Стрелявший бросился внутрь... Тот, кто был рядом, схватил меня за воротник и с криком „Большевистское дерьмо!“ сильно ударил прямо в лицо. Из носа хлынула кровь.

Странно, но никто больше не стрелял и не бил?! „Живи, свинья! Мы тебя кормим, а ты тут советскую пропаганду разносишь! Ещё раз – расстреляем на самом деле! Вон в барак!“ А может, они только пугали?

До сего времени не знаю, как добрался до ложа. Всё дрожало – я был на волоске от смерти уже второй раз! Психологически сломался – ничего не помнил и не осязал. Ко мне бросились друзья и кто как мог начали утешать. Лежал дня два. Никто не трогал. Дрожь и жуткие видения проходили. В эти часы до меня дошло, что такая моя доверчивость, равносильная крайней глупости, да ещё в этих условиях – это самоубийство! Ноги были ватные, долго не мог ходить. Боялся, что они отнимутся. Позже свои сказали, что немцы тщательно опросили солагерников обо мне, но, не найдя ничего компрометирующего, оставили в покое. Не знаю, что они говорили, но этот экзамен был очень жёстким, и он отразился и на здоровье, и в душе. Язык мой – враг мой! Аксиома! Это простое правило стало главным для меня во всей последующей жизни!

Химера, называемая демократией, свободой слова, открытостью, всегда использовалась властями везде по всему миру как инструмент и порабощения, и контроля за умами людей! А кто очень сильно забывался, увлекаясь поисками совести, правды, истины, тот или исчезал, как в «добрые» старые времена, или, как сейчас, обвинялся в либерализме, работе на «врагов», подкопе под самого... Властителя! Что такое правда для народа, тщательно определяется верхушкой и очень дозированно, чаще в искажённом виде, выдаётся в нужные моменты – по праздникам, отдельным запросам, очень редко – в ответ на нажим более влиятельных игроков на этом поганом политическом поле. Путь и правила игры нам определяются сверху! И абсолютно всеми всегда! Общественная жизнь зиждится на обмане!

В этом лагере пережил огромную радость – разгром немцев под Сталинградом! Это было зимой 1942–1943-го. Выходим за ворота – красные флаги с траурными чёрными лентами. Что это, может их Гитлер сдох? А может кто другой? Конвоиры молчали – ни слова. Приходим на склад. На разрядку приходят старшие групп из немцев. Тоже молчат. „Ковалёв, спроси, что это у

них?“ А как я спрошу, кого? И всё же во время перерыва на сортировке картошки я вылучил минутку и тихонько спросил у завскладом: „Вас ист лёс?“ (Что случилось?). Тот оглянулся по сторонам и тихо произнёс: „Шталинград капут!“ Я не совсем понял, что это означает – немцы его взяли, или нам радоваться? Больше он не сказал ничего. Но если они взяли город, то почему не радуются? Загрузили вагонетку картошкой, отправили на кухню. Немец позвал одного из нас прибраться в конторе. Так делали каждый день. „Нужно послать того, кто умеет обращаться с радиоприёмником, – подсказал кто-то, – и, если никого не будет, можно покрутить ручку. Хоть два-три слова“. Задумка удалась. Ивана Маленького (так его прозвали немцы) вместе со мной послали туда. Он быстро нашёл нужную волну, и я услышал на русском языке, что под Сталинградом окружена и разгромлена немецкая армия фельдмаршала Паулюса! Вот это новость! Ещё и на родном языке? И где, в фашистской лагерной конторе. Немцы даже не могли подумать о такой дерзости, и мы здесь выиграли у них небольшую схватку. Потом принесли газету, и я по словам, медленно переводя, сообщил всем не только новость о первом большом поражении, но и о том, что для всех нас забрезжила на дальнем пока горизонте настоящая осязаемая Надежда!

Ожидание освобождения, ожидание свободы упрочилось во сто крат! Теперь задача – достать центральную газету. Из первой местной (районной, как бы сказали у нас) мало было понятно. Хотелось бы прочитать не местные перепевы, а журналистскую сводку с фронта. Тогда же узнал, что и наш, советский, и немецкий флаги красные, но разнятся размерами. У нас – серп и молот со звездой, у них – чёрная свастика в белом круге. Траурные флаги висели долго. Достали мы и газету, выкрав её у одного бауэра, на дворе которого работали. Я медленно читал и переводил. В бараке стояла мёртвая тишина. Да, забыл сказать, что такие вольности мы могли себе позволить только в отсутствие «капо». Мы караулили, когда он шёл на инструктаж-совещание в контору, и только тогда собирались в кружок, да и то не все, а те, кому доверяли. Все сидели как каменные и периодически охали, подпрыгивали и поднимали руки в знак

приветствия наших побед. Всё стало понятно – огромная немецкая армия была полностью окружена и, несмотря на попытки вырваться, разбита под Сталинградом, а фельдмаршал Паулюс попал в плен! Было также отмечено, что генералу армии Паулюсу присваивается высшее воинское звание фельдмаршала за героизм и стойкость. Мы не знали тогда, что этим жестом Гитлер давал ему понять, что ему лучше застрелиться, чтобы не уронить честь высокого офицера.

В Германии началась тотальная мобилизация – подростки, инвалиды, пожилые – все призывались в войска. Конечно, не все на передовую, но и не в тылу, а там, где свистят пули, где царит смерть! Всё больше на Восточный фронт. Забрали и некоторых наших складских работников – заведующего хлебным отделом Коха, ещё двоих, фамилии которых не запомнил. Вместо Коха привели капельмейстера похоронного оркестра. Старый, тощий, хромой на одну ногу, с дефектом речи, предельно злой, он сразу приобрёл вид начальника и постоянно орал, гоня нас на работе. К палке прибегал тоже часто. Гитлер стремился пополнить ряды, а где набрать новых и молодых бойцов – это уже было сложной задачей! Только под Сталинградом они потеряли 147 000 человек, в плен попало 91 000, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала во главе с фельдмаршалом.

Дух свободы зареял над сотнями лагерей пленных. Всем до боли хотелось одного – выжить! Однажды в лагерь приехал православный священник Ковалевский. Говорили, что он сын бывшего киевского банкира-эмигранта. Пробыл у нас несколько дней. Отслужил много молебнов и треб\*. Тысячи пленных собрались в воскресный день на центральном плацу. Верующие, а таких было немного, стояли полукругом вокруг батюшки и внимательно слушали его песнопения и молитвы. Вот он провозгласил: „За плавающих и путешествующих, убиенных и пленённых и о спасении душ их Господу помолимся...“ – все как по команде опустились на колени, хотя по церковным канонам это и необязательно. В основном все понимали церковнославянский язык и за кого нужно молиться. Ковалевский ещё нарисовал задник для церковного угла, который соорудили в честь его приезда. Почему-то копию известной картины Вас-

нецова «Три богатыря» и рядом повесили портрет Гитлера. Это уже был какой-то скрытый намёк, что ещё не всё потеряно – русские богатыри продолжают сражаться. Немцы ничего этого не поняли. Был и небольшой концерт – певец, исполняя цыганскую песню, на словах «Ой, расскажи, расскажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты?» протягивал руку в сторону портрета Гитлера. Все всё понимали, но хозяева до поры терпели. Пел и бывший солист Белорусской оперы Ходоскин. Он исполнил арию князя Игоря из одноименной оперы. „О, дайте дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить, я Русь от недругов спасу!“ Все затаённо слушали. Обессиленные, измороженные, униженные, но не до конца сломленные, бывшие бойцы Советской Армии наверно представляли, как они распрямляются и идут в атаку, чтобы отомстить этим гадам за все свои унижения... Каждый думал и мечтал о своём.

Уже после войны я попробовал навести какие-нибудь справки о Ходоскине, но в отделе кадров оперного театра мне сухо ответили, что такой здесь не работал и его вообще не знают. Стало понятно, что сверху уже жёстко действует приказ не считать за людей тех, кто был в плену!

К сожалению, кто-то доложил в гестапо обо всех этих «шалостях» артистов и священника. Последний был арестован прямо в лагере. Немцы ни с кем не церемонились, да и священнослужитель, наверно, не вызывал у них полного доверия, так как не продался с потрохами новым хозяевам жизни.

Потом немцы носились с идеей создания так называемой Русской армии(РОА – русская освободительная армия)\* под началом бывшего советского генерала Власова. Во всех лагерях одновременно началась бешеная обработка военнопленных. Кто только мог стоять на ногах, двигаться и работать – всех вызывали в специально выстроенный барак для «переговоров». Заводят и меня. Помещение длинное, вдоль стен столы. За каждым сидит непонятно кто – в немецкой форме, но без знаков отличия. Стопка бумаги, чернильница, ручки, карандаши. Часовой спрашивает, кто по профессии. Отвечаю: „Учитель“. „Тебе второй стол слева“. Подхожу, здороваюсь по-немецки. И вдруг слышу чистую русскую речь: „Садитесь, господин Ко-

валёв!“ Вот так сюрприз! Везде – „люмпен, собака, свинья, рыло...“, а тут такой политес?\*

Напротив меня сидел – кто бы вы думали? – тот же белорус, который уже пробовал вербовать меня то ли в шпионы, то ли в диверсанты?! Та же лысая, как кочан, голова, маленькие пронзительные глазки и скрипучий, визгливый голосок! Красная повязка на рукаве с белыми буквами «РОА».

„Ну что? Сейчас уже ваша большевистская прыть поубавилась? Я вам последний раз предлагаю поступить на службу в ряды настоящей освободительной армии генерала Власова. Эта армия, где вы продолжите исполнять ваши офицерские обязанности, создаётся для окончательной борьбы с мировым злом – большевиками и их коммунизмом! Им скоро конец! Записывайтесь, не стройте из себя героя. Вас, если они поймают, то расстрела не избежать! Так они поступают со всеми, кто попал в плен. Почему вы не понимаете очевидного? Там будущего нет. Там тюрьма для всех! Вы же грамотный“? Давление нарастало. Он чуть изменил тон: „Россия нуждается в вашей помощи. Её нужно освобождать от сталинского террора и деспотизма. Вы обязаны помочь нашей Родине! Образованный человек, вы лучше других знаете особенности советской жизни и сможете повести за собой людей. Курите“, – он предложил мне сигарету. Я отказался. Он продолжал: „Соглашайтесь, и ваше положение изменится уже сегодня. Вам дадут бельё, нормальную еду, обувь и новую форму, кстати, тоже лейтенантскую! Плен ваш навсегда закончится. Послужите Родине, разобьём большевиков, а потом и фашисты уже не такие будут. Они станут и с нами считаться. Конечно, сразу ничего не получится. Сначала разобьём Советов, восстановим там свободу, а потом и немцы сами уйдут. Понятно?“

Да мне было абсолютно всё понятно! Выбора два – стать предателем и быть расстрелянным своими или попытаться уже в который раз вывернуться, собрав в кулак весь свой интеллект, опыт и волю.

Я поначалу утратил способность и думать, и говорить – такой был нажим, но, собрав остатки сил, начал выкручиваться, говоря, что „с моей слабой головой не подхожу для этой роли – я в

детстве болел менингитом, даже не знаю, почему меня взяли в пехотное училище, наверно, только для пехоты и подхожу, и приступы у меня бывают, и стрелять как следует не умею...". Жду реакции. Тот попробовал ещё раз надавить: „Вылечим, накормим, обучим, а то ты (уже на «ты» перешёл – значит, будет кричать) тут просто сгниёшь, и никто знать не будет твоего последнего места! Девочки тоже будут, выпивка... Все блага Запада!“ Я старался быть с вербовщиком деликатным, не вызывать у него ненависти ко мне – на его стороне были и власть, и деньги, и поддержка нацистов. Он ещё раз напомнил, что Сталин не простит никому плена, тем более офицеру, и расстреляет сразу, как только я вернусь обратно. Здесь я категорически отказался, сославшись на самое дорогое – на мою семью, которая также будет расстреляна из-за моего согласия.

Он впился в меня своими колючими глазками и скрипуче сказал: „Как хочешь, Ковалёв. У нас это просто так не проходит. Пожалеешь! В тюрьму тебя!“ Пометил что-то напротив фамилии, и меня тут же выбросили вон. На плацу уже стояло много людей, также отказавшихся от сотрудничества. Это обрадовало меня, значит, не один! А там стояло уже несколько сотен!

Что ж, начинался, очевидно, новый этап в жизни пленного. В душе осталась гордость за собственное поведение. Не сломался, не поддался на соблазны. И слава Богу! А что там дальше, посмотрим. Через несколько дней меня арестовали! Да, вам непонятно, как это – в лагере и стать арестованным? Оказывается, у немцев всё может быть. У них настолько отточен механизм издевательств, унижений, добивания человека до самой земли, постепенного втаптывания в собственное дерьмо, что более утончённой садистской системы я и не видел! Трое зашли вечером в барак, приказали одеться, взять вещи. Заломали руки за спину, надели тоненькую цепочку, с виду похожую на серебряную. Защёлкнули. Все молча наблюдали за мной и не могли вымолвить ни слова. Очень неожиданно! Почти не били. Дали два раза под дых – и всё... Повели в карцер. Там уже было человек 20. Через некоторое время всех развели по 4–6 человек вместе. Меня почему-то посадили в одиночку. Это был плохой признак. Сняли наручники, заперли дверь... Тишина. Держали

так несколько дней. Точно не помню. Еду кто-то приносил в камеру и ставил на пол. Наверно думали, что с такими делать? «Отказников», как я уже говорил, было много – подавляющее большинство. Никто ничего не говорит. Тюрьма обслуживалась только немцами. Нашим полицаям не доверяли. На прогулки не выводят. Параша в камере. Воды мало в кастрюльке. Мой друг Коля Афанасьев как-то умудрился передать мне Библию. На русском языке, изданная в Париже под редакцией знаменитого русского философа-богослова Василия Малагова. Книга внушительная, в чёрном кожаном переплёте. Наверху – крест, а написано, как я уже сказал, не на церковнославянском, а на современном литературном русском языке.

Эту Библию читал помаленьку – нужно было подумать о судьбе и о том, что меня ждёт завтра. Будь что будет! Многое уже пришлось повидать и пережить. Поможет Всевышний мне – хорошо, а если нет... Увижу ли товарищей, семью?

Через неделю открывается дверь, и немец, как оказалось, австрияк, назначенный вместо предыдущего носить по камерам еду, увидев Библию, спрашивает: „Вас ист? Бибель?“ „Да, Бибель, – говорю ему горячо и с надеждой, – настоящая Бибель“. Он вырвал её из моих рук и исчез. Через минут тридцать приходит, отдаёт обратно, снимает с моей шеи номерок, вешает другой. И номер не тот?! Всех сидевших по камерам рассортировали на две группы – одну, человек десять, на расстрел в назидание «отказникам», а вторую, более многочисленную, – обратно в лагерь. Я и попал, благодаря этому человеку, во вторую группу! Каким-то чутьём люди всё же узнают, когда их поведут на расстрел. Если раньше, особенно по вечерам, когда количество охраны в коридорах уменьшалось, слышались разговоры, даже пение, то за день до моего выхода из тюрьмы пропали и песни, и человеческие голоса – люди молча готовились к смерти! Далеко не отвозили – часто до своей могилы шли пешком в колоннах. Дешевле! А в то время в лагере случилось ЧП: в выгребной яме огромного туалета утопили одного из вербовщиков, капитана РОА. По фамилии, помнится, Ростовцев. Немцы обезумели. Я сначала подумал, что утопили того, большеголового. Но нет, другого. Власти бегали, искали,

угрожали расстрелом, арестовали ещё несколько человек, а потом успокоились. Наверно решили, что такого материала у них ещё достаточно.

Всю дальнейшую жизнь я возвращался в памяти к этому очень значимому эпизоду в моей лагерной жизни! Если бы не заменили номерок, то... С кого же он его снял? С мёртвого или живого? Вот бы спросить. Если с живого, то кто-то погиб вместо меня, а если с мёртвого, то тому всё равно. Однако спас же меня от смерти? Но ведь там, в журнале, моя фамилия была под старым номером? Значит, он и фамилию записал под новым? Так я и не узнал правды. Но мне повезло! Судьба была и на этот раз ко мне благосклонна.

Партийные и советские функционеры любого масштаба, вплоть до секретаря какой-нибудь колхозной партиячейки, политкомиссары Красной Армии, а также военнопленные евреи и цыгане подлежали выявлению и «отбору» из общей массы. На основе приказов шефа Главного ведомства по безопасности рейха десятки и сотни тысяч советских военнопленных были отправлены в концлагерь для уничтожения или частично были расстреляны тут же. С октября 1941 года команда из трёх сотрудников гестапо систематически проверяла наш лагерь. Часто им помогали провокаторы и агентура из числа пленных. Отобранных изолировали от других и размещали в отдельном блоке (форблок). Как только набиралось человек 40–50 – их тут же отвозили в концлагерь Бухенвальд или Флоссенбюрг. Если их было больше, то треть или половину расстреливали в ближайшем лесу, и звуки ночных выстрелов иногда не могли заглушить предсмертные вопли и стенания несчастных людей!

*«Вермахт обязан немедленно освободить лагерь от всех элементов, которых следует рассматривать как движущую силу большевизма». (Оперативный приказ № 8 шефа полиции безопасности и СД от 17 июля 1941 г.)*

Описать абсолютно всю жизнь с подробностями в лагере Цайтгайн не смогу – слишком много всякого там произошло, и эти моменты уже путаются во времени. Тем более в хронологическом порядке. Не взыщите строго! Буду описывать отдельные запомнившиеся эпизоды.

Коснусь и нашего питания. Наши продовольственные пайки были значительно хуже и ниже общепринятых пайков для военнопленных. Вот то, что я запомнил и ел сам: утром «чай» или суррогат кофе, очень редко с двумя кусочками рафинада и кусочек хлеба; на обед – поллитра баланды – жидкого супа из неочищенной репы или брюквенной ботвы с одной, двумя или тремя картофелинами, без хлеба; вечером – на вечер и на следующий день – 500 граммов хлеба «для русских» (50% ржаных отрубей, 20% свекловичной стружки и целлюлозной муки, а также 10% перемолотого сена или листьев), подобие чая, 10 г маргарина или свекольной патоки. Если была возможность, то в радиусе лагеря съедалось всё, что росло – щавель, трава, крапива, даже колючки (их растирали в кашицу!), молодая листва берёз и лип...

Как-то осенью (какого года – не помню) в лагере вспыхнула дизентерия – очень неприятное и опасное недомогание в таких условиях. А с ноября начался и тиф – ещё более опасная болезнь. Лечения никакого. Питание плохое. Ввели карантин. Пленные умирали как мухи, десятками. В бараках стояла такая вонь, что, казалось, поднимется крыша. Похоронный катафалк работал на полную силу. До весны 1942 года в живых из 50 тысяч перво-прибывших пленных осталась десятая часть. Все пошли на тот свет. Полегли в чужой, далёкой от их Родины саксонской земле. Вечная им память и вечный покой! Я заболел одним из первых. Направили в ремир – санчасть. Доктор поднял рубаху, глянул на живот: диагноз – тиф-сыпняк. Немцы испугались возможного распространения, и у них не было иного выхода, как отвезти первых заболевших подальше, в полевой госпиталь для военнопленных. Оказывается, был и такой. Правда, для пленных из других стран. Русских там было лишь несколько человек. Нас закинули под брезент повозки, и лошадь, управляемая одним только немцем, потянулась в неизвестность. Миновали какой-то лесок, ещё километра три-четыре. Госпиталь небольшой, человек на сто. Нары, но уже не так тесно, да и двухэтажные. Рядами печки на опилках. Тепло, чисто. Поменяли нательное бельё. Повели в душ. Уже чудо! Никто не бьёт, не кричит, но и лекарств никаких. Еда почти такая же, может у иностранцев

была получше, но мы от них изолированы. У меня случился криз этой болезни – потеряв сознание, упал со второго этажа. Когда пришёл в себя, один больной говорит: „Ну ты, дед, громко свалился. Кости у тебя какие-то звонкие. Вижу, лежишь, а помочь не могу, сам слабый“. Лежал я в госпитале какое-то время, пока болезнь перестала быть контагиозной (заразной). Всю мою одежду сожгли, хотя она была ещё в неплохом состоянии. Выдали чистую, но старую, а какой армии – нельзя было понять. Так я и вернулся обратно. Лежу на своих нарах, мечтаю – вот бы опять в мою команду! Вдруг появляется мой друг Андрей Семёнов, приносит котелок супа, хлеб и лук. Сообщает приятную новость: „Тебя обратно к нам. Еле уговорили“. Начал ходить с командой, как и раньше. Чуть поправился. Многие поумирали. Команда обновилась более чем наполовину. Со временем я уговорил того же унтер-офицера Функе позволить нам варить картошку не в бараке, а в пристройке возле стены склада. Он морщился, морщился, но разрешил. Наши умельцы сложили и печку-буржуйку из кирпичных обломков, жести и кривой трубы. За обедом мы ходили в лагерь, а здесь украдкой варили картошку. Хитрили – варим первое ведро. Приходит немец, смотрит, уходит. Часа через два приходит снова – картошка всё ещё варится. „Вы медленно варите одно ведро?“ Мы толкуем – дрова попались сырые (или гнилые), поэтому процесс затянулся. На самом деле варилось второе или даже третье ведро! Догадывался он или нет, нам было не важно. Главное – не орёт, не докладывает выше. У нас выработалось правило – из того, что направлялось на кухню, в лагерь не брать, а с общелагерного склада можно. Там не вёлся строгий учёт. Хотя старых лагерников становилось меньше, новые всё-таки прибывали. Не в таком огромном количестве, но каждую неделю сотня-другая бедолаг появлялась. С круглыми от ужаса глазами, оборванные, окровавленные, прибитые горем. Были эшелоны прямо из-под Москвы, Смоленска, среди пленных – медики женщины, санитары. Начали привозить пожилых ополченцев из-под Ленинграда, других городов.



и прятали приобретённые тайком ножики, ножницы, иголки, бритвы. Нам не позволялось быть людьми. Однажды я спросил у знакомого немца, почему нас так мучают. Можно было бы подбросить яд в котлы – и всё! Всем конец! Немец доходчиво, как по учебнику, пояснил: „Проблема ваших трупов уже давно существует в нашей Германии! Это волнует и правительство, и наш народ. Немецкие учёные предпринимают попытки поставить это на поток – печи, специальные камеры для сжигания керосином или бензином, взрывчатка“. После такого «энциклопедического» объяснения я больше не спрашивал.

*Вот выдержка из воспоминаний лейтенанта Отто К. «Воспоминания на основе записей» (1977 г.): „Умерших хоронили на четырёх так называемых «кладбищах для русских». Сегодня я дежурил на очередном погребении. 500 в одном ряду! Уже более 10 000 лежит в могилах-рвах! Я не могу забыть опять одну и ту же жуткую картину, то, что видел: трупы сбрасывают с вагонеток, они с треском падают на промёрзшую землю и вновьполукрытые глаза бесправных жертв внимательно следят за этим скотством. Во что мы, немцы, превратились? Это же были тоже люди, наделённые, как и вы, такой же душой... Ночные проверки всех постов вокруг лагеря, вдоль колючей проволоки с наблюдательными вышками с охранниками с автоматами, по опустевшим дорожкам между бараками для нас были одновременно и страшными, и полными какой-то зловещей романтики, особенно в холодные зимние ночи яркой полной луной – из неотопленных барачков доносились жуткие стоны, звуки, похожие на хрипы умирающих или на рык озверелых хищников, разрывающих свою добычу...».*

Немцы в любом разговоре, устном или письменном приказе, объявлении, инструкции для нас постоянно показывали не-людям-коммунистам, что они не являются нормальными представителями рода человеческого. А вторым сортом, отбросами, патологией, и наши усилия противостоять лучшей в мире армии обречены на поражение, так как мы не способны ни понимать что-то современное, ни нормально учиться этому. Мне это часто

говорили прямо в лицо, очевидно рассчитывая, что я расскажу своим. Это была своего рода лекция о разнице между настоящей западной цивилизацией и восточными дикарями. Это было откровенное и наглое издевательство надо мной, моей Родиной, над прежней жизнью. Мы для немцев (и пусть сейчас не врут, что не для всех!), именно для всех, в прямом смысле не были нормальными людьми. Похожими – да, но стоящими чуть выше человекообразных обезьян!



*Уютный тогда и особенно сейчас городок Цайтгайн. Невозможно представить, как засыпали после трудового дня жители саксонского городка, зная, что в километре от них разверзлось жерло ада, в котором каждый день, каждую ночь исчезали души таких же людей?! Тысячи, десятки тысяч!*

*Как, какой злой волей в таких красивых местах, освящённых церковными колокольнями, мог спокойно жить и поживать местный народец всего в километре от тех адских ворот?! Более того, в 1947 году местные власти выделили участки для земледелия местным бауэрам именно на территории обширного кладбища для бывших советских военнопленных?! Снесли деревянные кресты и поделили землю! Всё бы и ничего... И росла бы немецкая картошка с капустой и свёклой, морковкой и брюквой, да вот ведь какая незадача – начали из-под плуга вылезать на божий свет косточки наши, российские, кожа, останки тел невинных, убиенных зверями из зверей! Заверещали крестьяне немецкие – мол, хлеб будет не тот, с трупным запахом, пшеница в кровавые цвета окрасится... Приехала лаборатория, взяли пробы, анализы и, наморщив недовольно горбатые носы, вынесла вердикт: „Я, я..., шлехт. Эта земля не годится для возвращения еды для наших людей!“ Отстали по этой причине от святой земельки, пришлось вспоминать, ставить памятники, честных и помнящих находить среди своих... (Из рассказа охранника лагеря по фамилии Пеллет мне 23 апреля 2018 года. Этого в документах мемориала нет!)*

У читателей этих строк может сложиться впечатление, что в лагере неплохо кормили. Оно ошибочное. Суточные пайки были мизерные – только бы поддержать физические силы для всяких работ. Да, на склад редко, но привозили консервы и даже колбасы! Но третьесортные, кровяные, ливерные и обязательно утратившие сроки годности – с запахом, плесенью, мок-рые... Очень редко выдавали даже что-то вроде паштета. Это было очень странное месиво неизвестно из чего и для кого. Скажем, кровяную колбасу весом в килограмм делили струной или острым ножом (нож потом забирала охрана!) на 20 порций! Получалось каждому по 50 или чуть больше грамм! Это только на обед. Два маленьких кусочка серого хлеба. Плюс суп-баланда из отрубей, свёклы, брюквы. Там иногда было и немножко мяса,

но полицаи и капо из числа заключённых принимали пищу первыми и вылавливали все кусочки до единого. Оставляли только в виде поощрения своей непосредственной прислуге – сексуальной, сапожнику, тому, кто стирал им бельё. На завтрак и ужин был один и тот же зеленовато-серый чай и редко – горький кофе. Опять тот же хлеб. Сахар давали чрезвычайно редко, чаще густую тёмно-коричневую патоку. Осенью иногда выпадало счастье – привозили целую телегу разношёрстных яблок – остатки с местного винзавода. Наполовину гнилые, попадались и целые, зрелые, недозрелые – всё съедалось вмиг! А так искали и питались листьями молодой липы, собирали щавель, воровали у бауэров ревень, капусту. Кстати, капусту тоже привозили поздней осенью, и её в сыром виде съедали вчистую. Никто никогда не дожидался каких-либо щей или хотя бы сала...

Тревожная лагерная ночь. Тяжелые, невесёлые думы. Мысли путаные, отрывочные. Не знаешь, о чем думать, на что надеяться и что шептать – то ли молитву, то ли имя любимой жены, то ли имя первенца сына. Но ночь берёт своё – засыпаю. В шесть часов подъём. Крики „ауфштеен, анкляйден“ – вставай, одевайся! Что тут делается! В проходе тесно. Слезть с нар удаётся с трудом. Особенно трудно выползает тем, кто спал на втором и третьем этажах. Спешно одеваемся, выходим на свободную часть барака – «тагесциммер». Делать вроде бы пока нечего. Но так длится недолго. Гонят в умывальник. Ни мыла, ни полотенца здесь нет. Только длинные подвешенные желоба с холодной водой. Кое-как умываемся. И опять аппель – на этот раз утренняя поверка, но она отличается от вечерней только тем, что проводится в другое время суток. Та же муштра, те же окрики, то же стояние в строю. Потом – на работы.

В лагере Цайтгайн в Саксонии я провёл большую часть своего горемычного плена, поэтому и рассказываю о нём более подробно. В нашей литературе ещё мало сказано конкретного об особенностях бытия заключённых. Это и понятно – выпячивать свои ощущения пленного, давать правдивую картину выживания было непозволительно – тебя и так считали предателем, добровольно сдавшимся в плен, и никто не хотел ни читать, ни

слушать твои стенания о прожитом. Очень многое авторы приукрашивают. Опять по той же причине – показать хоть капельку своей сопротивленческой деятельности назло врагу. Ибо взыщут те же всякие органы! Не сразу после войны, так после. Достанут и через 20 лет! И доставали, и стращали, и пытались вербовать на якобы компроматериале. В плену-то был? А там кто знает, услуживал ты немчуре или был у них стукачом? Попробуй докажи обратное. Вот на этом и зиждился весь фундамент оперативной работы МГБ в послевоенное время. На компрометации, лжи и угрозах!

В лагере меня почти все знали в лицо – я многим помогал с какими-то просьбами: выпрашивал лекарства, йод, бинты, сообщал лагерному начальству о мнимой или действительной болезни, о состоянии больного. Часто поздними вечерами рассказывал братьям по плену что-нибудь из литературы, истории, из моей собственной жизни. Всем это очень нравилось, но я старался не переходить рамки дозволенного в плену, зная о вездесущей агентуре, и до поры до времени моё положение было стабильным. А Боженка через моих родителей вознаграждал меня превосходной памятью, которой я пользовался всю жизнь, и этот Божий дар очень помогал мне и в тяжёлые времена, и в добрые дни и годы моего жизненного пути!

Два раза встречался с известным советским писателем Степаном Павловичем Злобиным (1903–1965), автором таких произведений, как «Салават Юлаев», «Остров Буян», «Степан Разин». На первой встрече он попросил меня поспособствовать, чтобы немцы выдали нам лучший паёк ко дню Октябрьской революции (само собой разумеется истинная причина не называлась). Нужно было придумать что-то основательное, и я придумал – юбилей свадьбы у писателя! Сошло! Немцы посмеялись, но, как истинные семейные лютеранские чистоплюи, выдали белый хлеб, масло, сахар и чуть больше ливерной колбасы. Мой авторитет намного вырос.

Второй раз Злобин неожиданно озаботился приобретением флагов. Попросил раздобыть красного материала или анилинового красителя такого же цвета для окраски белых простыней. Этот опасный трюк планировался тоже к какому-то

«красному» празднику в календаре. Я достал для него два немецких – свастику можно было убрать хлоркой, ну а остальное было делом местных лагерных умельцев. Но где и как он их применил, не знаю. Одно только осталось в памяти – его иногда отпускали с лекциями по литературе, особенно по немецкой, по соседним лагерям. Может в этом всё дело? С.П. Злобин проживал в отдельном бараке вместе с медиками. Там условия были немного лучше. Пленные его уважали, старались чем-то помочь. Он и в лагере занимался прозой, и немцы ему не мешали. Там он написал оригинальную полуфантастическую повесть «Капитаны вселенной». Также в лагере перевёл на русский язык роман Конан Дойля «Одинокая велосипедистка». Их я прочитал. Это были рукописные книги, но написанные твёрдой рукой и красивым почерком. Освобождение же писателя из плена до сих пор является для меня неразрешимой загадкой. Из лагеря немцы повезли его с завязанными глазами, но в кабине грузовика. Его посадили вместе с водителем и сопровождающим офицером. В кузове тоже кто-то был. Вроде, охрана. И вдруг после войны читаю: Злобина в конце 1944 года подбросили в Польше наступающим советским частям. Таким странным образом он очутился среди своих. Понимаю так, что его на кого-то важного обменяли. После смерти Сталина он написал большой роман «Пропавшие без вести», части которого вышли в 1962 году. Я его тоже прочёл. В нём он описывает борьбу советских людей в лагерях. Но это прежде всего художественное произведение, и автор, конечно, имеет право на вымысел и фантазию. Речь в романе идёт о нашем лагере Цайтгайн. Фамилии условные, описывается создание подполья, способы приобретения оружия, радиоприёмников, подготовка к вооружённому восстанию. Сообщаются такие детали: пленные чистят и ремонтируют немецкое оружие в каком-то специальном бараке в лесу и находят способы доставки автоматов по частям в лагерь. Но никакой ремонтной мастерской оружия и в помине не было. Немцы никогда не доверили бы нам такую работу. Во время «шмона» они забирали все режущие-колющие предметы – самодельные, даже самые маленькие, ножики, ножницы любых размеров, пилки, стеклянные бутылки, даже крупные гвозди

считались орудием возможного нападения. Поэтому роман есть художественное произведение. Основа историческая, остальное – фантазия автора.

После войны, когда я проходил госпроверку органами МГБ уже в советском фильтрационном лагере, показания С.П. Злобина сыграли главную роль в том, что я не был автоматически, как тысячи других, зачислен в число предателей Родины или фашистских коллаборантов.\* На допросах он честно и объективно рассказал обо мне, что сам видел и знал. Его слова и его честность спасли мне жизнь! Память о советском писателе, моём солагернике и брате по несчастью навсегда осталась в памяти. Вечная ему слава и вечный покой!

В период наступления советских войск немцы вели себя нервно и заметно по-новому. После побега группы заключённых во главе с русским пленным, то ли Полежаевым, то ли Полетаевым (точно не помню)\*, немцы шарили по всем лагерям, выискивая затаившееся подполье, – боялись повторения побега. Они опасались и активных организованных выступлений. Почти перестали бить нас. Вели себя тише. Нас это не могло не радовать – в воздухе запахло чем-то особенным, немцы стали другие. Странно, но начали гонять на работу и наших полицаев и «капо»! Более того, им давали более грязную работу, а нам привычную. Случилось и такое.

Мой друг Андрей Семёнов увидел среди них своего «крёстного отца» – полицаю, который когда-то сильно избил его железным прутом. Избил так, что крепкий от рождения и спортивный Андрей сутками отходил от ран. Тогда он поклялся отомстить. Подошёл ко мне, показал обидчика и попросил: „Что хочешь делать, но уговори часового не вмешиваться в наши мужские дела. Это же между русскими? Не сможешь – тогда и ты мне враг!“ Я оценил обстановку – постэн (конвоир) новый, мне незнакомый. Вооружён. Решил начать с другой стороны. Пошёл разговаривать с солдатом Шмидтом, работником склада. Тот лучше понимал мой немецкий, мог и отказать, но вряд ли стал бы бить или докладывать начальству. Шмидт долго слушал не перебивая, сказал, что понял, и пошёл на переговоры с конвоиром. Как-то уговорил того не вмешиваться. Конвоир

после этого подозвал меня: „Гут. Я пойду в другую сторону, подальше отсюда. Пусть твой друг делает что хочет. Только не выдай меня, а то застрелю!“

На моих глазах Андрей, разъярённый, сконцентрированный, подошёл к полицаю, сидевшему на куче картошки. Тот сразу его узнал, но испуга в глазах не было. Наоборот, явное сознание превосходства, пусть и бывшего. Правым крюком Андрей ударил того так сильно, что с головы снялась кожа вместе с волосами, как скальп. Бил зверски, вкладывая всю свою ненависть к этому подонку, загубившему не один десяток людей. Он вымещал на нём всю свою злость и на судьбу, и на плен, и на немцев... Бил и бил – ногами, руками. Хрустели кости, лопалась кожа, кровь залила землю... Помню слова: „Это тебе за первый год, это – за второй, это – за Лёньку. Потом добавлю в лагере“. «Добавка» не состоялась. „Не будь то профессиональный боксёр!“ – подумал я. Конвоир, не глядя на лежавшего, скомандовал отнести его в барак, что и было сделано. Там он и умер через сутки.

Советский Союз в своё время не подписал Женевскую конвенцию 1929 года о статусе военнопленных и жертв войны. Поэтому в Германии мы были вне закона. С нами можно было делать всё, что угодно, – расстреливать, калечить, вешать, топить, жечь в камерах... Наша дорогая Родина и её великий вождь также не считали нас за людей, и на протяжении войны вдавливали в головы остальным, что никаких пленных в Советской Армии нет и не было! Все они предатели и враги! По своей воле пошли в плен, соблазнившись фашистскими хлебами. Кстати, эта Конвенция всё же была подписана Советским Союзом, но уже после войны. Однажды в лагерь приехала комиссия Международного Красного Креста – человек 15. И военные, и гражданские. Побывали в блоках, в бараках, в госпитале, т.е. там, где были американцы, англичане, французы. До нас очередь не дошла, а я, дурак, уже подготовил обращение к ним! Но русских даже близко к ним не подпустили.

6-го июня 1944 года союзники наконец открыли второй фронт! Англо-американские войска в этот день высадились в Нормандии. Мы сразу заметили, что немцы как-то необычно

повели себя после этой новости. Один конвоир всё время вертелся возле меня, желая поделиться этим событием. Нашёл момент, когда никого поблизости не было, выпалил: „Цвайтэ фронт! Знаешь?“ – и отскочил в сторону. Подробностей о ВТО-ром фронте мы не знали – сколько их, какие силы, техника? Куда направлен удар? Тогда я снова обратился к тому же немцу и спросил о деталях. На удивление, тот рассказал, что на побережье Нормандии высадилось огромное количество войск, много тяжёлой техники, танки, орудия, грузовики, а самолёты бомбили и бомбили несколько дней подряд и немецкие войска, и города. Погибло множество людей и было разрушено много заводов. Он был смущён и очень огорчён случившимся, а я бешено обрадовался и, почти не скрывая своих чувств, бросился докладывать своему окружению.

У нас был настоящий праздник! Как радовались этой новости пленные, как прыгали они, как, не боясь никого, кричали... К вечеру уже весь многотысячный лагерь знал это. Где-то раздобыли спирт... Чуть выпил и я.

После падения диктатуры Муссолини и капитуляции Италии в сентябре 1943 года в наш лагерь начали поступать пленные итальянцы. Парни, как мне показалось, не очень крепкие, деликатные, но весёлые, музыкальные. Даже не верилось, что ещё вчера они были нашими врагами, а сегодня уже в лагере. Их содержали отдельно от нас, в самом углу нашей территории, в 300 метрах. Там тоже была охрана, но не такая плотная. Можно было вечером спокойно пролезть под оградой, что мы иногда и делали. Там условия были намного лучше. Все, кроме выходцев из СССР, были под опекой Красного Креста. Потом начал увеличиваться приток американцев и англичан. Конечно, не сравнить с количеством пленных из Красной Армии, но прибывали. Они то и дело играли в футбол. Ни дождь ни снег не помеха. Гоняют себе до седьмого пота мячик, кричат, веселятся... Я удивлялся этому – и игре, и столь свободному поведению. Потом до славянина дошло – они радовались, что обязательно останутся в живых. Неважно, что в лагере, но в живых! У нас же были противоположные чувства. Мы молились и уже из последних сил просили Боженьку дать нам шанс. Поговаривали, что среди

итальянцев есть и женщины, а среди них – настоящая графиня! Звучало как сказка. В концлагере – и графиня?

Однажды к нам пробрался итальянец Лука и начал искать офицера, знающего или итальянский, или немецкий. Пришёл ко мне. По дороге этот Лука на ломаном немецком объяснил, что у них лежит графиня, ей очень плохо, умирает, и она хотела бы поговорить с каким-нибудь русским офицером. Хочет что-то ему подарить. У меня глаза на лоб, но иду... Он остался за дверью, а я зашёл в женский барак. Подошла медсестра в белом халате с крестом на рукаве. Спросила, по какой причине прибыл. Я не стал говорить сразу о будущем подарке, а сказал, что иду к графине (грэфин). Та повела меня вглубь и показала в угол, где за полузакрытой занавеской лежала пожилая красивая женщина. На кривых ногах подхожу, представляюсь, кто и откуда. Она показывает рукой на стул. Сел. Слабым голосом говорит: „Я очень любила и люблю Россию. Не вашего идиота Сталина (у меня волосы дыбом!), а людей, страну, её великую культуру. У нас тоже есть свой идиот – Муссолини, а мне дороги русские, и я переживаю за их победу. Она придёт!“ Назвала почти всех наших великих писателей, композиторов (к стыду своему, знал только Чайковского). Назвала города. Над её головой висело распятие. На стенах – иконы с ликами католических святых. Графиня Эмилия лежала на беленькой постели с вытянутыми вдоль тела бледными худыми руками. Вдруг снимает с пальца перстень и протягивает мне! Пояснила, что она тяжело больна, вряд ли вернётся живой из плена: „Возьмите самое ценное, что есть здесь у меня. Это на память, в знак моей глубокой симпатии к России, к российским офицерам! Уверена, вы победите Гитлера. Когда-то давно вы помогли моей Родине после страшного землетрясения\*. Мой отец был там, он морской офицер. Распоряжайтесь моим подарком по своему усмотрению, но сберегите его. Я очень прошу вас об этом и буду рада!“ Она хорошо разговаривала по-немецки, чётко, и я всё понял. Очень смутился и не знал, как реагировать. Решил промолчать. Будь что будет! Перстень с расширенным ободком, на нём две латинских буквы «LE», переплетённые между собой. Внутри были какие-то маленькие вмятины, но прочитать их без лупы

было невозможно. Я вертел перстень в руках, не зная, что с ним делать. „На палец, на палец“, – промолвила графиня. Дежурная сказала, что пора уходить. Графиня протянула мне свою слабую маленькую ладонь. Я неожиданно, как в прочитанных романах, поцеловал руку. На глазах графини показались слёзы. Выходя, оглянулся. Она улыбнулась и махнула мне. Лука вывел меня за периметр. Распрощались. Я узнал, что он её пожизненный слуга. Это была первая и последняя встреча с настоящей, а не книжной графиней. Говорили, что она в своём имении создала госпиталь для подпольщиков и партизан. Но кто-то «сердобольный» из простых сограждан донёс...

В лагере прятать перстень было легко. При обысках – в землю, и стой себе столбом. А днём привязал к щиколотке, и делай свою работу. Главное – никому не показывать и не хвалиться. Это я уже усвоил прочно!

После неудавшейся вербовки и моего ареста, о чём уже говорил, я не сразу попал в настоящий, «классический» по немецким понятиям, концентрационный лагерь. Были ещё два промежуточных пункта – лагерь военнопленных Мельберг и Лейпцигская тюрьма. Настал черёд рассказать и про это.

Думаю, где-то летом 1944 года меня вместе с другими «преступниками-отказниками» направили в лагерь Мельберг. Это такой же стационарный, постоянный лагерь под номером 4-Б. Капитальный, обжитой. Немцы старались по мере возможности нас не держать постоянно в одном и том же месте – боялись бунта и попыток создания подполья. Помню – лето, в полях везде, как и у нас, васильки. Это было километрах в 40 от прежнего лагеря. Снова барак, вонь, вши, болезни. Опять регистрация, допрос – кто, что, родители, член ли партии, комсомолец и т.д. Уже в тысячный раз – а вдруг обмолвишься, забудешь что-то из прежнего – вот и виселица тебе, шпиону! Вдруг вижу – немец на бланке моего допроса ставит штамп «Уберлейфер!» Я напряг память, пытаюсь вспомнить, что значит это слово? Оно какое-то важное. Штамп заметный, малиновый. Значит, точно важное! Слово «ляуфэн» я знал – бежать, а вот приставка «убер» имеет много значений – над, через, выше... Напряжённо думаю дальше. Мне как-бы кто-то подсказывает

сверху – не торопись, думай, вспоминай, здесь твоё будущее... От «ляуфэн» производное существительное – «лэйфэр» (бегун, беглец). И вдруг озарение – «перебежчик!» Никто меня не спрашивал об обстоятельствах пленения, и справка у них есть об операции и нахождении в немецком госпитале. Никакого дела до этого. Перебежчик – и всё! Это то же самое, что и предатель! Особенно для наших! Лицо у немца сердитое, напыщенное. Я побоялся спрашивать у него. Что делать? По конторе прохаживался какой-то офицер с плёткой в руке и важной физиономией. Я к нему. Объясняю, что это ошибка. А за время плена я уже хорошо мог пересказать мою историю. Выучил. „Господин офицер, я никакой не перебежчик и не хочу, чтобы мне ставили такой штамп. Меня взяли в плен тяжело раненного, об этом в моём деле у вас есть справка госпиталя. Меня, как офицера, вылечили, а потом уже в лагерь“. Аж вспотел от нервного напряжения! Он посмотрел на меня: „Angst vor ihnen?“ (Боишься своих?) „Да“, – ответил я. Тот подумал, подошёл к столу, взял у писаря мой формуляр и что-то сказал штамповальщику. Тот переписал, а старую картонку разорвал и бросил в ящик. Вот как иногда решается судьба и извечный вопрос „жить или не жить«. Так я перестал быть перебежчиком, а снова стал военнопленным. А о жёсткой руке Матери-Родины давно ходили леденящие душу слухи!

После этого офицер приказал мне сесть за стол и помогать заполнять бланки на прибывших. Повышение! Так я на какое-то время сделался писарем в конторе лагеря Мельберг. Регистрировал поляков после разгрома фашистами Варшавского восстания. Первого августа 1944 года, согласно приказу командования Армии Крайовой с согласия лондонского польского эмиграционного правительства, началось плохо подготовленное восстание гражданского населения Варшавы. Слабо вооружённые, не организованные, в основном молодые ребята дорого заплатили за попытку опередить приход Советской Армии и самим взять власть в свои руки. Погибло около 200 000 жителей столицы. Город был полностью разрушен, уцелевших сопротивленцев вывезли в концлагерь. Передо мной проходили плохо одетые, измученные, подавленные люди, тихими голосами

называли свои фамилии и имена. Отчеств у поляков, как и у всех жителей Европы, нет. Я, к их удивлению, довольно грамотно вносил их данные по-польски, а другие строчки заполнял по-немецки. Шевельнулась мысль, что, может, немцы меня каким-нибудь писарем сделают, тогда точно выживу. Дудки, кончились поляки – кончился и писарь из Беларуси. Кстати, смешно сказать, но ни мне, ни моему сыну Олегу никогда не везло на блат и знакомства. Мы всё добывали своей головой и руками!

В этом лагере было совершено нападение на роту предателей, завербованных во власовскую армию. Их держали отдельно, кормили и чему-то обучали. Ночью возле их барака никакой охраны не было. Барак, построенный для них, стоял особняком. На территории лагеря, но на самом углу, далеко от вышек и от комендатуры. Кроме того, как мы слышали, между ними и основными пленными частенько происходили стычки, вплоть до драк. В одну из тёмных осенних ночей активная и физически сильная группа советских военнопленных неожиданно напала на них и перебила подручными средствами человек десять! Там, конечно, была не полная рота, да и неожиданность сыграла главную роль. Пока немцы разобрались что к чему, нападавшие исчезли и залегли на своих нарах. Сначала немцы думали, что будущие бойцы против коммунизма передрались сами (такое тоже бывало), а только потом запрыгали, ворвались к нам – тут все спят. Побежали в другой – и вот так бегали всю ночь по всем огромным баракам, выискивая инициаторов побоища. Начальство решило в ответ на такие происки пленных из России отправить их дальше, в настоящий концлагерь. Отправка была ускорена. Хотя я и не участвовал в набеге, меня тоже поставили во дворе, всем надели наручники и связали ноги с последующей парой. Так и залезали в вагоны. Много конвоиров. Куда везут – не говорят, не кормят. Едем, едем... Вдруг – город Лейпциг. На круглых тумбах объявления: разыскивается обер-бургмайстер Карл Гёрдэллер, участник покушения на Гитлера. Оказывается, 20 июля 1944 года полковник Клаус Шэнк фон Штауфенберг организовал неудачное покушение.

Подводят к огромному мрачному зданию. Читаю – «Ляйпцигер полицай гефенгнис» (Лейпцигская полицейская тюрьма). Оказывается, это и был конечный пункт перед полной и окончательной несвободой – концлагерем!

Камеры-одиночки с глазком в толстой железной двери. Места мало, но нас посадили по четыре человека – три матраца на полу и одни нары. В правом углу унитаз со сливным бачком. Просто комфорт! Люди мне незнакомые. Еду приносит тюремный служака в специальной униформе. Еда та же – баланда из подобия овощей. Для желудка, наверно, неплохо, но для поддержания сил – увы... Обнаружили какие-то аппараты за решётками сверху. Похоже на подслушивающие устройства – от них почти открыто шли провода. Трогать руками не стали. Товарищи по несчастью хотят через меня узнать у раздающего, за что их посадили и что дальше? Я осмелился спросить. „Не хцели вальчить!“ – ответил тот по-польски. (Не хотели воевать!) Ах, вот оно что! Тут же всплыла в памяти вербовка к власовцам.

Во время нашего нахождения в тюрьме на город было совершено несколько налётов союзной авиации. Бомбили крепко: земля, стены – всё ходило ходуном и трещало. Но мы были рады этому. Во время налёта всех, кроме русских, сгоняли в подвалы прямо под камерами. Город покрывался темнотой, из окошка дома были неразличимы – гарь, везде пожарища и темень. А мы сидим в камере и просим Бога, чтобы он разбомбил и весь город, и тюрьму вместе с нами. Мы были готовы умереть, но только бы врага стёрли с лица земли. Почти месяц нас продержали в этой тюрьме. Потом по очереди начали выводить по одному в канцелярию. Большое помещение с решётками на окнах. На столах лампы. За одним – машинистка, оказалось, из бывших русских. Молчаливая, но по-русски говорит почти без акцента. Снова, уже в который раз, нас пересчитывают, переписывают, уточняют. Отобрали всё, что было с собой. Часы – в одну коробку, расчёски – в другую, носовые платки, носки (если были) – в третью. Настала моя очередь. „Имя, отчество, фамилия?“ – делает какие-то пометки. Я чуть наклоняюсь к ней и спрашиваю: „Зинд зи русин?“ (Вы русская?) „Когда-то была“, – и замолкла.

Больше я ни о чём не спрашивал. Стало не по себе. Уж очень казённая и настораживающая была обстановка. Тихо, все молчат, только скрип пера по бумаге. Подошёл немец. На коробочке с карточками и нашими наручными часами написал чёрной краской: «к/л Флоссенбург». Я прочитал и понял. Спросил только, отдадут ли нам часы.,,Это для того, чтобы не повредить их в дороге, – там вы их получите“. Немец соврал, но что поде-лаешь? Снова наручники, цепи на ноги. Едем. Нас много, очень много. Набрался откуда-то целый состав. Человек пятьсот–шестьсот, а может и больше!

Под монотонный стук вагонных колёс приснилось (или при-виделось), что еду через наши поля, луга... Вижу соломенные крыши белорусских дере-вень... Вот вроде мелькнули знакомые липы за садом и красная черепичная крыша, единственная в деревне... Силуэты какие-то. Похожи то на жену, то на мою давно почившую мать... Откуда она здесь, умерла ведь давно? Лай собак вернул меня к действительности – рядом сопели, хрипели и кашляли почти живые трупы – мои друзья по несчастью. Мы все ехали в последнее путешествие по этой брэнной, но такой красивой и прелестной земле. Что там нас ждёт, сколько мы продержимся, и продержимся ли? Нужно собрать все остатки моих сил! Ещё же не старый, да и голова есть... Только бы выжить... Вот тогда и начну снова с нуля – работа, семья, жена, да, чуть сына не забыл. У меня же есть сын!

## День пятый

Поздно вечером приехали к каким-то железным воротам. Вот он, ад, сотворённый человеческими руками! Огромные ворота, напоминающие входна кладбище. На них большими коваными буквами гитлеровский девиз для рабов – «Арбайт махт фрай!» (Труд делает свободным!)

*Тяжёлые кованые ворота в настоящий немецкий концентрационный лагерь «Флоссенбюрг». Я тоже был здесь, я видел и могилки неизвестных, и те, на которых были выбиты славянские, русские фамилии. Я видел жерла печей, стол, на котором у мёртвых или полуживых пленных щипцами вырывали золотые зубы, снимали коронки. Видел вышки, откуда торчали макеты пулемётов, высокий колючий забор в два ряда под напряжением. Видел и большой холм, уже поросший зеленью. Сюда из печей ссыпали пепел и кости тех, кто сгорел в огненном фашистском аду! Здесь, в мемориальном музее, я увидел полочку с историей моего отца – фотографии, его воспоминания на немецком и русском, пару лагерных документов... Там я стал на колени!*

За воротами слева – импровизированная трибуна, обитая чёрным крепом\*. На неё поднимается какой-то начальник, тоже в чёрной офицерской форме, и произносит напутственную речь: „Вы прибыли в концентрационный лагерь Флоссенбюрг. Сюда пропускаем вас мы, а отсюда (засмеялся) для вас дорога прямо в рай! Этот лагерь – идеальное место для перевоспитания непослушных и ленивых наций. Хорошая, старательная работа на благо рейха облегчит вашу участь. Итальянцы выживают здесь месяц. Американцы и англичане – два, а вы, русские свиньи, выдерживаете аж до четырёх! Это нам нравится, и мы вам найдём достойную и последнюю в вашей жизни работу. Теперь – санитарный контроль, помывка, переодевание в униформу – и по баракам. Марш!“



Конечно, я не смог дословно воспроизвести его речь, но моей фантазии здесь почти нет. Это повторялось потом почти каждый день. Вот так цинично, не боясь ни Бога, ни чёрта, говорил представитель арийцев— потомок Гегеля и Феембаха, Шиллера и Гёте, Баха и Генделя... Дальше — трибуны по прямой, плац, вымощенный камнями и плитами. С нас снимают наручники, отвязывают друг от друга. Немцы уходят в служебное помещение. Мы стоим и не знаем, что делать. Воздух какой-то затхлый, пахнет плавленным гудроном и дымом. Это от крематория. Его высокую шестигранную трубу мы заметили сразу, а о мрачном предназначении слышали ранее. Подошли пред-

ставители лагерного самоуправления из числа заключённых и отвели нас в барак. Приказа выходить оттуда не было, но мы, чуть придя в себя, по одному, по два начали выползать во двор. Для знакомства, так сказать. И то, что я увидел, потрясло меня и взволновало. Из одного барака какие-то мрачные люди выносили трупы. Мертвецы были голые, их тела – сущие скелеты – жёлтые, морщинистые, грязные... Их складывали в ряд лицами вверх, подсчитывали и делали записи в книге убытия. На пороге другого барака кого-то били: табурет, на нём животом вниз лежит узник, торс оголён, до земли висят ноги и руки. Здоровый детина в серой, не полосатой, робе хлещет беднягу по всем местам черенком от лопаты. Второй стоит рядом и считает по-немецки: цвёлф, драйцен... Говорит: „Стоп“. Пятнадцать ударов палкой – больше человек не выдерживает. Поэтому и было сказано «стоп». Потом команда „строиться!“ на центральной площади – «апельпляц». Стоим час, второй... Никто, никуда не ведёт. Наверно, это уроки для новоприбывших. Я стараюсь отвлечься и снова погружаюсь в воспоминания – так легче переждать, легче вынести эти издевательства – Родина даже в мыслях продолжает согревать...

До 1939 года по приказу Гитлера построили 6 концлагерей: Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, Флоссенбюрг, Нойенгамме, Равенсбрюк. Во время войны их намного расширили, число пленных в каждом возросло в четыре-пять раз. Это в самой Германии. На оккупированных землях были созданы до 1942 года девять лагерей (имеется в виду именно концентрационные, других видов – постоянных, пересыльных было ещё десятка четыре): Маутхаузен, Освенцим, Гузен, Натцвейлер, Гросс-Розен, Майданек, Нидэргафен, Штуттгоф, Арбайтсдорф. Были ещё лагеря на территории России, Беларуси, Литвы, Латвии и Украины. Были и отдельные лагеря для малолеток. Все наказания заключением в концлагеря и другие подобные заведения были пожизненными. Никого и никогда оттуда не освобождали! Все умирали там!

В баварских горах, рядом с чешской границей, где вьётся река Флёс, и был в мае 1938 года построен один из первых в Германии концентрационный лагерь Флоссенбюрг. Но это был цен-

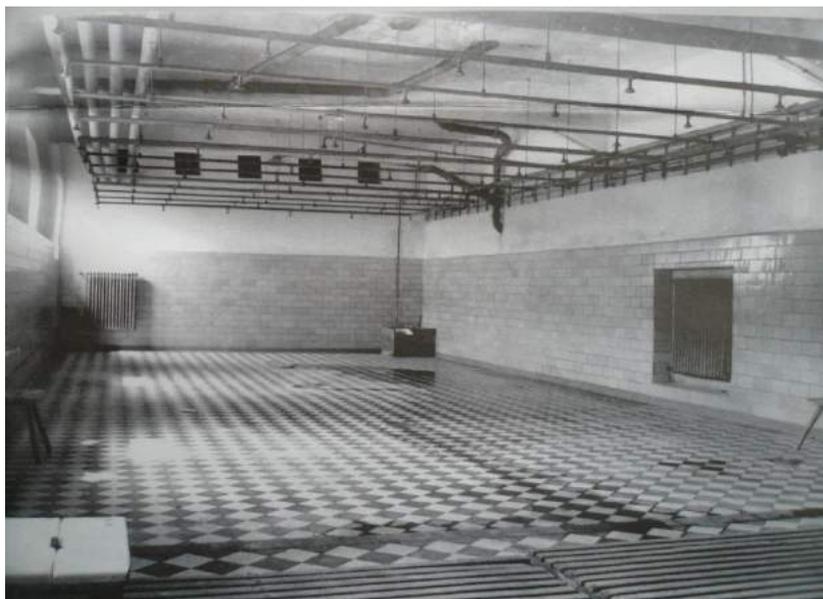
тральный, головной лагерь, а всех его филиалов и отделений в той же Баварии насчитывалось 26. Что же представлял собой тот, в который меня доставили? Два ряда высокого забора из колючей проволоки под напряжением. Внутреннее кольцо было выше всех, а между рядами глубокая канава. Верх ограждения с колючей проволокой был сильно наклонён внутрь, чтобы ни у кого не появилось желание перелезть через него. Везде белели электроизоляторы. По проводам шёл сильный ток – 320 или 350 вольт! Для заборов использовался специальный трансформатор! Большое здание занимала канцелярия лагеря – «лягер-фервальтунг»: кабинет шефа – начальника лагеря, лагерное гестапо, караульное помещение, бухгалтерия и прочие службы, регулирующие учёт, использование и уничтожение людей. Батальон охраны был расположен вне лагеря, недалеко. Охранники-эсэсовцы со зловещей эмблемой «SS» – аббревиатура от двух немецких слов: «шутц + штаффель» (охранный отряд). Эсэсовцы были самой кровавой и верной опорой Гитлера. С их помощью и с их участием уничтожены тысячи и тысячи военнопленных из Советского Союза. Читая книгу Игоря Неверли «Парень из Сальских степей», я обратил внимание на меткую характеристику фашистского «дна»: „Они попали в Флоссенбург, самый подлый лагерь“. И это действительно так. Даже концлагеря прагматичные немцы делили на разряды по степени жестокости обращения с заключёнными. Узнали мы от немецких коммунистов, что концлагерь Флоссенбург создан ещё до 1939 года в числе таких, как Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, Равенсбрюк, Нойенгамме. До войны в этих местах содержались в основном немцы, не принявшие гитлеровской нацистской системы. Созданный Гитлером в 1933 году так называемый «фольксгерихт» (народный суд) оперативно штамповал смертные приговоры противникам фашистского диктаторского режима. За период нацистского господства только здесь было вынесено более 32 тысяч смертных приговоров. Остальных негодных этот суд под руководством известного палача и садиста Роланда Фрейслера бросал за колючую проволоку.

За воротами справа – регистратура. После регистрации мы уже не военнопленные, а каторжники (гефтлинги).

Долго стояли на ветру. А в горах ветер со всех сторон. Прятались друг за друга, прижимались, чтобы сохранить остатки тепла. Почему нас не разводят по баракам? Какая ещё наивность у этих русских. Здесь каждый шаг – пытка, издевательство. Прежний лагерь был человечнее. Вокруг много приземистых, длинных бараков. Десятки. Они тянутся рядами далеко, аж до большой горы. Вообще вся территория лагеря зажата с трёх сторон горами. Их высота – 300–400 метров. На горах густой, непролазный лес. От аппельпльаца в разные стороны идут мощёные камнем дорожки, ступеньки. На них какие-то знаки, цифры. Всё с немецкой основательностью. Вдруг команда – в барак! Оказалось, не в барак на отдых, а в баню, на помывку. Очень боялись мы этих бань! Уже были наслышаны об истинном их предназначении, но противиться этому не могли – вокруг охрана с автоматами и овчарками. Многие прямо дрожали от страха, раздеваясь в ледяной прихожей. Боялись газовых камер. Я старался себя держать в руках – будь что будет, на всё Божья воля! Немцы кричат, бьют резиновыми палками, подгоняют – очень уж медленно двигаются эти скоты! Сняли всё, стоим. Помещение человек на сто. Мёрзнем. Стоим полчаса. Команда – „К врачу!“ Доктор ничего не смотрел и никого не прослушивал: весы – запись, рост – запись. А все – кожа да кости, дистрофики, вес чуть за 50, а у кого и меньше! Потом парикмахер. Он стриг все волосы на теле, где бы они ни росли. Мы уже знали – на матрацы или одеяла именно для нас самих! На голове он делал дорожку-полосу от лба до шеи. Её метко прозвали «лагерштрассэ» (лагерная тропа). Потом погнали в мочную, чего мы все страшно боялись.

Но я думал, анализируя обстановку, – зачем выдавать одежду тем, кого в печь, а нам выдали кальсоны и рубахи? Обувь пока никакой не было. Но всё равно сердце прыгало, как бешеное. Боже, зачем ты создал такую поганую нацию?

Мы оказались в очень грязном, скользком и вонючем помещении с какими-то бурыми пятнами на стенах, с липким цементным полом. На полу клочья волос, что нас ещё больше насторожило.



*Баня для узников концлагеря «Флоссенбург». Здесь и мыли, и травили газом. Это многопрофильное заведение было тщательно продумано: после помывки или казни помещение очищалось хлорированной водой под давлением – национальная тяга к аккуратности и чистоте была на первом месте.*

Весь потолок был в трубах, из которых свисало множество распылителей с дырками. Кто-то из охраны сказал, что помогут после нас. Дрожим, чего-то ждём. Ни мыла, ни тазиков, ни мочалок. У некоторых на груди нательные крестики. Их тоже скоро отберут. Вдруг открывается вверху, в торце стены, окошко, и голос по-русски говорит: «Здравствуйте, господа Советы. Будем сейчас вас купать!» И тут же из дырок сверху свиснул кипяток! Люди орут, мат, вопли о помощи: «Сволочи, убийцы, живодёры...». Кто-то уже шепчет успокоительную... Быстро соображаю, что между четырьмя душами есть в центре незаливаемое пространство. Жмусь изо всех сил туда. Удалось – не все сориентировались. Кипяток перестал литься. Снова голос: «Ой, извиняйте, коммунисты-товарищи, перепутал краны. Вот сейчас

хорошая водичка – специально для вас!» И хлынул ледяной ливень! Спасения нет! Брызги долетают и до меня. Начинают стучать зубы... Вдруг отовсюду засвистели струи вонючей хлорированной воды! Санитарно-дезинфекционная обработка! Но вот всё! Помывка закончилась. Быстро, дрожа от холода, оделись. В комнате уже была груда самодельных башмаков – кожаная или деревянная подошва и сверху перемычка. Почти римские сандалии. У многих ожоги. Несколько человек умерло. Их тут же положили в углу. Никто не реагировал на человеческую кончину – дело привычное. Принесли одежду – концлагерную униформу – полосатые халаты, полосатые штаны, роба и полосатый берет. В следующем помещении клеймение – слава богу, что не на коже, а на рукаве ставили тавро – треугольник из очень стойкой и едкой краски, созданной для заключённых выдающимися немецкими химиками. В её составе была какая-то кислота, и за полминуты она выедала поверхностный слой ткани, на месте которого оставался навечно этот затвердевший знак. Треугольник – знак политического заключённого. Были люди с чёрными, жёлтыми, зелёными треугольниками (русские – с красными, евреи – с жёлтыми, цыгане – с чёрными, гомосексуалисты и другие извращенцы – с розовыми). „Каждому своё!“ – любили повторять немцы. Команда „Антрэтэн!“ (строиться!). Всех выгнали опять на холод, на ветер, опять пересчитали (число-то уменьшилось?). Откуда-то появилась усиленная охрана с автоматами, собаками. Эсэсовцы ушли в тёплые помещения. Мы стоим. Осталось пару охранников и собаки. Так нас истязали до вечера. Но всё же дождались – погнали в блок. Блок – это деревянно-щитовой барак тоже без потолка – крыша и стропила над головой. Трёхэтажные нары. Какое-то подобие постели – матрацы с травяной трухой. Лохмотья вместо одеял. Просыпаешься ночью – первые мгновения не понимаешь, где ты и что с тобой! Вокруг темень, вонь и самое страшное – всхлипы, хрип, какие-то нечленораздельные выкрики людей. Каждый на свой лад, кто храпит, кто свистит сквозь беззубый рот, а кто уже тяжело дышит, хватая последними клочками лёгких земной воздух. Кто-то зовёт

маму, отца, кличет то ли собаку, то ли своего коня... Атмосфера ада, безысходности, провала в чёрную дыру небытия...

Постоянные мысли – как это случилось, почему мы, Советы, за пару недель превратились в труху, куда подевались танки и самолёты, наше военное мастерство, о котором слагали гимны, пели песни, трубили на всех углах? Где попрятались наши brave на учениях и важно надутые генералы? А где Сам?

Потом вся эта политическая шелуха, портретные наслоения испарялись – и в дымке вставали лица родных, вкусно пахнущий дымок из трубы, силуэты яблонь... и узкая дорожка, протоптанная нашими лошадьми в густой и высокой луговой траве... Их милые голоса, какие-то наставления, советы, тепло рук матери или мачехи..., блины и многоокая глазунья...

А над всем этим парило на фоне дощатой крыши её лицо, глаза... Облик той, единственной, но далёкой, уже слишком далёкой... Наши прогулки с детской коляской вдоль маленького ручейка, наша недолго длившаяся искренняя любовь...

У входа слева – комнатка для «блокэльтэстэ» (старшего по блоку). Там надраенный пол, чистота, мягкая и пышная постель. Шкаф. Справа от входа – маленькая каморка для писаря и парикмахера. Здесь постоянно следили, чтобы волосы у нас не отрастали и не закрывали «лагерштрассэ». Общая территория барака разделена на две неровные половины. Меньшая – «тагэсциммер» (дневная), большая – «шляфциммер» (спальная). В дневной – полки для мисок и ложек, вешалка для полосатых халатов, внизу – для обуви. В спальное помещение было запрещено входить в халатах, штанах и в обуви. Только в нижнем белье. Прежде чем залезть на нары, надо всё снять с себя и сложить в ногах, сложить аккуратно, в том порядке, в каком одеваешься: сверху нижняя рубашка, потом брюки, ниже куртка, за ней халат и под ним берет. Перепутаешь – получишь пять палок.

Вернись назад – пока мы ждали новой одежды, в отдельном домике происходила интересная и «весёлая» процедура. Из окошка поочерёдно доносились то дикие вопли, то смех?! Мы подумали, как бесчеловечно держать умалишённых в маленьком помещении. Они там стоят, что ли? Оказалось, эта процедура

называлась «выламывание зубов» у живых и нормальных людей! Всё, что блестело во ртах, должно было идти на пользу Германии! И нас всех пропустили через это действо! Заталкивают туда. Команда – „Раздевайся!“ Подхожу голый к столу. Там два немца. „Открыть рот! Руки вперёд!“ О Боже, у меня перстень на пальце, замотанный тряпкой! Я забыл про него. Думал, как лучше сберечь в бане, а тут такая неожиданность. Не просчитал – вроде зубы у всех смотрели... „Снять!“ – ревет немец. Я пробую – не снимается. Палец то ли от душа, то ли от голода разбух. Немец резко встаёт и куда-то уходит. Второй тихо говорит: „Возьми мыло“. Перстень легко снялся. „Фамилиен реликвиен?“ (семейная реликвия?). Он подумал, что это, как у них, подарок матери или отца перед отправкой на фронт. „Прячь, быстро прячь!“ – скомандовал он и показал мне место на моём теле, куда заглядывает только врач при контроле простаты или геморроя! Я повиновался – и тут же заскочил немец с плоскогубцами в руках: „Во ист Ринг?“ (Где кольцо?). „Дринэ!“ – мой спаситель ткнул пальцем в коробку с дырочкой для снятых колец. Потом я вёл себя более осторожно и предусмотрительно. Могли откусить и весь палец. Такие случаи уже были. А прятать итальянский подарок было не так сложно. Я подшил его в толстую подкладку за воротник, и он почти не прощупывался. Подшивал в одиночестве. Здесь в отсутствие моих друзей я пока никому не доверял. Доносчиков хватало. Но на руке я его больше никогда не носил.

Был ещё случай. Блуждая по территории лагеря, пройдя, примерно метров 100 по прямой дорожке, я наткнулся на невысокий забор с калиткой, за ней прямая наклонная дорожка к огромной печи с тремя топками под большим навесом. Понятно, это крематорий. Издали мы его видели. Но вот вблизи... Я приостановился у калитки. Явственно слышу трупный запах и вонь горелого тела. Возле отверстия в печи копошатся четыре фигуры в кожаных фартуках. Не обратив внимания на табличку «шперзонэ» (запретная зона), я направился к печи. Шагах в пяти остановился. Но не успел сказать даже слова, как двое подбежали ко мне, схватили за руки и попытались уложить на носилки на рельсах. Я

взмолился, но не по-немецки, а по-польски: «Панове, я свуй! Я естэм свуй!» – путая польские и белорусские слова, просил могильщиков отпустить меня. Они остановились. Сказали, что здесь запретная зона и чтобы я убирался поскорее отсюда. Так моя любознательность чуть было не закончилась плачевно. Позднее я узнал, что работники крематория менялись через каждые десять дней – отработавших свой срок самих отправляли в огонь, а новых ставили на их место. Ужасная судьба ждала и этих! Дантов Ад!

Начались страшные будни концлагерной жизни. Кто читал Библию, тот помнит, какой ад сотворила фантазия авторов Священного Писания. Там в аду стояли котлы с кипящей смолой, и в ней варили грешников. Это страшно, но такого широкого спектра издевательств и пыток, как здесь, нельзя и представить! До чего только не додумались проводники «лучшей в мире немецкой культуры и интеллекта»! На каждом шагу избиение, оскорбления, крик, унижение. Команды – то „ложись“, то „вставай, смирно“, „на колени“... Слабые, шатающиеся тени бродили по территории. Искали, чего бы поесть, что сорвать? Бормотали, разговаривали сами с собой... Настоящий Ад!

Так прошло несколько дней, может, и неделя. Вдруг ранний подъём – часов в пять. Быстрей, быстрей! „Ауфштэ-ен!“ (Вставать!) На завтрак принесли баки с бурдой – немецким кофе. Кусочек хлеба. Вновь команда – „Встать! На выход!“ Сотни сабò\* застучали по каменным дорожкам. Построение. Говорят, что нас шестьсот человек. Огромная колонна с усиленной охраной. Нас гонят на погрузку.

Железнодорожная ветка подходит к лагерю с тыльной стороны. Четыре товарных вагона стоят в тупике. Двери открыты. Охранники прикладами, пинками загоняют нас внутрь. Заталкивают так много людей, что стоять и то трудно – теснота, яблоку негде упасть\*. Гремят двери вагонов. Подгоняют паровоз. Сцепка. И состав тронулся. Куда? Нам ничего не объясняют. С нами вообще никто не разговаривает. Полная неизвестность... В вагоне темно – даже щелей не видно. Безысходная тоска.

# Kennzeichen für Schutzhäftlinge in den Konz. Lagern

EXHIBIT 1

## Form und Farbe der Kennzeichen

	Politisch	Berufs- Verbrecher	Emigrant	Bibel- forscher	homo- sexuell	Asozial
Grund- farben						
Abzeichen für Rückfällige						
Häftlinge der Straf- kompanie						
Abzeichen für Juden						
Besondere Abzeichen	 Jüd. Rasse- schänder	 Rasse- schänderin	 Flucht- verdächtig	 Häftlings- nummer	<p>Beispiel</p>	
	 Pole	 Tscheche	 Wehrmacht angehöriger	 Häftling Ia		

*Обозначения для охраняемых узников концлагерей.*

*Форма и краска для обозначений.*

*1-я строка: Политические (такими обозначали всех советских), нарушители рабочего режима, эмигранты, толкователи Библии, гомосексуалы, асоциальные.*

*2-я строка: Основные краски.*

*3-я строка: Обозначения для рецидивистов.*

*4-я строка: Проштрафившиеся узники.*

*5-я строка: Обозначения для евреев.*

*6-я строка: 1-я линия – Особенности обозначения – имевший интим с еврейкой, имевшая интим с евреем, способный к побегу, номер узника, 2-я линия – Р – поляк (русским ставили букву R), Т – чех, бывший военнослужащий Вермахта, узник по поручениям.*

– Неужели в Германии есть ещё более страшные места? Куда нас везут? – слышится первый голос.

– На каторгу, на подземные работы! – вторит другой.

Рассмотреть в темноте лица нельзя. Знакомого можно определить лишь по голосу. В лагере ходили слухи, что где-то в горах, недалеко от концлагеря, немцы строят подземный завод по производству ФАУ- снарядов. ФАУ – сокращение от двух немецких слов: «фергельтунгс» – возмездие и «ауфрюстунг» – вооружение. На это «оружие возмездия» гитлеровское руководство возлагало большие надежды. Рассказывали, что действительно в горах работы производились вначале вахтенным способом, но способ этот не был вахтенным в нашем понимании этого слова: туда увозили 500–600 узников, оттуда привозили «на отдых» человек 100–200... Вахта, так сказать, с потерями. Уцелевшие каторжники об этом и рассказали.

На фоне гробового молчания жёсткий перестук колёс, скрип на поворотах, вздохи паровоза. Едем километров пять. Сквозь щели в дверях и маленькие зарешёченные окошки под потолком видим – горы стали выше, кое-где вершины без растительности, строгие, скалистые. Остановка и построение. Оказывается, что здесь, в горах близ Херсбрука, секретная новостройка.



Завтрака почему-то не дали – видимо, спешили. Поезд остановился. Начинается выгрузка. Платформы нет, прыгать приходится вниз, никто не удерживался на ногах – все падали. „Антретен! Антретен!“ – кричали немцы. Строимся в колонну. Осматриваемся вокруг – унылая местность, гористая, с редкими деревьями. Недалеко гора, очень высокая, подъём крутой, никаких ступенек. Ведут под усиленной охраной. Откуда-то появились две овчарки с поводьями. Подниматься наверх трудно. Приходится карабкаться на четвереньках. Некоторые срываются и катятся вниз. Таких поднимают прикладами и криком и гонят в строй, хотя строя как такового нет – каждый взбирается на вершину горы кто как может, но под охраной. Вот вход в штольню. Он устроен не у подошвы горы, а примерно на половине высоты. Короткий отдых. Он дан не нам, а охране – устали наши погонщики и их собаки. Груды песка. Трубы разного диаметра. Железо разного профиля. Мощные компрессоры. Мы сидим на камнях и чего-то ждём. Потом было построение, подсчет и рапорты о сдаче-приёмке рабсилы. Принесли пищу. Непонятно только, что это – то ли запоздалый завтрак, то ли ранний обед. Бидоны с баландой приехали после нас – «вассэрзуппэ» был холодный и прокисший. Миски и ложки хранятся в штольне. На зубах хрустит песок. Отсюда, с высоты, хорошо видно, как поднимаются грузы, необходимые для проходческих работ. Вот группа узников шаг за шагом перемещает снизу вверх длинную трубу. Человек двадцать уцепились со всех сторон, но сил явно не хватает – труба то и дело сползает вниз. Конвоиры кричат, размахивают палками и винтовками, подгоняют носильщиков ударами и пинками... Согласованности нет, команды никто не подаёт, нести тяжело, некоторые падают под тяжестью груза, один покатился вниз, за ним бежит охранник... Все ослабели, истощённые полосатые фигурки упустили трубу, и – о горе! – труба повернулась горизонтально и покатилась вниз, подмяв под себя двоих... Для них рабочий день уже закончился, как закончилась и сама еле тлевшая в их телах жизнь... На такой важной стройке механизации было мало – ни подъёмников, ни лебёдок, ни кранов. Почти всё делалось вручную, физической силой узников концлагеря. Позднее я и сам занимался ручной перевалкой грузов и по опы-

ту знаю, как это трудно. По ровной плоскости кое-как, а на гору – каторга! Нацепляется столько рук, что места нет взяться ещё одному человеку, а груз ни с места. В то время мы не осознавали, что это был не обычный тяжёлый труд, а немецкая методика уничтожения людей – евреев, цыган, славян – всех тех, кто мог представлять угрозу фашистскому рейху. И люди погибали. Сотнями и тысячами. Ежедневно и ежечасно. Без вести пропавших становилось всё больше и больше. Из вновь прибывших формируются рабочие бригады по 10–12 человек. К каждой группе прикрепляется надсмотрщик, по-немецки «командофюрэр», но здесь эта должность именовалась почему-то итальянским словом «капо». Надсмотрщики подбирались из среды узников, но в основном это были осуждённые за уголовные преступления. Капо на подземных работах старались больше, чем сами немцы – строители и охранники. За малейшую оплошность или непослушание они забивали узников до смерти. Сами не работали. Написал «не работали» и спохватился: работали усердно избивая подчинённых. Оружия у них не было, а только палки, у некоторых – плеть или кусок резиновой труб-ки. Кормили надсмотрщиков отдельно от прочих узников и намного лучше. Они были здоровые, упитанные и злые, как цепные псы. Свою злобу и обиду на судьбу надсмотрщики вымещали на неповинных.

У каждой бригады три начальника – «командофюрер» (старший капо) и два капо. И если руководитель группы осуществлял общий надзор, получал наряды на выполнение работ, раздавал инструменты, вёл учёт убивших (убитых и умерших) и часто отлучался, то оба капо находились постоянно с нами и пристально наблюдали за ходом всех работ: как загружались вагонетки, как работали отбойные молотки и т.д. И когда в изнеможении узник падал и отползал в уголок, чтобы умереть, палка капо доставала его и там. И тогда, если дистрофия не была в последней стадии, смерть отступала, палка гнала несчастного к вагонетке с породой. И всё начиналось сначала – вялая работа, падение, тёмный угол – и на этот раз уже настоящая смерть... Один капо отправлялся за носилками, мы отрывались от основной работы и несли товарища в покойницу – большую нишу

при входе в штольню. Возвращаемся обратно на место работы. Отдыха нет. Перекуров нет. Воды вообще нет – бетон мешают где-то далеко и подают наверх мощными компрессорами. Хочется и пить, и есть. И ещё – отдохнуть. Силы убывают с каждым днём. На нашей группе прекратилась вахта – в лагерь уже не привозили, поступало только небольшое пополнение из лагеря вместо выбывших.

Колонна за колонной по пятьдесят человек еле бредут до железнодорожной ветки с товарными вагонами. Раздвижные двери расползаются в стороны, и нас пинками, прикладами усаживают на свободные места, как скот, совершающий свой последний путь на земле. Все молчат – нет ни сил, ни воли разговаривать. Кто-то из дальнего угла рассуждает вслух: „Может, наконец, на расстрел? Как всё надоело, мочи нет...“. До меня дошла вся философская глубина этой печальной фразы, сказанной во мраке безысходности. В ней было всё – пройденный очень небольшой путь, кое-какой жизненный опыт, отчий дом с дымком из трубы, огонь в горящей по утрам печи... и родные люди, лица их... Теперь святые, а тогда не понимал – мозги всех недорослей не приспособлены для того, чтобы думать и задумываться. Есть, принимать как можно чаще пищу и удовольствия – да! Но думать и сочувствовать...? Как часто мы, наверное всегда, тщимся хоть в каком-то виде вернуть ушедшее время, исчезнувших людей, но – увы! Пусть бы об этом почаще задумывались нынешние молодые люди. Дни бегут быстро!

Каторжане день и ночь вгрызаются в гранит, в скалы, вырубая тоннели для будущих заводов по производству авиационных моторов БМВ, танковых и прочих специальных снарядов. Многие говорили, что это только прикрытие для изготовления в штольнях «оружия возмездия». Очень уж трудоёмкими были работы, да и туннели планировались глубокими и просторными, словно будущие цеха?! Размер их на глаз был таким: ширина – 6–7 метров, высота – 4 м. Слухи были разные, но в то время мы ничего не знали о работах над ракетами ФАУ и их запусками. Работа в штольнях кипела круглосуточно. Ночью при свете прожекторов, днём – под рёв тягачей, бульдозеров и свист кожаных хлыстов. Вот главная штольня – длинный прямой

подземный коридор. Высота его около 3 метров, ширина – примерно 10–12 метров. От этого главного прохода в обе стороны проложены ответвления – штольни поуже, их примерно восемь – с одной стороны четыре от главной и с другой столько же. Главная штольня имеет два выхода на поверхность. Её длину определить трудно – около 200–250 метров. Здесь установлен транспортёр для выброса грунта. В остальных проходах – узкоколейная железная дорога с небольшими вагонетками, которые перемещались вручную. Выборка грунта производилась с помощью кирки, отбойного молотка и подрыва динамитом. Для подрыва сверлили множество отверстий, закладывали патроны со взрывчаткой, к каждому патрону – провода, они тянулись далеко от места взрыва. Подаётся команда: „Алле раус! Аусбрух!“ (Всем уходить! Взрыв!) Команды подаются по-немецки, многие не понимают, и нередкими были случаи, когда вблизи взрыва оставались люди и погибали. После взрыва – пыль, гарь, звенит в ушах. Опять крики: „Вагонетки сюда! Десять человек с лопатами!“ Начинается погрузка. Никаких механизмов, особенно для заключённых, я не видел. Самая трудная работа была с отбойным молотком. Держать этот инструмент в руках никто не мог – физическая слабость не позволяла. На каждый отбойный молоток ставили по два человека – один держит его и направляет долото в твёрдую породу, второй подставляет своё плечо под корпус молотка. Никто не выдерживал на плече тяжёлый, трескучий инструмент более десяти минут – падал, с ним падал и молоток – мастер кричит, машет руками и ставит новую пару узников, Я тоже не раз работал с молотком и знаю, как это трудно. Стук под самым ухом, пыль в глаза, стоять на куче камней и песка тоже нелегко... Каторжная работа! Когда штольня готова, гранитные стены зачищены, выровнены, начинается следующий этап – бетонирование стен и потолка. Для этого ставились мощные железные дуги – не совсем дуги, а полусогнутые куски железных рельс – называли эти детали тьюбингами. Потому что цельную дугу высотой в четыре метра и в основании метров шесть никто бы не смог поставить. Части этой

мощной арматуры свинчивались с помощью накладок и болтов. Ставили две с одной стороны и две с другой. Стоящие с большим наклоном связки надо было держать руками. Держали узники, но не всегда удерживали. Самое трудное – это поднятие и крепление верхней части дуги – полусогнутого куска рельсы. Когда таким образом арматурная дуга была собрана, её закрепляли клиньями и кусками досок – клинья загоняли между земляной стеной и дугой, выравнивали под шнур и ещё раз закрепляли. Дуги стояли. Через каждые полтора метра дуга, ещё дуга... Всего 10–12, как когда.

Вот это обстоятельство – возможное падение арматуры – однажды использовали подпольщики (и здесь были таковые) для отмщенья за страдания. Дело обстояло следующим образом. Подходят ко мне двое русских. По виду немолодые, может быть командиры или комиссары Красной Армии в прошлом, и говорят:

– Ты знаешь немецкий язык. Должен помочь нам. Рассуждать не дано. Внимательно слушай! Вот тебе свежая газета. Возьми и читай. Твоё место – под дугами. Вокруг тебя соберутся немцы – их в штольне человек двадцать. Сколько соберётся – столько и хорошо. А повалить дуги – это уже наша работа. Понял?

Я, конечно, всё понял. Я должен стать самоубийцей. Пытаюсь объяснить, что, мол, война близится к концу, и очень хотелось бы выжить.

– А тысячи и тысячи погибших – им не хотелось выжить? Ты должен! Ты обязан! Тебя что, прислали сюда немецкий язык изучать?

– Впрочем, ты можешь уцелеть. Когда услышишь слово „миттагэссэн!“ (обед), бросай собравшихся немцев – и стрелой из-под дуг. Понял? Выполняй!

И вот это «выполни!» резануло мне слух. Значит, это приказ. Кто его дал мне – неважно. Свои. Точно так будет и на свободе – сверху отдают приказ, а ты должен не задумываясь выполнять всякую партийную ахинею! Неудивительно, что так и довели страну до развала! Позже вставал и такой вопрос: уничтожив по приказу партизанского

командования одного-двух немцев где-нибудь в Белоруссии, задумывались ли комиссары и командиры о последующей тут же несоразмерной и жестокой мести немцев?! За одного-двух – расстрел целой деревни? Вот так кровью невинных приучали любить Советы и сплачивать сопротивленческие ряды. /Это со слов бывшего партизана в Толочинском районе Витебской области./

Я развернул газету пятидневной давности. На первой странице сообщение верховного главнокомандования немецкой армии. Мелькают слова: «планомерный отход», «отход с боями», «бои под Варшавой...». За газету наказывать не будут – это официальный орган нацистской партии. Сводка тоже вполне легальная. Ну что ж, попробую выполнить приказ. Прихожу под дуги, выбираю место под лампочкой, чтобы удобнее было читать помятую газету. Разворачиваю. Вглядываюсь в сводку. Подходит немец – его называли «штайгер». Посмотрел на меня, потом на газету. Удивился: „Что за газета? Кто дал?“ Показываю первую страницу с названием и говорю: „Камерад!“ (товарищ). Подходят второй, третий. „Вас штейт дорт?“ (Что там написано?) – слышу вопрос. Я читаю. И вдруг своды подземелья отзываютсяэхом: „Миттагэссэн!“ (обед). И ещё, и ещё – обед, обед! Раздается призывный клич надежды на утоление голода. Я сую немцу газету в руки и бросаюсь в сторону крика. Успеваю выскочить из-под опор. Железная МАХИНА рухнула наземь. Раздался грохот. Столбы пыли заполнили проход. Шнур, привязанный за одну из дуг, предусмотрительно отвязали – он был замаскирован в песке, – подозрений нет, значит – несчастный случай. Многие видели, что у подножья горы стояла санитарная машина, в которую погрузили два трупа в форменной горняцкой одежде. Через пару дней ко мне подошел один из тех двоих и совсем тихо представился:

– Майор Денскевич. Молодец! Это тебе зачтётся! Находишь в толпе и не бери больше в руки газету.

„Умеют же люди!“ – подумал я. – И вспомнил евангельское изречение: „Мне отмщенье, и аз воздам“. Эти слова я знал от своего отца.

А пока адские муки продолжались. Немцы вроде и не чувствовали, что скоро придётся отвечать за свои злодеяния. Продолжали свирепствовать. Многих моих друзей, прибывших в одном эшелоне, уже не было в живых. Погибли белорус Стёпа Рыбак, поляк Тадеуш Блажевич, русские Ваня Борщёв, Коля Седых, Авенир Бессонов...

В один из мрачных дней каторжной жизни подходит Андрей Смоленов. Я его еле узнал. Исхудалое лицо, бледный вид, слабость в движениях, медлительность в голосе. «О Боже, когда же это кончится?» – проговорил он, едва ворочая языком. И продолжил: «Знаешь, есть два пути испытать счастье, попробовать вырваться из пекла этой подземки.

Я не совсем его понимал. Наш разговор был прерван – подошёл капо и закричал: „Арбайтэн! Лёс!“ (работать, давай). Позже мы с Андреем договорились лечь спать рядом. Тогда и поговорим.

„Лучше умереть, чем так жить, – сказал. – Есть два способа. Первый – лечь на ленту транспортёра, накрыться кусками породы и «уехать в неизвестность». Ведь транспортёр движется по неосвященной штольне, да и нет там никого. Ты меня хорошенько закроешь“, – закончил он свои мысли.

– А второй способ? – переспросил я.

– Вот если пройти по штреку далеко – это штольня № 4, там выход на поверхность, я сам видел, поезд там настоящий железнодорожный, говорят, оборудование будет доставлять.

– Ну, и что дальше?

– А дальше решай сам, колесо вагона не помилует... – он замолчал. Я, кажется, понял: так закончила жизнь самоубийством героиня романа Льва Толстого Анна Каренина. „Литература учит нас жизни“, – припомнил я слова преподавателя русской литературы в педтехникуме Н.И. Зенюка.

– Если ты выживешь, то расскажешь моей жене и детям о моей смерти. Запомни адрес: Тула, Красноармейская, 10.

Вообразите себе высокую гору. У подножия начинается туннель, идущий сквозь всю толщу на другую сторону. Там выходит на поверхность двумя отверстиями. Таких туннелей планировалось построить несколько. Наш мастер говорил, что

по окончании седьмого нас вернут, правда, куда – сказать забыл?! Эти туннели были и параллельные, и пересекались между собой. Сначала высекали растения, вырывали их цепкие корни, потом выбирали грунт, и только потом с кирками, лопатами и тачками к делу приступали мы – главная рабочая сила Германии! Тысячи человеческих фигурок, прилепившись к скалам, вгрызались в гранит, углубляя и углубляя огромные штольни для будущих путей в глубину горы. Уже гремели отбойные молотки, звенело железо, тяжело дышали большие компрессоры на колёсах. Одни давали воздух для отбойных молотков, другие нагнетали раствор для опалубки. Вслед за вырубщиками породы ставились огромные железные дуги – тьюбинги. За них закладывались доски и нагнетался прочный цементный раствор. Такой техники никто из наших не видел, и мы поначалу с интересом наблюдали за слаженной и неспешной работой немецких специалистов. Всё звенело, стучало, дымилось. Процесс шёл достаточно быстро. Компрессоры пыхтели круглосуточно. Везде сновали с молотками штайгеры (специалисты по работе в горах)– каска с фонарём, альпеншток\*, сапоги с шипами на подошве и медными носами, предохранявшими от падающих камней. У нас не было никакой специальной одежды. Мы работали в тех же халатах, робах и сабо. Недели через две их сдавали в стирку – и так мы чередовали свои одёжные комплекты без надежды на разнообразие.

Одного привоза узников хватало на неделю работы. Большинство или погибали от несчастных случаев или просто тихо умирали от болезней, истощения и беспросветной тоски. Много было и тех, кто заканчивал жизнь самостоятельно – бросались под колёса вагонеток или вагонов, ложились на ленту конвейера, и он сбрасывал их вместе с породой в пропасть. Оставшихся отвозили в лагерь редко – мы ночевали там же, в штольнях. Там уже лежала куча грязных матрацов, набитых человеческим волосом. Поздно вечером, когда менялись сменами, мы выбирали матрац получше и устраивались недалеко от входа, спиной к стене и подальше от центра, по которому время от времени проезжали гружёные автомашины или бульдозеры. Еду привозили из лагеря уже холодную. Привозили не каждый день,

ссылаясь на участвовавшие налёты союзной авиации. Всё больше и больше зверели не немцы, а капо и охранники из наших. Среди них большинство составляли украинцы и прибалтийцы, русских было только паручеловек.

Вдоль достаточно длинного первого туннеля, от начала отверстия до конца тянулась лента транспортёра. Резиновая дорожка с прогибом посередине. Двигалась медленно, но беспрерывно. Сотни узников-каторжан бросали и бросали породу широкими лопатами на ленту. Вдоль ленты была проложена и узкоколейка для вагонеток. Их нагружали специально отсортированными видами горных пород – гранитом, базальтом, сланцами, известняком. Не дай бог если кто-то набросает туда обычного песчаника. Вагонетки вглубь горы толкали руками, обратно они катились своим ходом, а на ней ехал прикрепленный, который соскакивал каждый раз, когда она набирала слишком большую скорость, – он нажимал ногой на педаль, торчавшую сзади, и скорость падала. Темно, тусклый свет еле пробивается сквозь постоянно висящую пыль. Вонючка – выхлопные газы, неветриваемый запах грязных тел и смердящие трупы. Десятки трупов за смену возле стены. Убирать их разрешали только в конце работы. Останавливаться было нельзя – Германия агонизировала, но немцы ещё надеялась на чудо-оружие – вот для него-то и сверлили мы своими руками и душами кривые и длинные дырки в горах. Как черви, как навозные жуки мы ползали вдоль и поперёк, вгрызаясь в массив горной гряды, отделявшей Чехию от Германии.

Кольцо вокруг задиристого рейха сужалось всё быстрее и быстрее. Мы чувствовали это на собственной шкуре по поведению осатаневших капо и охранников из нашей же среды. Все капо в концлагере – немцы-уголовники, уклонявшиеся от призыва, бандиты, убийцы, бывшие тюремные завсегдатаи, часто гомосексуалисты, садисты, наркоманы – извращенцы всех мастей, как бы представители параллельного тёмного мира. Два капо, назначенные старшими над нашим бараком, были славянами. Один русский – Иван, второй – украинец с прыщавым лицом по имени Андрей. Последний, казалось, ненавидел самого себя. Он был старожилом концлагеря. Избежав наказания на

родине, он как-то сумел раствориться среди населения, используя момент оккупации. Потом по какой-то причине попал в лагерь. Все капо были сытые, откормленные. Они поддерживали порядок и на работах. Приказывали убирать трупы, носить баки с едой, водой, подметать пыль, мыть инструменты, машины, приспособления. Никогда и ни с кем не разговаривали по-человечески. Только мат, крики, избиения. Иван плётку и палку применял редко – только тогда, когда рядом был хохол. А тот выделялся своими звериными наклонностями.

Через много лет от сына Олега я узнал, что в лагере Флосенбург прошла встреча представителей немецкого правительства с представителями одной из молодых европейских стран. Сын рассказал, что в музее лагеря он увидел стенд, на котором была цветисто представлена история одного из узников, чуть ли не организатора сопротивления всему фашизму! Звали его Андрей?! Фамилия же странно совпадала с человеком, членом этой высокой делегации. На другом стенде, как выяснил мой сын, была и моя скромная полочка – книжка «Горькая правда войны», пара статей, написанных мной на немецком для Берлинского университета им. Гёте и несколько фотографий довоенного времени. Всё это оформил и передал в музей концлагеря мой сын Олег. Он же поддерживает контакты с сотрудниками музея и периодически навещает этот комплекс, где в конце апреля ежегодно проходят традиционные встречи нескольких ещё живущих узников, членов их семей и общественности.

Извините за отступление, но сын мне сделал такой подарок, что мечтать о лучшем я и не мог – моя трудная и счастливая жизнь, мои родные в фотографиях и рассказах остались навечно (надеюсь!) в том месте, где я познал сущность земного бытия, его горечь, духовность и ценности!

Немцы занимались своим делом – подрыв скальных пород, какие-то шнуры, запалы, жёлтые трубочки. От взрывов долго стояла завеса чёрного и едкого дыма, но для нас это была хоть какая-то пауза. Все ждали, пока он рассеется, и только потом продолжали работу. Многим уже не хватало выдержки и волевых качеств – одни искали лёгкой и быстрой смерти, другие

отказывались от еды, трети просто безучастно сидели вдоль стен и понуро смотрели в землю... Ночами кто-то истово молился, кто-то бормотал имена родных, думая, что они, явившись, заберут его отсюда, некоторые кляли всех и вся, даже Всевышнего, – за то, что ничем не помогают и не спасают его... Конца этой драме не было видно!

Я старался уклоняться от побоев. Иногда удавалось: перекинуть словами с охраной на немецком – смотришь, капо и не бьёт. Даже подходили, просили перевести. Но настроение ухудшалось очень быстро. Наверно, моральные силы были на исходе. Я многое пережил, перетерпел уже годы в таком аду, и крайнее отчаяние не минуло и меня. Один раз хотел броситься под колёса вагона, доставлявшего к стройке всякое оборудование. Не успел прицелиться, как стоявший недалеко охранник бросил на рельсы башмак\*, и вагон, закрипев, остановился. Он оттолкнул меня, выругал и отправил внутрь горы. Подумал, что я на мгновение потерял сознание. Такое случилось сплошь и рядом. Покушения на самоубийство не заметили, иначе сразу расстрел! Самому нельзя, а в рамках немецких законов, пожалуйста, сварганим (но только по закону!) дорогу на тот свет!

Второй раз действовал, как мне показалось, хитрее – лёг на ленту транспортёра и попросил коллег замаскировать меня камнями. Лежу почти как в гробу. Вагонетка со скрипом выехала на свежий воздух. Сквозь дырочку вижу голубое небо. Вот и конец. Слишком долго всё это тянется. Какие-то вялые мысли о семье, жене. Всё будто в тумане, очень далеко, и даже не вызывает никаких эмоций, будто книжку на латыни читаю. Чуть пошевелился – хотя бы до кончины удобно полежать! В конце пути вагонеток был оборудован механизм автоматического опрокидывания – вагонетка останавливалась, её раму захватывали специальные зубья, поднимали один край - и кузов опрокидывался в бездну (сын сфотографировал потом, где-то метров 150 вниз!) Затем вагонетка совершала круг и, зацепившись за цепь, возвращалась на место следующей загрузки.

Вдруг, заметив шевеление, к вагонетке подскочил немец, грубо стащил меня на землю, долго смотрел, живой ли, а потом как заорёт: „Доннер веттэр! (Чёрт побери!) Завтра придёт твоя

настоящая смерть, а может, и моя! Зачем ты раньше Господа решаешь, когда и как? Дурак!“ Наклоняется. Вижу, что это не охранник, а офицер в чёрной форме, гестаповец, начальник всей нашей стройки. Я говорю ему по-немецки: „Я учитель. Я хочу жить! У меня жена и сын!“ Немец остолбенел. Посадил возле стены, предложил сигарету. Я её взял, но не стал прикуривать. „Куда ты собрался, учитель? На тот свет? Дурак ты. Скоро война кончится, вернёшься домой и будешь вспоминать меня.— Подумал и изрёк: — Не все здесь скоты!“ Вынул из ранца кусок хлеба и сыр, протянул мне: „Ешь только здесь! Никуда не ходи. Придётся в себя, иди на рабочее место, но чтобы больше глупостей не делал. Скажу по секрету: осталось мало, американцы уже в 100 километрах отсюда. — И совсем обречённо:— Теперь моя очередь умирать!“ Я начал жадно есть. Он топал возле меня, не зная, что делать дальше. Наверно и ему, человеку в чёрном, начала приоткрываться бездна приближающейся неизбежной смерти? Ожидание затянулось. Я всё съел и продолжал сидеть, потихоньку приходя в прежнее состояние. Явился часовой. Немцы что-то переговорили между собой. Приказали подняться и повели меня к стройке, но не в туннель, а к деревянной конторке. Там меня присоединили к группе пленных. Голова кружилась, ноги не держали, но я стоял из последних сил. Что-то подсказывало: надо продержаться ещё чуть-чуть... Подходит вагон, нас грузят. Немцы почему-то решили часть людей доставить в лагерь. Вот знакомый барак. Лёг куда попало и сразу заснул. Конечно, я не всегда мог держать себя на уровне. Когда болел и лежал на нарах, меня нельзя было узнать. Все принимали за 60-летнего! А мне-то было всего 27 лет!

Кстати, фамилию спасшего меня офицера я запомнил — Мюллер. Родом из близлежащей деревни Хаппург. Его семью — детей и внуков также нашёл сын в этой же деревне, но говорить о судьбе своего деда они не захотели. Ограничились общими фразами сочувствия. Сын говорил, что ему на миг показалось, что и им ведомо такое чувство, как сострадание и совесть!

После войны каждый бывший пленный молчал и по-своему переживал прошлое. Но в самое сложное время я получил два письма — от писателя Злобина из Москвы и ещё от одного

узника Покройского из Крыма. Последний запомнил мой адрес, а Злобина я разыскал через «Литературную газету». Он приглашал меня в Москву на встречу бывших узников, но поехать я не смог – то ли денег свободных не было, то ли супруга, как всегда, воспротивилась.

Случайно встретил одного в Минске в очереди за билетами на автовокзале. Он помнил меня по Козельску, фильтрационному лагерю. Рассказал, что его отправили на Донбасс на шахты на десять лет под подписку о невыезде. Прошло 12 лет, он там женился, обзавёлся семьёй, а в Минск приезжал на похороны матери. У него не нашлось никого, кто бы мог подтвердить его действительный статус в лагерях, поэтому он остался виновным на всю жизнь. Фамилию его я забыл. Держался он очень скромно, старался мало говорить, быть незаметным.

В заключение хочу написать вот ещё что. На допросе следователь спрашивал у меня, как так вышло, что миллионы погибли, а ты остался в живых? Более идиотского и оскорбительного вопроса нельзя было придумать! Вся проверочная госмашина была направлена на уничтожение личности, на поиск врага, на слом человеческой гордости. Раз был в плену – значит враг! И всё! Хотя перед ним лежали все мои документы, говорившие обратное – немецкая справка о тяжёлом ранении и дальнейшей операции, справка из канцелярии концлагеря Флоссенбург (где был, кем был, в каких лагерях содержался и в качестве кого), документ, выданный американцами (где, каким подразделением и в каком состоянии был освобождён и где лечился, и ещё (самое главное – об этом мне рассказал мой сын Олег, лично державший моё тощее фильтрационное дело!) у него в руках были подробные показания писателя С.П. Злобина о моей личности и деталях пребывания в концлагере Цайтгайн.

9	Митюшкин	Ведер	Мчаточки	21.2.45	Белая-Азия
43260	Борисов	Киселай	Сам. Ю. Урал	23.3.45	Белая-Азия
1	Трантубенко	Сурин	Полесье	25.9.46	Белая-Азия
2	Рыжко	Поты	Кавк	5.6.48	Кавк
3	Базов	Поты	Кавк	5.4.28	26.1.45 - Азия
4	Р. К. К.	Семин	Бамк	21.1.23	26.1.45 - Азия
5	Лобачева	Смоля	12.12.22	26.1.45 - Азия	
6	Григорьев	Тепан	Аппунда	22.3.44	26.1.45 - Азия
7	Ковалев	Василь	Блодунга	25.4.48	26.1.45 - Азия
8	Сенинов	Лонид	Молотовск	2.4.17	29.1.45 - Молотовск
9	Ромашин	Школов	Башков	21.8.23	26.1.45 - Азия
43270	Бурбоников	Школов	Школов	12.1.15	
1	Шафеев	Меринг	Кавк	31.3.01	29.1.45 - Молотовск
2	Васильев	Григорий	Школов	26.12.16	29.1.45 - Молотовск
3	Мелионов	Андрей	Полесье	18.11.93	29.1.45 - Молотовск
4	Корытин	Сизый	Кавк	23.11.17	29.1.45 - Молотовск
		Гаврил	Полесье	2.4.16	29.1.45 - Молотовск

Плюс показания Покройского, с которым мы были во Флосенбюрге. Неужели недостаточно? Ан нет! А вдруг он обнаружит в моих внутренностях глубоко спрятавшегося германского или лучше уже американского шпиона? Откуда такой примитив и заранее спланированная направленность? Всё же не 37-й год?! А нутро прежнее – гнилое, заносчивое и наполненное чувством всевластия за счёт лжи и собственных фантазий!

Я как мог спокойнее попробовал объяснить этому зацикленному по причине скудоумия бериевскому служаке, что не виноват в том, что попал в плен, тем более в беспомощном состоянии. Нет ни одной войны без жертв и без пленных. Почему не застрелился, как рекомендуют в советских ура-патриотических книгах? Просто хотел жить и выжить! Я, как человек, а не скотина, имею полное право на это! Не я один был в такой ситуации, а миллионы, а почему – это уже не мне анализировать! Я слишком маленький винтик. А почему выжил там? Причин несколько: прежде всего – хорошее знание немецкого языка, закалка с детства, умение работать, спокойный и выдержанный характер и тяга к жизни, мечта о встрече с семьёй и Родиной! Тот слушал, кивал, делал какие-то пометки и в конце: „Ладно, мы тебе верим, но в будущем смотри!“ – и выставил за дверь. Что это – случай? Да, и случай тоже! Будь он в плохом расположении духа, взвинчен своим начальством, то моя судьба сложилась бы иначе! Дело не в его стремлении соблюдать свои же обвинительные инструкции – дело в настроении самоучек вождей, его начальников и их постоянно меняющихся взглядах! И так было, к сожалению, всегда! Так отчасти есть и сейчас!

Года три я вёл в плену дневник. Но его отобрали вместе с наручными часами, купленными на первую учительскую зарплату.

А вот эти мои записи очень хотелось бы, чтобы послужили хоть каким-то советом, наказом для тех, кто придёт вслед за мной – детям, внукам, правнукам. В них нет открытий, но в них – правда жизни, а не иллюзии, чем так часто тешатся молодые современники. Они не прошли, не видели всего этого, не стояли на краю пропасти – отсюда и хлипкость жизненного фун-

даменты, отсутствие надёжных и правильных ориентиров. Сладкое – всегда липнет, горечь же проясняет глаза и душу!

Мне во многом помогли и такие особенности моего характера и поведения – я не лез на рожон, не острил постоянно, не задирал никого и не ёрничал по любому поводу, старался уживаться со всеми, тем самым смягчая возникавшие напряжения с теми, с кем контактировал. Не курил, не пил, сохраняя также своё здоровье, и, не имея такой зависимости, легче переносил тяготы плена. А то количество спиртного, которое я выпиваю или могу выпить сегодня, я начал осиливать только после войны, после 50 лет! До того не брал в рот ничего. На выпускном вечере в военучилище мы выпили с женой по бокалу шампанского, и даже оно нам было не нужно – мы были счастливы от встречи и надежд на будущее. А в лагере я часто видел, как злостные курильщики меняли последний кусок хлеба на самокрутку, на окурок. Умирает, а тянется к куреву. Этого я никогда не мог понять. Моя боязливость в тех обстоятельствах? Да, она была, глупо отрицать, но не больше усреднённой. Жалко было погибнуть, не увидев жену, сына, родных и свою землю! Мне ещё здорово помогала моя рассудительность и неторопливость в принятии решений, вдумчивость и способность слушать и слышать других, анализировать обстановку! Торопись не спеши! И ещё: ты не всегда прав – нужно искать новое и учиться этому также у других людей!

Была и ещё одна попытка покончить с жизнью. Их было две или три. Пришло подкрепление. Узники окружили вагон со всех сторон. Лом под колесо, и вагон тронулся. Медленно движется к жерлу подземелья. Способ передвижения – сила мышц тех, у кого их не было. Исхудалые тела, дряблая морщинистая кожа, да ещё скелет с виду... Зрелище, достойное древних амфитеатров! Сорок или пятьдесят человек в полосатых халатах облепили железнодорожный вагон с трёх сторон, только спереди не хватало «бурлаков». Многие падали, не сумев крепко уцепиться за выступы и ступеньки. Некоторые, возможно, прикидывались обессиленными. Это были их маленькие хитрости в борьбе за выживание.

Вот вагон вошёл в тоннель. Полумрак. Подвешенные высоко лампочки едва освещают рельсы. Всё обдуманно и взвешено. Я бросаю свое место слева по ходу и перехожу поближе к переднему колесу. Но колесо не в самом начале вагона, а под ним, и к тому же закрыто телами тех, кто его катит. Я выхожу вперёд, мне никто не препятствует, и метрах в пяти от вагона падаю на рельс. Чтобы не остаться без ног, но живым, я лёг животом на холодный металл. Но не успел даже крикнуть „прощайте!“ как тяжёлый вагон остановился: шедший с нами и не замеченный мной железнодорожник подложил под колесо «башмак» – он держал это приспособление в руке. Он первый подбежал и начал толкать меня ногами и кричать, но я не поднимался – и не мог, и не хотел: будь что будет! Меня стащили с рельса, оттянули в сторону и оставили лежать на сыром песке. „Так мне и надо!“ – думал я, лёжа в изнеможении. Не получилось! Ныло тело. Вагон ушёл дальше. Я ползком приблизился к каменной стене тоннеля и сел, прислонившись спиной, чтобы умереть медленной смертью, коль мгновенная не пришла. Не знаю, сколько часов так просидел в одиночестве и в тишине подземелья. Слышны были глухие звуки компрессоров, работающих где-то далеко. С потолка капля за каплей сползала вода. Клонило в сон. Ни одной мысли. Везде пусто – в желудке, в голове, в душе. Полный разлад с действительностью. Почти сходил с ума. Потом, кажется, уснул.

Вдруг слышу шаги и разговор на польском языке. Улавливаю слова: „Ещё едэн! Живы альбомартвы?“

Меня кладут на носилки и несут. Что-то спрашивают, но я молчу: не знаю, на каком языке лучше говорить – возможно, эти люди от крематория. Собирают, так сказать, материал для полной загрузки печи.

Носильщики несколько раз останавливались, отдыхали, хотя ноша была не тяжела – во мне осталось килограммов 40–45 веса. – Тутай! – говорит один. Меня вываливают в кучу ослабленных, обессиленных, которые уже не могут самостоятельно передвигаться. Но вот чудо: нам приносят пустые миски с ложками. Будет обед! На тачке привозят бидон с супом, а там – о чудо! – плавают уже кусочки мяса! Начинают раздавать: кто-то один берёт у каждого миску, передаёт второму, тот наливает и

возвращает первому. А тот суёт в руки больному, независимо от того, чья это была миска. „Суп хороший!“ – лепечет мой сосед.

Увидев движущуюся ленту, я вспомнил Андрея и его советы о двух способах рассчитаться с жизнью, если такое голодное рабство позволительно называть жизнью. От команды с вагонетками я отстал и присоединился к тем, кто набрасывал песок на ленту транспортёра. К счастью, никто нас не пересчитывал в это время. По разговору узнал, что здесь несколько русских. Взял стоящую рядом лопату и начал ковыряться в песке. Какое-то время работали молча, потом я спросил у соседа:

– Кто вас охраняет?

– Никто, – говорит. – Мы уже не способны бежать...

– Меня забросает песком? – говорю ему.

– Где? – переспрашивает тот. – На этой дорожке?

– Да, на этой дорожке, больше не могу...

– Тогда иди за мной, потому что здесь светло.

Мы отошли метров двадцать назад по ходу транспортёра – здесь вверху лампочка не горела. Незнакомый русский парень помог мне взобраться на движущуюся ленту транспортера и сказал, чтобы я лег ничком, а то засыпят глаза. Я повиновался. Лег ничком, подобрал полы халата и закрыл глаза... Он шёл рядом – благо лента двигалась медленно, и бросал лопатой на меня грунт.

– Получше прикрой! – говорю я.

– Сейчас наши прикроют! Каждый по две лопаты, и тебя никакой немец не заметит. Прощай!

Когда лента двигалась среди работающих узников, я почувствовал на себе тяжесть могильной земли. И успел ещё подумать: вот и на кладбище так – все бросают по горстке земли в свежерытую могилу...

Не знаю, сколько метров живой труп двигался вместе с песком. Сообразить было трудно, да и зачем? Думаю, метров двести. Телом чувствую, как шевелятся ролики под резиной. И вдруг окрик, громкий и внушительный: „Halt! Du bist noch lebendig!“ (Стой! Ты еще живой!) Транспортёр тут же остановился – солдат нажал кнопку остановки. „Откуда он узнал, что я живой?“ – подумал я. Солдат начал сбрасывать с меня землю, а

потом помог слезть с ленты транспортёра. И тут я увидел яркое солнце. Боже мой, что это? Утро или день? Здесь был другой выход из подземелья – огромные скалистые ворота с маскировочной сеткой высоко вверху. Я увидел, как часовой нажал кнопку и снова запустил в работу движущуюся ленту. Затем он подошёл ко мне и, как мне показалось, совсем нормальным голосом сказал фразу, которую я уже слышал: „Ты настоящий дурак, война скоро закончится – ещё несколько дней“.

Немец взял меня легонько за плечо и подвёл к обрыву. Смотри, мол, вниз. И действительно, зрелище было страшное: выход из тоннеля находился не у подножия горы, а высоко-высоко, почти на вершине... А внизу – огромная пропасть, наполовину засыпанная той землей, которую приносил сюда транспортёр, виднелись камни разных размеров, песок, белая глина, вывороченные деревья, какие-то сломанные механизмы...

Видя, что я не могу стоять, часовой усадил меня к стенке, оглянулся и достал из ранца маленький бутербродик. Я с жадностью начал жевать зачерствевший хлеб, намазанный маслом и чем-то сладким. Осмелился спросить: „Что значит «несколько дней»? Когда закончится война?“

Распространяться немец не стал, я лишь услышал: „Бальд, бальд“ – скоро, мол, и всё.

Неожиданно куда-то исчез мой друг Андрей Смоленов. То почти каждое утро виделись, даже спали вместе в штольнях, а тут пропал! Наверно покончил с собой? Эта горькая и тем не менее какая-то утверждающая мысль долго не покидала меня самого.

Через несколько дней в лагере началось столпотворение – эвакуация узников. Ожидание чего-то тревожного висело над лагерем. Гитлеровская машина ещё не закончила свои обороты. Колесо Молоха вертелось по инерции. Чёрные крылья смерти ещё витали над Германией, хотя был уже март 1945 года. Была и последняя ночь в лагере. Спали плохо. Мучили голод и тоска по Родине, томили неизвестность и туманное будущее. Одна мысль не уходила из головы: „Когда же всё это кончится?“ Прошла ночь. Наступило утро. Со всех сторон раздались знакомые крики:

„Ауфштеен! Антретен! Аппель!“ и, как обычно, „шнеллер, шнеллер!“ Всё в лагере зашевелилось, заходило ходуном. Началось построение колонн. Моё психическое и моральное состояние улучшилось – вновь забрезжила надежда!

Пока узники стояли в колоннах, пока нас подсчитывали, выравнивали, пришла рота охраны с автоматами, с тяжёлыми ранцами, с собаками. Завтрака не было, но по колоннам неожиданно раздали неплохой «сухой паёк» – граммов сто чёрствого хлеба, по четыре картошки и солёный сморщенный огурец. Разносить и разливать чай уже было некогда. „Только в первый ряд не становись“, – вспомнил я совет капитана Вавилова.

Поставили по пять в ряд. Через каждые пятьдесят рядов интервал двадцать метров. На каждую колонну в двести человек справа и слева охранники, человек шесть с автоматами и две овчарки по сторонам с поводьями. Собаки скалят зубы, рычат, злобно поглядывая на пленных. Даётся краткий инструктаж на немецком языке.

– Шаг влево, шаг вправо считаются побегом. Охрана стреляет без предупреждения. Идти молча, запрещается разговаривать, задавать вопросы, оглядываться по сторонам. Строго запрещается поедать траву, листья либо какие-нибудь плоды в придорожной полосе. Шагом марш!

Загрели сотни деревянных башмаков, зашаркали подошвы о неровности дороги. Мы отправляемся в неизвестность. В очередную неизвестность.

Я обратил внимание, что охранники из СС были до предела нагружены продовольствием: до отказа наполнены ранцы, в руках мешки или свёртки, к ранцам прикреплены то палатки, то шинели... Каски на головах. На поясах патронташи – сумки, набитые патронами. Некоторые толкали перед собой коляски. Видно по всему – подготовились к долгому и трудному пути.

Охрана – эсэсовцы. В основном молодые солдаты. Их легко отличить от остальных служаков по двум латинским стилизованным буквам «SS» на петлицах и рукавах. Они суетливые, дерзкие, с ненавистью относились к нам, советским пленным.

Не знаю, сколько колонн вышло из лагеря и сколько всего было человек. Говорили, более десяти тысяч. Это примерно 25 групп по четыреста узников. Сколько же прибудет на место назначения? Этого никто не мог предсказать. Деталей мы не знали, но догадывались, что совершаем марш смерти. Умереть спокойно немцы не дадут! Колонна растянулась. Идти было трудно. Интервалы не выдерживались. Одолевала усталость. Хотелось пить и есть. Хоть что-нибудь взять в рот. Иногда самым проворным и смелым удавалось сорвать пару листьев с придорожных кустов или даже траву. Редко, но делились. Наклоняться было опасно – уже были выстрелы и убитые. Привалов мало. Движемся день, второй..., спим прямо возле дороги на земле. А может быть, это жуткий сон? Какое же сегодня число, какой день недели, а месяц? Уже перестает нормально функционировать мозг.

Шли медленно. Несмотря на окрики и подталкивания прикладами, колонны растягивались в длину и расползались в ширину. Заметно было, что устали и конвоиры. То и дело они ели на ходу свои бутерброды и запивали чем-то из фляг. Кое-что можно было заметить и в окрестностях. Вот что запомнилось. За каждой малой колонной ехала телега с возницей, обычно подростком или стариком. На повозке отдыхали поочередно или уставшие, или заболевшие солдаты-эсэсовцы. Трупы убитых и совсем ослабевших подбирали бургомистры\* с небольшими командами. У них носилки и лопаты. Был и привал. Его устроили сами узники: сговорившись, сели тут же на дороге – пусть будет, что будет. Раздались выстрелы вверх. Громче залаяли овчарки. Но, кажется, нашему примеру последовали и остальные группы узников. Некоторые немцы даже обрадовались – сами сели на придорожные обочины и начали усиленно подкрепляться. Крайние пленные сидя, не вставая во весь рост, отползали в стороны, поближе к зелени. Наиболее смелые скатились в кювет и начали рвать траву. Где-то мог попадаться и молодой ревень. Немцы почему-то уже не так зло реагировали на поступки заключенных, но строго следили, чтобы кто-либо не отважился на побег. Вонючая колонна обречённых снова потянулась, пошла, поползла, карабкаясь на возвышенности и чуть с ускорением

опускаясь под гору. Она была живая, поредела, но шевелилась. До поры до времени...

Между тем в Европе события развивались быстрыми темпами. Второй фронт продвигался к центру Германии. Частью союзных войск, двигавшихся в направлении Флоссенбюрга, тогда командовал американский генерал Джордж Паттон. Немцы пытались сопротивляться – на Лондон 6 июня 1944 г. упала первая ракета ФАУ-1. 12 января 1945 года начала зимнее наступление Красная Армия. 17 января советские войска вступили в Варшаву. К сожалению, восстание поляков под командованием польского генерала Бур-Комаровского потерпело поражение. Немцы бросали и бросали в бой последние силы – резервистов, подростков, людей пожилого возраста. Уже ничего не помогало. Агония приближалась! В четверг 13 марта 3-я американская армия форсировала Рейн. 2 апреля она уже была в городе Кассель. Гитлер пытался ввести в бой реактивную авиацию, но поздно. Преобладающее господство в воздухе перешло к союзникам. 12 апреля союзнические войска заняли Лейпциг. Геббельс обратился к солдатам армии Рундштедта в Рейнской области с призывом „стоять насмерть“, но это уже были предсмертные конвульсии фашистов. В немецком городе Герсфельд Паттон создал свой командный пункт. А люди всё гибли и гибли. Трупным смрадом наполнилось небо Германии – жгли умерших и полуживых, погибших во время бомбёжек, от голода и болезней. День и ночь дымились крематории. Вот как описывает увиденное в концлагере американский автор О.Брэдли в своей книге «Записки солдата»: «Тяжёлый трупный запах буквально ошеломил нас ещё до того, как мы прошли через ворота лагеря Флоссенбюрг! В неглубокие могилы было свалено более 62 обнажённых, иссохших трупов. Они валялись также прямо на земле между бараками. Вши и налитые кровью клещи ползали по ним. Острые, выступающие кости были обтянуты жёлтой кожей. Часовой показал нам место, где умиравшие от голода заключённые вырывали из трупов внутренности и поедали их. Земля была покрыта пятнами запёкшейся крови... Лицо у Эйзенхауэра\* превратилось в гипсовую маску. Паттон отошёл в угол, где его стошнило. У меня от негодования отнялся язык.

Зрелище было настолько ужасным, что мы были одновременно потрясены и оглушены увиденным. В ближайшие недели нам предстояло захватить другие подобные лагеря, и кошмары Бухенвальда, Эрла, Бельзэна, Дахау вскоре должны были потрясти мир, который считал себя уже освоившимся со всеми ужасами войны...».

Я специально привёл эту цитату, чтобы мой рассказ звучал более убедительно. Наш концлагерь показан глазами нормального человека – накормленного, одетого, не озлобленного за голод, издевательства, побои... Вот такое жуткое зрелище представлял мой концлагерь Флоссенбург! Воля случая или судьбы, но немцы до прихода американцев вывели меня с колонной чуть раньше. Местные говорили, что далеко не все узники были эвакуированы – большинство из них успели расстрелять и сжечь на огромном кострище возле деревни Херцбрух\*. (Сын Олег был там и видел памятник в форме кострища, обрамлённого огромным кольцом из тел со ступнями, торчавшими наружу.) На всех не хватало ни охранников, ни собак. Немцы спешили. Администрация лагеря первым делом спешно упаковывала документы, которые могли бы раскрыть всю мерзость и преступность их злодеяний. Со складов они и местные, до сего времени добропорядочные бюргеры, тащили всё, что можно было поднять! Крики, выстрелы. Эсэсовцы бежали вокруг, не понимая, что делать, в кого стрелять – или убегать самим. Наконец кое-как колонны выстроили по дороге в одну линию. Масса обездоленных, оборванных, обессиленных узников шевелилась в огромной толпе. Марш! И почти километровая колонна начинает движение. Куда? Никто не знает. Стук деревянных сабо первые мгновения слегка напомнил мне звук деревянного ксилофона, который я впервые услышал на каком-то концерте в Могилёве. Я никогда не думал, что дерево может так звучать. И здесь тоже – звук то опять звонкий, то какой-то глухой, будто дорога была вымощена не камнями, а люди шли по чему-то напоминавшему своим отзвуком хождение по костям. Пыль, стоны людей, лай собак – всё слилось в какофонию исхода. Наверно последнего и безадресного – только туда, где ничего нет и откуда нет возврата! Топаем, шлёпаем дере-

вяшками по каким-то дорогам, мимо аккуратных немецких деревень, мимо уже зелёных полей... Хватаем в рот всё, что похоже на съестное – траву, если повезёт первому – ревень со стеблями и корнями, молодые весенние листья деревьев. Это был знаменитый «Марш Смерти!», описанный в мемуарной литературе. Он был ещё особенный тем, что нельзя было ни на метр отстать, чтобы поправить обувь или без разрешения сходить в кусты, нельзя было поддерживать (особенно в крайних к обочине рядах) своих собратьев по несчастью. Их тут же пристреливали, и трупы, валявшиеся на обочинах, обозначали наш путь. Внутри же колонны, куда не проникал глаз охранника, люди поддерживали слабых, даже пробовали нести кое-кого, но недолго – руки разжимались, тот с криком падал на дорогу, а охранники тут как тут – шварк на обочину, треск автомата... и опять деревянный ксилофон продолжал играть всем глухой реке-вием. На трупы сначала набрасывались собаки. Они были чётко натренированы хватать и кусать любого, кто походил на лагерного доходягу. Но охранники не давали им наесться вдоволь нашего мяса, отгоняли и приканчивали беднягу выстрелом или ударом штыка. Мне показалось, что двигались мы в южном направлении. К полудню стало плохо – жарко, голова сильно кружилась, тело ватное, ноги не слушались. Увидев, что я начал шататься, мои верные друзья подхватили меня под руки и, сменяясь, кое-как дотащили до привала. Я сделал пару шагов самостоятельно и свалился в неглубокий кювет. Собака тут же цапнула меня за ногу. Спротивляться сил уже не было. Подскочил старший охраны. Он меня знал в лицо. Позвал помощь из колонны. Меня снова поставили в строй. К вечеру немцы присмирели. Причина этого была известна. Слышим – раскаты грозы, хотя всё небо чистое. Артиллерийская канонада? Значит, американцы уже рядом? Поковыляли дальше. Друзья опять по очереди помогали мне переставлять ноги. Немцы перестали зверствовать и, что интересно, – упавшее настроение хозяев тут же передалось их собакам. Те тоже затихли и стали чаще поглядывать на поводьрей. Вечер. Нас сгоняют на поле и разделяют на кучки, чтобы легче было контролировать обстановку. Возле каждой кучи людей – два охранника и собака.

Кто сидел, кто лежал, были и такие, кто сразу заснул в любой позе. Щипали траву, запихивали себе в рот, жевали, а потом выплёвывали. Какие-никакие витамины! Утром поднялись далеко не все. В каждой группе уже недоставало по два-три десятка людей! Из соседней деревни позвали бюргемастера и приказали ему закопать трупы. Колонна стала короче. Оглянувшись на прямом участке, уже можно было видеть её конец. Вся эта длинная кольшущаяся масса уже была нарезана на группы человек по сто. Таких кусков больше сотни! Точнее подсчитать было невозможно, так как поворачиваться категорически запрещалось. Что увидел в начале похода, о том и говорю. Наконец к вечеру приковыляли к деревне. Посадили вдоль дороги, но недалеко. В деревню не пускают, хотя люди просили воды. Чистюли немцы боялись заразиться! Наконец кто-то из местных принёс несколько вёдер. Счастье!

Начальник конвоя привёл бургемайстера и ещё одного пожилого немца. Что-то обсуждали, даже ругались. Раскаты далёкого грома стали слышней. Кто заплакал, кто начал креститься. Я тоже прочитал молитву «За спасение». В воздухе уже плавали как бы лёгкие флюиды радости, незаметные для глаз, но видимые для души и сердца. Недаром говорят: надежда умирает последней! Нашу группу загнали в большой, почти пустой сарай. Солома. Ржавые железяки – остатки плугов и ещё чего-то. Нашли крохи давно смолоченного гороха. «Подмели» весь пол. Стали чавкать беззубыми ртами. Мне тоже дали горсть. Двери заперли, но многих, и меня в том числе, свалил брюшной тиф. Я лёг тихонько в углу подальше от ворот – мало ли что? К ночи немцы стали выпускать по одному «до ветру». Потом заставили выносить свежие трупы. Утром, часов в шесть, зазвонили колокола кирхи. Они тарабанили минуты три. Звон мне показался каким-то жестяным, резким, на высоких тонах. Не похож на наши мелодичные колокола, звучавшие в нижней тиссетуре\*.

На ночь запирают. Слышно, как снаружи стены сарая обкладывают соломой, лежавшей в стогах рядом. Чтобы было теплее, что ли? А может – страшно подумать – хотят поджечь?! Больные заволновались. Кто-то из наших подсчитал – тридцать полудохлых пленных лежали в сарае вместе со мной в деревне

Шмиттмюлен. Уже начали поступать советы бывалых, как можно выбраться из горящего помещения. Через небольшое пламя проскочить, но только в обуви и накрывшись чем-либо с головой. Всё решает быстрота действия. И не прозевать – ведь сарай дощатый, и если поджог будет совершён с одной стороны, то не исключается и пролом в стене. Ночью решили не спать. А если и спать, то поочередно. Договорились о сигнале спасения. Поздно вечером снаружи слышались разговоры по-немецки. Как я понял, пришли двое гражданских и начали уговаривать солдат не делать пожар в деревне. Эти двое были староста, он же и хозяин сарая, и здешний пастор – в деревне была кирха. Ежедневно там звонили колокола. Как я позднее узнал, по убитым немецким солдатам: как только приходит «похоронка», так звонарь на вышку – и колокола во все стороны разносят весть об очередной смерти. При нас звонили ежедневно! Хозяин сарая просил не поджигать постройку – она ему ещё пригодится, ведь война идет к концу... А эти, мол, и так умрут...

Часа через три к нам заглянул бургемайстер Шмиттмюлена херр Юзэф Лейнер. Осмотрел сарай, поморщился и сказал сопровождающему варить для нас пшеницу в котле, стоявшем на скотном дворе неподалёку. Наверно побоялся, что американцы спросят с него за бесчеловечное отношение к живым людям, да ещё на вверенной ему территории. До этой сволочи всё-таки дошло, когда крепко прижало! Я ещё мог подниматься, и сделал пару шагов за ворота. Увидел, что почти все наши часовые, охранники, сопровождавшие колонну офицеры в чёрном исчезли, как исчезает с солнечным рассветом всё поганое и страшное. Двое оставшихся метались вокруг сарая, не зная, что предпринять. Мне показалось это странным и насторожило... Слышу опять голос бургемайстера: „Умоляю вас, не жгите нашу «гемайндэшойн» (общественный сарай). Что вам эти люди? За той рощей уже американские танки. Никому из нас прощения не будет – ни вам, ни нам. Лучше бегите. У вас ещё есть время удрать, хотя...“. Те мгновенно испарились. Нам выдали по железной тарелке и это варево из пшеницы с колосьями и шелухой. Но всё же это была еда! В живых осталось ещё меньше. Я слёг окончательно – подняться не было сил. Сильно бо-

лела распухшая нога, укушенная овчаркой. Тело содрогалось от озноба. Открыли настежь ворота. Свежий воздух, насыщенный весенними ароматами, словно лекарство успокаивал израненные души, вселял уже явную надежду выжить! Снова звон колоколов. Кого хоронят? Может, Главного? Как долго тянется день. День 22 апреля. Послышались радостные крики тех, кто ночевал в поле. Слова приветствия! Даже песни. Из-за поворота появились спешившиеся первые американские десантники. За ними рокотали огромные танки. Ура! Освобождение! Я уточнил число. Американец написал мне на бумажке. Это были патоновские танкисты. Правда, они через какого-то картавого переводчика объяснили, что не могут здесь задерживаться – им нужно двигаться дальше, а вскоре придут следующие. Они и помогут нам. Понабросали в сарай всяких консервов, печенья в пачках, хлеба, принесли из колонки воды. Был даже чёрный, невиданный никем шоколад. Что тут началось – кто прямо орал, как зверь, кто хватал руками и ногами еду, кто-то уже остервенело дрался – досталось меньше, чем сопернику. Моя осведомлённость, а может какой-то инстинкт подсказывал: не хватай, не ешь, вытерпи эти пару часов! Будет плохо! Сейчас сам не верю, что так было, но... Бросили и мне банку тушонки. Её мгновенно открыли, я съел одну ложку. Потом, собрав все мои хилые силы и волю, отбросил от себя как можно дальше это Божье спасение! Она покатила за ворота и остановилась возле столба. Я её видел, я смотрел на банку, а она – на меня. И мы, кажется, поняли друг друга. Я отвернулся, а банку прямо чуть ли не с жестью проглотил освободившийся бедняга. Кто-то даже пытался мне набить моё интеллигентное лицо, но сил не хватило – его живот уже не переваривал проглоченное. Наутро из тридцати человек, ночевавших в сарае, осталось только восемь!

Пришёл бургемайстер, покачал головой, и усопших убрали. Не смогли, не знали люди, как опасно хватать пищу своим истощённым организмом. У них, у этих живых скелетов, не хватило сил это переварить, и когда – в долгожданный день свободы! Печально! Так и во многом в жизни. Есть люди, не знающие меры даже в мирные дни, хватающие больше, чем им нужно, чем смогут потащить, переварить... Больше и больше...

Конец известен, а в гробу-то никаких карманов нет! Лейнер сказал, что мне можно только много пить, и это реально облегчит состояние. Он принёс кипятка без заварки и без сахара. Я, стоя на коленях, жадно пил, обжигая рот, слизистую. Двигаться ещё не мог. Стало намного легче. Прибыли американские санитары. Вынесли носилки и всех, кто ещё дышал, повезли в госпиталь. А другие остались лежать в чужой земле! А ведь их Родина, их семьи были так близки! Жуть! Боженька внял моим молитвам!

Ехали недолго – в здание аккуратненькой одноэтажной школы. Здесь был оборудован по всем правилам полевой госпиталь. Стояли и кровати, и деревянные нары, но с настоящим бельём и одеялами! Здесь я наконец-то позволил себе вздохнуть полной грудью! Четыре года она была сжата так, что часто моё истерзанное сердце готово было выскочить навсегда, но... Тишина, раздали лекарства. Пришёл и местный пастор Герман Нэртле. Принёс кулёк сахара, душистую заварку для чая. Потом сваренные вкрутую куриные яйца, соль. На каждого по яйцу. Ходил между кроватями, жал руки, пытался говорить что-то ободряющее. Никто ничего не понимал, и от священника отворачивались. Сказывалось всё – плен, унижение, пытки, казни на глазах друзей, скотское отношение к русским. Он это чувствовал, но ходил, вынужден был ходить, выпрашивая снисхождение. На его лице время от времени проявлялись слабые, фальшивые, вынужденные гримасы вины. (Кстати, как рассказывал нам Олег, такие же маски они надевают и в наши дни, когда разговор заходит о прошлом!) Я тихим голосом спросил: „Буду ли я жить?“ Пастор оживился, схватил меня за руку и довольно громко, чтобы остальные слышали его искренность, ответил: „Обязательно! Вы ещё вернётесь к своим родным, на свою Родину!“ Ещё добавил, что отслужит молебен за наше выздоровление и помянет всех погибших. Спасибо и на этом! С опозданием, но *Mieux vaut tard que jamais !* (Лучше поздно, чем никогда! – фр.)

Мне сейчас тяжело вспомнить, сколько дней я лежал в этом полевом госпитале. Врачей не было – только санитары. Пару гражданских, пастор и бюргемайстер навещали нас. Вели себя

настороженно, предупредительно и вежливо. Ещё бы! Через несколько дней нас перевели в бывший ээсовский госпиталь в сосновом лесу, неподалёку от этой же деревни Шмиттмюлен. Это уже было просто шикарное, невиданное мной ранее медицинское учреждение! Палаты чистенькие, с занавесками и шторами. Тумбочки – на каждой вода, салфетки, ножнички для ногтей. Бельё просто шик! В палате шестеро. Не те, кто выжил со мной, а какие-то сборные. Был среди нас и поляк. Медперсонал – все американцы. Каждому повесили капельницы. Подсоединили через иглу в вену. Сразу стало холодно. Принесли ещё одеяла. Над головой банка с жидкостью – глюкоза или ещё что? Подходит доктор, смотрит за уровнем в банке. По его реакции догадался, что если банка опустошается медленно – значит, у больного дела плохи. С моей кровати видны все пять банок. Смотрю, у поляка почти полная, хотя залили нам в одно и то же время. Наверно, его ослабевшее сердце не выдерживает работы по перекачке этой жидкости в сосуды. Слабым голосом говорит: „Наверно умру. И мне нечего тебе подарить. Возьми этот маленький словарь на добрую память. Бывай, друг...“. Другие тоже умерли на моих глазах. Остался я и ещё один. Четверо исчезли в пасти времени. Снова осмотр врача. Сделали уколы. Опять осмотр. Вижу, врач остался доволен, потрепал меня по голове. Потом перевели в другую палату. Там уже человек восемь, но не умирающие. На двери увидел буквы – «TBZ»\* и запомнил их. Но что они обозначают – тогда не знал. Каждый день витамины, аспирин, через день по два укола. Пища постепенно становилась более сытной и насыщенной – вареные овощи, горошек, зелень. Потом супы, котлеты, сосиски. Сладкий чай, нормальный кофе. Уже стал ходить, сам себя обслуживать, учить кое-какие слова по-английски. В столовой увидел, что нас в госпитале человек триста! Официантка попросила меня объяснить моим соплеменникам, что сгущёнка подливается в чай, а не съедается большой ложкой за один присест\*. Я медленно, но смысл перевёл. Но наши продолжали прямо давиться и жрать сгущёнку ложками, как и прежде. Будто понимали, что такое кулинарное счастье встретится им только лет через тридцать после войны. Начал выходить во двор, даже

прогуливаться в окрестностях госпиталя. Организм быстро набирал силы. Однажды медсестра на ломаном польском предупредила, чтобы я не ходил в ближайший лес – там ещё прятались недобитые эсэсовцы, в том числе и из нашего лагеря. Меня это испугало, и я с опаской поглядывал на чернеющие в 300 метрах густые заросли – выжить-то выжил, а в лесу том – кто знает?

В палату пришёл и православный священник с большим крестом на груди. Поздоровался. Прочитал молитву «Господи, сохрани Россию» и раздал маленькие крестики каждому, кто хотел. Я взял и поблагодарил. Спрашивали, от кого Бог должен теперь спасти Россию? Батюшка уклонился от ответа, ограничившись общими словами о зле и добре. Выглядел он солидно – высокий, благообразный, в сутане, с шикарной пышной и чистой бородой. Я специально описываю священника, чтобы вы могли сравнить его с американским. Однажды в палату пришёл солдат и на ломаном немецком объяснил, что в палату явится американский священник и нужно приготовиться к причастию. Уборщик подмёл пол, затем вымыл его мокрой тряпкой. Солдат поставил посередине палаты тумбочку. Появился капеллан. Это был молодой человек в форме американского солдата, но без знаков отличия. Он что-то насвистывал и был в хорошем расположении духа. Никакого культового одеяния. Волосы коротко подстриженные, ёжиком. Под мышкой – свёрток. Развернул его. Достал длинный, похожий на полотенце, но золотистого цвета, коврик. Надел через дырку на голову, чтобы один ко-нец свешивался спереди, второй – сзади. На тумбочку постелили чистый носовой платок, извлечённый из кармана брюк. Сверху положил несколько печенюшек. Разломал по количеству больных. Что-то сказал на латыни, потом на английском. Прочитал коротенькую молитву – минуты на две. Ни креста, ни кадила?! Взял в руку платок с печеньем и раздал каждому, что-то при этом приговаривая. Причастие закончилось. Капеллан поклонился и вышел в другую палату. Солдат поставил тумбочку на место – и опять наступила тишина. Каждый обдумывал, что здесь произошло и зачем.

Случилось и такое. В палату зашла какая-то американская делегация – человек пять. Через переводчика они объявили, что тот, кто хочет переехать в Соединённые Штаты, должен записаться в список. Вдруг вижу, что им переводит тот же тип, который вербовал меня и в шпионы, и во власовскую армию РОА. Он уже был одет в униформу американского офицера, но без погон. На голове зелёная пилотка, на носу тёмные очки, полностью закрывавшие лицо. Если бы не голос, то я никогда не узнал бы моего визави\*?! Да и нельзя было забыть большую, абсолютно лысую, блестящую, как шар, голову! Вот так встреча! Я начал ворочаться и думать, кого бы попросить, чтобы американцам перевели мои слова, что это предатель, возможно, засланный к ним немецкий шпион... Спросил одного, второго... Тогда я привлёк внимание старшего этой группы и, коверкая немецкие слова на американский манер, попробовал ему объяснить ситуацию. Тот прилагал все усилия, чтобы понять, но выходило плохо. Американец обернулся, хотел призвать на помощь именно этого переводчика, но того и след простыл! Он внезапно исчез! Офицер начал ругаться, и вся бригада покинула помещение. Потом я несколько дней боялся, чтобы тот слуга всех господ и мастер на все руки не прибил меня. Пронесло. Вербовщик пропал навсегда. Почти пропал...

Между тем хоть и медленно, но здоровье всё же возвращалось. Хорошая еда, медицинское обслуживание, витамины и, главное, – радость свободы делали свою работу. Я обошёл корпус госпиталя вокруг и нашёл на веранде груды книг, разных бумаг, газеты. Каждую прогулку я рылся там. Книги больше никого не интересовали, и мне предоставлялась возможность бесконкурентного поиска. Это были остатки какой-то библиотеки. Здесь я нашёл и ценные книги – «Дочь Монтесумы»\*, «Красное и белое», «Павлоны» – две эти книги принадлежали перу русского эмигранта, атамана казацких войск Краснова. В первой книге он с болью пишет о том, почему в революционной борьбе проиграли белые и выиграли красные. «Павлоны» посвящены жизни и учёбе кадетов Павловского военного училища в Петербурге. В журналах видел снимки Ф.Шаляпина\*, балерины Т.Карсавиной\*, других известных людей России.

В американском госпитале для бывших русских военнопленных пробыл несколько месяцев. Нашу концлагерную форму американские санитары сожгли, а в госпитале мы лежали в длинных рубашках, и ещё у нас были халаты разных цветов. Выздоровевших начали обмундировывать. Навезли много американской и английской военной одежды. Выдали всё, что надлежало военному человеку, кроме оружия. Мне досталась форма американского лейтенанта, немного похожая на нашу, но мягкая, удобная, с множеством карманов. По ней все быстро определяли моё офицерское звание – то ли по хлястикам на плечах, то ли по специальной форме отложного воротника. Я находился там остаток апреля, май, июнь и июль. Летом, в первые дни августа, началась подготовка котправке в советскую зону оккупации. Обмен пленными. Я обратил внимание на то, как живут американские солдаты. Моя униформа давала мне пропуск в любую палатку, временный блок или здание. В щитовых блоках для солдат всегда висели музыкальные инструменты, иногда даже стояло фортепиано. Для рядовых обед был из четырёх блюд – суп, второе, салат и чай с чем-нибудь сладким. Все весёлые, жизнерадостные молодые ребята. Много шутят, поют, насвистывают свои мелодии. Угощают направо и налево сигаретами, шоколадом. Особенно русских. Наши же постоянно хмурые, настороженные, зажатые, даже злые. Причина этой странной злости на освободителей, полагаю, лежит в образе нашей советской жизни – у нас не было ни свободы мнений, ни достатка, ни настоящей культуры поведения, нам запрещалось не только что-либо знать о другой жизни, но и думать о ней! А вдруг понравится? Да, рабское чиновничество, страх, услужливость перед любым начальником, боязнь сказать что-то лишнее сковывало наших людей, не давало развиваться личности, а только следовать, как в стаде, указаниям сверху. Здесь исподволь чувствовалась наша зависть к благополучным и раскованным людям, к их свободному поведению, уровню солдатской фронтовой жизни. Кто о ком лучше заботился, какое давали в руки оружие – ответы на это лежали, что называется, на поверхности! Но нам не нужно было ничего американского – скорей бы домой, на Родину! В госпиталь время от времени

наведывались какие-то люди и предупреждали об опасности возвращения в Россию. Основной мотив – „Сталин не простит вам плена! Он уже заявил о том, что у него нет пленных, а есть только предатели! Вы будете горько сожалеть, но будет поздно!“ А как же жена, сын, мои родные? Остаться здесь навсегда? Невозможно! Только туда, на восток, на Родину! Я собрал лучшие книги, кое-какие вещи – щётку, носки, бельё. Нам выдали необходимые документы, подтверждавшие наше прежнее положение и статус – справка из архива концлагеря об обстоятельствах моего пленения и нахождении в немецком госпитале, справка администрации Шмиттмюлена о том, что я являлся рядовым узником концлагеря Флоссенбург и освобождён такого-то числа американскими войсками. Третий документ – гражданин СССР, православный, лейтенант Ковалёв В.К. освобождён из немецкого плена в деревне Шмиттмюлен, с такого-то по такое-то число находился на излечении в полевом солдатском госпитале американской армии – подписи, американский полковник с польской фамилией Францевич, представитель Международного Красного Креста, бургемайстер Лейнер. Последняя справка напечатана на трёх языках – английском, русском и немецком.

Пришёл день погрузки на «студэбеккеры». Меня, как офицера, посадили в кабину вместе с водителем негром. Я впервые в жизни видел чёрного человека. Весёлый, подвижный. Предложил наушники, нашёл Москву, и я послушал отрывок из концерта П.Чайковского. (У нас в стране П.Чайковский в необъяснимом почёте: как только какая-нибудь заварушка или похороны – обязательно звучит «Лебединое озеро»!?)

На сердце было радостно и светло, будто все ехали в свой дом! Какой-то небывалый эмоциональный подъём! Колонна двинулась по асфальтированной дороге в сторону Нюрнберга. Ехали долго. Останавливались, обедали в солдатских палаточных столовых. Заметил, что все рядовые американской армии принимали пищу именно в специальных палатках с длинными столами, лавками, мылом и водой для умывания, полотенцами. Не так, как было у нас в полку в военное время – на земле, кто как мог. Во время одной из остановок походил по

окрестностям – много покинутых, обгоревших и разваленных домов, обрывки одежды, пух от подушек. Было понятно, что эту местность сильно бомбили. В одной из комнат снял со стены католическое распятие – деревянный крест, фигурка гипсовая. Это для тещи. Она же католичка. В другом доме нашёл шкапулку. В ней хранилась Библия в кожаном переплёте. Развернул. На полях еле видимая надпись чернилами: «Бибель, ди Мартин Лютер\* гебраухт гаттэ». (Библия, которой пользовался Мартин Лютер). Наверно из музея. Взял её с собой. Где конкретно была встреча и где нас передали советской стороне – точно не помню, но под Нюрнбергом в чистом поле.

Знаю только, что днём 22 апреля 1945 года разведывательный дозор Первой американской армии встретился с авангардом 1-го Украинского фронта маршала Конева в почти безлюдном городке Тàргаш на берегу Эльбы. Вечером 2 мая радио Гамбурга передало новость о самоубийстве Гитлера. 4 февраля 1945 года в Ялте по настоянию Сталина было заключено секретное соглашение о выдаче СССР всех военнопленных, в большинстве своём являвшихся, с его подачи, предателями Родины. И Англия вместе с США подло выдали 2 300 000 уцелевших узников без обсуждения каких-либо условий и требований по недопущению гонений на них на родине. Только 35% из этого огромного количества вернулись после проверки домой?! Остальные были сосланы в Сибирь на сроки от 10 до 25 лет. В основном там они и погибли (передача Останкино 04.02.1995 г.)

# День шестой

## Объятия Матери-Родины

Передача состоялась на шоссе в районе Нюрнберга. Американская колонна остановилась в безлюдном месте, прямо на дороге. Вокруг ровные поля. Ни деревни, ни бауэрских построек – ничего. Мы высадились, стали в шеренгу по пять человек. Сколько нас – подсчитать трудно, да и настроения к такой бухгалтерии не было. Что-то тревожное, как и в былые времена, снова всплывало изнутри. В памяти всплывали обрывки разговоров о жестоком отношении у нас к пленным, об их возможной нерадостной будущей судьбе. Но всё перекрывало желание вновь увидеть родных, не Сталина, не парады на всех площадях, не сытые лица правительства и районных руководителей, а родные руины, сады в утренних лучах, отголоски журавлиных криков, запах материнского хлеба в печи!

Подсчитали, переписали, каждая сторона расписалась на списках. Разговаривали через переводчиков. Потом козырнули друг другу, и весёлые американцы исчезли, как внезапно растаявший туман. Не долго длилась наша радость и обретение во второй раз жизни.

Не успели они скрыться за горизонтом, как нас плотно окружили советские автоматчики. Причём в два ряда, как и фашисты, – так надёжнее! Лица злые, сосредоточенные на выполнении важнейшей войсковой операции – окружении и обезвреживании врагов Отечества, предателей Родины! Нас по одному выводили из строя, грубо толкали к огромному кострищу и начинали обыскивать. Оскорбительные и унижающие человеческое Достоинство первые действия родных нам людей! Не разговор, не объяснение ситуации, а сразу взялись за привычное дело – обыск! Обыскивали старательно – шарили везде, раздевали, заставляли снимать даже нижнее бельё, ремни, выворачивать карманы, лазили за воротник, заглядывали для чего-то в уши, промежность, щупали чуть отросшие волосы на голове. На невинные естественные вопросы: „А чего вы так к нам?“, тут же нагло лгали: „Ищем оружие и антисоветские материалы“. Таким

изошрённо «тонким» должно было быть чекистское прикрытие обычного тюремного шмона! Это же прикрытие так называемой оперативной работы, в основе, осталось и на следующие десятилетия.

Все бумажки, листы, блокноты, книги после поверхностного осмотра летели в бушевавшее от коммунистического негодования чистое пламя костра! Никакие доводы, что „это моё“, „это пригодится“, „это редкая Библия“, – не помогли. Мы, конечно, никак не могли предположить даже в самой дикой фантазии, что перед советскими солдатами вновь был настоящий враг! Все мы в миг стали врагами! Они в этом были уверены на сто процентов! Об этом говорили и их злые лица, сжатые кулаки, грубые толчки, пальцы, дрожавшие на курках. Мы для них безоговорочно были только предателями и скотами! Какая жуть, как же однозначно и просто, скорее, примитивно, по-животному были воспитаны наши люди?! Раз усвоив из уст начальства одну фальшивую истину, они потом жили с ней в душе до конца своих дней! Поколебать таких было невозможно – они верили всему Политбюро и любому даже малограмотному, но упёртому коммунисту, но не хотели видеть никакой, кроме вождистской, правды! Глазами видели, но мозгов, чтобы понять, – не было! Неужели на страхе и тюремной дисциплине можно построить здоровое общество? Это же шизофрения чистой воды?!

*Кстати, ни в одной стране, граждане которой были в фашистском плену, тем более в концлагере, к ним не относились с такой яростной злобой и недоверием, как у нас! Кто ответит из сидящих наверху на этот простой вопрос? Кто? Однако...*

Первое приветствие Родины! Будут ещё и другие, но мы пока о них не догадывались. Успокаивали себя: им так приказали, и они выполняют, а вот потом наступит действительно райское блаженство долгожданной свободы! А так же было и будет почти всё советское время – поганцы из НКВД-МГБ тоже постоянно говорили, что они сами ничего плохого никогда не де-

лали, они только, как военные люди, выполняли приказы сверху. Но выполняли почему-то с таким рвением, с таким энтузиазмом и постоянным опережением всех мыслимых и немыслимых планов, что появляется мысль: а не собственная ли это инициатива карательных органов, основанная на желании выдвинуться, доказать свою верность власть имущим, заработать звания и постоянные очки на будущее? Не чувство ли это всеислия властолюбивой серости над рабами? Нас сотрясало чувство обиды, но ничего поделать мы уже не могли – из одних лап мы попали в другие!

Солдат мельком глянул на меня, вытряс рюкзак (просто мешок) прямо на землю, ногами стал расшвыривать содержимое. Я подхватил крест и быстренько объяснил, что это подарок для старой женщины, а сам я атеист. Тот покрутил пальцем у виска, но отбирать не стал. А вот про перстень я забыл! Он тут же был замечен офицером, проводившим первичный опрос: „Золотой, с камнем? Откуда?“ Я как мог спокойнее рассказал всю историю, хотя сердце прямо выскакивало из груди от волнения и ожидания очередной гадости. „Трофей обязан сдать государству! Приказ Сталина!“ – кольцо отнял насильно и спрятал в нагрудный карман. Честный и всегда «прохладный»\*к другим чекист ничего и нигде не записал, а просто присвоил перстень себе. Я не выполнил обещание, данное старой графине, и не сберёг её памятный подарок. Слезы навернулись на глаза. В душе стало совсем погано и от такой встречи со своими, и от собственной глупости и наивности. Что же ещё нас ждёт? Было ясно, что впереди тернистый и извилистый путь.

Привезли на сборный пункт в Бауцэн, где в тюрьме когда-то сидел Эрнст Тэльман. Разместили на матрацах в бывшем элеваторе прямо на полу. Еда – почти как в концлагере, но лучше качеством – варёная свекла, картошка, чай без сахара. Мою красивую и удобную форму, которой я так мечтал похвастаться перед своими, отобрали и выдали плохо постиранную солдатскую, с пятнами и криво заштопанными дырками. Обули в кирзовые сапоги с бэушными портянками. Ничего, убеждали мы сами себя, ещё и не то видали! „И дым Отечества мне сладок и

приятен!“ – как писал великий поэт. Первая госпроверка пока на чужой территории.

Вызывали по одному и допрашивали самым дотошным образом. Я называл своих знакомых по лагерю и должен был охарактеризовать их со всех сторон, особенно в части возможного сотрудничества с немцами, деталей попадания в плен и социального происхождения. И так по каждому лагерю, где довелось побывать. Потом вызывали их и тоже самое спрашивали обо мне и о других. Настоящий перекрёстный допрос. В Бауцэне мы были ещё свободны в передвижении – на руках только маленькая бумажка, что я принадлежу к эшелону с номером 12. Это, наверно, что-то должно было означать для нашего патруля, но он пока нам не попадался. Разыскал тюремную камеру, где сидел Э. Тэльман, походил по городу. Даже послушал отрывок органного концерта в соборе Петра и Павла. Какой-то немец кратко объяснил мне историю протестанства и этого собора. Видел и стадион, на котором Гитлер собирался принимать парад победы, но остался без неё.

Вечером неожиданно объявили последнюю ночёвку на проклятой немецкой земле! Посадили в товарные вагоны – скамеек нет, все на полу, параша опять в углу. Кто сидит, кто лежит, а я выбрался на крышу, где свежий воздух. Внутри от вони стало плоховато. На крыше народу мало, только нужно было выбрать центр, где более плоско и можно было сидеть и лежать. Ложись только поперёк вагона, но не вдоль. Был случай, когда кто-то слишком резвый сел или лёг почти на край – его на повороте вышвырнуло, а что было потом, – никто не знает.

Ночью пересекли польско-советскую границу в Бресте. Нам долго меняли тележки колёс, но никому не разрешили сбежать на вокзал. По-прежнему охраняли – на каждый вагон по два солдата с винтовками. Они ехали в тамбурах с обеих сторон.

Проехали Минск. В полной темноте показалось, что после Борисова я видел огоньки родной мне хаты в Красилово, где была родина жены и где жили её родители. Потом Смоленск, Вязьма... Прибыли в город Козельск Калужской области. Опять почти тот же лагерь и высокая ограда из колючей проволоки! Вот так сюрприз! Вышки с часовыми и пулемётами. Ворота с охраной и

пропускным пунктом – и бараки, бараки. Тут же слухи: нас всех расстреляют! Было от чего трепетать. Оказалось, что это бывший лагерь для политзаключённых, а куда они все подевались, никто не знал, но догадывался. Охрана неразговорчивая, строгая. Ни спросить, ни поговорить! Даже с немцами можно было перекинуться парой слов. Здесь же вроде все свои, но разговаривать с ними категорически запрещено! Кое-кто уже тихо шептал: „Может, зря мы так спешили домой?“ Еда дрянная. Нормы маленькие. Смотрят на нас с подозрением и презрительно. Ждём второй, более строгой государственной проверки. Она называлась фильтрацией!

Вызывали уже к настоящим следователям МГБ! Русский – к следователю грузину, грузин – к татарину и т.д. Никакого тебе земляческого братства или симпатии. Не доверяли даже им!

Я знал многих, и меня знали многие, поэтому здесь затруднений не было. По разным местам заключения я назвал фамилии окружавших меня пленных: Андрей Смоленов, Авенир Беляев, Иван Соломахин, Николай Афанасьев, Александр Дзюба, Сергей Бровкин, Глеб Чернов, Михаил Распопов, Александр Дубатовка, Михаил Бабин, Борис Лаврищев, Николай Кочетков, Василий Кожухов... Мы всегда помогали друг другу. Ведь друзья познаются в беде. Однажды Василий Кожухов, молодой лейтенант из Ленинграда, после допроса разыскал меня и с радостью обнял: „О тебе спрашивали. Я всё рассказал, как было... Что ты помогал многим бежать из лагеря, вёл переговоры в самых сложных ситуациях, рассказал всё, всё хорошее... Так что не бойся!“

Мои друзья позже передавали, что обо мне все говорили положительно, отмечали мою готовность помочь любому, подтвердили неучастие ни в одной сомнительной акции гитлеровцев. Рядом с нашим баракком стоял такой же, с такими же пленными, проходившими проверку. Вдруг их куда-то вывезли, а барак снова начал заполняться очень грустными и молчаливыми людьми. Шептались, что это уже настоящие, отсорбированные из массы, изменники, беглецы и предатели. Сокращённо этот барак и их самих называли «ИР» – изменники Родины. Питание у них было хуже, чем у нас, и это наводило на

грустные мысли. Сказали, что ждут из Москвы подтверждения наших званий и должностей до плена. Когда разрешили написать домой, вздохнул – это уже было похоже на восстановление доверия. Я дрожащими руками отправил этот листок, догадываясь, что обо мне у них не было никаких известий. Получаю ответ: моя жена не проживает в деревне Красилово, а работает в детдоме в городе Лида Гродненской области по направлению Министерства образования. Там, в Западной Белоруссии, зачищали бывшие польские земли от старых кадров и заполняли новыми – с советских территорий. Написал я и туда. Ответа нет и нет. Уже начал волноваться, как в один из дней объявили об окончании госпроверки. Пришло и подтверждение об окончании мной Могилёвского военно-пехотного училища, звании и бывшей должности. Организовали митинг. Начальник спецлагеря залез на трибуну и деревянным голосом объявил, что длительная проверка была вынужденной – очень уж много выявили врагов, но часть из нас пока без подозрений. Он призвал вести себя хорошо и отдать все силы восстановлению народного хозяйства и строительству социализма. Кое-кто из наших подавал рапорты с просьбой оставить в рядах Красной Армии, но их никто не захотел слушать и даже разговаривать. Это уже был хоть и проверенный, но второсортный материал, ещё и подозрительный – чего просится в армию? Всех отправили в запас.

Этот лагерь назывался так: 43 запасной полк 5-й запасной стрелковой дивизии, в/ч 53432, г. Козельск. Надо же, запомнил и это! В конце декабря 1945 года начали небольшими группами отправлять людей: кого дальше – в Сибирь, кого в другой, более строгий, лагерь. Неизвестно, куда подевалась рота «ИР». Она исчезла ночью. Говорили, что всех расстреляли в ближайшем лесу. Жуть! От этих слов до сих пор волосы встают дыбом! Уверен, что с ними никто детально не разбирался. Два показания о сомнительном поведении и запутанной истории – и всё: мечта о Родине и жизнь закончилась! А были ли они виноваты в чём-то конкретном – осталось во тьме подвалов – так и хочется сказать «Лубянки»!

Мне выдали зарплату офицера за военное время. Сумма, конечно, малая. Выдали кое-какое обмундирование: старую ши-

нель, гимнастёрку, галифе, сапоги и зимнюю шапку-ушанку. Также талоны на довольствие в столовых по пути проезда до г. Лиды. Из Красилово я успел получить адрес жены, и мне выписали туда проездной – «литер» – бесплатный железнодорожный билет в общем вагоне.

Некоторым же вообще некуда было ехать. И каждый решал по-своему – то ли к дальним родственникам то ли в тот же район, бывший под оккупацией, откуда не пришло никаких известий.

За мной увязались трое. Выписали билеты тоже до Лиды, соврав, что у них там родственники. Меня это не обрадовало, но чувство солидарности с бывшими пленными взяло верх. Ехали с радостными мыслями. Я вспоминал жену, сына, а попутчики уже подбирались ко мне с разными предложениями: переночевать или даже пожить какое-то время у нас; спрашивали, где я буду искать работу, – им бы тоже туда... Их повышенный интерес и ко мне, и к моей семье становился всё более нездоровыми настораживающим. А опыта разбираться в людях я уже кое-какого поднабрался. На вокзале в Орше я продал мыло, купил себе ремень к шинели и португую. В Лиду приехали глубокой ночью. Мороз, сильная метель. Везде темно. Не видно ни номеров на домах, да и самих домов – тоже. Спросить не у кого. Стали под каким-то навесом на вокзале. Спутники закурили, и вдруг ко мне с таким предложением: „Давай сожжём документы и представимся властям бывшими партизанами – один подтвердит в отношении других, а те – в отношении него“. А в те годы действительно, как я узнал позже, много было таких типов, которые, прячась в лесах, выдавали себя потом за отдельный партизанский отряд или группу, и проверить это быстро было трудно. Достаточно подтверждения какого-нибудь якобы партизана... и всё – документы на руках. По их мнению, это был беспроигрышный вариант. Пока контрразведка разберётся, можно напроситься и в действительный партизанский отряд. А если дать взятку, то стопроцентный выигрыш! Да, придумали они это неплохо, но я категорически не согласился на авантюру. Это угрожало или тюрьмой или расстрелом! Поняв, что нужно как-то оторваться от них, сказал, что пойду поищу улицу, а они могут подождать здесь, под укрытием. Им это не понравилось, но

старший махнул рукой – куда, мол, он ночью денется. Их интонации стали даже угрожающими, приказными: „Найдёшь улицу – сразу к нам. Домой к тебе пойдём только вместе, а то, кто тебя знает, ещё заложить“.

Я ответил согласием и исчез в темноте. Сразу отошёл как можно дальше, взглядываясь в окна – света нигде не было. Слышу, они уже возбуждёно орут, и по скрипу снега понял – идут за мной. Увидев одинокий свет в маленьком окне, подбежал к дому и тихонько постучал в стекло. Сквозь закрытую дверь женский голос со страхом спрашивает, кто я и что мне надо. Я едва успел сказать два слова: „Меня могут сейчас догнать и убить!“, как дверь распахнулась, и я очутился в передней. Женщина тут же закрыла её на толстую перекладину и потушила свет. „Я по вашему голосу поняла, что вы белорус, а так бы ни за что не впустила. Сидите тихо! Здесь у нас бродит много бандитов. Они грабят и убивают людей, а раньше сотрудничали с фашистами...“. Ничего себе – из огня да в полымя! Сижу, слышим крики, беготню, ругань. Потом всё стихло. Улица оказалось длинной, и определить дом, где я спрятался, было невозможно, да и света никакого. Сплошная темень. Когда всё затихло, до меня дошло, как близко я ещё раз был от своей смерти. В живых они бы меня не оставили. А тут уже почти порог родного дома! Я рассказал, по какой причине оказался ночью здесь, упомянул семью, адрес. Женщина накормила меня и уложила возле тёплой печки прямо на полу. Я подстелил шинель и мгновенно уснул. Утром подсказала, куда идти.

Фамилии моих попутчиков я запомнил хорошо, но упоминать их здесь не буду. Лет через тринадцать случайно узнал, что один из них устроился диктором украинского радио, а второй – каким-то партийным деятелем в Могилёвском обкоме партии. О третьем не знаю. Как я оцениваю этот поступок? Вряд ли выдержал бы такую долгую конспирацию, маскируясь под партизана. Нужно было бы где-то раздобыть настоящие документы, и сделать это быстро, плюс – обзавестись фальшивыми свидетелями. Не тот у меня характер – нет струнок авантюриста и лжеца. Как сложилась моя жизнь после войны так и сложилась. Нужно всё воспринимать философски: множество людей

пострадали ещё больше. Первое время было очень трудно, но мало-помалу всё выровнялось. Нашёл нужный адрес – улица 8-го Марта, но номера дома не было. Оказалось, что он находился за железной дорогой. Было ещё рано, и я решил чуть подождать, не тревожить родных. Увидев будку стрелочника, зашёл и попросился посидеть. Он мне объяснил, что моих родных дома нет – они в детдоме и освободятся только к обеду. Моя жена брала с собой маленького сына, так как в единственный детский сад устроить пока не удалось. Я подождал и помчался туда часов в 12. Встреча была очень трогательной и волнительной... Описать её невозможно! Сын Святослав долго присматривался ко мне, но дня через два признал. Они жили в деревянном двухэтажном доме, принадлежавшем детской колонии, где жена работала педагогом-воспитателем. В нём же на первом этаже проживали и воспитанники, была небольшая кухня. Позже мы сняли другой дом – на улице Красноармейской. Ниже – его фотография, сделанная намного позже сыном Олегом в 2016 г. Дом ещё стоит, словно бережёт мою и нашу память...

Несколько дней мы привыкали друг к другу и не могли нарадоваться нашей долгожданной встрече. Но нужно было искать работу. В школах свободных мест уже не было – середина учебного года. Посоветовали обратиться в редакцию местной районной газеты «Уперад» (по-русски – «Вперёд»). Приняли на должность литературного сотрудника. В редакции работал до августа 1949 года. Занимал пост заведующего отделом освещения культурно-массовой работы, потом заведующим сельхозотделом и в конце – ответственным секретарём редакции. Делал макеты номеров, сам подбирал шрифты для заголовков, корректировал статьи, если они не влезали в вёрстку. С работой быстро освоился, и скоро меня уже отправляли в поездки по району с заданием писать статьи по тематике моей работы в отделах.



*Дом в г. Лида Гродненской области, где мы проживали с 1947 по 1952г.*

Вот в это время и случилось со мной одно очень интересное и неожиданное приключение, которое я, по понятной причине, не озвучивал во всех деталях в семье, но сейчас, уже в предельном возрасте, рассказал о нём сыну. Он и написал целый рассказ, художественно оформив этот странный и памятный случай по-своему – изменив время, фамилию и работу героя!

## Алеся\*

*(Написано на основе воспоминаний отца, но с большой долей авторской фантазии.)*

*На склоне лет память выхватывает из мусора и паутины времени лишь основное, остро выделяя на тёмно-синем фоне ушедшего только яркие искорки событий, украшавших его длинный, извилистый путь, словно редкие звезды на утреннем небе. Одни светились ровным желтоватым светом, другие загадочно мерцали, а эта вдруг вспыхнула в сознании ослепительным голубым пламенем, затмив всё вокруг и вызвав жгучие воспоминания о печальном и странном событии, каждый раз тревожащем душу тихой болью. Тайну о случившемся он носил только с собой, ибо доверить её никому не мог и не хотел.*

*В конце 30-х Фридрих Ленц (из поволжских немцев) работал учителем русского языка в одном из небольших городков Западной Белоруссии. В то тревожное время Советы не успели пройти по жившим здесь людям ржавым от крови пролетарско-крестьянским серпом. Дух людей ещё был свободен, и попытки заковать его в одночасье встречали ожесточённое сопротивление.*

*Редакция районной газеты иногда просила его как человека, хорошо владевшего пером, собрать материал и написать статью, то ли по линии образования, то ли об успехах нового здесь колхозного хозяйства. Для Фридриха это была единственная возможность подзаработать, и он охотно соглашался. Правда, под его статьями потом стояла подпись главного редактора. Тот правильно реагировал на все изгибы центральной линии партии, но, будучи интеллигентным человеком, виновато пожимал плечами, всякий раз говоря в тёмное окно: «Фёдор, ты же умный человек! Такую смешную фамилию, как твоя, пока нельзя помещать под статью. Ты уж извини». И тихо добавлял: «Ты ещё подпишешь сам. Терпи и не болтай лишнего!»*

*В тот осенний день Ленц на велосипеде поехал в самую отдалённую, заброшенную лесную деревню, где в доме бывшего*

местного священника в сентябре открыли начальную школу. Сам ксёндз был арестован при попытке забрать ночью свои же книги из своего же дома. Потом сбежал, застрелив или зарезав двоих конвоиров.

По слякотной дороге, местами исчезающей в лесных зарослях, Фридрих еле добрался до места. Уже вечерело. Визит оказался крайне неудачным. Он подошёл к молчащему зданию школы, попробовал открыть дверь – заперта! Глянул в окно – классы пусты. Ни парт, ни досок нет! На полу в беспорядке валялись печные изразцы – печи были разобраны или разбиты. Полное запустение. Ничто не говорило о школьной жизни. Скорее, разграбленное и брошенное жилище.

Плохое предчувствие холодком отозвалось в груди. Да, он слышал, как корректор, поляк по национальности, сказал редактору: «Игнат, зачем ты его в эти леса? Фик с ней, с этой школой. Загубим!» Тот твёрдо отрезал: „Станислав, хоть ты и дальний родственник, но не лезь в глубину –«оттуда» попросили! Не знаю зачем. Он ведь ни с одними ни с другими вроде не связан. Но сказано было, какой-то эксперимент на нём проводят. Понимаю так, что может кто-то им, как немцем, интересуется? Но ты ни гу-гу! Иначе уже три головы отсекут! У них в банде уже свой есть. Наверно, Фридрихом хотят его прикрыть. Вроде фальшивой приманки, что ли? “.

Зайдя в дом напротив, Ленц не получил вразумительного ответа. Бывший дьякон, живший рядом, прятал глаза и путано объяснял, что „это случилось ночью, со временем, может, всё уладится, дети сейчас боятся...“ и т.п. Слух о приезде тайными путями опережал Фридриха и, когда он пытался зайти в другие дома и выяснить, кто разорил классы, двери закрывались, в окнах гаснул свет, и только едва заметные движения занавесок выдавали тех, кто пристально наблюдал за посторонним человеком. Стало темно, нужно было смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться и держаться тропы вдоль заросших хмелем плетней. В полной темноте ошибся и прошёл мимо, аж за околицу. Когда понял, поднял голову и оглянулся. От неожиданности и внезапного страха выронил свою папку – на кровавой полоске заката шагах в двадцати от себя чётко

виднелись два мужских силуэта с винтовками наперевес. Сначала мелкая дрожь в коленках, затем ползучее оцепенение ног, холодный пот на спине и ладонях сковали его. Мозг лихорадочно отмечал: „Всё, они свидетелей не отпускают! Конец!“ В крошечной тьме раздался негромкий, но властный голос: „Иди, немец, живи! И тебе и нам не сладко! Мы бы тихо зарезали тебя, но знаем, что ты порядочный человек. Только никому ни слова!“ Тени исчезли.

Дорога уже подмёрзла, и каждый шаг Фридриха отзывался в стене чёрного леса слишком громким эхом. Из-за темноты он шёл пешком, толкая свой велосипед. Старался не шуметь, перетаскивая колёса через корни и колдобины. Пару раз показалось, что кто-то невидимый следит за ним. Два раза услышал хруст. Оглянулся – никого! Луна окрасила всё в жуткий бледно-синий цвет. Полная мертвящая тишина. Зарыться бы куда, дожждаться дня. А если эти передумают? Лучше быстро идти, может, спасение придёт. Молитвы сами звучали в звеневшей от смертельного страха голове. Оглохший от бешеного стука собственного сердца, через полтора часа быстрой ходьбы различил маленький хуторок и робко постучал в тёмное окно. Никого. Опять через лес? Нет, пойду в сарай и дождусь там рассвета. Не могу больше. Будь что будет! На цыпочках подошёл к воротам и медленно потянул их на себя.

Неожиданный скрип раскрывшейся за спиной двери дома поднял дыбом его волосы. Сделав шаг, очутился внутри сарая. Всё, конец! Придут!

В ночи раздались слова, обращённые явно не к нему: „Приходил бы лучше завтра, а то в селе гость из города появился. Как бы сюда не забрёл“.

– А ты откуда про него пронюхала?

– Да сова принесла.

– А сова не в погонах? Смотри, те на выдумки мастера!

Кто-то протопал к калитке, и через мгновение опасные шаги затихли во тьме. Фридрих хотел было исчезнуть. Но поздно. На пороге, освещенная бледной луной, стояла женщина в короткой ночной сорочке, открывавшей головокружительной красоты ноги. Тонкая ткань подчеркивала прекрасную фигуру, левое

плечо было обнажено. Небольшая пауза, и с редким самообладанием лесная Алеся тихо сказала: „Раз мне попался, то заходи! Думал, в сарае спрячешься?“ В сенях подошла поближе и, как бы рассматривая, сказала: „Неплох. Видишь, в моём лесу глаза тоже есть! Понял?“ Далее всё было как во сне. Ужин в темноте – блины на сале с яичницей, адская горчица, стакан самогонки гостю, себе – рюмку.

Пронизывающий взгляд чёрных гипнотических глаз, лёгкое касание рук – и тысячи торопливых, дурманящих поцелуев. Незабываемый аромат этой женщины ошеломил Фридриха. Никогда больше в жизни он не испытает ничего подобного, никогда не повторится эта осенняя ночь! Горячий всплеск всепоглощающего чувства, голос с небольшой хрипотцой, запах сена... Всё провалилось в глубокий сон.

Резкие голоса разбудили Фридриха. Сначала не понял, где находится. Кругом темень, но хватило ума промолчать. Не меняя позы прислушался. Уже знакомый голос властно произнёс: „Сюда приходим в исключительном случае. Только после дела. Кстати, после меня вечером никто к тебе не заходил? Чужак действительно был в селе, немец из городской редакции. Что-то Советы придумали. Мы хотели пойти за ним, посмотреть, не связан ли он с этими? Но пропал, сволочь, куда-то!“

Женский голос: „Приходи! У меня всё спокойно“.

Через полчаса продолжительный поцелуй проводил Фридриха в путь. Крепко прижавшись к нему, прошептала: „Только напрямик через речку, за ней налево, вдоль берега, и через три километра уже твоя дорога. Смотри, убийцы моего отца следят за тобой! Я с ними сама разберусь! Иди, сладкий мой, я скоро сама найду тебя! Видимо, влюбилась!“ И ещё раз до крови впи-лась в губы. Перейдя речку, Фридрих оглянулся – из ночи послышалось: „Прощай, немец!“

Выслушав ругань редактора и едва увернувшись от подозрительных, дотошных вопросов, Фридрих занялся обычной работой в школе. Более он не заходил в редакцию и уклонялся от командировок. Атмосфера в городе, школе стала гнетущей и тревожной. В стране развернулось окончательное и решительное наступление на остатки империализма в западных районах

Белоруссии. В связи с этим объявлялась бритвенно-острая борьба с бандитизмом и шпионажем. Честные и умные люди исчезали из жизни, как лепестки ромашки, обрываемые жёсткой и мозолистой рукой сталинских молотобойцев. Все замкнулись, ушли в себя и лишь на собраниях держали на одинаковом уровне руки под тяжёлыми кладбищенскими взглядами презревшего руководства. Окровавленный серп, не отдыхая, собирал свою жуткую жатву, срезая головы сотням и сотням невинных людей, а молот безжалостно выбивал из остальных мозги, выковыывая однородную, одинаково думающую массу рабов.

Огромная страна уже который раз погрузилась во мрак. Фридриха не расстреляли. Ему повезло. Он был арестован как резидент немецкой и почему-то японской разведок и в кандалах сослан в Сибирь. Хорошее знание русского языка и литературы спасло немца. До 1958 года учил отпрысков лагерных палачей любить Россию, её людей и её великую историю. Всё это время он носил в груди сердечную тайну прошлого. Только по ночам и про себя он шептал слова, адресуя их единственной и любимой в его жизни. Его память сохранила все детали, всё, что было выхвачено вспышкой их любви из той тёмной осенней ночи.

На склоне лет они встретились. Но какая это была встреча ?!

Он дрожащими руками держал газету. Потрескавшиеся губы опять шептали ей те, самые искренние слова в его жизни, а она, молодая, красивыми глазами всматривалась с газетной фотографии в его лицо.

То были воспоминания какого-то чекистского начальника об удачной охоте на антисоветское бандитское гнездо, а расстрелянная заодно с бандитами его любовь значилась как главарь и организатор всего подполья. Фридрих догадался, что она выполнила свой долг перед отцом. Сумела заманить к себе банду и погибла, как многие, от всепроникающего подозрения своих же.

Газету с лживой статьей он выбросил, а фото аккуратно вырезал. Сейчас в его маленькой квартире живет её портрет – красивейшей и единственной женщины Фридриха.

От вопросов знакомых и друзей он уклоняется, хотя знает, что рассказать об этом давно пора.



*Приезд отца. 1949 г., г Лида*

*(Слева направо): Ковалёв Василий Кузьмич, на руках – соавтор этих строк Олег, Ковалёв Кузьма Яковлевич, Святослав, Ванда Васильевна Ковалёва.*

Реанимация подозрительности или нехватка вражеского элемента.

Два года я работал одновременно и в вечерней школе. Никто меня не тревожил. Никуда не вызывали. Документы, выданные после госпроверки, сдал в местный военкомат. Там они и лежали тихонько до поры до времени. Прошло два года. Наш цензор Волков, не знавший белорусского языка, постоянно обращался

ко мне за помощью. Он был из России, старый коммунист, человек честный, прямой. Он и заведующий отделом информации по промышленности Тимофеев (тоже из России) начали агитировать меня вступить в партию. Я долго не соглашался, словно предчувствуя что-то, но по-том подумал, что доверие – большое дело, и начал готовиться. Они дали рекомендации. Третью написал секретарь горкома партии, курировавший газету. Дали анкету для заполнения. Я решил посоветоваться с Волковым и сообщил ему, что моя биография не очень подходит для такой благородной цели. Он успокоил, сказав, что после проверки я уже чист, как стёклышко. Я и сам склонялся к тому, чтобы писать правду. Как можно в такой ситуации утаить то, что давно известно, проверено и нашло своё отражение в документах? Более того, находится в архивах МГБ. На заседании первичной организации меня единогласно приняли. Далее передали документы в горком партии на рассмотрение и утверждение. Жду день, второй, неделю. Нарастает тревога. Вдруг получаю листок – отказано в приёме! Причина не указывалась. Через неделю меня уволили с работы, также без объяснений. Я обратился к секретарю горкома. Он юлил как мог, но всё-таки выдумал такую версию: рекомендовавшие меня сами отозвали свои рекомендации, а что уволили с работы, так это уже дело редактора газеты Ю.Б. Драгуна (по профессии учитель химии, не работавший в школе ни дня). Не понимал я тогда, что мне уже никто не поможет. За всеми этими рабами нашего «свободного» строя опять стояла тень всемогущего МГБ! На моей биографии плен стал вечным позорным пятном, использовать которое как постоянно действующий компроматериал стало золотым правилом органов госбезопасности. В довоенное и особенно послевоенное время у них резко сократилось количество шпионов, не стало под рукой ни диверсантов, ни террористов, ни заговорщиков, а значит, притуплялась острая государственная необходимость в такой организации. Этого они не могли себе позволить и предпринимали бешеные усилия по восстановлению своего устрашающего авторитета и заодно – тайного и явного всевластия!

К о п и я

Ш т а м п:  
Камітэт Дзяржаўнай бяспекі  
Рэспублікі Беларусь.  
Упраўленне па Віцебскай вобл.  
№ 10/47266  
на № 13.05.94 г.

220070, гор. М и н с к,  
Партизанский проспект, 20 - 35.  
Ковалёву Василию Кузьмичу

В хранящихся в УМГБ РБ по Витебской области материалах репатриации на Ковалёва Василия Кузьмича, 1917 г.р., уроженца дер. Козловичи Оршанского района Витебской области, указано, что он в декабре 1939 г. Ошанским РКК был призван в ряды Красной Армии. Находясь в составе 23-ей мотомехдивизии, с 26 июня по 3 июля 1941 г. находился в окружении в районе гор. Барановичи.

3-го июля 1941 г. был пленён немцами. С 1 августа 1941 г. по июнь 1944 г. содержался в лагере военнопленных Цайтгайн /IV-N/, с июля по октябрь 1944 г. - в лагере военнопленных Мальберг /IV-B/, затем один месяц за проведение среди военнопленных антифашистской агитации содержался в тюрьме гор. Лейпциг.

С ноября 1944 г. по 22 апреля 1945 г. содержался в концлагере Флоссенбург. 22 апреля 1945 г. был освобождён американскими войсками. После регистрации и проверки осенью /дата и месяц не указаны/ 1945 г. ушёл на родину.

Другими сведениями не располагаем.

Начальник  
подразделения УМГБ /подпись/ - Н.А.Зайцев.

Круглая печать с надписью:  
для справок № 06.Управление  
КГБ БССР по Витебской области.

*Копия берётся  
Зев. отделе, зам. пред-  
седателя комиссии  
С.А. Келран*



Все молчали как воды в рот набравши. И прокурор, и военком, и вся редакция.

А что же делать славным «трудовикам» тайного фронта из МГБ (кстати, названия почему-то менялись, а сущность оставалась всё той же!), если с течением времени совсем пропали враги из бывших дореволюционных классов, были уничтожены все саботажники, кулаки, приспособленцы, предатели из числа маршалов и Героев Советского Союза, высших офицеров, учёных, дипломатов, деятелей культуры и искусства, западники, иностранные специалисты, помогавшие Советам стать на ноги... Пропала чекистская пища, а нужно было непрерывно оправдывать свой неплохой хлеб, должности и тайное оружие – огромный послушный и бесправный аппарат стукачей! Без него, ну просто никак невозможно! Такое поддержание карательных органов в активном, настороженном состоянии было очень выгодно партии и правящей верхушке, ибо оправдать, объяснить свою бездарность по всем направлениям можно было только постоянными вылазками вражьих сил и снаружи и внутри! Предельно просчитанная выгода для верхнего партактива – если что, так мы ни при чём, это они разгулялись самостоятельно, нарушив партийную дисциплину и Устав и, немножко «пошалив», уничтожили миллионы беззащитных и невинных людей! Лишь после XX съезда, громко заявившего устами Хрущёва о преступлениях сталинского режима, но так же быстро сдувшегося под тяжестью санкционированных самой партией зверств, частично и только временно напуганные чекисты сжались в ожидании санкций в свою сторону! Они как могли отпихивались от обвинений, и довольно удачно сваливали свои преступления на тех, кто из-за кремлёвских стен слал и слал приказы, требовал усиления и улучшения оперативной работы, главное – количественных показателей по городам и весям! Не хватало у них тогда, впрочем, как и сейчас, ни совести, ни чести, ни смелости, ни человеческого сочувствия заглянуть в свой вчерашний день! Мол, так нужно было. Такое было время! Нужно было выстоять в окружении сплошных врагов! Вот и стоим с той поры, стоим на костях наших родных, дедов и отцов, на скелетах выдающихся детей России! На останках тех, кто сделал и приумножил,

как смог и как успел, славу нашей Родины в разных областях и направлениях. Поклон им и вечная память! А этим бы – позор и вечное проклятие! Но...

В начале «перестройки» начали снова подсчитывать количество убитых в годы войны. Насчитали 37 миллионов! Десять миллионов потом удалили, чтобы не шокировать людей и не давать лишнего повода снова ковыряться в ошибках и преступлениях Сталина и его слуг. Остановились на 27 миллионах. Но туда не были включены ещё 6 миллионов пропавших без вести! В конце 1942 года власти отменили «медальоны смерти» и красноармейские книжки больше не выдавались, чтобы скрыть потери и не выплачивать вдовам положенной суммы за погибшего или пропавшего! А жуткий приказ Сталина № 227 «Ни шагу назад!», сделавший своё чёрное дело и намного увеличивший количество напрасных жертв. По этому приказу были созданы заградительные отряды, стрелявшие без разбора в спины своих же, не делая никаких усилий по выяснению причин отхода и выводов из таких ошибок («Народная газета» № 31 от 1995 г., статья «Горькая правда войны»).

В августе 1949 г. я еле устроился в Бердовскую школу Лидского района. Целый год отработал там. Преподавал русский язык и литературу в 7–9-х классах. Десятого ещё не было. Эту школу, как помню, при мне заканчивали В.А. Сорока, сейчас кандидат наук, преподаватель Белгосуниверситета и Г.В. Рыкович – актриса театра им. Я. Купалы.

На следующий год меня приняли в городскую школу № 2. Здесь я проработал до июня 1951 года. Преподавал уже белорусский язык и литературу. Сам ни с одной работы не увольнялся – меня увольняли, как только заканчивался учебный год! Так было и на этот раз. Летом 1951 года я снова остался без работы и думал, что делать дальше.



Настроение было неважное, в голову приходили и крайние мысли в условиях бесправия в стране и собственного бессилия что-либо изменить. Мои попытки добиться справедливости разбивались о ледяное и наплевательское отношение властей любого уровня, о рабскую систему круговой поруки и обороны от человеческих проблем. Причина была ясна – мне и другим подобным не было никакого доверия. Проверку прошёл, никаких компроматериалов, но правда была в другом – я являлся постоянной единицей для отчётов наших тайных органов. Они именно на подобных фактах и делали себе имя, и выполняли план, назначенный ими же самими. Знаменитый приказ Сталина о предателях-пленных никто не отменял, и было удобно снова ставить его в основу своих достижений! Кстати, ни в одной стране мира нет и не было такого преступного отношения к своим людям, побывавшим во вражеском плену! Там был и генерал де Голь, и другие деятели мирового масштаба!

В Лиде я случайно встретил бывшего солагерника. Радостная встреча. Он пригласил меня к себе домой. Рассказал, что он

собирается как-то выехать сначала в Польшу, а потом в Израиль. Жаловался, что власти постоянно создают препоны и в устройстве на работу, и в учёбе, получении жилья. А официально, куда бы он ни обращался, к нему не было никаких претензий! Мы посочувствовали друг другу, и наши пути разошлись навсегда.

Меня тоже пока никто никуда не вызывал. Наибольшим моим гонителем был секретарь горкома партии по пропаганде Василий Васильевич Балеев. Этот малорослый партийный деспот знал свои обязанности! Тот же палач и садист из концлагеря, только в горкомовском кресле! Во время летней учительской конференции в августе 1951 года я сидел вместе со всеми в зале, хотя и не имел никакой работы. Балеев появился на сцене и, увидев меня, громко на весь зал заорал: „Ты, Ковалёв, тебе здесь нечего делать! Выйди из зала, иначе тебя вышвырнут! Больше в школе ты не работаешь. Предателям у нас не место!“ Я почти потерял сознание от такого хамства и невиданного оскорбления. Пошёл к выходу... Но партийный садист не успокоился. Он, упиваясь собственной вседозволенностью, на виду у всех, явно рассчитывая на рабскую солидарность с ним наших прибитых граждан, побежал за мной и уже на выходе набросился с руганью: „Чтоб твоей ноги здесь не было! И не только в школе, но и в городе! Вон, фашистский прихвостень!“

Что я могу сказать? Ничего, только болит душа и чаще ноет сердце. Очень долго я не мог забыть этот плевок мне в лицо, беззащитному перед бесстрашным партийным хамом! В этой фразе не просто отображение скотского характера маленького партийного божка, в этом действе намного больше – в нём, как в увеличительном стекле, состояние нашего общества, здесь ярко высветилась наша атмосфера, разница между руководящим аппаратом, правда о нашем бытии, нашей морали и постоянной лжи! Конечно, не всё было так крайне плохо, но фон для таких, как я, был ужасный!

Материально нас немного поддерживали родители жены. Вслед за мной уволили и её, а она преподавала в школе и имела относительно неплохую зарплату. Я пошёл к прокурору. Тот выслушал мою жалобу на районо и только посоветовал обратиться в суд за какой-то денежной компенсацией. Речи о

восстановлении справедливости, советского закона не было. Он говорил тихим, вкрадчивым голосом, прятал или отводил глаза и старался как можно скорей выпроводить меня из кабинета, как назойливую муху. До суда, конечно, не дошло. Да это и невозможно в свободном социалистическом обществе! Судиться с госорганизацией? Да ещё в то время? Полный абсурд!

Районо согласился выплатить мне сумму по увольнению, так как меня выбросили с работы, предварительно не предупредив. Я обращался за помощью и к военкому. Тот, оказавшись человеком сочувствующим, выслушал меня и твёрдым голосом посоветовал съезжать из Лиды поскорей. Попытался, сглаживая ситуацию, объяснить, что здесь приграничная зона, в лесах ещё бродят недобитки из числа полицаев, что порождает шизофреническую настороженность МГБ и партийных органов. А в глубине республики ко мне никто не будет приставать. Совет оказался и решающим и понятным. Начали собираться к отъезду. Сначала, вдохновлённый возможностью жить и работать в центре республики, поехал в Минск, в Министерство просвещения, в отдел кадров. Успел снять квартиру на углу, возле знаменитого Комаровского рынка. Показал даже жене и сыновьям, но... Долго меня там муржили, тянули с ответом, что-то обещали, но только к сентябрю направили в город Червень Минской области в 64 км от столицы. Год работал один, снял квартиру для семьи по ул. Пролетарской, 8 у Лычковских, очень симпатичных, талантливых и трудолюбивых людей. Летом 1952-го переехали в Червень и остальные члены моей семьи. Мы там жили и работали до 1971 года. Жена преподавала в школе №1, сдружилась с коллективом. Учитывая её прекрасные профессиональные качества, её постоянно назначали классным руководителем. Быстро завоевала авторитет, постоянно получала награды и грамоты. На пенсию вышла раньше положенного возраста. Причиной тому снова явилась наша «справедливость». Дирекция школы, где работали вдвоём, каждый год отмечала нас наградами областного, республиканского уровня. Мы добивались высоких результатов в работе с учениками: каждый год в каждом классе, где мы работали, школу оканчивало по несколько золотых и серебряных медалистов! Нас

обоих выдвинули на звание «Заслуженный учитель БССР», но потом совершенно неожиданно заменили эти высокие звания – меня наградили знаком «Отличник народного образования БССР», а жену вообще никак не отметили!



*СШ № 1 г. Червеня, где родители проработали большую часть своей жизни, а я учился до 9-го класса.*

Тихим застенчивым голосом директор, человек неплохой, тактичный, пояснил, что две награды в одну семью – это много, „вашей жене мы выдадим что-нибудь другое“. И выдали – обычную грамоту розовенького цвета со знаменем и пионерским горном! Буквально через месяц все, и мы в том числе, узнали, что этого званием были удостоены сам директор и учительница русского языка и литературы А.А. Герасимович. Ради справедливости нужно сказать – оба очень достойные люди и педагоги! А.А. Герасимович ничем не уступала моей жене ни в

профессионализме, ни в ведении классной работы, ни в организации самодеятельности! Скорее, превосходила. Один из её выпускных классов, где большинство составляли воспитанники детских домов №1 и № 3, поставил своеобразный рекорд – в нём было 6 золотых медалистов и несколько серебряных! Заслуженно? Да, конечно заслуженно! Но директору нужно было думать с самого начала, не создавая оскорбительную и унижительную ситуацию после неоднократных бесед с женой и со мной и заполнением всяких анкет на награды. Что ж, как всегда в человеческой морали (а учителя тоже люди), время от времени проявляются зияющие дыры по части совести и чести, плюс – меркантильность!

Через год или чуть больше правда вылезла наружу, как ни пытались её прикрыть очередными грамотами супруге и хвалебными словесами в адрес моей работы – у меня ни один из поступавших в институт иностранных языков не сдал немецкий ниже «четвёрки», а подавляющему большинству ставили «отлично» за высокие знания и умение свободно оперировать разговорным немецким языком! Отмечу, что члены вузовской приёмной комиссии института иностранных языков знали фамилию педагога, подготовившего такие кадры на периферии, и постоянно просили передать мне благодарность за качественную работу! А правда была такая: один из работников райкома партии (фамилию называть не буду) на одном из выпускных вечеров школы рабочей молодёжи, которую заканчивал и он (я тоже там преподавал), когда крепкие напитки немного развязали язык, сказал мне по секрету, что, когда руководство школы получило из столицы список для наград уже с фамилиями, в том числе и с нашими, оно побежало к оперуполномоченному КГБ Ровганю с вопросом, а не может ли повлиять факт нахождения меня в плену или ещё какой-нибудь компроматериал на отстранение нас от высоких наград?

Вот такая высокая мораль человека с изысканными манерами поведения! Важный опер, куривший, как паровоз, не вынимавший изо рта дешёвую «Приму» ни днём ни ночью, принял во внимание это устное целенаправленное заявление и попросил подождать несколько дней и подержать в тайне содержание

списка. Что он сделал потом, этот чекист? Это не является секретом – он или съездил сам, или направил по секретной почте (фельд-почта) запрос с моими установочными данными в архивный отдел республиканского КГБ и, конечно, получил ответ, что такой-то лейтенант действительно с ... по ... был в плену, прошёл госпроверку МГБ СССР с сохранением звания лейтенанта запаса. Интерпретировать же это можно было по-разному, а скорее в более привычном духе вьевшихся 30-х годов! И вот к директору вскоре пришёл уже другой список, где наши фамилии перекочевали уже в нижнюю часть листа! Вот что такое архив госбезопасности! Его резиновым содержанием, натягивающимся при надобности на любого человека, как презерватив, оказывается, можно было манипулировать и в то, и в наше время!

Такого неожиданного поворота, практически плевка в лицо, жена не выдержала – она заболела тяжёлым нервным заболеванием /UrtiCaria, по народному – один из видов «крапивницы») и вынуждена была уйти на пенсию по болезни. Конечно, обладая железной волей, она смогла бы ещё работать, но опять встречаться с этой хлипкой личностью, видеть ставшие фальшиво льстивыми лица своих коллег, не смогла. Я же продолжил работать и ещё годы гордо нёс флаг нашей семейной профессии. Вот так оказалось на деле – меня не хотели оставлять полностью в покое, несмотря ни на многочисленные награды по линии просвещения, ни на мои почти три высших образования (к тому времени наш педтехникум был приравнен к незаконченному высшему образованию, и я ещё закончил заочно три курса Минского пединститута иностранных языков), ни на моё поведение, полностью отвечавшее принятым в то время рамкам идеологической верности, писаным и неписаным законам. Всё равно отношение к тем, кого власти считали запятанным своим прошлым, было негативным и несправедливым, несмотря на то, что то же государство, которому они рьяно прислуживали в своих кабинетах, сняло с меня всякие подозрения, восстановив и имя, и статус. Но что интересно – справку о прохождении госпроверки и реабилитации, выданную на руки для персонального владения, отобрали и неизвестно где

спрятали! Откуда такое отношение к своему гражданину, откуда такое дряхлеющее почти вечно недоверие, почему снова и снова на первый план вылезают тени трагического и преступного прошлого, но уже в одеянии МГБ? Неужели одежда на них меняется в связи со сменой актёров и общей декорации в государстве, а гнилое содержание – нет?!

Любопытно ещё и следующее: до 1954 года, когда мы жили на квартире у Лычковских, снимая у них две комнаты, к нам несколько раз заходили неизвестные люди под странными, надуманными предложениями: то проверить нашу сберкнижку, то лампочки в комнатах, то ещё что-то... Наткнувшись, как бы случайно, на фотоальбом, хватали его и начинали листать, изображая внезапно нахлынувшую любовь к фотографии и интерес к нашим корням... Даже коллеги по учительскому труду нами приглашались персонально на семейные праздники, а эти были похожи на очень самостоятельных и назойливых мух. Кто же руководил их низким «полётом»? Искали местà для потайных насекомых «жучков»? Или просто «шмонали»?

Дальше – больше: как только мы переселились в свой новый дом на другой улице, эти визитёры не перестали навещать нас. Слава богу, что за прошедшую жизнь я уже накопил всякий опыт и умел распознавать людей с двойной профессией и такой же моралью! Интересно, что никто из нас их и не приглашал, но каждый визит обставлялся иногда странными аргументами, связанными то с нашей работой, то с какими-то будущими советами, то с просьбами ко мне прочесть лекцию о влиянии католицизма на жителей Восточной Белоруссии... Было однажды и неожиданное: на пороге дома в воскресенье, в послеобеденное время, вырос наш коллега, учитель, но почему-то из другой школы?! Вопрос ко мне: правильно ли я составил списки участников будущего концерта мужчин к 8-му Марта? Я вынужден был, почти смеясь в это смуглое лицо, ответить, что эти списки и сам репертуар всю сознательную жизнь составлял и продолжает успешно это делать наш знаменитый учитель пения И.А. Неборский, человек большого таланта и энергии, а я дома не держу секретных копий... „А причём здесь вы – из другой школы?“



*Дом в Червене по ул. Б.Хмельницкого, 9, где мы жили с 1953 по 1971 г.*

И вдруг фантазмагория! Не вдумавшись в мой ироничный ответ, этот не совсем удачливый сексот, выпалил: „Так, а где вы их держите?“ После этой неудачной театральной сценки он не разговаривал со мной полгода, но постепенно отошёл после получения уже «правильных» заданий от своего куратора... Кстати, список таких внезапных «друзей» был небольшим, но, на удивление, постоянным!

При этом эти тайные «дятлы» всемогущей организации иногда даже не ожидали моего приглашения пройти вглубь квартиры – они сами, как половые клопы, пробирались в самые интимные закоулки нашей приватной территории, а иногда, вроде случайно, успевали заглянуть и в мой рабочий кабинет. В то время я поступил на заочное отделение аспирантуры при Белгос-университете и интенсивно, часто по ночам, трудился над будущей диссертацией. В связи с этим на малом семейном совете мне была выделена маленькая угловая комнатка с двумя окнами.

Одно из них выходило на улицу, и вечерами свет долго горевшей настольной лампы вызывал озабоченный интерес у проходивших мимо представителей агентурного аппарата. Конечно, у болезненно подозрительных работников, уже давно не имевших никаких реальных результатов, такие сигналы вызывали повышенный интерес: а что, если этот бывший пленный предатель Родины опять затевает заговор или пытается выйти на связь со своим резидентом с помощью лампы с абажуром зелёного цвета в пределах Червенского района? А почему он в отдельной комнате, в то время как все советские люди предпочитают ютиться вместе в общей? А зелёный свет зачем? Кому зелёный? Куда, в каком направлении? Сигнал, явно! А чей? Конечно, шпионский! Он-то где сидел, а почему выжил? То же, те же и такая же гнилая мораль профессиональной подозрительности подогревалась с 1917-го и по конец 60-х!

Конечно, в этих моих словах изрядная доза иронии, но лжи и поклёпа нет – достаточно сходить к «ним» и попросить хотя бы фильтрационное дело на самого себя?! Я попробовал и получил чёткий отказ – „не сейчас, потом, архив проходит чистку, нужно долго искать...“. От начала до конца – чистое враньё! Среди помощников этого недалёкого, но старательного районного опера были и такие, кто после немецкого плена с радостью поклялись верно служить этой службе. Как я понял? Здесь не требовалось ни академических знаний, ни даже моих курсов по армейской разведке полкового звена. Хватило отличной памяти и наблюдательности! Достаточно было запомнить одни и те же вопросы, задаваемые мне через неделю, две, месяц одним и тем же лицом или даже разными. Вот и вылезали периодически наружу истинные физиономии наших знакомых. С середины 60-х моя биография стала тускнеть и терять интерес для этих активных «поисковиков». Болезнь 30-х медленно, нехотя исчезала, уступая место другой...

Моя закалка в этом плане оказалась не меньшей и не худшей, чем у этих «вечно любопытных», даже намного более глубокой! Там, в плену, вопрос стоял только так: жизнь или смерть! Достаточно было ляпнуть где-нибудь или похвалиться, что и я чуть разбираюсь в вопросах военной разведки, – расстрел

неизбежен! А фундамент для этих псевдознаний у меня был заложен очень солидный, ещё со «славных» тридцатых, с репрессий во время учёбы и в моём окружении, и в городе, и среди родни.

Но, видимо, моя фамилия всё-таки была внесена опером в какой-то список внутренних будущих оперативных интересов, так как в начале 60-х он вызвал меня к себе повесткой от имени паспортного стола районного отдела милиции. Опять тревога – что они ещё выдумают? Среди моих учеников школы рабочей молодёжи было много бывших участников войны, которым она помешала закончить даже среднее образование, и они стремились исправить этот недостаток в мирное время. Одним из самых прилежных был как раз начальник паспортного стола РО МВД старший лейтенант Жулего, живший неподалёку от нас на соседней, Бобруйской улице (сейчас улица носит пугающее по сходству имя какого-то Горбачёва. Ужас, даже если это однофамилец!) Я ходил вечером к нему, и тот по-товарищески предупредил меня о возможных уловках и ждущих меня капканах и сказал, где найти этого вежливо приглашающего.

Утром в субботу с бьющимся сердцем (а что хорошего от них можно было ожидать?) прошёл мимо дежурного и направился в сторону, откуда доносился неприятный туалетный запах. Рядом с мужским отделением обнаружил дверь, обитую толстым серым одеялом, но без номера и надписи. Одеяло понятно – для глушения всяких звуков изнутри! „Может, ещё и сейчас там пытаются?“ – в голову «впрыгнула» такая мыслишка. Постучал – тут же без промедления, словно меня ждали стоя, дверь открылась, оттуда выпрыгнул тот же самый прокуренный сотрудник, быстро выглянул наружу и, никого не обнаружив, легонько подтолкнул меня внутрь. Дверь глухо закрылась.

Показал на стул: „Садитесь“. Назвал имя-отчество. Передо мной сидел человек приблизительно моих лет, чуть моложе, с чёрными и редкими волосами, сквозь которые просвечивалась смуглая кожа. Над его головой висел чёрно-белый портрет Ф.Дзержинского в полуанфас с задумчиво-творческим выражением лица. Окно был занавешено толстой тканью зелёного цвета, как и лежавшая на столе скатерть. Несмотря на дневное

время, горела лампа с таким же, как у меня, зелёным абажуром, в центре стоял письменный прибор из двух чернильниц и стакана с карандашами. Карандашей было много, штук пятнадцать. Все с аккуратно заточенными кончиками, стопка пожелтевшей бумаги. „Часто же здесь пишут, и на кого?“

– Ну вот, – протянул руку и ещё раз для чего-то повторил свои имя и отчество, но добавил звание – капитан, – надеюсь, вы знаете, в каком кабинете находитесь. У вас был кое-какой опыт контактов с органами госбезопасности во время госпроверки после длительного нахождения у врага в плену. (Так специфически направленно и отточено, по-чекистски, была сформулирована эта фраза!) Именно поэтому мы вас считаем человеком проверенным и надёжным, в связи с чем просьба со стороны органов госбезопасности (всегда в предложении была эта лишняя обязующая смысловая нагрузка, напоминавшая о бренности бывшего военнопленного и об интересе к нему не менее как со стороны этих самых важных госорганов) помочь разобраться в одном деле. Этим вы окажете добрую помощь государству и нам. Я коротко ответил: „Хорошо“.

– Вот небольшие листовки на немецком языке, которые были заброшены на нашу территорию с помощью воздушного баллона. Эту вражескую работу активно и много лет проводят против нас разные шпионские центры в Европе – американские, английские и недобитые немецкие. Попрошу вас перевести этот текст на русский язык. Вы им, как мы давно уже знаем, владеете после плена неплохо, но это сейчас хорошо. Лучше, если вы сделаете перевод именно тут, без выноса материала из здания.

Я, бегло глянув на текст, сказал: „Это написано на польском. Немецких слов здесь нет“.

Грозный собеседник, попробовавший нагнать на меня страху своей осведомлённостью о моём прошлом, покраснел, смутился: „Так, а что делать?“ Я ответил, что владею и польским и попробую сейчас перевести. В тексте было написано следующее: „Если кто-нибудь найдёт наше послание, то пусть письменно ответит на вопросы: когда и на каких волнах лучше слышны наши радиопередачи и что вас больше интересует – международные или внутренние события в вашей стране? После

заполнения анкеты отошлите в своём конверте по адресу... Заранее благодарим – редакция радиостанции „Свобода“.

Я написал перевод на листке и подписал по просьбе сотрудника. Он даже не стал читать его, а сразу бросился горячо и фальшиво меня благодарить, начав мгновенно наводить «мосты» для истинной цели приглашения – вербовки в агенты! „Мы давно знаем, что вы честный и порядочный человек. Прошли тяжёлый путь, но остались верны Родине и целям социалистического правительства! Помогли сейчас нам в таком сложном вопросе, и мы бы хотели доверить вам нечто большее – работу на пользу партии и государству! Конечно, мы не принуждаем, и вы сами решите, как поступить, но лучше ответить согласием, так как мы и в дальнейшем могли бы помогать вам, а вы – нам. Скажем, в учёбе в аспирантуре, в продвижении в науку... Мы много чего можем! Тем более, что именно вам такое доверие остро необходимо по известной причине – уж очень много невыясненных пятен в вашей биографии, а после войны сразу кто мог разобраться в деталях? Подмахнули и всё – вы на свободе! А? Ну так как? Вы же сами, как опытный учитель, знаете – в потёмки души никому заглянуть не дано!“

Вот всё и стало на свои места! Пока он увлеченно говорил, любуясь своими заготовленными и проверенными на жертвах руладами, у меня было некоторое время обдумать свеженькое, но тухлое по сути ожидавшееся предложение. Нужно было проанализировать сильные и слабые стороны и моего положения здесь, и моих контраргументов. Вступать в это пропитанное ложью и кровью моих предков тайное сообщество не хотел, и всё моё нутро говорило: „вступишь – не отвяжутся!“

Собравшись с духом, ответил, что после плена даже последний пьяница в этом городке знает о моём горемычном прошлом, и именно поэтому ни со стороны коллег по работе, ни со стороны соседей, знакомых ко мне нет никакого доверия, меня сторонятся, не хотят идти на контакт, тем более набиваться в товарищи. Круг моего общения никакой – жена, два сына, хозяева квартиры, у которых снимаем жильё, и родственники за границами района. Работа, доводка до ума дома, хозяйства – и всё! Куда бы я ни пошёл, с кем бы ни попробовал заговорить – всег-

да между мной и людьми стоит стена недоверия и подозрительности, поэтому оказать действенную помощь не смогу, как бы ни старался! Это будет просто враньё с моей стороны и фальш! Разве вам нужен неискренний и фальшивый источник?

Вы бы видели простоватое лицо этого заматерелого на чужих несчастьях опера?! Целый спектр гримас отразился на нём за мгновение: растерянность, страх за намеченное, но не подающееся его давлению, злоба по отношению ко мне, а в ставших маленькими глазках читалось уже обдумывание, чем и как отомстить! Наверно, за всю свою «честную» службу он не слышал ничего подобного!

– Ну, если вы так поняли ситуацию и предложение государственных органов безопасности, то очень плохо, – начались «классические» угрозы.-- Я вам уже доверил госттайну, а вы заняли по отношению к нам враждебную позицию! Это не будет понято наверху! – он показал чернильным пальцем в потолок.– Зря вы так. Ещё интересно, откуда у вас такая уверенность и осведомлённость о методах разведывательной (так и сказал!) работы? Часто сотрудники местных органов для придания большего веса специально путали понятия: таинственная и всегда выигрышно звучащая «внешняя разведка» со своей куда более скромной и несравнимой по испачканной морали спецов по внутренним разборкам?

Я мгновенно понял, что нужно пускать в дело главный козырь, сглаживать возникшую остроту и, как пионер, скромно пояснил, что кто-то, наверно, не совсем внимательно ознакомился с моим личным делом курсанта Могилёвского военно-пехотного командного училища (тоже усилил, прибавив слово «командное»). Я там прошёл ускоренный курс «Основы военной прифронтовой разведки». Их преподавал настоящий армейский разведчик, а меня, после его окончания на «отлично» назначили на должность начальника разведвзвода полка. Именно по этой причине, обладая начальными знаниями, уцелел и в плену, да и после было проще, чем неосведомлённому. По этой причине лучше, чем другие, понимаю, что сделать из меня толкового информатора с подобной негативной биографией не получится. Люди мне не доверяют сейчас и не будут доверять всё время, но,

если я сам столкнусь с чем-то подозрительным, то мой долг, как честного гражданина, выполню и сообщу вам незамедлительно!

Выиграл! Выдержка, память и способность быстро анализировать обстановку помогли мне остаться чистым человеком.

Опер выглядел более растерянным, чем мгновение назад, но довольно примирительно, уже в другом ключе, ответил: „Я понял вас. Спасибо за откровенность и за доверие – тоже. Жалею, что не выяснил все подробности вашей сложной биографии. Надеюсь, что будем хорошими знакомыми, а наш разговор останется в тайне, и при каких-либо новых обстоятельствах, когда мне нужна будет ваша помощь, я хотел бы рассчитывать на неё“ .Я как мог дружелюбнее пожал эту руку и больше не посещал этот кабинет. На некоторых районных мероприятиях, партконференциях мы виделись и приветливо здоровались. Он спрашивал о диссертации, а я сообщал ему о сроках её защиты... Пронесло! Главное было то, что с того дня к нам, в наш дом, ко мне в друзья перестали набиваться те, кто никаким боком не мог быть среди наших знакомых. Никогда не думал, что три-четыре лекции по этой закрытой секретной дисциплине сыграют такую роль! Вот что значит и несколько дополнительных минут, уделённых нам майором, когда он (как я сейчас понимаю) нарушил некоторую границу дозволенного и рассказал более подробно об отдельных и важных нюансах прифронтовой разведки – агентурной работе, организации резидентур в тылу врага и других деталях. При этом он сделал акцент на том, что и советские тайные службы также активно используют аппарат осведомителей среди мирного населения, выявляя врагов советской власти и разных шпионов. Именно поэтому нам, будущим офицерам, нельзя болтать разные глупости политического характера среди незнакомых и вообще среди людей. Это небезопасно. Я это хорошо запомнил, как и мой первый контакт с представителем НКВД в Кольшках. Эти небольшие первоначальные знания сохранили мне жизнь не только в период бешеных репрессий, но и в плену, и потом в послевоенное время, когда МГБ в раже поиска замаскировавшихся врагов так шарил по стране, что у людей, попавшихся под «горячие сердца» и в «чистые руки» чекистов трескали кости и ломались судьбы.



*г. Червень, 1969 г. Наверное, одно из немногих фото, где отец улыбается. Видимо, день удался, и по дороге домой на перекрёстке улиц Бобруйской и Пролетарской он встретил своего хорошего знакомого В.Г. Дорогуша, учителя физики СШ №2, который и сделал снимок.*

## Немного личных размышлений

Тут можно и пофилософствовать: нам в 60-х годах казалось, что уже прошли жуткие времена всеобщей подозрительности и унижения людей, кто, по разумению тех же МГБ–КГБ, на века был с подмоченной репутацией. Интересно, что эта мокроватая и липкая ко всем субстанция почти не менялась с первых минут становления советской власти: бывший пленный, имевший связи с зарубежной роднёй, переписку с границей, являвшийся членом семьи репрессированного, отказавшийся от сотрудничества... и так далее, насколько хватало оперативной фантазии и интеллектуальной мощи очередному «голодному» до подобной информации райуполномоченному или его начальству. Этот компромат, хотя и был отринут государством как незаконное основание для бывших и настоящих репрессий, всё же вытягивался на белый свет, когда нужно было снова показать свою тайную власть над людьми, и также использовался властями, когда кому-то было это выгодно! До войны я не очень вдавался в тонкости внутренней, да и внешней политики партии и государства. Я верил официальной пропаганде, не интересуясь деталями внутрипартийных разногласий. У меня, как и у других молодых людей того времени, были мечты, интересы, цели и кое-какие возможности для их осуществления. Как человек, способный думать и анализировать, замечать и запоминать, видел, что в стране есть много такого, чего нужно опасаться, и, обладая инстинктом самосохранения, старался избегать подозрительных ситуаций. А таких острых и непонятных моментов было предостаточно: вдруг пропадали знакомые мне люди, иногда целыми коллективами, как в моём педтехникуме. Со страниц газет и из радиопередач также исчезали известные на всю страну деятели искусства, артисты, учёные. Часто после их ареста в прессе появлялись статьи противоположного толка, где бывший вчера авторитетным человек вдруг считался уже заклятым врагом. Для человека думающего это было шито белыми нитками, но высказывать своё мнение было крайне опасно.

Поэтому я старался заниматься делом – учиться, усваивать знания, получать опыт для будущей работы педагогом, пополнять мою духовность всем лучшим, что мог найти в книгах, лекциях, беседах с грамотными людьми.

Все пели одинаковыми голосами одни и те же хвалебные гимны партии, Сталину и чуть потише – местному партийному и советскому руководству. То от одного, то от другого я слышал, как шепоток тайных сексотов уничтожал, казалось бы, самого верного служаку официального курса страны. Такое было и среди близких знакомых по учёбе в педтехникуме, и в военном училище... И я тоже, чего греха таить, опасаясь быть негласно записанным даже в просто самостоятельно думающие, со всеми хлопал в ладоши и повторял вслух «заклинания», предложенные свободному люду сталинско-ежовской братией. Другого пути для формирования жизни и профессии без такого аккомпанемента просто не было. Кто пытался плыть не в этой мутной, пенистой струе, пропадал быстро и навсегда!

В тяжкие годы послевоенного лихолетья, доносительства и всеобщей подозрительности, когда обида мучила до боли, до слёз, временами не хотелось и жить! Там, у фашистов, я делал всё, чтобы выжить и чистым вернуться на Родину, а тут, среди своих, получается, что я был и остаюсь навсегда затаившимся врагом? Временами целый мир был немил, но, как только думал о своих – в душе появлялась ответственность за их жизни и благополучие всей семьи. В Червене повесился бывший пленный – доктор Корень. Он часто приходил в школу, где после уроков самозабвенно играл в шахматы с учителями. Всегда был тихим, грустным. Мало разговаривал. Повесился и инженер МТС Барановский, также бывший узник. Я видел его двоих детей и жену после похорон. Несколько дней его сын, мой ученик, не появлялся в школе. Я решил узнать причину. Захожу к ним во двор. Двое детей варят картошку на костре. Спрашиваю: „Где мать или отец?“ „Мать на работе, а отец повесился!“ Я остолбенел и не знал, как реагировать. Я потоптался по двору, не находя никаких слов сочувствия, и тихо ретировался. Мне стала ясна эта картина безнадёжности и крайнего отчаяния, доведшие до самоубийства очень порядочного человека. Я-то

знал истинную причину! Органы безопасности, уже не имея перед собой настоящих врагов – шпионов, диверсантов, резидентов, придумывали всё, чтобы только сохранить свой особый, тайный и бесконтрольный статус, особенно рычаги давления на всех и вся! Враньё и безграничная фантазия, опиравшиеся и оправдываемые глухой секретностью всегда были у них главной опорой вместо правды! Подобных ЧП в районе с 1952 по 1955 г. было больше десяти. Об этом мне сказала по секрету медсестра, отвечавшая в райбольнице за медицинскую статистику и подрабатывавшая в местном медучилище кассиром. А я преподавал там немецкий язык. Однажды захожу в её помещение. Нужно было отдать справку для получения зарплаты. Смотрю, в пишущей машинке лист белой бумаги – печатается отчёт райбольницы за прошлый год. Вижу графу «Количество суицидов». Это слово я знал – «самоубийство». Она смутилась, что печатает бумагу для своей основной работы здесь, но увидев, что я не обращаю внимания, разговорилась. Жалея этих людей, доверительно сказала, что количество самоубийств за три года достигло десяти. В основном среди участников войны, бывших в плену! Вспомнили и доктора Кореня, прекрасного, интеллигентного человека. Его знал весь город. Он купил, как и мы, на ссуду в банке хороший дом в деревне Красный Дар (ранее – Божий Дар) и перевёз брёвна на место, указанное райсоветом. Сложил один венец, второй, но вдруг власти сказали, что это место занято. Вынужден был перевезти. Но, как только сложил несколько венцов, опять – здесь запрещено строить. И так несколько раз. Наконец, когда дом всё-таки вчерне был сложен, пришли люди из райисполкома и приказали всё разрушить и строить на дальней окраине. Он бегал в райком, в райисполком, ещё куда-то... А там ему прямо в глаза: „Мы ещё подумаем, давать ли бывшему предателю место в нашем районе!“

У читателя может возникнуть вопрос, откуда я это знаю. Ответ есть, и он простой – бедолага врач доверял во всём районе только одному человеку – мне! А по какой причине – понятно.

Корень пришёл к недостроенному дому и повесился на стропилах. Оставил записку, содержание которой распространилось

со скоростью молнии: „Простите, родные! Спасибо родной партии за помощь!“

А о деталях с другой стороны? Я дружил с инспектором райкома партии Мысливчиком, человеком талантливым, разносторонним, работавшим ранее учителем русского языка и литературы. Любил поэзию, прекрасно декламировал, особенно В.Маяковского, участвовал в постановках районного драмтеатра, где и мы с женой время от времени исполняли какие-то роли. Он присутствовал на заседании, на котором рассматривали заявление доктора Кореня, и слышал устный вывод комиссии: земли в удобных местах предателю не давать! Интересно было бы спросить у того партийного живодёра, что или кого конкретно предал доктор Корень, в чём выражалось его предательство и какие последствия от этого наступили?

Остались жена и двое дочерей. Она едва смогла с помощью соседей и людей, знавших покойного, кое-как довести дом до нормального состояния. Детали трагедии рассказала мне, зная о моей судьбе и о том, что мы с её мужем держали втайне некую солидарность бывших узников концлагерей. Кое-когда отчаянные правдолюбцы из партийных рядов нервировали и меня, но боялись открыто трогать, т.к. среди учащихся вечерней школы рабочей молодёжи половину составляли работники тех же райкома, райисполкома и военкомата. Даже районный судья аттестат получил из моих рук. Мои хорошие отношения с учащимися явились как бы поддержкой и заслоном от подобных поползновений. Я любил работу, да и многие люди относились ко мне с уважением и помогали в каких-то жизненных ситуациях. Всё это придавало силы, и я постепенно освобождался психологически от давившего прошлого! Далеко не сразу наступили перемены. Люди оттаивали, сталинско-бериевские кулисы задвигались в прошлое, на сцену вышли новые актёры с грандиозными планами догнать и перегнать всех и вся! Это радовало и прибавляло сил на дистанции нескончаемого маарафонского бега по кругу. Атмосфера доверия и относительной искренности начала пробивать себе дорогу. Шло уже новое время, тоже с проблемами, трудностями, но несравнимое с предыдущим прошлым.

Сейчас жить уже можно, хотя порой нелегко, но когда было легко человеку в поле, за станком, у учебной доски? Теперь человек духовно почти раскрепощён, свободен, над ним не висит коротенький дамоклов меч, приклеенный к щиту. Живи честно, работай с отдачей, люби ближних, помогай тем, кто нуждается в тебе, – и всё будет хорошо!

В Червене со мной произошёл один неприятный случай, когда я на время расслабился, думая, что вокруг одни добрые люди! Летом 1954 года ко мне домой пришёл выпускник вечерней школы рабочей молодёжи, инвалид войны, без руки. Он попросил выправить в его аттестате только одну оценку – с четвёрки на пятёрку по белорусскому языку. Учился он хорошо, но приёму в ВУЗ очень помогла бы ещё одна пятёрка на подавляющем «четвёрочном» фоне. Он протянул аттестат, выписанный ранее мною, и чистый формуляр с печатью, но не школы, а отдела народного образования. Я не стал спрашивать, где он его добыл. Было понятно, что ему помогли. Я, не думая, взял чёрную тушь, ручку и при нём переписал документ. Он поблагодарил и ушёл, забрав с собой оба листа. Это была моя большая оплошность! Вскоре по его же недосмотру на свет божий всплыли оба экземпляра! Какой разгорелся скандал! Такого в районе не было, да ещё и с прилежным учителем! Вина моя очевидна: подделка документа. Меня увольняют с работы, но без указания причины – просто из-за отсутствия вакансии. Угрожали судом, но до него дело не дошло – сказала поддержка моих выпускников. Выслали на район. Один учебный год (1954/1955) я работаю в Домовицкой средней школе. Преподаю немецкий язык. В девятом классе разрабатываю новую тему. Читаю вслух, перевожу, пишу объяснения. Вдруг с удивлением обнаруживаю, что не знаю одного слова по-немецки – «зибэнмайлшриттэн». Я знал, что «зибэн» – семь, а «шриттэн» – шаги. А что означает вместе, в голову не приходило! Врать или придумывать ученикам не хотелось. На этом я остановил объяснение и сказал, что завтра продолжим знакомиться с новым. В словаре не нашёл, что делать? Вечереет. После ужина взял лыжи (на них ходил неплохо – в училище был седьмым!) и айда в Червень к Марии Степановне Сенько, тоже учительнице

немецкого языка с большим стажем. Иду через поля, леса, канавы, напрямую, по интуиции. Нашёл улицу. В окне свет. Стучу. Испуганный голос: „Кто там? Что нужно?“ Увидев меня, открыла. Спрашивает, что случилось. Объяснил. Она смеётся: „Вот что значит не знать международного английского языка! «Майл» – это миля! Запомните и не пугайте меня ночью!“ Я, увлечшись лингвистическими поисками, забыл про поздний час. Было уже больше 9 вечера. Поблагодарил, выпил чаю и помчался обратно. Чуть постоял у моего дома. Будить родных не захотел. Ночь не спал, но из положения вышел. Каждый год пополнял свои знания – в местной библиотеке, ездил за книгами и в Ленинку– главную республиканскую библиотеку в Минске, брал литературу у знакомых, в частности у червенского интеллектуала В. Дорогуша, преподавателя физики во 2-й школе, с которым поддерживал товарищеские отношения. Старался планировать работу: приближается весна, и я уже заготавливаю языковую подборку – «скворец», «скворешница», «таяние снегов», «гнездо», «паводок», «проталины», «пение соловья» и т.д. Ученикам это нравилось, мне – тоже, к тому же это приносило и хорошие результаты – подавляющее большинство выпускников уже владели разговорным немецким! Приближается 1955-й, и судьба (приказ районо) забрасывает меня в далёкое, уже упоминавшееся мною, лесное село под названием Красный Дар. Вокруг глухие леса, заливные луга и болота. В селе семилетняя школа. Учеников немного, поэтому преподаю русский язык и русскую литературу, плюс немецкий во всех классах с пятого по седьмой. Нагрузки хватало. Однажды под конец учебного года, наверно в мае, дежурил по школе. Обязанности простые – следить за порядком, чтобы не курили, не ломали имущество и забор по периметру. Школа стояла на краю села, рядом стога сена, соломы, и курильщики могли случайно устроить пожар. Работать с учениками было легко – они уважали и любили меня, а я отвечал им взаимностью. После уроков, на переменках мы беседовали о будущей взрослой жизни, о планах, целях и путях их достижения. С моим опытом, знаниями я мог им подсказать больше, чем просто молодой учитель.

Большая перемена. Обед. Конечно, в сельской школе, да ещё в такой глубинке, столовой не было, и каждый ел то, что приносил из дому, – кусочек сала, хлеб, варёное яйцо. Воду для чая кипятили на керосинке. Этим занималась уборщица и одновременно истопник школы. Я вышел на крыльцо, чтобы понаблюдать за курцами. Они всегда располагались на дальнем углу школы. Увидев меня, разбежались. Остался один паренёк, ученик седьмого класса. Он сидел обычно на одном и том же месте за спиной симпатичной деревенской девочки. Однажды увидел, как он гладил руками её красивую длинную косу. Та делала вид, что не слышит, а парень просто таял от первых чувств! Он даже целовал эту косу, но я не делал никаких замечаний. Не знаю, как это было с точки зрения советской педагогики, но я промолчал. Главное – дисциплина не нарушалась, но мне хотелось как-то предостеречь юношу от возможных необдуманных шагов. На переменке сказал ему: „Сергей, я знаю, кто является твоей симпатией!“ Он вспыхнул от смущения: „А откуда вы знаете? Кто вам сообщил?“ „Никто, просто твои молодые чувства у тебя на лице, и спрашивать никого не нужно. Я не буду никому говорить, но очень хотел бы, чтобы вы оба вели себя как подобает вашему возрасту! Любите друг друга, но без обмана и крайностей!“ Подросток внимательно слушал, а потом подошёл ближе и, краснея, спросил: „А когда нам можно по-взрослому? Ну, как муж и жена?“ Я оторопел от столь неожиданного вопроса, да ещё в наши целомудренные времена! Сейчас-то никаких границ давно нет – ни словесных, ни в информационных источниках – кино, телевидении, интернете! Посмотрел на часы – до урока оставалось две минуты. Говорю: „Приходи завтра ко мне на квартиру, там поговорим. Я живу у Ольги Романовны...“ Тот обрадовался: „Да это моя свояченица по отцу“. Почти сутки я готовился к первому в моей педагогической работе разговору на серьёзную, но запретную у нас тему. Ему-то лет пятнадцать?!

Известную статью Макаренко для родителей о половом воспитании детей я знал из курса педагогики, но этого было мало. Что же ему сказать? Конечно, можно было бы отделаться простым – запретным тоном сказать, что в будущем всё само

собой образуется, а пока не стоит афишировать свои чувства в школе. Я проверял тетради, когда Сергей зашёл в дом. Хозяйка поругала его, что приходит к ней редко, и направила ко мне в комнату.

Сели на софу. Я, немного нервничая, начал: „Ты, как я понял по твоему поведению, полюбил эту красивую девочку, а нравишься ли ей ты?“ Он не ожидал такого вопроса и неуверенно промямлил: „Наверно, точно не знаю, я ещё не говорил с ней...“. Явно был смущён и даже поколеблен. Вот на этом моменте я и построил весь последующий разговор. Сказал, что, пока вы оба не убедитесь в постоянстве и взаимности ваших чувств, ни в коем случае нельзя переходить рамки просто дружбы. „Дружите, встречайтесь, но не принуждай её вступать с тобой в половую связь! Ты живёшь в маленькой деревне, и когда об этом узнают, то все отвернутся от тебя! Ты это понимаешь? Таким недобрым поведением, единственным шагом, продиктованным только половым влечением, ты можешь разрушить абсолютно всё: тебя возненавидят её родители, да и твои тоже, ты станешь изгоем в своём родном селе! А если она забеременеет? Ты подумал об этом? Что ей останется делать? В седьмом-то классе? Ты же ломаешь этой красавице всю жизнь! А ради чего? Просто попробовать? Это не по-мужски! Ты должен полностью отвечать за свои слова и поступки, а не то запросто можно угодить в тюрьму! Дружите, любите друг друга, узнавайте свои черты, особенности характера. Время пройдёт быстро, а потом ваше дело – если чувства не остынут, вы будете и дальше встречаться, но уже взрослыми, ставшими на ноги. У вас уже будет работа, деньги, и вы сможете содержать семью, а сейчас? Я же не говорю тебе её бросить. Нет! Любите, но и уважайте друг друга. А оставить, по сути, ещё девочку, с ребёнком на руках – это самая страшная подлость со стороны мужчины! Ты же не хочешь стать подлецом?“ Последним аргументом я его «добил», в хорошем смысле. Он задумался, но продолжал ухаживать за своей симпатией, но уже по-другому – они часто шли вместе после уроков, беседовали, провожали друг друга до КАлитки. Лет через пять-шесть узнал, что они сохранили свои чувства. Свадьбу молодым справляли всем селом. Он закончил кур-

сы механизаторов, она стала заведовать семенным хозяйством в колхозе. С того времени живут в любви и согласии.

После работы на районе меня назначили подменным учителем при районо – заболел кто-то или в декрете\*, и я его заменяю. 1957–1958 годы работаю в Валевачѣвской СШ. Это в 16 километрах от города. Однажды из Минска приехала комиссия по проверке преподавания иностранного языка. Старшим был преподаватель института иностранных языков со смешной фамилией – доцент Портянкин. В отчёте комиссии было записано, что в районе есть только один учитель иностранного языка, не только хорошо преподающий, но и свободно владеющий им. Такая характеристика сыграла большую роль в моей дальнейшей профессиональной карьере. Районо вскоре забрал меня оттуда. Год я проработал во 2-й школе, так называемой русской, а потом меня вернули в родную СШ№ 1, где всё это время работала моя супруга.

Все знают, что такое классный руководитель. Как-то назначили меня классным в шестой класс. Обычный, не лучше и не хуже других. Однажды директор сказал, чтобы мои ученики лучше подстриглись. Я попросил их сделать это. Понемногу все стали приходить не лохматыми, а с красивыми (на то время!) причёсками. Но один никак не хотел стричься, а может, и денег на это не было. После звонка я взял его за руку, и мы пошли к парикмахеру. Сначала он не сопротивлялся, так как толком не понял, куда и зачем мы идём. Вдруг он говорит: „Прошу вас, не держите меня за руку! Я никуда не удеру. Это как-то странно выглядит!“ Его чудесно подстригли, и я заплатил. Обрато он шёл почему-то молча и очень грустный.

На следующий день Михаил в школу не пришёл. Второй день, третий. Пришлось направиться к нему домой. В классном журнале нашёл адрес: Банный переулок, 7. Нашёл низенький домик на три окна. Постучал, зашёл. Старенькая женщина встретила меня и пригласила в единственную комнату. Она объяснила, что мальчик не хочет идти в школу по той причине, что считает себя униженным из-за того, что я заплатил за стрижку. Это меня удивило – в своей жизни таких обоснований я не встречал никогда.



*Коллектив мужчин учителей Червенской СШ № 1. Отец – в первом ряду слева.*

Попросил подробнее объяснить этот феномен странной обиды. Тут из-за шкафа вылез и сам обидевшийся, поздоровался и уселся рядом. „Хорошо, Михаил, я извиняюсь за мою инициативу, но приказ директора я не мог не выполнить, но другого не понимаю: чем же конкретно тебя обидел?“ Тут эта бабушка (как оказалось, вовсе никакая не бабушка, а чужая тётя моему ученику) попросила мальчика пойти погулять, а мне поведала такую историю. Воспитывает Мишу из жалости и данного слова его родителям. В 1917-м из Петербурга в старый Игумен (так ранее назывался Червень), спасаясь от репрессий, попала небогатая, но родовитая дворянская семья. Конечно, их бы всех расстреляли только за одно это. Кое-как они перебивались на новом месте, но перед концом войны, в 1945-м, арестовали его отца. За что? Он, бывший дворянин, проживал на оккупированной немцами территории и уцелел?! Почти моя история, только я не дворянин

и остался жив, а он – нет! Родился Миша, через пять лет умерла его мама. Неизвестно, были ли какие-либо средства у этих людей, но совершенно чужая женщина поклялась матери воспитать и поднять сына, получив в наследство эту полуразвалившуюся хатку. Тем не менее пару вещей мне показались просто шикарными – нигде я не видел до этого трёхдверного шкафа с искусственной резьбой по дереву и большого комода с пятью шуфлядами и тяжёлыми бронзовыми ручками. Признаюсь читателю (но больше никому!), что я купил потом этот комод, и он долгие годы украшал уже наш дом! Женщина показала мне документы, свидетельствовавшие, что Михаил Александрович Новиков – потомственный дворянин, записанный при рождении на имя матери. Я держал не просто пожелтевшие листы с царским гербом и сургучными печатями – у меня в руках было свидетельство только об одной из множества загубленных судеб. Всё это тщательно и скрытно хранилось, и только мне была оказана честь прочитать и попытаться что-то понять... Вот откуда у моего ученика такое нестандартное поведение и столь высокая мораль? Да, очень часто многое передаётся по наследству. Надеюсь, и какие-то мои качества достались нашим сыновьям! Я пожелал им счастливой судьбы, заверил, что забуду и разговор, и увиденное, попрощался и с лёгкой душой покинул тёмный закуток, где ютился отпрыск когда-то знаменитого и богатого дворянского рода. Уже на выходе предупредил, чтобы они сами никому не упоминали даже деталей из прошлого. Бабушка впервые улыбнулась и ответила: „Нас жизнь уже многому научила, но большое вам спасибо за доверие!“ И тут до меня дошло, что это никакая не бабушка, а кто-то прятавшийся за её личиной...

## День седьмой

С отличными оценками окончил заочный факультет Белгосуниверситета. В 1964-м приняли в партию. В райкоме разъяснили, что пребывание в плену не является компроматом, а поскольку я веду по району большую общественную работу (лекции, выступления, пишу статьи в газету, выступаю по радио), то необходимо укрепить свой статус званием члена компартии! Рекомендации написали: директор моей школы Комаровский, сотрудник районо Шпекторов и инструктор горкома Мысливчик. Наконец обновлялось доверие, менялась к лучшему обстановка в стране. В 1953 году умер тиран Сталин! Некоторые стояли на улицах в слезах (в большинстве районные чиновники), а кое-кто (сам слышал!) громко и с удовольствием повторяли по домам его же знаменитую формулировку: „Собаке – собачья смерть!“ Какое-то время всё было по-старому, но мало-помалу начало оттаивать, дышать становилось легче, особенно тем, кто находился под постоянным, как я, контролем секретных спецслужб. Это и подтвердилось позже.

Однажды мне встретился бывший ученик вечерней школы, работавший в военкомате. Попросил зайти. Он заведовал отделением учёта офицерских кадров. Показал документ – циркуляр Министерства обороны СССР. Там было написано, что всем бывшим военнопленным пребывание в немецком плену, концлагере засчитывается в выслугу лет и в рабочий стаж по гражданской специальности. Это был шикарный подарок, скорее морального плана, для меня! Он добавил, что теперь можно ничего не бояться, так как и органам безопасности дана такая же директива! Наконец-то! Я искренне поблагодарил его за такую поддержку.

Потом, работая в школе, я возглавлял первичную партийную организацию, руководил обществом «Знание», читал по району всякие лекции, организовывал выставки и книжные чтения. Меня захватывала эта работа, и только тогда я полностью ощутил себя в любимом русле.

ЧЛЕНУ УЧЕНОГО СОВЕТА

*Гравенко Ч.С.*

19 сентября 1969 г., в 14 часов, в помещении гуманитарного корпуса Белгосуниверситета имени В.И.Ленина (Красноармейская, 6, ауд. 37) на заседании Ученого совета по филологическим наукам состоится защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук

КОВАЛЕВИЧ В.К. на тему "Однородные члены предложения в современном литературном белорусском языке".

Официальные оппоненты – доктор филологических наук А.Е.Супрун и кандидат филологических наук Л.П.Подрайский.

ШИКОЛОВИЧЕМ А.К. на тему "Названия родства и свойства в белорусском языке".

Официальные оппоненты – доктор филологических наук Н.Т. Войтович и кандидат филологических наук С.О.Маленчук.

Председатель Ученого совета  
профессор

(М.Г.Булахов)

Ученый секретарь

*Лу-*  
(О.В.Козлова)

Поступил и на «отлично» закончил аспирантуру при Белгосуниверситете по специальности «Белорусская филология и история белорусского языка». В 1969-м защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата филологических наук.

Год ещё работал в школе, получая небольшую доплату за учёное звание, и одновременно искал вакансии в вузах республики. Выиграв конкурс на замещение должности заведующего кафедрой белорусского языка в Гродненском пединституте, был принят туда.

Мы начали собираться на новое место жительства. Было горько и печально на сердце! Трудно описать это состояние, когда ты, отдав практически всё – силы, нервы, добрую часть здоровья, многие годы, должен покидать уже обжитое и уютное место, любимый и уютный дом, сделанный своими руками, друзей, добрых соседей, тихий и понравившийся нам уютный городок с глубокой и интересной историей.

Да, именно здесь мы прожили самое счастливое время нашей семейной и супружеской жизни – в любви, заботах, прекрасной работе народных учителей, завоевав большой авторитет и, наконец, почувствовав, что жизнь в конце концов удалась и продолжается!

Через два года, с учётом моих научных работ, получил звание доцента и в 1972 г. был единогласно избран заведующим кафедрой. В Гродно мы прожили с женой почти два года в маленькой комнатке в общежитии, хотя сначала гарантировали соответствующую квартиру. Да, у нас была своя кухонька в конце коридора и не очень чистый общий душ, но обман был настолько явный, что я даже растерялся! Куда только не ходил, но всё напрасно – обещания, отсрочки, какие-то важные причины. Вновь, уже в который раз, наступала расстерянность и безысходность! Если бы не сын Олег! Он через знакомых добился приёма у Председателя Президиума Верховного Совета БССР Ф.А. Сурганова, и мы сразу же получили прекрасную квартиру. На ВТО-ом этаже, двухкомнатную, но увеличенной площади и с двумя длинными лоджиями! Мы благодарны и сыну, и его доброму знакомому Евгению Фёдоровичу Сурганову.



*Отец, брат Святослав, мать и соавтор этих строк. 1957 г.,  
г. Червень*

Честно скажу, и это лежит на моей совести: сын Олег рос у нас в жёстких, порой даже жестоких, условиях. Почему? Тяжело признаваться, но на склоне лет, когда тебе за 90, сказать правду (хотя бы часть её!) всё-же следует – негативную роль сыграла его мать. Она всю жизнь, с раннего детства лет до лет четырнадцати, когда он уже мог и сам дать сдачи, держала его в таких ежовых рукавицах, что я ещё удивляюсь, как он смог вырасти нормальным, высокообразованным человеком, находил в себе моральные силы посещать нас и часто помогал! Она не могла контролировать свои бурные эмоции и часто вымещала свои нервные срывы на собственном сыне. Я же оставался в стороне, заняв, к сожалению, слабую позицию, щадя здоровье жены, не желая ей перечить, тревожить, даже не знаю, что тут и сказать... Не вся тут правда, прости, Господи...Оправдания мои слабы...

Очень успешно и с хорошим настроением отработал в институте почти двенадцать лет. Потом по состоянию здоровья, а точнее, увы, по настоянию супруги, вынужден был в 1980 году уволиться. Опять с помощью Олега мы нашли вариант обмена на Минск и переехали, сначала на Мясникова, а потом, в 1982-м, на Партизанский проспект, где и проживаем сейчас. Год проработал в Белгосуниверситете с заочниками по приглашению профессора Л.М. Шакуна. После три года преподавал белорусский и русский языки на курсах по подготовке к поступлению в вуз. Пенсионер имел право работать только два месяца в году, но нам помогли оформить часть времени на жену, и наша подработка была довольно существенной. Что сделаешь, приходилось идти на такие хитрости.

Был и ещё один интересный случай. Вытаскиваю я из почтового ящика газету и на третьей странице в самом верху вижу... Не поверите! Портрет человека, очень похожего на того самого вербовщика, увильнувшего от всех гроз и несчастий, «мастера» на все руки и мимикрию при любых властях, любых спецслужбах и режимах! Своего рода Остап Бендер\* нашей современности! А проще и правдивее – прощелыга! Ошибиться я не мог. Зрительная память у меня прекрасная! Это был тот же человек с огромной лысой головой, тёмным, запутанным прошлым, но с новой чудесной легендой! В большой статье мастер национального белорусского (подчёркиваю!) пера пел нескончаемые дифирамбы очередному закордонному «гению», проявившемуся почему-то только в период перестройки?! Отечественные активные борцы за «самостоятельную» от всего и от всех Беларусь, ничтоже сумняшеся, не анализируя очевидное, не вдаваясь ни в детали, ни в нестыковки в биографии и профессиональной деятельности своего свеженайденного авторитета, так высоко вознесли этого человека с туманным прошлым и таким же странным настоящим, что мелькнула мысль: а может, он и есть вот тот советский «Штирлиц» или Зорге, а я даю оценки, не зная всей правды? Особым акцентом отмечалась его героическая и необычная биография – обладал ещё до войны академическим умом, поэтому, несмотря на сменявшиеся власти, а с ними и верные им спецслужбы, на большую войну, хоровод

политических лидеров, ловко ускользал от их всевидящего ока, работая во все времена, даже у немцев, только на пользу белорусской отчизне! А где результаты этой работы на Беларусь, хоть бы что-то конкретное, пусть и маленькое? Ответа нет – одни перепевы его же статей о самом себе! А вдруг его наши забросили туда? Но куда? Получается, сначала в Западную Белоруссию, потом оттуда оставили на оккупированной территории, а когда их советские войска погнали взащей, его внедрили в отступавшее стадо? Или сам быстро побежал? Но впереди всех или сзади? Вот в чём вопрос! В Германию, затем представителем кого-то по лагерям, и вдруг – у американцев? А потом? А как он прилип переводчиком к нашим учёным на разных международных форумах? А? Сам, по собственной инициативе? Нет, туда переводчиков подбирают спецслужбы, и только они! А почему так много пишут о нём наши уважаемые белорусы, повторяя только его слова о самом себе и не добавляя абсолютно ничего нового? Меня захватила это лысая особь, вернее, его слишком гибкая и ускользающая из пальцев трудовая биография! Тогда я обложился всей литературой, статьями, какие только смог достать, и попросил своего внука хорошенько пошарить по интернетным закоулкам в поисках материалов об этом феномене, но не его собственных статей и перепевов, а его трудов, конкретных, а не косвенных, и трудно доказуемых достижений. Получилось так: на все сто процентов всё, что написано об этом самодеятельном «Остапе Бендере», взято только с его же очень расплывчатых и неподтверждённых ничем и никем слов! Только цитаты из биографии, подправленные и заштрихованные под те времена детали, практически никаких научных работ в той таинственной и сверхсекретной области, абстрактные разглагольствования о его вкладе в мировую науку, но без всяких ссылок и доказательств... Мол, работал за кордоном там, где сплошные секреты, поэтому и сказать нечего, а те, кто там с ним действительно был, при одном упоминании его имени белорусским журналистом, попробовавшим собрать материал для книги, прекращали всякий разговор и уклонялись от уточняющих вопросов по этой личности!

Выбросил я этот лысый портрет в мусорку и подумал: те давние встречи (наверное с ним) говорили не о науке и неизвестном вкладе в неё, а о другом, более земном, – о проходимце, гениально увильнувшим от всех капканов и талантливо создавшим самому себе новую, почти героическую биографию за счёт наивных и доверчивых людей! Ему бы день прожить там, где был я!

Уже много лет мы с супругой по полгода живём и работаем в меру сил на даче в посёлке Бобр Крупского района. Наш деятельный сын Олег нашёл дом, где мы обустроились и нашли уголок после стольких лет бурной и переменчивой жизни, к тому же недалеко от памятного нам всем Красилова – всего в 20 км! Здесь, в деревенской тишине, на фоне настоящей, почти нетронутой природы и приходят мысли о прожитом, увиденном, о том, что минуло и что ещё перед глазами. Много нравится – попытки дать людям какую-то самостоятельность, стабильность, но видим также, что все эти благие начинания продвигаются с трудом, жизнь опять быстро обюрокрачивается, обрастая ненужными условностями, почему-то очень похожими на те, что все мы видели в «добрые» старые времена! Но движение вперёд всё-таки есть, а с ним есть и надежда на просветлённое будущее хотя бы для наших внуков и правнуков!

А что сказать следующим поколениям? Конечно, многое из того, что проявляется в технике, в коммуникациях, в науке, служит и должно служить людям и их задачам – профессиональным и личным. Так оно и есть, только бы не ушли все эти новшества на другие рельсы, не сбился бы моральный прицел молодых на накопительство, приобретательство, гонку за новизной с потерей вечных ориентиров – честности, старательности, инициативы не только в погоне за состоянием, но и в деле взаимопомощи, сострадания, даже самопожертвования (не в прямом смысле!). Наблюдаю сейчас повальное отсутствие интереса к прошлому, поверхностное оформление кое-как полученных знаний, сваленные в пёструю кучу представления о семейственности, отношениях полов, целях и путях достижения жизненного статуса. Да, много времени отнимает овладение современными средствами электронного общения, но это ни в коем разе не должно минимизировать и словарный запас, и уровень

общей грамотности. Человек ведь был и остаётся человеком, пока интересен своим интеллектом, а не ценой и видом айфона или смартфона?! Все эти штучки – средство, а путь и цели, на мой взгляд, остаются прежними! Конечно, для понимания современных жизненных нюансов нужны и время, и опыт, но они, уверен, придут! Только бы не проехать мимо них!



*Уже на склоне лет. Им по 90! Дача Бобр.*

## Фон моей жизни

В наше, уже новое, время я с большим трепетом читал и знакомился с тем, что всегда было под спудом запретов – судьбах исторических особ, политических лидеров, выдающихся военачальников, представителей нашей великой культуры и интеллигенции. В 1980–1990-е годы начала медленно и не очень охотно приподниматься завеса над преступной деятельностью и такими же методами наших всегда тайных и неоспоримо героических органов – от ВЧК до МГБ! И тут то, что всплывало в моей памяти о прошлом, чётко согласовывалось и подтверждалось старыми фактами уже из моей личной биографии, но в новом освещении современного времени.

Я, мне так кажется, понимаю тех, кто категорически не хотел бы обнаружения кровавых страниц нашей «светлой» советской истории. Это особая категория людей с редко встречаемым теперь садистко-классовым содержанием, хотя наука давно признаёт, что среди людей есть почти постоянный процент бесчувственных, жестоких, безграмотных и последовательно тупых обожателей мировых тиранов, в первую очередь своего, родного, прославленного тысячами и тысячами речей, гимнов и песнопений – Иосифа Сталина (Джугашвили)! Вид крови и невероятных страданий жертв, обезглавленных руками его подручных, вызывал у них, наверно, особый вид психологического, а а может, и сексуального, освобождения, облегчения от собственных серости, животных страстей и тупоумия.

Так в короткий период открытости и свободомыслия в мою душу запали и трагичность случившегося, и странная, целенаправленная, античеловеческая страсть властей к уничтожению элиты нашей страны!

Вот то, что удержалось в моей неплохой памяти: М.Горбунов, А.Чаянов, Е.Черенц, Вс.Мейерхольд, И.Бабель, Т.Табидзе, Бр.Ясенский, И.Микитенко, С.Сейфулин, В.Киршан, С.Третьяков, М.Кольцов, М.Лукин, А.Бубнов, Д.Плетнёв, В.Вавилов, С.Киров, В.Антонов-Овсенко, П.Баранов, В.Блюхер, А.Варский, Я.Гамарник, П.Дыбенко, А.Егоров, С.Каменев, А.Косырев,

С.Касиор, М.Крыленко, Бела Кун, М.Арахерашвили, П.Постышев, Я.Рудзутак, И.Уборевич, М.Тухачевский, И.Уншлихт, А.Червяков, Н.Голодед, М.Гикало, И.Скрипник, В.Шарангович, В.Яркин, В.Бухарин, В.Путна, И.Федько, М.Левандовский, Я.Ковтюх, Н.Вознесенский, П.Флоренский и ещё сотни и сотни тысяч лучших сыновей были изъяты из жизни своей жестокой матерью-Родиной!

Только по указу «самого человеческого» из человекoв – Ленина (Ульянова) расстреляны тысячи священнослужителей! Только в Москве снесено и уничтожено 350 памятников дореволюционного времени, в том числе и генералу Скобелеву, а по всему СССР превращены в руины более 30 000 храмов православной конфессии.

В небольшой и по площади, и по народонаселению Беларуси стараниями чекистов был уничтожен практически весь цвет нашей культуры и литературы: И.Харик, П.Головач, В.Коваль, С.Барановых, Т.Гартный, М.Гарецкий, С.Некрашевич, М.Зарецкий, З.Аксельрод, М.Багун, Я.Бронштейн, А.Вольный, А.Гурло, С.Дорожный, Т.Клешторный, М.Кульбак, С.Куницкий, В.Маракoв, В.Шашевский, Ю.Таубин, П.Трус, В.Хадыка, М.Чарот, В.Голубок и многие другие, да и в трагической кончине нашего национального поэта Янки Купалы, вдруг самостоятельно упавшего в лестничный пролёт московской гостиницы, явно прослеживается след одной из чекистских операций, убравшей слишком несговорчивого писателя...

Уцелели только те, кто сотрудничал с НКВД, или те, кто тихонько сидел по творческим кухням, не высовывая носа и с восторгом аплодируя всем партийным и чекистским начинаниям! Это они громко поддакивали в судах и на собраниях, играли, когда требовалось, роль «истинных» свидетелей, клеймили изo всех своих сил вчерашних товарищей, соседей и даже родственников. А что, как говорят некоторые сейчас, „такое было время“или – „по другому нельзя было“, или „иначе не выстояли бы!“ Вот вам уже и современная мораль, казалось бы, отстоящая более чем на 90 лет от зверств коммунистов, дорвавшихся до власти?!

Задумывался я и о формировании своих политических взглядов и собственной платформы. Я – социал-демократ, сторонник частной собственности, в том числе и на землю. Долго я искал ответ на один вопрос: почему коммунисты, большевики так ненавидят социал-демократов? За мои годы в тиши минской и московской центральных библиотек я познакомился со многими трудами классиков марксизма, ленинскими, сталинскими работами, книгами и статьями известных европейских философов, мне даже выдавали и труды «крамольных» авторов. Намного легче было разговаривать с сотрудниками этих солидных заведений, имея удостоверение кандидата наук и заведующего кафедрой. Они не обращали внимания, что я не специалист по общественным наукам, а филолог, но уютная атмосфера обжитых десятилетиями читальных залов, зелёные столы, мягкий свет создавали настоящую доверительную атмосферу, куда, полагаю, редко залетали «жучки» всяких контролирующих и подсматривающих органов?!

Вот из этих разношёрстных по направленности взглядов, трудов я черпал, хоть и запоздало, много интересного, что было категорически недоступно в предыдущие годы. Почему партия Ленина, созданная по образу и подобию других социал-демократических партий, со временем стала выступать против них? Загадка? Оказывается, социал-демократы – сторонники парламентских методов политической борьбы за власть, а большевики – за насильственное свержение любой власти! Завоевать большинство на выборах, создать настоящий парламент на основе этих выборов, действенную Конституцию, сменяемую и подотчётную власть, поставить целью благо народа... А что получилось? Всё это постепенно просветляло мой ум и накапливалось в фундаменте моих знаний. Я горжусь теперь, что мне не нужно было постоянно внутренне перестраиваться и держать нос по ветру, мимикрировать то под райком, то под нового районного божка, протипуировать собственную мораль в угоду карьере или другим корыстным целям. Мои взгляды формировались независимо от велеречивых газетных статей и указаний руководства. Они складывались и отшлифовывались самим ходом персональной и общественной жизни – сначала из рассказов

отца, родственников, живших и трудившихся ещё при царе и своими глазами видевших разницу – что было плохим, что хорошим, что обещала новая власть, а что получилось?! Мои жизненные взгляды формировались и из того, что я начал сам наблюдать в годы юности, студенчества – странные и трагические случаи с людьми, громкоголосые и многообещающие доклады и лекции заезжих партийных гастролёров, собственная практика контактов и с людьми, и с нелюдьми. Следует отметить, что мой отец, наверно от природы, всегда был недоверчив к слишком разговорчивым и необязательным людям. Он ценил дело и только дело. А при контактах с представителями советской власти любого уровня предпочитал помалкивать, больше слушать и кивать. Меня же агитировала и направляла сама жизнь. Получается в учёбе, потом в работе, науке – и я стремлюсь сделать в этом направлении больше. Чем прочнее ты создашь собственный фундамент, тем стабильнее и интереснее станет твоя жизнь. Этой аксиомы я старался придерживаться всё время, и призываю моих внуков и правнуков следовать этой мудрой мысли!

Я, возвращаясь в памяти к истокам, сравниваю судьбу двух школьных учителей – моего шурина и собственную. Он работал учителем начальной школы ещё при царе. Я начал преподавать в средней школе уже в советское время. Какая же разница между нами? Здесь не нужно никакой политагитации. Приведу один пример.

В начале 70-х я повесил в кабинете белорусского языка и литературы портрет национального белорусского просветителя Ф.Скорины. Но очень скоро кто-то доложил об этом директору, и тот довольно строгим голосом объяснил мне, что вывешивать в кабинете портрет языковеда и выпячивать что-то национальное – карту республики, флаг, атрибутику, не нужно. Это не понравится райкому, да и не соответствует линии партии в национальном вопросе. Если уж вывешивать, добавил он миролюбиво, то это портреты Ленина, членов Политбюро, ну а если флаги, то только два – СССР и БССР. Вот так! А я заметил, что издаются только портреты и даже целые фото-наборы, книжечки и брошюры только с ликами московских вождей. А

где же наше национальное Бюро? Не-з-я-я-я! Второй сорт. Но среди них есть и те, кто уважаем и Москвой! А что ж тут говорить об исчезнувших? Хотя и 70-е годы?! Но свои мысли я старался держать при себе. Выполняя функции избранного секретаря первичной парторганизации, формально я делал всё, что было положено, – собирал безликие и систематические собрания, сам выступал на них с копиями газетных статей вместо собственных, не импровизировал, хвалил, что хвалила вся страна, и молчал, когда видел очередной явный бред! Но страховался и в таких ситуациях, поручая ругань и обвинения кому-то другому, ну а те старались, лезли из кожи вон, оплёвывая того и тех, о ком и о чём не имели ни малейшего понятия. Я всегда помнил, что «среди тут» неслышно ползают добровольные и подневольные источники информации, выполнявшие уже в четверть силы свои вынужденные обязанности. Сила и глубина моего жизненного опыта, моя почти исключительная память, воля и закалившийся характер были не слабее системы, во всяком случае, районного масштаба, и я со временем неплохо чувствовал себя и на работе, и дома.

С молодых лет знал и помнил некоторые высказывания Ленина – о религии, отношениях между капиталистами и рабочими, о его обещаниях дать крестьянам землю, а мир – всем народам... Но эти обещания не были выполнены. Блеф? Самогипноз ожесточённого фанатика? Меня всегда забавляло, что многие статьи самого Ленина не включались в Полное собрание его сочинений?! Вредные, но для кого? Однажды мой слушатель подготовительных курсов при Белгосуниверситете В.Пенязь на лекции о творчестве К. Крапивы\* заявил: „А вам не кажется, что Крапива своим произведением «Кто смеётся последним?» реабилитирует карательные органы СССР и саму систему? Пишет, что почти во всех наших бедах виноваты только «Горлохватские», а не кто-то другой“. Это было очень смелое для того времени заявление, но подобная мысль возникала и у меня самого – мол, в незаконных арестах виноваты только какие-то тёмные личности типа героя Горлохватского. Их доносы привели к репрессиям. А где система? А кто его научал этому? Подталкивал, поощрял? Писатель об этом не говорит ни слова!

Я белорус, и это тоже звучит гордо! Мне близко всё белорусское – язык, литература, культура, песни, история и традиции. Я также люблю и русскую культуру, и неплохо её знаю. Много читал и не только общепризнанных в то время авторов – Надсона, Фета, Тютчева, Шкулёва, Есенина, позже Солженицына, Шаламова\*, поэтов-«шестидесятников». Много интересовался и западной литературой. Люблю поэзию, печатался немного и сам. Делал переводы с немецкого. Принимал активное участие в районной самодеятельности – играл вместе с женой в нашем драмтеатре. Получалось неплохо, что было даже отмечено народной артисткой БССР С.Станютой.

Некоторые факты из нашей жизни вызывали у меня недоразумение или протест, в нашем бытии было много непонятных неувязок. Говорилось одно, а делалось другое. Помню голод на Украине. Приезжаю к родителям на каникулы, а у нас во дворе много чужих людей. Их разместили в гумне, в бане, даже в дровне. Это были беженцы с Украины. Тогда я ничего не знал о причинах огромного голода там. И прямо во дворе от самих украинцев услышал настоящую правду, отличную от той, которую позже активно распространяла государственная пропаганда. Советы подчистую забрали всё зерно. Сталин решил наказать упрямых украинцев за непослушание при формировании колхозов. Метода была выбрана самая жестокая – хочешь не хочешь, сам пойдёшь в колхоз, чтобы не подохнуть с голоду. И пошли. Не сразу, но вынуждены были сдаться! Один из них говорил, что его мать насыпала зерно в пустые бутылки и всякие банки и спрятала это добро в соломенной крыше. Донёс сосед, видевший это. Крышу сорвали, забрали всё зерно и избили до смерти хозяина.

Узнал я спустя много лет и о катынской трагедии. Нам-то рассказывали одно – мол, польских военных расстреляли немцы, и мы к этому преступлению не имели никакого отношения. Для солидности выводов Кремль создал госкомиссию – врачей, экспертов, пригласили даже пару иностранных корреспондентов, и состряпали фальшивку – виноваты фашисты! Правда оказалась проще и ужасней – более 21 тысячи польских офицеров, содржавшихся в специальном лагере, были расстреляны без суда

и осно-ваний. Мол, наши власти боялись, что они поднимут восстание!

Всё ясней и ясней проявлялась для меня деспотичная суть тоталитарного режима, царившего в СССР. Я был удивлён, прочитав в «Литературной газете», кто делал революция в России вместе с Лениным. Это: Л.Б.Розенфельд – Каменев, Л.Д.Бронштейн – Троцкий, В.М.Скрябин – Молотов, Е.М.Губельман – Ярославский, М.М.Грузенберг – Бородин, А.Л.Братман – Бродовский, М.К.Шёйнфинкель – Владимиров, Б.М.Фрадкин – Волин, С.М.Гуревич – Измайлов, К.Б. Собельсон – Карл Радек, М.М.Валлах – Литвинов, Л.Б.Гольденберг – Гольцман, ещё А.Б. Гуревич, В.Н. Дойер, Крицман, Нахимсон, Фрумкин, Шёйнман, Шкловский...

Теперь становится понятно резкое изменение политики Сталина в отношении евреев в стране – он решил обосновать планировавшиеся в недалёком будущем репрессии на почве антисемитизма, но смерть помешала. После смерти Ленина политика Сталина быстро демонизировалась и приобрела зловещую окраску. Более семидесяти лет советский народ под руководством компартии бегал по кругу, искренне полагая, что движется вперёд. Марксистско-ленинская идеология была возведена на божественный пьедестал и признана отныне и навеки единственной, без пятен и ошибок, сомнений и ревизии. В то же время разные обстоятельства общественного развития вносили и предлагали какой-то простор для манёвра и приведения старых догм в соответствие с требованиями нового времени. Десятки работ и Маркса, и Ленина утаивались от читающего народа, зато вместо них нам предлагались обширные и безграмотные разглагольствования новых вождей, каждый из которых всеми возможными и невозможными способами лез на страницы жизни, чтобы остаться в истории. Об этом лучше было не думать, а честно и увлечённо работать, постигая нюансы тяжёлого труда педагога.

Поскольку эти заметки могут быть и моей исповедью (времени-то осталось маловато), скажу и о моём отношении к религии. Известно, что религиозные взгляды закладываются в детстве. Отец мой, мачеха, старшие сёстры – люди верующие,

систематически ходили в храм, даже пели в церковном хоре. Мачеха брала меня в церковь, и я также испытывал трепет при звуках пения, звоне колоколов, при виде золотого убранства и горящих свеч. Это откладывало неизгладимый отпечаток, формировало мою духовность. Главные церковные постулаты никогда и никак не расходились и с моими поздними представлениями о правильной жизни и не были непреодолимым препятствием для их глубокого принятия. Не зря религиозные взгляды ещё называют свободой совести! Искра Веры не угасала у меня никогда. Я задумывался, мешает ли это жить и работать? Нет, никак не мешает! А как совместить? Но совмещали же и Павлов, и Лермонтов, Пушкин, Кольцов, Ахматова, декабристы? Во время войны было мало времени анализировать своё духовное состояние. Не будешь же в каждой воронке шептать молитву «Да воскреснет Бог и расточатся вразе Его» (молитва от всего зла)? Два раза за время войны вера моя проявилась ярко. Первый раз – где-то в конце июня 1941 года сижу в наспех выкопанном окопе. Это были первые и самые тяжёлые дни войны. Привели двух солдат на инструктаж – они направлялись в тыл врага за «языком». Я как мог объяснил им, как нужно незаметно передвигаться, ползти, преодолевать препятствия. Как подавать жестами сигналы друг другу при обнаружении или захвате врага, при опасности. Солдаты повернулись к выходу. Один вышел, второй остановился на пороге. Молодой парень смотрел на меня какими-то особыми, растерянными глазами. Я понял, что он хочет сказать что-то очень важное именно в этот момент. „В чём дело?“ – строго спросил я. „Как вы думаете, я вернусь с этого задания?“ Я быстро оглянулся – никого: „А ты веришь в Бога?“ Мой вопрос показался ему подозрительным, провоцирующим и он ответил в духе времени: „А как нужно, как лучше?“ „Нужно верить!“ – убеждённо сказал я, благословил его крестом и напутствовал: „С Богом! Вернётся!“ Вот такое своевольство проявил их командир. Это было начало, но был ещё и конец. Утром через два дня в мою землянку (окоп, покрытый еловыми лапками) вбегает тот солдат и с порога почти кричит: „Теперь и я знаю, что Бог есть! Спасибо вам!“ Я показываю ему жестом на спящего политрука и выпроваживаю вон.

„А в чём дело? Кто тут про религию кричал?“ – вместе с политруком проснулась и его бдительность. Я ответил, что не знаю, солдат ошибся адресом, искал санблок. Фамилию я не сказал. Политрук настаивал. Эта ситуация разрядилась сама собой – через пару минут налёт стёр с лица земли и наш окоп (я, как всегда, бросился в лес, и подальше), любопытного политрука и ещё много молодых парней... Мы даже не изучали правила поведения при авиа и артоналаётах, что тут же влекло за собой потери. Учили-то наступать, и только! После сказали, что из той вылазки вернулся один солдат. Все полегли при попытке перелезть через колючее ограждение, а я говорил им, что нужно обязательно подлезать под него, приподнимая колючки...

Второй случай – едем на нашей машине. В кабине я и водитель. За нами ещё один штабной грузовик. На дороге полный беспорядок – кто пешком, кто на повозке. Многие без обуви. В одном селе остановились возле деревянной церквушки. Толпа людей. Свежие, некрашенные гробы – целых двенадцать. Старый батюшка молится за упокой души, старательно машет кадиллом. Вокруг много женщин, детей, стариков. Плачут... Я попросил остановиться. Бросил пистолет на сиденье, вышел. Стал к людям, перекрестился, спросил, что и как. Оказалось, они работали в поле, окучивали картошку. Немецкий самолёт выскочил из-за леса и скосил почти всех первой же очередью. Вернулся к машине. Вдруг шофёр из следовавшего за нами грузовика злорадно пошутил: „А я и не знал, что начальник разведки верит в Бога и так боится немцев! Можно и доложить куда следует!“ Я ответил: „Ты и мать свою продашь! Смотри, как бы судьба не наказала тебя!“ Вижу – тот затаил злобу. Не успели проехать и трёх километров, как в чистом поле послышался свист падающей бомбы... Кричу своему Сёме: „Рви направо, через кювет... Давай, давай!“ Взрыв, второй... Меня осколком от деревянного борта легонько ранило в левый бок. Шофёр мой разбил нос, падая из кабины, а другую автомашину разнесло в клочья вместе со всеми, кто там был: дым, огонь, смрад – и всё. Те остались на дороге, понадеявшись, что повезёт. Они, как сказал тот бравый шофёр, не боялись ни Бога, ни немцев!

Вот такие проявления моей Веры случились прямо в первые дни лихолетья. Дай же, Боженька, дожить до конца, идя путём Веры, любви и надежды! Я унаследовал от отца многие черты – он никогда не ругался матом, я – тоже. Был такой случай в военном училище. Полевые занятия по тактике ведения боя взвода и правилам взаимодействия при организации атаки. Я играю за командира взвода. Подаю команды: вперёд, потом – окопаться, что-то ещё... Но кому хочется в мирное время копать, обливаясь потом, или строить временные укрытия? Мои курсанты тянут с выполнением, ленятся. Мне вдруг показалось, что есть действенный национальный метод – русский мат. И я грязно выругался. Так делали при мне многие командиры. Вдруг слышу сзади: „Курсант Ковалёв, вашим голосом только романсы петь (а я действительно пел иногда под гитару), а не матом крыть. Не получается это у вас. Прекратить и отдавать нормальные команды! А вы чтобы слушались командира, а не то!.. “Это был замначальника училища. Мне стало неловко. Он подошёл: „Вас солдаты и так слушать будут, а мат вам не идёт. Поняли?“ Как не понять – понял. С тех пор этим словарным запасом не пользуюсь... и ничего, живу. Значит, можно и без мата?!

Никогда не курил и не курю, но зато каждый день занимаюсь физкультурой вместе с женой. Правда, она обогнала меня в этом – по утрам обтирается мешковиной, намоченной в холодной воде! Мне это уже не по силам!

Я очень доволен, что наш сын Олег подтолкнул меня написать эти воспоминания. Конечно, они сырые, необработанные, но кто знает, сколько ещё отпущено мне на этом веку? Почти 92 года! А это уже очень близко к последнему рубежу! Думаю, что этими записями займётся он.

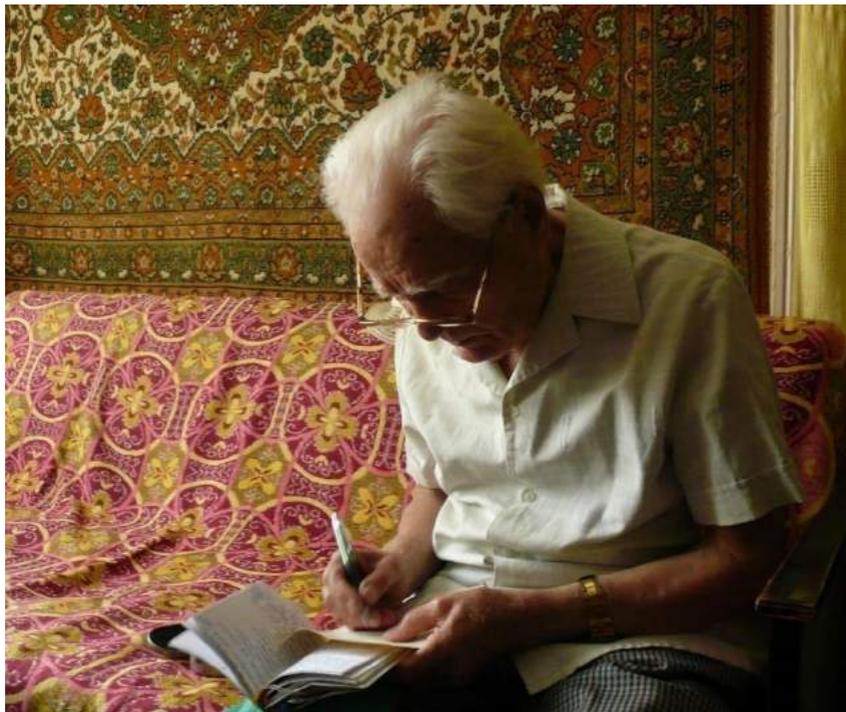
Как-то вечером во время одной из встреч с Олегом (много лет живёт за границей) мы разговаривали на болезненные темы современной истории нашей страны. Сын уже читал и мои воспоминания, и мою книжку «Горькая правда войны», да и другие мои записи. Его жизненный и профессиональный опыт, литературные способности (член Союза белорусских писателей!) также давали ему право по-своему осмысливать прошедшее. Неожиданно он сказал, что

*„Сама идея справедливого для всех общества во все времена занимала умы образованных людей, но почему-то в нашей стране был осуществлён самый кровожадный сценарий, а далее ход всей жизни с 17-го только подтверждает одну мысль – вся эта идея в исполнении одержимых фанатизмом большевиков – наибольшая в мировом масштабе авантюра, обернувшаяся абсолютной ложью, неудачным экспериментом построить одинаковое для всех жилище, своего рода интернат – казарму, где бы каждому проживающему тот, кто владеет властью, раздавал бы по своему разумению и по правилам сгнившей морали кусочки еды, огрызки свободы и время от времени сильно бил, чтобы никто не искал другой правды... Категорически нельзя строить общество на ненависти и зависти большинства к лидерам, состоявшимся, умным, образованным! Ничего нельзя построить на страхе и рабстве! Свободный человек свободен в своём творчестве и работе! Это полёт, а не согбенное существование!»*

Острые, но честные и меткие слова! Теперь и мне понятно, почему власти не открывают и ещё долго не откроют свои архивы, подвалы, где и лежат, перевязанные серым бумажным шпагатом наша история и наши преступления!

Приятно наблюдать за жизнью, участником которой являешься ты сам, и её же описываешь. Что-то опущено, не удержавшись в памяти. Вёл я и кое-какие заметки, но основное осталось в сердце и в душе.

Пройден большой и многострадальный путь. Были свои радости и печали, достижения и ошибки. „C'est la vie!“\*– как говорят французы. Работал всегда с совестью, старанием. Временами не хватало опыта, знаний, но был энтузиазм, воля и желание двигаться вперёд. Я любил учительский труд. Меня любили и ученики, чему есть много свидетельств!



*Уже за 90! Привычная поза отца...*

Привлекал с молодых лет и сам педагогический процесс – ты в центре внимания, тебя слушают, надеясь узнать что-то новое, полезное, а ты отдаёшь им свои знания, делишься своими взглядами, а по ходу учишь их и честности, и высокой морали, одновременно получая и от них что-то новое и новое! Ты наполняешь их паруса новым и свежим ветром, отправляя в дальнюю дорогу, к неизведанным местам, в будущее. Сейчас многое стало более отстранённым от самого молодого человека – учат предмету и то как-то ускоренно, но сердцу и душе ничего! Кое-какие знания, а о совести, чести, правильном поведении?

Этот вечный процесс, это действие, волшебство – не односторонняя работа, не только поучительный голос одного, кто владеет какими-то знаниями, – это движущийся поток, в котором перемешиваются знания, интерес к новому, открытия и ра-

зочарования, стремление понять и разобраться не только слушающих, но и тебя, перед которым живые люди, их открытые души и глаза, отсутствие опыта и сопротивляемости соблазнам! А что уж тут говорить о современных свободах?! Никаких слов нет, чтобы оправдать эти безобразия только «растущей демократией»! Но это уже не ко мне, скорее к Вам, мои читатели!

Если наша с супругой прежде большая семья уменьшилась за счёт естественных потерь – ушли родители, потом родственники, то она же и расширилась за счёт молодых, кто пришёл в этот мир после нас, кто родился недавно, кто будет проникать в тайны бытия и, может быть, понесёт дальше частичку знаний о былом, в том числе и о нашей жизни, о том, что ушло, о том, что никогда не должно повториться. Нас теперь опять много – у сына Святослава дочь Лена с двумя детьми – Сашей и Машей, сын Игорь с дочерью Полиной и чудесной женой Ольгой, у нашего постоянного помощника сына Олега – дочь Анжелика с двумя близняшками – Дианой и Каролиной, сын Владислав с женой Инной и нашим внуком Эдгаром. Но на этом список не заканчивается. Его, к счастью, продлили Олег с женой Наташей – у них дочь Ольга с мужем Тобиасом и троих чудесных деток, говорящих на немецком, на языке, который спас мне жизнь и дал работу, – это Лена, Паулина и сын Мальте. Сын Александр работает в школе педагогом, продолжая нашу учительскую династию, что добавляет нам особой гордости! Олег, Наташа, Ольга с семьёй и Александр живут и трудятся в Германии, что также является каким-то особым знаком и для меня! Вот сколько разных, интересных и талантливых родственников, продолжателей и наших добрых дел! Дай Бог им всем здоровья и счастья! Может быть, сохранят в своей памяти и наши имена?!

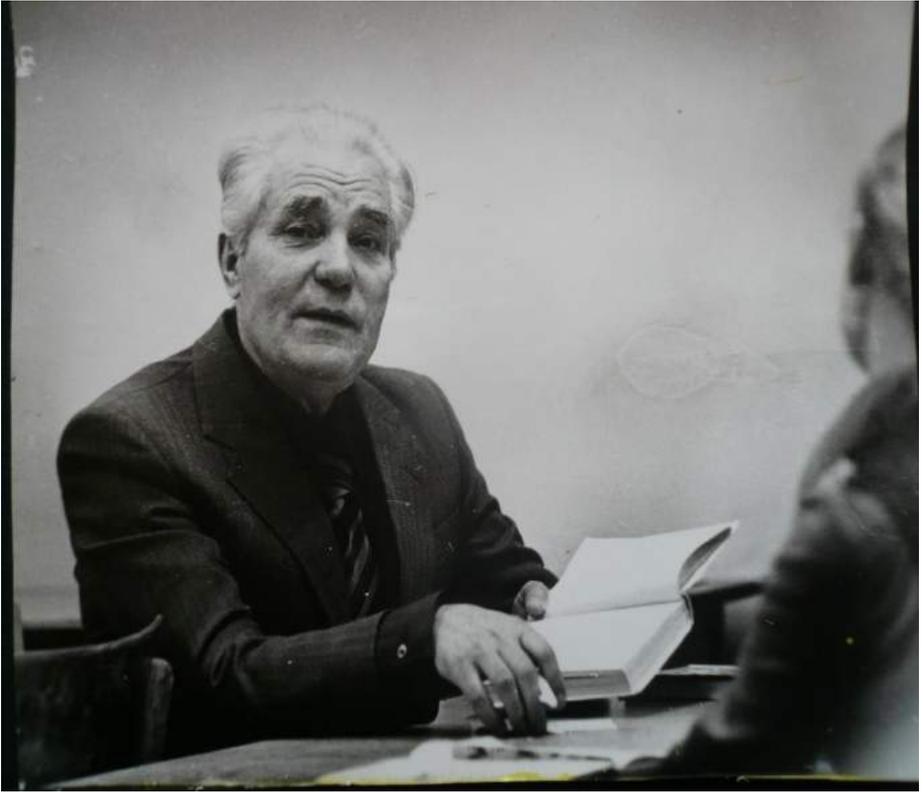
А труд учителя, педагога высшей школы всегда притягивал меня своей главной особенностью – мало того что ты, используя свои профессиональные знания, объясняешь молодым людям всё новое и новое, вводишь их в мир до сих пор неведомого – ты ещё делишься с ними правильными ориентирами в жизни, объясняя, что такое хорошо, а что такое плохо. Эта работа придавала мне много сил и увлекала своими безграничными особенностями, радовала результатами – на моих глазах

молодой человек рос и становился на ноги! Прекраснее этого нет ничего! Получается, я тоже вместе с другими строил саму жизнь, улучшал её, направлял по её дорогам других!

Какая-то не совсем понятная радость проникает в сердце, когда после напряжённого разговора со своими учениками, студентами ты смотришь в их благодарные глаза и понимаешь – стоило жить и учиться, стоило выдержать и перенести всё то, что случилось в моей жизни.

Благодаря Судьбе и Божьей воле так прошла моя жизнь. Я здесь написал почти обо всём, а мой сын Олег подкорректирует, добавит красок и, может быть (буду ему за это благодарен!), издаст отдельной книжкой обо мне и моей жизни. Что можно было бы изменить, подправить, обойти, где выгадать лучший путь? Эти вопросы уже не ко мне – о них будут спорить мои потомки, те, кто придёт следом. Они будут сравнивать, вытаскивая из прошлого и настоящего свои выводы, своё понимание и аргументы, отстаивая учёные и не очень концепции, забывая главное – человека!

Бог им судья!



*На лекции в Гродненском педагогическом институте (сейчас университет).*

*Acta est fabula!\**

*\*пьеса сыграна!/лат.*

## Эпилог

*Вот и конец этих записей. Поставив точку, задумался: получается, что жизнь моего отца являет собой настоящий срез почти всего исторического пути нашей социалистической Родины в одной из её республик – Беларуси. Почти до 1923–1924 годов уклад сельской жизни, тем более в такой глубинке, как козловичские хутора, был таким, как и при старой царской власти – главным на селе был староста, которого выбирали из числа авторитетных жителей, самыми грамотными были учителя небольшой школки при местной церкви, каждый крестьянин-хозяин зарабатывал на жизнь, на семью своим трудом, десятину от заработанного отдавал государству, но не деньгами, а натурой – зерном, семенами или снопами льна, а у кого были ульи – то и мёдом. Никто и никогда, как говорил мой отец, не отбирал силой ни домашний скот, ни зерно. Любой мог продавать излишки производимой продукции на местном рынке. Таким образом крестьяне зарабатывали немного живых денег, за которые могли купить керосин, необходимые в хозяйстве орудия труда – пилу, топоры, косы, инструменты по столярничанью, ещё всякие мелочи – гвозди, напильники, скобы... Когда не хватало денег, то эти вещи заказывали у своего кузнеца, а расплачивались тем, чем были богаты. Кое-кто из самых смелых ездил на заработки даже в далёкую и заманчивую Америку. Никто не лез, не подправлял силой этот уклад, сложившийся веками. Сама жизнь вносила некоторые новые привычки, новинки, но это происходило не под давлением, а появлялось в жизни естественным путём. Росли и подрастали дети, и кто имел больший, чем другие, интерес к учёбе, чем к занятиям на селе, тот пробовал идти дальше. Кто-то по этим же причинам покидал хозяйство, деревню и постепенно устраивался в городе. Это был, можно сказать, натуральный отбор и в самой жизни, и для перспективы общественного развития. Нельзя сказать, что всё вокруг впечатляло гармонией и порядком – во все эпохи путь человека-трудяги был*

непростым, а временами даже тяжким. Вся история человечества пронизана этой несправедливостью, и так будет вечно, так как нет одинаковых людей, поэтому и существует, и будет существовать разница между ними! Тем более никогда не будет гармонии между теми, кто пролез во власть, и теми, кто работает на них! Ну а то, что предлагает любвеобильная, особенно в последнее время, христианская религиозная концепция – это отсылка в никуда, это обещание того, что существует только на том свете, ибо места на земле для ровной и справедливой жизни для нас, трудяг, нет, а вот для богатеньких и жуликов – есть! А если говорить по правде, то этот небольшой, но очень качественный за счёт других «райк» с пышными садами и бассейнами, тем не менее существует! И вы сами, мои дорогие читатели, знаете это лучше меня! Эти «райки» есть в каждом районе и в любом месте земного шара!

Потом пришёл Великий Октябрь с его взрывами, криками, красными флагами, всенародными призывами к лучшей жизни для трудящихся городов и весей, где бы они не жили и не ютились! Великий самогипноз! Звук этих немного помятых, но блестящих фанфар беспрестанно разносился над всей страной, призывая прогнать (а ещё лучше уничтожить) всех «бывших» и лететь на крыльях социализма в светлое завтра! Слабое эхо долетало и до отцовского хутора и соседних деревень. Отец, уже немного повзрослевший, видел на примере своей семьи глубокие отметины новых и категоричных законов невиданной жестокости и непонятных, часто нелогичных действий. Спектр государственной глупости и безосновательных экспериментов расширялся с погружением во взрослую жизнь, учёбу, работу, армию...

Внимательный читатель увидит, что отец, рассказывая о прошлом, периодически затрагивает и затрагивает длящимся рефреном тему тревоги, тему жизни под гнётом тайных спецслужб, под страхом повальных арестов и гонений. Теперь, к сожалению, многим кажется, что тот трагический фон преувеличен, даже сфальсифицирован?! Но меня тяжело поколебать, внести сомнения, ибо и персональный опыт и отцовская

*долгая пёстрая жизнь говорят о другом, говорят только Правду!*

*А что внёс или занёс великий вождь всех стран и народов, что конкретно дал нам Сталин? Здесь и не нужно огромных академических знаний – он последовательно уничтожал сначала участников октябрьского переворота, потом планомерно расстрелял всех соратников Ленина, военачальников, почти весь корпус старших офицеров армейского, полкового звена, резидентскую и разведывательную сеть, учёных с мировыми именами, знаменитых представителей науки, искусства, инженерной и просветительской элиты, потом взялся даже за инициативных крестьян.*

*Бездарно и преступно повёл себя перед войной, в её первые годы, поставив страну на край гибели. Этот мировой стратег не осуществил ни одной военной операции даже ротного уровня, но присвоил всё и вся после Победы себе! Даже выкопал в анналах воинской истории самое скромное для себя звание – Генералиссимус! Почему же другие мировые лидеры остались рядовыми? Главное – он уничтожил самых умных, самых талантливых и самостоятельных, а оставшихся держал в узде и страхе с помощью послушного Цербера – НКВД–МГБ. Только он один в огромной стране знал всё и имел право распоряжаться жизнью и смертью подневольных!*

*Дальше в отцовском тексте звучит тема практического углубления в желанную профессию учителя в Кольшиках и Лиозно. Знакомство с молодой коллегой, любовь, женитьба, рождение первенца. Но продолжалась эта идиллия недолго – призыв в военной училище, новая обстановка. В воздухе время от времени звучат тревожные нотки. Пока на уровне слухов до-носятся слва и догадки о возможной войне. Отца, как обладавшего уже небольшим жизненным и совсем крохотным армейским опытом, удивляло многое: малое количество на руках даже стрелкового вооружения, отсутствие нормальных карт и гибких уставов ведения боя на уровне полка, батальона, роты, отсутствие всякой готовности к отступлению и даже теории организации сопротивления на крайний случай?!*

*И вот неожиданно пришёл самый трагический день нашей истории – фашистское нашествие! Отец, как и многие, сначала ничего не мог понять ни в причинах войны, ни, главное, – в наших полных провалах по организации обороны и хотя бы планомерного отступления. Он с большой болью рассказывает со своего уровня, из глубины, трагическую обстановку тех дней, растерянность, беззащитность и безграмотное поведение высшего командования. Ему повезло – он не погиб под бомбами и миномётным обстрелом, не был убит случайной автоматной очередью, не умер от тяжёлого ранения. Что это было, почему так случилось именно с ним? Однозначного ответа нет – здесь и способность самостоятельно думать и постоянно анализировать обстановку, черты его характера – спокойствие, упорство, сильная воля и высокая жизненная мораль. А главное – над ним (так же как и над другими уцелевшими) была распротёрта длань Всевышнего, даровавшая ему, а потом и мне самое дорогое – Жизнь!*

*Плен, жуткий опыт пройденных лагерей, увиденного, пережитого сказался на его поведении после освобождения. Сказался не в самом лучшем смысле – он стал более закрытым, уступчивым, неразговорчивым, частенько сидел за своими ученическими тетрадками и, задумавшись, смотрел в окно. Эту позу я хорошо запомнил, как и его ответ на мой вопрос: „А о чём ты постоянно думаешь?“ „Да так, ни о чём. Немного о прошлом, больше о том, что нужно сделать завтра...“. И всё! Вспоминать вслух о пережитом начал только в начале 70-х, да и то только в кругу семьи.*

*Чтобы у читателя не сложилось впечатление, что отец никогда не видел более светлых дней, расскажу и об этом. С детства, привыкший к любому труду, он никогда не сидел без дела, праздно сложа руки. Каждую неделю что-то мастерил для дома, для хозяйства – то ложил тротуар, то строил баню, то подправлял забор, рыл мелиоративные каналы (дом стоял на бывшем болоте). Сам сделал коптильню, небольшую столярную мастерскую. Почти всегда, когда он работал учителем, я мог наблюдать его распорядок дня. Утром – скромный завтрак с мамой и часто со мной (у меня давно такая же привычка рано*

вставать)–кусочек хлеба, варёное яйцо, ломтик сыра, чай обязательно с сахаром – вот и всё на целый день. Потом на работу. Его любили и ученики, и учителя. Отец, обладая исключительной памятью, мог извлечь из её глубин почти всё, чем интересовался собеседник, и вдумчиво, основательно рассказать заинтересованному, не затрагивая его самолюбия в том смысле, что тот чего-то не знает.

Была и в моей жизни интересная ситуация, с которой я сам столкнулся. Во время сдачи приёмных экзаменов в институт иностранных языков в Минске услышал от экзаменатора вопрос: „А вы у кого в Червене изучали немецкий?“ Услышав фамилию отца, не задумываясь поставили «отлично» с такими словами: „Мы уже давно знаем вашего отца по прекрасным успехам его учеников – у всех прекрасные знания иностранного языка!“ Что ещё можно сказать об учителе?

Вместе с матерью они принимали активное участие в художественной самодеятельности – играли в местном драмтеатре, и получалось это также неплохо, о чём неоднократно говорили ведущие артисты столичного Купаловского театра. Из его рук вышло в свет много отличных учеников, которые, благодаря знаниям, полученным и от него, успешно устроились в жизни. Их фамилии называть не буду, но, дорогой читатель, поверь на слово: среди них было немало и известных в республике людей.

Ну, а когда выдавалась свободная минутка, он брал в руки гитару или мандолину и старательно, с глубоким чувством исполнял старинные городские романсы и позабытые, но душевные песни, народные припевки... Мать часто подпевала ему... и в эти минуты над домом парил какой-то божественный свет, казалось, он будет вечным...

За ним, хотел он того или нет, всё же тянулся и тянулся след былого – война, плен, фашистские лагеря, недоверие своих, шёпот за спиной, негласный контроль на протяжении многих лет, добавлялась ещё и зависть менее талантливых и, честно говоря, серых и ленивых особей!

Но всё же не это было главным! Жизнь, семья, любимая работа, цель стать учёным подталкивали его каждый день

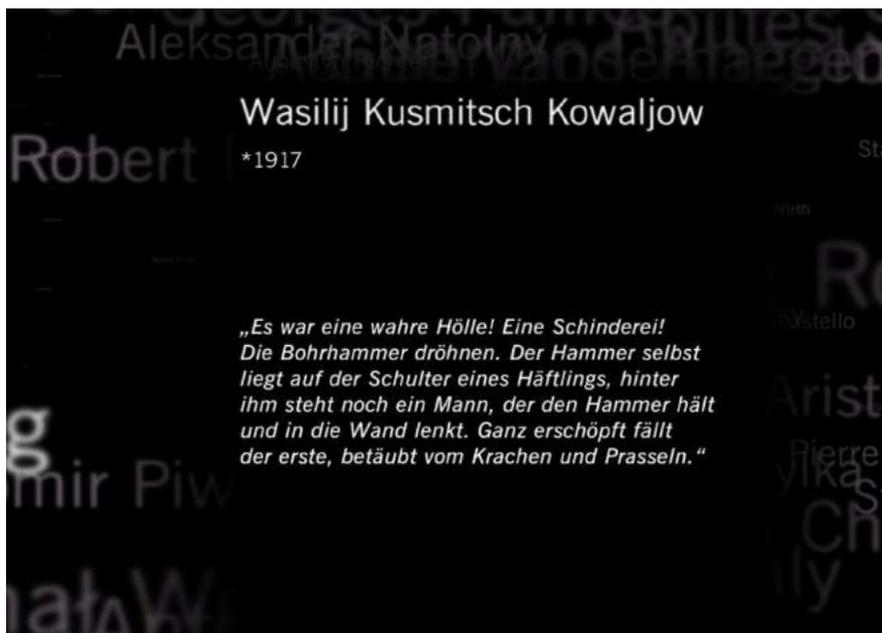
вперёд, к новым горизонтам, к неведомому! Я никогда не слышал от него этих фальшивых и одиозных слов „что бы я сделал, если бы смог заново начать свою жизнь?“

Ответ его всегда был таким: „Я доволен тем, как я жил, как трудился! Я доволен своей тяжёлой и счастливой судьбой! Я видел всё! Другого мне не дано и не нужно!“

Не всё в этой истории радужно и весело, скорее, строго и минорно. Мало здесь гулянок и пиятия с салом на природе, недостаточно диалогов, больше личное, интимное, больше раздумий на фоне той жизни под аккомпанемент всепроникающих литавр и громогласных речей. Но внимательному и чувствующему читателю для понимания того времени, для того, чтобы поймать главное там и для создания соответствующей интеллектуальной базы внутри себя хватит и этих выверенных и не совсем поэтических строчек. В тональности написанного и характер, и пережитое, увиденное, впитанное с воздухом Родины и взятое из пройденной непростой, временами очень тяжёлой, но и счастливой жизни!



В «униформе» Красной Армии, 1941 г.



*«Это был настоящий ад! Издевательство! Грохочет отбойный молоток. Он лежит на плечах одного из узников, сзади которого стоит второй, держащий инструмент и вонзающий его в каменную стену... Совершенно изнурённый от грохота и треска падает первый...»*

*В музее бывшего концентрационного лагеря Флоссенбург на одном из стендов есть полочка с историей моего отца. Там лежат документы из лагерного архива, его книжка «Горькая правда войны» – рассказ о своей судьбе, написанный им на немецком языке, его цитаты и пара фотоснимков довоенной поры – своего рода небольшая инсталляция. Каждый год в январе я получаю по почте, как сын бывшего узника, приглашение принять участие в торжественной встрече в конце апреля (23 или 24-го) бывших узников (осталось несколько человек), их родных с корреспондентами, сотрудниками музея и общественниками. На двух таких встречах я был. Видел, что есть в этом жутком месте. К своему стыду, понял и то, что там действительно «никто не забыт и ничто не забыто!»*

*Упомянут каждый погибший и те, кто чудом выжил. Вот если бы так и наши власти отдали хоть когда-нибудь дань памяти всем невинным жертвам сталинских репрессий?! А их было никак не меньше! Задумайтесь, почему они молчат?*

## Wasilij Kusmitsch Kowaljow

\*1917

Der Lehrer stammt aus der Nähe der weißrussischen Stadt Orscha. Er kämpft in der Roten Armee gegen die deutschen Invasoren, gerät in Kriegsgefangenschaft und wird im Januar 1945 nach Hersbruck überstellt. Er muss im Stollen bis zur totalen Erschöpfung arbeiten. Mehrmals wird er Zeuge von Arbeitsunfällen: Bei Sprengungen werden Mithäftlinge verschüttet. Der Dreck, die harten Arbeitsbedingungen und die Gewalt der Kapos lassen ihn beinahe verzweifeln.

*«Учитель родился вблизи белорусского города Орша. Он сражался в рядах Красной Армии против немецких захватчиков, был захвачен в плен и в январе 1945 года переведён в Херцбрук. Он должен был трудиться в штольнях до полного измождения. Многократно являлся свидетелем трагических случаев в шахтах, когдаво время взрывных работ его друзей заваливало породой. Грязь, жуткие условия и издевательства капо не оставляли никаких надежд».*

## Wasilij Kusmitsch Kowaljow

\*1917

### Zwangsarbeit

Etwa 9.000 Häftlinge werden zwischen Mai 1944 und April 1945 zur Arbeit gezwungen. Sie müssen eine Bahnstrecke von Pommelsbrunn nach Happurg bauen und dort unterirdische Stollen anlegen. Die körperliche Schwerstarbeit schwächt die Häftlinge extrem. Beim Gleisbau stehen sie hüfthoch im Wasser, im Stollen ist es dunkel, laut und staubig. Viele Häftlinge sterben bei Unfällen. Das Stollensystem wird nur teilweise fertig. Die geplante Produktion von BMW-Flugzeugmotoren wird nicht realisiert.

### *Принудительные работы.*

*«Почти 9 000 заключённых с мая 1944 по апрель 1945 г. Использовались на принудительных работах по строительству железнодорожной ветки от Поммельсбрунна до Халлпурга и на вырубке подземных штолен. Сверхтяжёлые работы катастрофически подрывали их здоровье. Прокладка рельс часто осуществлялась в воде, в штольнях царили мрак, грохот и пыль. Несчастные случаи уносили жизни многих узников. Система подземных туннелей так и не была построена до конца. Планировавшийся выпуск авиамоторов фирмы БМВ на подземном заводе реализован не был.»*

## Послесловие

Стремительно проносятся дни, пролетают годы – остаётся у пока живущих память о пережитом, о счастье, о мытарствах, о весенних и осенних днях. С нами, с теми, кто видел и рождение страны, и замысловатые извивы её истории, периоды, когда на кону стояло само её существование, тяжкие и несправедливые времена разнузданной сталинщины, беззакония и вседозволенность ежовщины, бериевщины и других «охранителей», неумолимо утонет, уйдёт в небытие огромный пласт жизни. Жаль, что безвозвратность этого процесса не понимают, скорее, не приемлют власть имущие, считающие свой народ достойным лишь очередной пайки – будь то хлеб, будь то правда! Они, так они сами написали на своих потаенных скрижалях, и только они определены распоряжаться совестью, памятью и благом людей! И неважно, что каждый из них начинал с детской колыбели и с одинакового получёрствого куска хлеба?! Знаю, мне жёстко возрадят: „нет, не все с получёрствого...“ – и будут правы. «Не все» – и в этом кроется ответ... Ну а что же в продолжение, что и кто?

Мне кажется или хотелось бы... – прочтут некоторые, задумаются, вспомнят нас, тех, кто дал им главное – эту сложную и прекрасную жизнь со всеми её рассветами, с багровыми тревожащими закатами, с первой весенней листвой и аккомпанементом птичьих голосов! Дай Бог Вам счастья и разума, памяти и сочувствия! Если что, простите...

Василий Кузьмич Ковалёв



*Речушка Леца, откуда начинались истоки отца.*



«Концентрационный лагерь Фlossenбюрг, его 26 периферийных филиалов и отделений. Бавария 1933–1945 гг.». (Обозначено жёлтыми квадратами).

Трагический путь моего отца в самом конце войны из одного лагеря в другой и третий известен, как «Марш смерти» (в истории /лагерей их было несколько) – обозначен чёрной стрелкой. Своей рукой я написал название места, где отец был освобождён американской армией – Шмиттмюлен. Я был там везде, я видел этот АД!»



## *Слова к тебе*

*Дорогой мой отец, я не смогу вернуть те счастливые часы, недели и годы, когда я мог видеть тебя, учиться у тебя, получать то, что называется опытом и основой жизни. Я не смогу повернуть колесо времени назад, но снова и снова буду всматриваться в твоё лицо, твои строчки, буквы, в твой сложный и светлый путь! Я, с твоего разрешения, попробовал*

*добавить к твоим словам что-то своё, чтобы вместе с тобой написать и прочитать то, что стало фундаментом и моей жизни!*

*Я, как и обещал тебе, посетил все твои места – дуг, где стоял ваш хутор „Зелёный гай“, Яковлевичи, где ты пошёл в школу, Козловичи, где жили многочисленные родственники, Оршу, где ты учился. Я долго стоял у твоей речушки Леща, от истоков которой и началась твоя взрослая жизнь.*

*Память тебе вечная, мой дорогой Учитель!*

*Я, как и обещал тебе при жизни, сделал тебе этот подарок – повествование о тебе и твоём пути. В этой книге есть и доля моих переживаний и высоких чувств к тебе, чего нет и не будет по отношению к матери.*

*Что я вижу в этот миг на твоей фотографии – единственном теперь средстве общения с тобой? Твой взгляд направлен в будущее – наверно, и моё (остался я один), твоих внуков, где бы они не проживали, а главное, что читаю я в нём – почтение к отцам, пройденному пути и к твоей любимой жене, остающейся с тобой навсегда! До следующей беседы, отец!*

*Отвечу тебе в твоём же стиле –*

*Omnia mutantur, nihil interit! – Всё меняется, но ничто не исчезает!*



## Отцовский колодец...

07.02.2018

*Строчки складываются в гимн отцу.  
Как смогу, хотел бы дань отдать  
Ему – Учителю и той войны Бойцу,  
Когда шли они ратью за рать,*

*Сердцами и душами закрывая  
То, что домом и семьёй зовётся.  
Гибли, к небу и Богу взывая,  
К памяти, что в космос взовьётся!*

*И там, среди звёзд дрожащих,  
Засветится та, что именем его  
Я назову и буду чтить надлежаще,  
Всматриваясь в далёкий лик Его.*



*Тот же луг, где стоял их хутор „Зелёный гай“.*

*Месяца три назад, разыскав в интернете координаты мемориала в городе Цайтгайн, я отправил туда письмо с просьбой сообщить данные о пребывании моего отца и в этом лагере времён войны. Мне повезло – буквально через пару дней раздался телефонный звонок, и сотрудница этого музея с красивой армянской фамилией Нора Манукян, доставшейся ей от деда, также сидевшего в этом же лагере, рассказала мне о мемориальном центре и попросила выслать установочные данные на отца. Обещали, что обязательно найдут в архивах документы о нём, плюс – выслали мне приглашение на участие в торжественной встрече 23 апреля 2018 года. Вот как получается! Этот неожиданный звонок, приглашение приехать и рассказать им там о его жизни – разве не подарок Судьбы, не знак Божий?*

*И здесь в Цайтгайне и в Флоссенбюрге будут стоять книжечки моего отца, несколько его фотографий, жизненный путь и, может быть, перевод на немецкий только что написанной книги, но это в будущем!*

*Будут приходить разные люди, всматриваться в лица узников, исчезнувших и выживших, в его лицо также, и что-то думать, переживать...*

*Буду приезжать туда и я... Пока есть силы...*

*Вот и закончил я свою работу. Думаю, она бы понравилась ему...*

*P.S.*

*23 апреля 2018 года я посетил мемориал «Цайтгайн». Я видел там всё, я всматривался в лица погибших, в их наполненные грустью глаза... Я использовал материалы мемориала в этой книге.*

## *Два слова о соавторе*

*Ковалёв Олег Васильевич, 31.08.1947 г.р., из семьи педагогов-филологов высшей квалификации, с 1952 по 1962 г.рос, познавал жизнь, учился в школе №1 г. Червень Минской области, где работали его родители, где он был солистом школьного хора и рекордсменом по лёгкой атлетике района, области и республики. Учился в Минском музучилище, имеет два высших образования.*

*В 2007 году был принят в Союз белорусских писателей с единственным в мире удостоверением под номером 740?! Издал три книжки прозы и две – стихов. Проживает в Германии.*

*Пишите мне.*

*Мой E-mail: [oleg@igumenist.de](mailto:oleg@igumenist.de)*

*22 июня 2018 года, Rommelsbach*



Отсюда наши корни...

*Август 2016 г. Возле останков дома любимых бабушки и дедушки в уже несуществующей дер. Красилово Толочинского района Витебской области. Здесь я провёл, выезжая к ним каждое лето, лучшие годы детства вместе с моими родителями, двоюродными сёстрами и братьями – Эдуардом, Тamarой из Питера, Нелли и Юрой из Витебска, Ларисой и Леной из Рязани, моим братом Святославом, Людмилой и Сергеем из Толочина, Людмилой и Юрой из Бытеня. Сюда я часто возвращаюсь, чтобы постоять, подумать и вспомнить всех их...*

*Красивая некогда деревенька с говорящим названием «Красилово» исчезла полностью, и только придорожный указатель, поставленный, наверно, по настоянию кого-то из бывших жителей, стоит на шоссе и напоминает о родине моей матери и месте, куда с удовольствием приезжал мой отец..*

*Здесь особый мир – ещё стоит яблоневый сад, в нём моя ранетка. Ещё растут и пахнут по осени яблоки, потерявшие вкус и одичавшие без хозяев, из-под зарослей травы видны остатки бани, а сама хата, уже без крыши и того, что было внутри, давно прячется в буйной зелени, постепенно исчезая и растворяясь в ней, становясь лишь декорацией к той канувшей в Лету жизни, которая неторопливо текла под дланью Господней и голубым белорусским небом...*

Номер страницы	Пояснение
2*	Курсивом выделены отрывки и отступления, принадлежащие перу соавтора.
3*	Модуляция – изменение, переход в новую тональность, здесь - частые смены целей и ориентиров властями из-за неспособности планомерно и последовательно анализировать и руководить!
4*	Геростратова слава – грек Герострат сжёг в 356 г. до н. э. храм Артемиды Эфесской, одного из семи чудес света; честолюбец, добивающийся славы любой ценой, даже ценой преступления.
8*	Сажалка (бел.)– ставок, пруд, вырытый вручную.
12****	Квёлый – вялый, слабый, никчёмный; Слончик (мест.)– маленькая переносная скамеечка; Джанни Родари – итальянский писатель (1920–1980), автор детских рассказов, в т.ч. «Приключения Чиполлино» – история ожившей деревянной куклы.
13*	На Пречистую – религиозный праздник в октябре в честь Девы Марии;
15**	Гумно – помещение для хранения зерна; Ток – строение для молотбы и обработки зерна. Иногда в одной половине помещения молотили зерно, а во второй – его хранили.
18**	Битюг – русская порода лошадей-тяжеловозов; кросны – ручной ткацкий станок; набивницы, цевки – детали ручного ткацкого станка.
20**	Юшка – рыбная уха; венец – один ряд брёвен по периметру строящегося дома.
21*	Корчма (арх.) – питейное заведение, кабак.
22*	Молох (здесь)– Демон, пожирающий людей;
23*	Каплица (рел.)– часовня, чаще католическая.
26****	«Саид и Аинда» – мусульманская философская книга; «Поднятый бумажник» – автор А.Бобринцев-Пушкин; «Чёрная магия» – книга о колдов-

	стве и заклинаниях;
27*	Топонимы – имя собственное, обозначающее название географического объекта.
32*	Барон фон Корф – род немецких графов и баронов фон Корф, служивших российской короне с конца XVII века. Одна из ветвей жила на территории Витебской области, имение в Яковлевичах.
36*	Супостат – неприятель, недруг, враг.
39*	Пазычыць (бел.)– взять взаймы.
42*	Имени Гея – не шутка, именно такой фамилией был назван колхоз, хотя суть происходившего там этой фамилией объясняется неплохо...
65*	Аббревиатура – слово, образованное из начальных букв, входящих в состав сокращаемого словосочетания (СССР, КНР, НКВД...).
68*	Марфа-посадница – истор. фигура, женщина, возглавившая борьбу Новгорода против Московского княжества (втор. Пол. XV века); И.Левитан – русский художник (1860–1900), пейзажист.
69*	Читать Апостола перед Пасхой – чтение в пасхальные дни послания апостолов.
76*	Стахановское движение – массовое движение работников всех отраслей по превышению установленных норм производительности, охватившее страну, названо по имени зачинателя движения в 1935 году А.Г. Стаханова, забойщика шахты в Донбассе;
77*	Финская компания – война между СССР и Финляндией с 1939 по 1940 г.; Суоми – Финляндия на финском языке; Зелёный гай (бел.)– роща.
87*	Камо грядеши? – Куда идёшь? (старосл.)– фраза, сказанная апостолом Петром Иисусу Христу, когда апостол покидал Рим, а Христос шёл на второе распятие. После этого Пётр остался и был распят в Риме. В переносном смысле – правильно ли идёшь, правильной ли дорогой?

92**	Фисгармония, или фюсгармония, – клавишный музыкальный, чаще домашний, орган с ножными мехами; балюстрада – невысокое ограждение лестницы, балкона, террасы.
94**	Ю.Пилсудский – польский гос.деятель (1867–1935), первый глава возрождённой Польши (была завоёвана царской Россией); наушничанье – доносительство.
97*	Подъёмные – денежные средства, выплачиваемые сотруднику при переезде на новое место работы.
104*	Летучая мышь – название керосиновой лампы со стеклянным колпаком от ветра, дано по имени немецкой фирмы «Fledermaus» (летучая мышь).
105*****	Я.Колас – белор., советский писатель (1882–1956); Т.Гартный – (Д.Ф. Жилунович) бел. поэт, расстрелян в 1937 г.; ёлкое сало – старое, пожелтевшее, имеющее плохой привкус; подовый хлеб – хлеб, выпекаемый без формы на поду, где горят дрова; Соломон – царь Израильско-Иудейского царства в период его наивысшего расцвета (965–928 гг. до н.э.); символ мудрости.
106**	Коломбина – персонаж итальянской народной комедии, служанка;
107*	Яхве – бог всех евреев, бог Ветхого Завета, имевший множество имён; Надсон С.Я. (1862–1887), еврейский, русский поэт.
116**	Кронштадтское восстание – восстание в марте 1921 г. экипажей кораблей Балтийского флота и части жителей города против большевиков, потом восстание было подавлено, 8000 восставших удалось уйти в Финляндию; примус – бесфитильный нагрев. прибор, работающий на бензине или керосине, изобретён в 1892 г. шведом Ф.В. Линдквистом, популярен под названием «Шмель».
120*	Кинопередвижка – кинопроекторный аппарат, в кузове грузовика для демонстрации фильмов в

	сельской местности за отсутствием кинотеатров.
122*	Молитвенник-кантичка – сборник часто читаемых католических молитв; хрестоматийный – простой, общеизвестный.
124*	Вибрато – колебания звучания инструмента или голоса, создаваемые специально или присущие исполнителю от природы.
125*	Умыкнуть жену – тайком украсть.
127*	«Паспорта не дают...» – паспортная система была введена в СССР в 1932 г., но выдавались они жителям крупных городов и в отдельных случаях – работникам совхозов. Крестьяне паспортов не имели и им с 1935 по 1974 г. было запрещено покидать свой колхоз более чем на 30 дней, а для поездки к родным требовалось разрешение сельсовета. Таковых на 1970 г. было около 50 миллионов человек. Чем не рабство?!
133*	Гонта – кровельный материал для покрытия крыши из деревянной дощечки (100 – 110 см дл.) с пазом, куда входит следующая гонта. Изготовление требовало специальных инструментов и было дорогим, поэтому дома, крытые гонтой, принадлежали состоятельным людям.
148*	Плацкартный вагон – билет был с конкретным местом (в бесплацкартном садились на свободные места). Скажем, отделении плацкартного вагона было две нижних койки, две средних и две верхних. Таким образом, здесь могло разместиться только шесть человек – на койку по одному.
150*	Белосток – город на северо-востоке Польши, в сентябре 1939 года захвачен немцами, но сразу передан СССР по пакту Молотова – Риббентропа. С 4 декабря 1939 г. стал центром Белостокской области БССР. 27 июня 1941 г. вновь занят немцами, а в его окрестностях была разгромлена советская 10-я армия. В июле 1944 г. освобождён

	Красной Армией и присоединён к Белоруссии, но 20 сентября 1944 г. снова передан Польше.
151**	Кунг – крытый кузов для груз. автомобилей, чаще с окнами и задней дверью; ЗИС-5 – советский грузовик на 3 т, один из основных транспортных автомобилей во время ВОВ.
154*	Поволжские немцы – один из народов, сформировавшийся в <u>России</u> к началу <u>XX</u> века из потомков переселенцев из <u>Германии</u> , расселённых по указу <u>Екатерины II</u> в Нижнем Поволжье в 1760 г. и проживавших там до <u>1941</u> года. После <u>1917</u> г. Получили территориальную автономию – <u>АССР немцев Поволжья</u> . В <u>1941</u> году были депортированы в <u>Сибирь</u> и <u>Казахстан</u> . <u>Депортация немцев в СССР</u> привела к упадку национального языка и культуры, к ускоренной ассимиляции с остальным населением <u>СССР</u> . Последствия депортации стали причиной переселенческого движения в <u>Германию</u> , которое особенно усилилось в 1990-е годы.
163*	СД (аббр.) – стрелковая дивизия.
166***	Н.Н. Поликарпов (1892–1944), русский и советский авиаконструктор, глава ОКБ им. Сухого, один из основоположников советской школы самолётостроения – У-2 (По-2), Р-5, И-15бис, И-16; в 1929 г. арестован ОГПУ, в 1931-м оправдан, но только в 1956 г. амнистирован; «шарашка» – жаргонное название НИИ и КБ тюремного типа в период сталинских репрессий (1930–1940 гг.); П.Г. Григорович (1883–1938), русский и советский авиаконструктор, создатель гидросамолётов и истребителей И-1, И-2, И-5; в 1928 г. арестован ОГПУ, до 1931 г. работал в «шарашке», реабилитирован только в 1993г.;
167***	А.Н. Туполев (1888–1972), советский авиаконструктор, создатель около 100 типов самолётов, 70 из которых строились серийно – ТБ-1, ТБ-3, АНТ-25, многомоторный самолёт «Максим Горький», Ту-16, Ту-104, Ту-144; С.А. Лавочкин

	(1900–1960), советский авиаконструктор, создатель ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, Ла-15, крылатая ракета «Буря»; самолёт БОК Чижевского – советский авиаконструктор В.А. Чижевский (1899–1972), в 1939 г. арестован и до 1941 г. работал в «шарашках» НКВД, создатель серии самолётов БОК, один из конструкторов самолётов марки Ту.
169*	Пикап – легковой автомобиль повышенной проходимости с открытым верхом.
171*	Дюрер Альбрехт (1471 – 1528), немецкий живописец и график, крупнейший мастер гравюры.
180**	Мажино – система французских укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лонгийона, построена в 1929–1934 гг., названа по имени военного министра Франции А. Мажино; линия Маннергейма – оборонительные сооружения между Финским заливом и рекой Ладогой, создан в 1920–1930 гг. для сдерживания удара со стороны СССР; зимой 1930 г. линия сдерживала внезапное нападение СССР на Финляндию, названа по имени шведского военного и политического деятеля барона Г.Э. Маннергейма (1867–1951).
181*	Болезнь святого Витта – болезнь Хорея, или Гентингона, пляской Святого Витта названа по имени юноши, христианина, замученного римлянами в 303 г. во время гонений на христиан; по распространившемуся поверью – каждый, кто спляшет перед статуей Святого Витта в его день (15 июня) станет здоровым, и эти пляски нередко носили весьма экспансивный, эмоциональный характер.
185**	Рассказ Гайдара – часто путают с рассказом настоящего автора – Л.Пантелеева «Честное слово»; Эмка – советский грузовик ГАЗ М-1, выпускался на Горьковском автозаводе с 1936 по 1942 г. (копия американского автомобиля Форд-А, потом собственная отечественная разработка).

194*	Цербер – в греческой мифологии трёхголовый пёс, чудовище, вселяющее ужас своим видом и ядовитой слюной.
202*	Швабский лексикон – диалект немецкого языка, распространённый в юго-восточной части Баден-Вюртемберга и на юго-западе Баварии.
211*	Транскрипция – в лингвистике: передача элементов речи на письме с помощью системы знаков – <i>йо – Ё, йя – Я...</i>
213*	ГСВГ (аббр.)– Группа сов-х войск в Германии.
217**	Бош – так французы презрительно называли немцев; Некрасовское – цитата взята из статьи русского поэта Н.А. Некрасова (1821–1878).
218*	Алма-Ата – название бывшей столицы Казахской ССР с 1929 по 1998 г., сейчас город Алматы; нынешняя столица Казахстана – город Астана.
219*	Патока – побочный продукт при производстве сахара и крахмала, два вида: светлая – из кукурузного, картофельного и другого крахмала, тёмная – свекольно-сахарная.
229*	Холуй (устар.)– прислужник, лакей, в переносном смысле – раболепствующий, унижающий себя человек, выслуживающийся перед высокими чинами, начальником.
230*	<i>Пропасть ни за понюшку табаку</i> – фразеологизм (устойчивый оборот речи, значение которого определяется не отдельными словами, а всем сочетанием) – совершенно напрасно, ни за что. какое-то дело не дало результатов, зазя старались, напрасно или что-то получил (получилось) за мизер.
231***	Лейтмотив (в основном в музыке)– главная музыкальная тема в музыкальном произведении – опере, симфонии, балете или главная тема в драматическом произведении, в романе, рассказе; «Сцилла и Харибда» – в древнегреческой мифологии морские чудовища, олицетворение всепоглощающей

	морской пучины; два чудовища, жившие по обеим сторонам узкого пролива и губившие проплывающих между ними мореходов сжатием судёнышек; капо (итал.) – старший, голова, здесь – надсмотрщик в немецкий концлагерях, олицетворение беспредела, жестокости и садизма.
233*	Гендерный – половой; половое отличие, разница между мужским и женским полом.
234*	Контекст – законченный отрывок произведения (литературы, музыки), отражающий какие-то тенденции и мысли, т.е. оформленная в смысловом значении часть; вырвать из контекста – значит нарушить смысловую и логическую связь с написанным или задуманным автором.
237*	Арии – чистая раса; расовая теория, взятая за основу Гитлером для оправдания первостепенной значимости немцев над остальными национальностями, оправдывавшая издевательства, уничтожение евреев, цыган, славян и других «второсортных» людей.
238*	Дон Кихот – центральный образ романа испанского писателя М. Де Сервантеса (1547–1616) «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», чудака, любивший правду, честность и справедливость, за что его все считали чудаком.
243***	Имярек (церковнослав.) – слово, заменяющее имя, фамилию, уже упомянутую во фразе, чтобы не повторять несколько раз одно и то же; Кирха – немецкая лютеранская церковь (здание); Homosapiens (лат.) – человек разумный, вид рода людей, имеющих больше сходства с современным человеком, чем с человекообразными предками. Сейчас часто употребляется для подчёркивания человеческого разума, способности думать, творить в отличие от приматов.
246*	Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт,

	мыслитель, богослов.
256*	Мстил за 1939 год – вторжение в Польшу советских войск в сентябре 1939-го и присоединение её восточных территорий к Украине и Белоруссии в рамках договора с Германией о разделе Польши;
257*	Гейне Г. (1797–1856), немецкий поэт, публицист, на его стихи созданы десятки музыкальных произведений ведущими композиторами планеты.
260*	Требы (церк.)– священнодействия, молитвы по просьбе православных верующих (отпевание умерших, водоосвящение, освящение дома, корабля, молитвы за урожай и т. п.).
261*	РОА –Русскаяосвободительнаяармия – название вооружённых сил Комитета освобождения народов России, совокупность большинства русских антисоветских заграничных частей из русских коллаборационистов с фашистами.
262*	Политес /фр./ - вежливость.
275**	Коллаборант – предатель, сотрудничающий с врагом Родины; История с Полетаевым: узник к/ц, сбежавший с группой военнопленных, ставший бойцом итальянской бригады «Орест».
278*	На Сицилии в 1908 г. город Мессина был разрушен землетрясением, помощь населению оказали моряки русского флота, оказавшиеся неподалёку.
284*	Чёрный креп – прочная ткань, получаемая при производстве с высокими температурами, символ кончины – ленты и ткань из крепа использовались при организации похорон.
293**	Сабо – деревянные башмаки во Франции, их происхождение приписывают венгру Сабо из-за созвучности фамилии с названием башмаков, но реальной основы под этой версией нет; <i>Яблоку негде упасть</i> – фразеологизм, обозначающий чрезвычайную тесноту.
304*	Альпеншток – палка со стальным острым нако-

	нечником для лазания по обледеневшим склонам, альпинистская принадлежность.
307*	Башмак – приспособление треугольной формы, подкладывается под колёса для предотвращения скатывания под уклон вагона, автомашины.
317*	Бургемайстер (бургемистр)– глава деревни, города в Германии.
319**	Д.Эйзенхауэр – 34-й президент США, бывший главноком американскими войсками в Европе во время Второй мировой войны; Херцбрух – филиал концлагеря Флоссенбург, где узниками вырубались штольни для немецких авиазаводов – защита от бомбёжек английской и американской авиации.
321*	Тиссетура – диапазон голоса от возможно самой низкой ноты до верхней, отношение диапазона голоса певца к тональности музыкального произведения.
325**	ТВЗ – туберкулёзная комната; за один присест – сделать что-то быстро, за один раз. <i>Съесть за один раз.</i>
327*****	Ви-за-ви (фр.)– сидящий напротив, собеседник; “Дочь Монтесумы” – исторический роман Г.Райдера 1893 года, история завоевания Кортесом Мексики;
328***	Ф.И. Шаляпин (1873–1938) – русский оперный бас мирового уровня, солист Большого, Мариинского театров, Гранд Опера в Париже, Метрополитен в Нью-Йорке, Ла Скала в Милане, в 1922 году уехал из СССР, опасаясь репрессий; Т.Карсавина (1885–1978)– выдающаяся русская балерина.
330*	Мартин Лютер (1483–1546), инициатор Реформации – отделения от Римской катол. церкви, основатель евангельско-лютеранской церкви в Германии, основоположник немецкого протестантизма.
333*	«Холодная голова, горячее сердце и чистые руки» – главные качества чекистов по крылатому выра-

	жению главы ВЧК Ф.Дзержинского.
341*	Алеся – героиня одноименной повести русского писателя А.И.Куприна (1870–1938).
374*	Декрет – отпуск, предоставляемый государством или владельцем частной компании женщине после рождения ребёнка.
381*	Остап Бендер – герой романов И.Ильфа и Е.Петрова – «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок», симпатичный мошенник и авантюрист, балагур, «великий комбинатор». Имя нарицательное, обозначающее пройдоху и жулика, не лишённого симпатии и человеческого обаяния.
389*	К.Крапива (Атрахович) (1896–1991), бел., сов. писатель, поэт, сатирик, автор множества басен, пьес с юмористическим подтекстом.
390***	А.Фет (1820–1892), русский поэт; Ф.Тютчев (1803–1873), русский поэт-лирик, мыслитель, дипломат; В.Шкулёв (1958), сов., рос. журналист, издатель; В.Шаламов (1907–1982), рус. прозаик и поэт, узник сталинских лагерей, автор известнейшей книги «Колымские рассказы».

## Оглавление

Предисловие.....	стр. 3
День первый - Истоки.....	стр. 7
<i>Кораблики-коньки</i> .....	стр. 11
<i>Фокус-покус</i> .....	стр. 19
<i>Разговор с отцом</i> .....	стр. 35
<i>«Отравитель»</i> .....	стр. 41
<i>Саластей – птица вольная</i> .....	стр.48
<i>Песня о матери</i> .....	стр.52
<i>Жуткий урок</i> .....	стр. 71
Путь в науку .....	стр. 83
День второй–учёба.....	стр. 87
Уроки жизни .....	стр. 95
Первое предостережение .....	стр. 109
<i>Расставание с кузницей</i> .....	стр.126
Последние дни .....	стр. 148
День третий .....	стр. 150
Апокалипсис .....	стр. 171

День четвёртый .....	стр. 196
День пятый .....	стр. 284
День шестой – Объятия Матери-Родины .....	стр. 331
<i>Алеся</i> .....	стр. 341
Реанимация подозрительности, или.....	стр. 346
Чуть своих личных размышлений .....	стр. 365
День седьмой .....	стр. 377
Фон моей жизни .....	стр. 385
Эпилог.....	стр. 400
Послесловие .....	стр. 409
<i>Слова к тебе</i> .....	стр. 412
<i>Два слова о соавторе</i> .....	стр.417
<i>Пояснения</i> .....	стр. 419